

Святослав Логинов

# СВЕТ

В ОКОШКЕ







УДК 821.161.1-312.9  
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

Л 69

Оформление переплета  
и иллюстрации — **Сюзанна Ориордан**

*Выпуск произведения без разрешения издательства  
считается противоправным и преследуется по закону*

**Логинов С.**

Л 69 Свет в окошке. Роман. Рассказы и повести / Святослав Логинов. —  
Санкт-Петербург : Издательство Сидорович, 2018. — 520 с., илл.

**ISBN 978-5-905909-45-0**

Роман С. В. Логинова «Свет в окошке» является одним из знаковых произведений в русской психологической фантастике. В книге поднимается широчайший круг проблем и вопросов, многие из которых так или иначе табуируются в обществе — отношение к смерти, существование человека «по ту сторону» бытия, и ведущий вопрос: а что же нас может ожидать там, за невидимой гранью, отделяющей вселенную материальную от гипотетической «бесконечности»?

Книга удостоена нескольких престижных литературных премий, включая премию им. И. Ефремова в номинации «За выдающееся литературно-художественное произведение».

В данный том включены послесловие Святослава Логинова к роману «Свет в окошке», а также рассказы и повести автора, значительная часть которых никогда ранее не появлялась в печати, что делает этот сборник уникальным.

УДК 821.161.1-312.9  
ББК 84(2Рос=Рус)6-445



© Святослав Логинов, 2018  
© Издательство Сидорович, 2018  
© Издательство Acta Diurna, 2018

Святослав Логинов

# СВЕТ В ОКОШКЕ

[РОМАН]

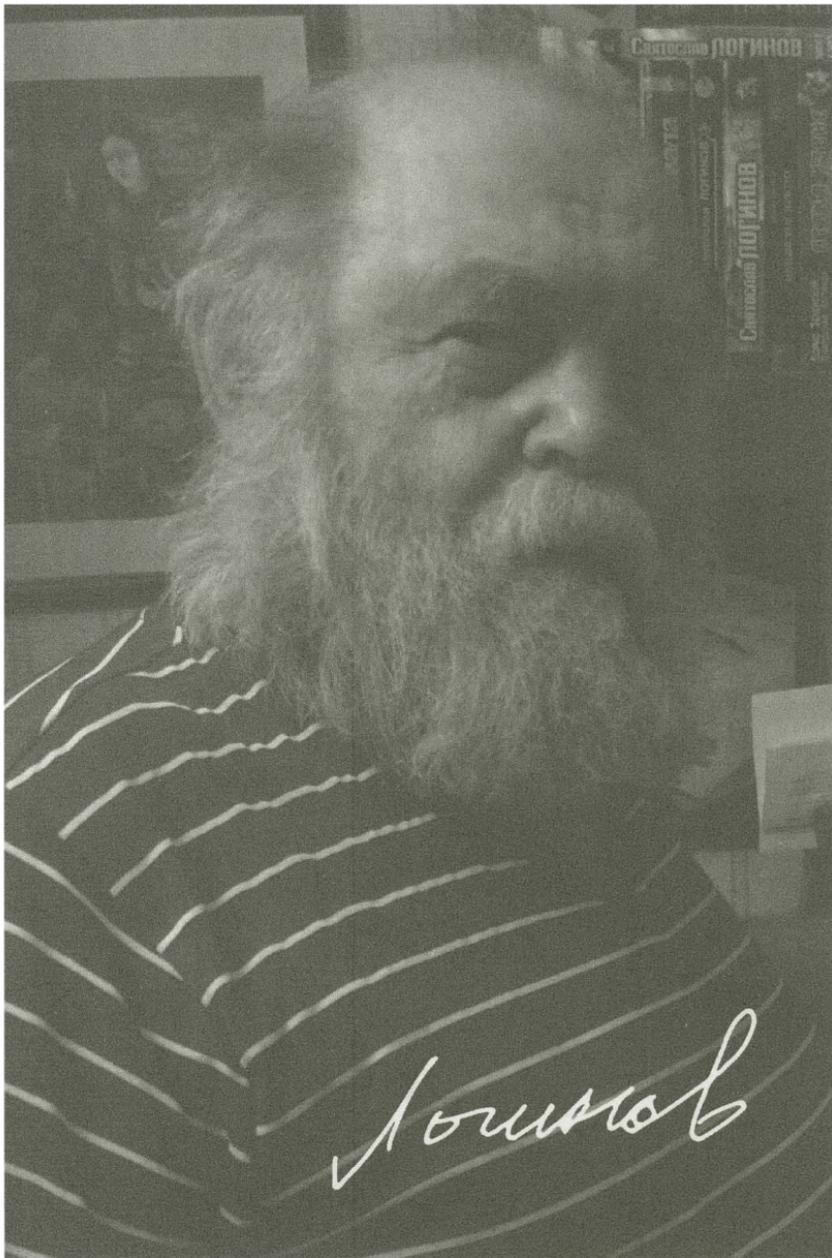


РАССКАЗЫ  
И ПОВЕСТИ



ACTA·DIVINA

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
Издательство Сидорович  
2018



Логинов

СВЕТ

В ОКОШКЕ

[РОМАН]



## Пролог

Шаг и ещё шаг... так шагаешь, как на прогулке, и палочка нужна больше для порядка, словно стек для лондонского денди. И ещё шаг... а бок почти не болит, так, понаивает слегка.

Хороший и тёплый вечер начала сентября. Самое любимое время года. Народ на улице гуляет, и я гуляю, а вовсе никуда не ухожу. Я же пешком иду, шаг за шажком, никуда не торопясь. В самом деле, куда мне торопиться? Туда опоздавших не бывает.

А идти-то далеко — часа три хорошего хода. Жаль, что ход у меня теперь нехороший, боюсь, что и вовсе не дойду. Ну, тогда таксомотор остановлю или частного, их сейчас много калымит... Что за слово исламское — калым? Неужто все эти шоферыги собираются жениться на восточных красавицах и копят на выводное? Половина давно женаты, а всё равно калымят. Зато с такси проблем больше нет, только подними руку — любая легковушка остановится — «тебе куда, отец?» Куда, куда... на Кудыкину гору. А не знаешь дороги — вези прямо в морг.

Шаг и ещё шаг... и ещё длинный мучительный шаг. Боль ввинтилась в правый бок, прошла по рёбрам, отдала в руку. И сразу понадобилась палка, а то ослабевшие ноги не удержали бы его, и осел бы Илья Ильич прямо посреди тротуара. Осёл осел... нечего было дураку выпендриваться... вздумал удаль показывать — перед кем? Ну, ничего, главное до скамейки добаться, а там отсижусь.

Шаг и ещё шаг... Вот и скамейка. А боль, как назло, утихомирилась и вновь безмятежно понаивает в правом боку.

Сел.

Немного отдышаться, и можно дальше ковылять. Только сначала — отдышаться...

Навстречу пешеход — тоже ходок хоть куда. Ноги враскорячку и при каждом шаге норовят подогнуться. Не понять —

он свою коляску катит, или она его тянет за собой. Но друг без друга они двигаться явно не смогли бы. Гордая мама вышагивает позади, любитесь самостоятельным сыном. Сколько же тебе времечка, коллега? Годик уже стукнул или ещё покуда нет? Но ходим мы с тобой на равных, только у тебя всё впереди, а у меня уже за плечами.

Малыш замер, приоткрыв рот с единственным проклюнувшимся зубом, уставился на лицо Ильи Ильича. Вот уж есть чему удивляться — сидит дедушка, весь серый, в морщинах... руки трясутся. На такого и взглянуть страшно. Кощей Бесмертный, вот он кто... А вернее — смертный Кощей.

Через силу и сквозь всколыхнувшуюся боль Илья Ильич выдавил улыбку. И мальчишка немедленно засиял в ответ своим зубом, заулыбался, как умеют улыбаться только младенцы, лишь недавно начавшие осваивать это непростое искусство. От усердия его даже качнуло, и коляска немедля поехала вперёд, увлекая косолапого водителя. Переступая широко и развалисто, он всё же обернулся и на прощание одарил Илью Ильича новой восторженной улыбкой. Мама прошествовала следом, не покосив и взглядом в сторону сидящего старика.

Сейчас отдышусь и пойду дальше.

Какое пойду — пошаркаю. Вон, на асфальте буквы — каждая вдвое против моего шага, аэрозольным баллончиком нарисованы. Весь город перемазали, сволочи. Раньше бы за такое мигом в кутузку загремели, художники, раздрабадан их так... Что там написано-то?

«Анюта, любимая, спасибо!»

Господи, да ведь я напротив роддома сижу, это какой-то счастливый папаша расстарался аршинными буквами! Тогда, конечно, такое по-человечески понимать нужно. Вон ещё один куролесит под окнами, ишь, как выкаблучивает... и в руке — сотовый телефон. Это он что, серенаду, никак, по телефону поёт? И верно, поёт. А жена, небось, у окошка стоит, тоже с телефоном, слушает и вниз смотрит, как суженый на радостях джигу выплясывает. Или что они сейчас пляшут — ламбаду, что ли?

А вообще — странный народ. Им теперь карманный телефон весь мир заменяет. Я, помню, когда Илюшка родился, на

третий этаж по водосточной трубе полез. Милиция снимала. А тоже, в отделение не забрали, люди и тогда с понятием были.

Вот оно как вышло, с Илюшкой-то. Я Илья Ильич, и он Илья Ильич. И все в роду, как говорил отец, тоже Ильи Ильичи... были. Не вернулся самый младший Илья из далёкой африканской страны Анголы. Чуть не тридцать лет уже, а вспоминается каждый день. «Родина не забудет вашего сына» — так, что ли, говорил военкоматский майор, в тот недобрый день. И верно, не забыла. Пенсию платят не только свою, но и за потерю кормильца. А потерю единственного сына — чем возместить? Сказали — несчастный случай, с кем не бывает, мог и у самого дома под машину угодить. О том, что в Анголе идёт война, в ту пору люди если и знали, то лишь из вражеских голосов, и потому беда приходила в дома особенно неожиданно.

Встал со скамейки, качнулся к краю тротуара, поднял руку. Машина, как и предвидел, немедля остановилась. Это мордovorота ещё не всякий посадит, некоторые боятся, а старика — почему не подкинуть?

— Куда, отец?

— В Лахту.

Присвистнул, оглядел костюм, сшитый четверть века назад.

— Далековато... За сороковник доведу.

Надо же, по-божески... Туда не меньше полтины должно быть.

Поехали.

Жигулёнок вывернул на Приморский проспект, слева за лентой Большой Невки желтели клёны Елагина острова. Мысль о том, что зелёными он их больше не увидит, казалась совершенно нереальной.

— Тут куда?

— Налево. Вон, у подъезда останови.

Подкатил с лихостью к самым ступенькам. Наклонил голову, вывеску читает: «Хоспис», — ага, понял! Вишь как в лице переменялся.

Илья Ильич достал сотенную бумажку — Родина не забывает тех, чьих сыновей она угробила, — протянул водиле.

— А других нет? У меня сдачи не наберётся...

— Бери так. Выпьешь за... здоровье.

Газанул, словно боится, что отниму заработанное.

Теперь — подняться по ступенькам.

Сёстры в хосписе либо деловитые старушки, либо молодые девчонки, бледные до прозрачности, словно это они помирать собрались. Половина — иностранки, своих умирающих им, видать, не хватает, сюда приехали заботиться. Заботиться о живых нужно, а помереть можно и без комфорта. Захлопотали вокруг — как же, беглец вернулся! — в палату отвели, уложили, укольчик сделали, в самую пору, а то под рёбрами снова начало грызть. Длинноносая девица уселась рядом, заговорила о божественном. Гневно рыкнул в ответ, помянул мракобесие... — отвязалась, они тут все деликатные. А книжонку в изголовье оставила. Почему-то у этих иностранцев даже евангелие худосочное, тонюсенькое и в бумажной обложке. Не чета православному. И перевод у них скверный, знакомых слов не узнать.

Отбросил книжонку, закрыл глаза. Укол подействовал, начало клонить в сон.

Глаза открылись сами, словно толкнул кто изнутри. Рядом суетился врач, две сестры в белых, куколом торчащих косынках. Слух резнуло слово «адреналин».

Не надо адреналина! У меня сердце как мотор, за всю жизнь ни одного перебоя.

Хотел отказаться от инъекции, и не смог, губы не шевельнулись. Неужели конец? Вроде бы с утра получше было, а сейчас так и боли нет. И не страшно ни чуточки, всё как не со мной.

Сестра подаёт доктору шприц. Накрахмаленный куколь на голове похож на ресторанный салфетку. Надо же, о какой ерунде в такую минуту думается... Нужно итоги подводить, жизнь вспоминать, жену, сына, себя самого...

Первое воспоминание — ему два года с небольшим, он в гостях у тёти Саши. Тётя Саша — вовсе не его тётка, а бабушка. Никто ещё не знает, что через месяц древняя старуха не проснётся поутру. О тёте Саше ему рассказали потом, а сам он помнит кружевную салфетку на комодке и семь желтоватых слоников на ней. Слоники нагружены счастьем, они несут удачу своему хозяину. Магически звучащие слова: «Настоящая сло-

новая кость»... А следом вспоминается широчайшая улыбка сегодняшнего мальчугана. Искра первого зуба на розовой десне... Господи, ведь между этими воспоминаниями — вся жизнь. Другой не будет, и уже ничего не переделаешь.

В голове шум, словно две больших раковины прижали к ушам. Голоса доносятся сквозь плеск кажущегося моря. Головы не повернуть, даже глазом и то не покосить. Где-то на периферии зрения колышется серая занавеска, гасит белый день, и вскоре лишь светлое пятно остаётся перед глазами, обращаясь в бесконечную трубу, в дальнем конце которой видно сияние. И он падает в эту трубу, навстречу свету. Ну, этот оптический обман мне знаком, даже сейчас поповские бредни не привлекают... Тела нет, один слух ещё не отказал. В соседней палате включено радио, Русланова поёт: «Ленты-бантики, ленты-бантики!..» — надо же такое придумать — путешествие на тот свет под руслановские взвизги.

«Ленты в узлы вяжутся!..»

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Настоящая слоновая кость» — эти слова были первым, что осознал Илья Ильич, открывши глаза. Никто не произносил странной фразы, она прозвучала как отголосок недавних событий.

Кругом было пустое место. Что-то вроде равнины без единого ориентира на ней. Но даже субстанцию под собой определить не удавалось. Была там какая-то опора, но и только. И ещё оставалось отчётливое воспоминание о меркнувшем сознании, словно в сон проваливаешься, и вид потолка в больничной палате, который замирающему взгляду начинает казаться светом в конце воображаемого туннеля.

Короче, Илья Ильич совершенно точно помнил и понимал, что он умер.

Значит, тот свет... Вот уж чего не ждал, да и не больно хотел. Для бреда — слишком осязаемо, для реальности — слишком пусто. Значит, таки действительно, тот свет.

Мысль новая и неприятная, так что её пришлось повторить дважды.

Ладно, философию пока оставим, пойдём смотреть, как тут мертвецы живут.

Илья Ильич завозился, с трудом поднялся и тут же провалился чуть не по колено. То, что теперь было под ногами, не желало удерживать тяжёлое и слишком материальное тело.

Выбрался из ямы, укрепился на ногах, оглядел себя со тщанием, благо что серый свет позволял это сделать. Был Илья Ильич гол и бос, кроме собственного тела единственным предметом, претендовавшим на реальность, оказался кожаный мешочек со шнурком, висящий на шее и заметно тяжёлый наощупь.

«Ксивник», — вспомнил Илья Ильич словечко из молодёжного жаргона. Или педерасточка? Должно быть, там документы... свидетельство о смерти, или что там должно быть у новопреставленного?

В ксивнике оказались деньги или, во всяком случае, что-то крайне на них похожее. В одном отделении — весомые монетки, размером напоминающие двадчатки советского чекана, во втором — какая-то мелочёвка вроде постденоминационных российских копеек. Никаких надписей на монетах не было, лишь абстрактный рисунок, слегка напоминающий древние пиктограммы. Илья Ильич пожал плечами и затянул шнурок. Считать монеты он не стал, в первые минуты загробной жизни найдутся более увлекательные дела, даже если кругом нет ничего, кроме этих самых монет. К тому же неясно, что означает такая копейка — много это или мало, и на что её можно употребить. Но если это и впрямь деньги, то о загробной жизни можно заранее сделать далеко идущие и не слишком лестные выводы.

Сам Илья Ильич практически не изменился: прежнее исхудавшее тело, длинный, не вполне заживший шрам на животе — след запоздалой и бесполезной операции. Вот только ноющая боль в боку исчезла. Не затаилась, готовая наброситься с новой силой, а пропала напрочь. Оно и неудивительно, странно было бы после смерти страдать от опухоли, что свела тебя в могилу.

«Интересно, — подумал Илья Ильич, — сколько прошло времени в реальности? Меня уже похоронили? Когда люди оказываются здесь: на девятый день или на сороковой? И если это действительно потусторонний мир, то где все остальные? Куда, в конце концов, мне идти? — Рука встряхнула кошель. — Взносы вступительные — кому платить?»

Ответа не было. Илья Ильич, вздохнув, выдрал ногу из непрочной субстанции и сделал первый шаг. Ступню немедленно засосало по самую шиколотку, словно в раскисшей просёлочной глине.

«Не потонуть бы...» — опрометчиво подумал Илья Ильич, сроду на серьёзных болотах не бывавший и слабо представляющий себе эту процедуру. Он вообразил, как медленно погружается в безвидное небытие, расстилающееся кругом, и его непроизвольно передёрнуло.

Что за чушь! Может, он ещё не вполне умер, и это просто очередной предсмертный синдром, безумно реалистичный и жестокий? Неужто такое видится каждому умирающему? Люди топнут в бесцветном и бессветном киселе, ещё надеясь каждый на своё: один на колдующих у постели терапевтов, другой на доброго боженьку, который выволочет его из этого чистилища. Во всяком случае, на ад окружающее не слишком походит... на тот ад, которым пугают суеверные старушки.

Сделал шаг и второй... совсем как за час до смерти, только не болит ничегошеньки. Значит, и у мертвеца есть свои прерогативы.

То, что было внизу, не липло к ногам и худо-бедно держало на плаву. Хотя идти толком не удавалось.

— Овсянка, сэр! — прокомментировал Илья Ильич.

В следующее мгновение абсурд творящегося безобразия наконец коснулся его разума. Ведь он умер! Умер на самом деле и даже помнит свою смерть! Происходящее слишком подробно, чтобы быть бредом. На бред можно списать овсянку под ногами, пустоту и беззвучие. Но кошель, полный незнакомых монет, не вписывался в гипотезу о последних видениях умирающего мозга. Он был слишком самодостаточен, раздут и тяжёл. Шёлковый шнурок, на котором висел мешочек, ощутимо резал шею.

Но если это пусть потусторонняя, но реальность, то где люди, что попали сюда прежде него? Илья Ильич задохнулся, ушибленный безумной мыслью... Ведь здесь должен быть погибший в Анголе Илюшка, и Люда, так и не оправившаяся после проклятой похоронки. Целый год она ждала, надеясь, что случилась какая-то нелепость, что в гробу, который им не позволили открыть, кто-то другой, а сын вернётся. Исхудала, мучилась бессонницей и нервными расстройствами. Мужа по имени называть не могла и вздрагивала, если слышала это имя от других. А потом, выбрав время, когда Илья Ильич был послан в командировку, приняла двухнедельную норму гексобарбитала и больше не проснулась.

За тридцать лет он привык жить один и даже перед смертью не вспомнил толком об умершей полжизни назад жене. А теперь, что, он, получается, может встретить жену и сына? Он — глубокий старик, а они — неужто остались молодыми? Или, быть может, изменились до неузнаваемости... Что здесь происходит с людьми? Что вообще может статься с человеком после смерти? Легко тому, кто собственную мысль заменяет библейскими сказками, он верит, что быть ему в раю (почему-то никто из религиозных граждан в ад не собирается и милосердие господне распространяет на любые свои грехи). Конечно, попавши сюда, они будут вопиять, но удивятся лишь жестокости своего бога. Хотя, кто сказал, что они попадут сюда? Илья Ильич поёжился, ощутив мурашки по всему обнажённому телу. Ведь тут никого нет... а что, если каждый получает по вере своей? Одни тешатся с гуриями, другие голосят осанну, а он, не верящий ни во что, ворочается среди чистейшей абстракции, не зная ни времени, ни места, ни своей судьбы.

Вот только причём тут кошелёк? В деньги он верил ещё меньше, чем в бога. Зарабатывал, конечно, но не поклонялся. Странно всё это.

Илья Ильич выпрямился, даже постарался на цыпочки привстать, сколько позволила каша, стелящаяся понизу. Нет, ничего не видно, горизонт съеден бледноватой дымкой. Если тут есть люди, то они где-то далеко.

— Э-ге-ге!.. — закричал Илья Ильич, сложив ладони рупором. — Есть тут кто?!

Звук надёжно утонул в окружающей неподвижности.

— Главное без паники! — заговорил Илья Ильич вслух. — Собственно говоря, чего мне пугаться? Я и так умер, и хуже, чем есть, уже не станет. Это живым бывает страшно, а мёртвому всё должно быть по фигу.

Разумные слова не успокаивали. Раздетый человек на голой земле под обнажённым небом. И даже не на земле, да и небо ли там, над головой?.. Хотелось спрятаться, зарыться... Илья Ильич понимал, что скоро возжаждет Страшного суда и грядущих мук, лишь бы избавиться от неопределённости. К горлу подкатывала безнадёжная истерика. Сколько времени он провёл тут? Вряд ли больше получаса, просто чувство времени погасло, уничтоженное окрестной безликостью. Там, где ничего не происходит — времени нет. Можно идти, можно сидеть или лежать, всё равно с места не сдвинешься, вечно оставаясь в центре белесой равнины. Вот сколько он тащится куда глаза глядят? Да нисколько не тащится, всего-то десяток шагов сделал — вряд ли больше. А ориентировку потерять успел. Тут трёх сосен нету, и заплутать куда как просто. Может быть, на этих десяти шагах он три полных круга очертил. Была бы хоть какая точка отсчёта... А лучше — две точки, по ним направление задать можно.

— Дайте мне точку опоры, и я переверну мир, — пробормотал Илья Ильич.

Снял с шеи тугую мошну, вылушил на свет копеечку, осторожно, стараясь не утопить в киселе, положил на серое. Он был готов, что монетка провалится сквозь опору или немедля затеряется, скрывшись из глаз, но ничего такого не случилось. Хотя если отойти чуть в сторону, серебристая искорка, конечно, станет не видна. И всё же это лучше, чем ничего.

Вот так, главное — заняться делом, и истерики как не бывало.

— Эх, — произнёс Илья Ильич вслух, — этак я все деньги растеряю, а кто знает, для чего они тут служат?.. И вообще, ориентирчик не из лучших. Была бы вешка...

Казалось бы, ничего не изменилось кругом, не шелохнулось, не мигнуло, но вместо серебрянки перед изумлённым Ильёй Ильичом образовалась торчащая из серой субстанции деревянная рейка.

— А монетка-то у нас непростая, — констатировал Илья Ильич, осторожно вытягивая вешку.

Рейка была как рейка, занозистая палка метра полтора длиной, явно из лесопильных отходов. С одного края уцелел кусочек коры, так что без труда можно было определить, что спилена сосна совсем недавно.

Илья Ильич осторожно втянул ноздрями смолистый запах и сказал:

— Живём!

Странно звучит это слово в устах человека умершего, но другого не найти, когда среди бескачественного, кисельного небытия дистиллированный воздух прорезает терпкий сосновый аромат.

Теперь Илья Ильич смотрел на раздутый кошель без прежнего сарказма. Деньги, которые умеют такое, вызывают уважение даже у самого законченного бессребреника. И дело не в том, что у него теперь есть вешка. Главное, что в мире, лишённом качеств, объявился запах смолы и шероховатость неструганой древесины.

— А ещё можно? — спросил Илья Ильич, выкладывая вторую копеюшку.

Вешка появилась немедленно, похожая на первую, но без коры и с заметной выбоинкой там, где вывалился кусок сучка. Без сомнения, это были самые натуральные вешки, совершенно такие, какими Илья Ильич размечал будущую трассу, когда в молодости работал топографом на строительстве шоссе.

Вторую вешку Илья Ильич оставил торчать там, где она возникла, чтобы в окружающем безобразии оставался у него хотя бы один ориентир. Отсчитал десяток шагов, оглянулся. Вешка была видна хорошо, но уже можно заключить, что вскоре она затеряется в мареве. Одно свойство мира было найдено, но оно явно не обещало никаких перспектив. Ну, утыкает он рейками окружающее безобразие, уютнее от этого станет, или люди появятся? Человек — животное общественное, и Илье Ильичу было бы сейчас легче среди кипящей серы, но в хорошей компании.

Может быть, это всё-таки бред? Илья Ильич ткнул кулаком в правое подреберье, заранее ожидая вспышки боли. Ни-



чего... то есть совсем ничего, печень как у двадцатилетнего. Если это ад, то какой-то странный. В аду мучения уменьшаться не должны.

Илья Ильич отсчитал ещё четыре десятка шагов, воткнул второй колышек и присел рядом.

— Кто теперь скажет, что у меня ни кола, ни двора? Кол есть, и двор кругом необозримый...

Шутка не веселила. Первый шок уже прошёл, проходило и оживление, вызванное исследованием окружающей... не действительности даже, а скорее — кажимости. Наступала реакция. Чувства были утомлены отсутствием красок, звуков, тактильных ощущений. Если бы не рейки, торчащие одна под боком, а вторая вдали, впору было бы взбеситься от окружающей пустоты.

— Вот что, — сказал себе Илья Ильич, — я ложусь спать, а там посмотрим, чем всё кончится. В бреду, насколько мне известно, спать ни у кого не получается. Иначе это будет не бред, а сон.

Спать и впрямь не получалось. Не отпускало нехорошее чувство, что покуда он будет валяться сонным, серая пелена засосёт его, и он уже не сможет выбраться даже в это жалкое существование. Не исключено, впрочем, что и впрямь, почивающий вечным сном, сном преходящим забыться не может.

Промаявшись минут десять, а быть может, и полвечности, ибо время тут не двигалось, Илья Ильич завозился, сел на тепловатом ничто и запел нарочито фальшиво:

— Почивай в сладком сне, рай приснится тебе!..

А может, он и впрямь в раю? Чем-то окружающая вата напоминает облака, какими он представлял их в детстве... Ещё немножко, и он отыщет какой-нибудь престол и Саваофа, восседающего на нём в окружении ангелов. Хотя будь так, его бы давно приволокли на Страшный суд и свергли в преисподнюю. И уж ни в коем случае не снабжали деньгами на дорогу.

Теперь Илья Ильич, насколько позволяло скудное освещение, рассматривал самого себя. Он не любил своего тела, за последние тридцать лет оно стало неприятным: дряблым, нездорового мыльного цвета. Оно слишком часто отказывалось ему служить, а последние пару лет мучило непрерывными бо-

лями. И теперь ничего не изменилось, только нытьё в правом подреберье исчезло и тугой чужеродный ком куда-то рассосался. И то деньги, как говаривали лет сорок назад.

И вновь мысли, движущиеся по кругу, обратились к деньгам, на которые здесь было можно покупать сосновые рейки. Илья Ильич достал третью копейчку, спросил, словно у живого существа:

— А одежонку, какую ни на есть, ты сделать можешь?

Положил монетку под ноги, подождал с минуту, вздохнул:

— Не получилось... буду покамест изображать нудиста.

Отыскал взглядом дальнюю вешку, покачал головой — потеряется палочка, как пить дать, — но вытаскивать её не стал, решив оставить метку неподалёку от места своей высадки. Похлопал ладонями по бокам, словно намеревался карманы найти на голом теле, выдернул вторую рейку и пошёл, стараясь никуда не сворачивать, хотя и знал, что в этой пустоте неизбежно начнёт давать кругалю.

На этот раз он считал шаги, загибая палец левой руки на каждый десятый шаг. Когда левая рука оказывалась зажата в кулак, а затем вновь растопырена в пятерню, — загибался палец правой руки.

Оставленная вешка быстро скрылась из глаз, вокруг тянулась пустая равнина. Лимбо! Больше всего это напоминало первый круг Дантовского ада.

— Значит, так и буду блуждать, — сказал Илья Ильич, поудобнее перехватывая палку.

Он уже привычно разговаривал сам с собой, тем более что за последние годы ему частенько приходилось сидеть одному и беседовать сам-друг. Родных нет, во всяком случае — близких родных. Как там говорят на похоронах? Родные и близкие... Конечно, у Ильи Ильича оставались какие-то двоюродные и внучатые племянники, с которыми он в жизни не встречался. Сейчас их, небось, подняли по тревоге, и они озабочены похоронами. Поди, ведь в крематорий стащат... Илья Ильич, достигнув определённого возраста, начал спокойно относиться к предположению, что когда-то придётся помирать, но мысль о крематории была ему неприятна. Хотя и кладбище тоже... «Добыча гробовых гостей», — стихи Бодлера казались сейчас особенно неуместными.

...Интересно, что будет с его библиотекой? Поделят, наверное, или распродадут. Кому сейчас нужны старые книги? Денег он наследникам не скопил, едва на поминки хватит, мебель и прочее барахло можно не глядя на помойку стаскивать. Только и есть, что библиотека. И ещё квартира, конечно, хорошая, трёхкомнатная, в сталинском доме. А он последние бесплодные годы в ней один жил... Нет, была, конечно, Любаша, но она так и не переехала к нему, только иногда приходила ночевать, да в отпуск они старались ездить вместе. Самостоятельная женщина...

Любаша умерла уже десять лет как, и он нечасто вспоминал её. Чем можно вспоминать женщину, совместная жизнь с которой так и не сложилась? Как вместе спали? В восемьдесят лет такое вспоминать уже не интересно. Вот и получается, что прожил жизнь один. Были бы внуки, была бы цель в жизни, а Илюшка вот оплошал в проклятой Африке.

Илья Ильич остановился, прищурившись гляделся в смутную даль. Что-то там было. Словно белое летнее облачко среди хмарых ноябрьских туч, оно не имело определённой формы, но выделялось чистым цветом, какого не встретишь поздней осенью.

Выдёргивая ноги из мягкой пустоты, Илья Ильич заспешил вперёд. Сразу стало тяжело идти, все восемьдесят прожитых лет вселились в дрожащие колени и грудь, которой не хватало воздуха.

«Куда бегу? — подумал Илья Ильич. — Если я помер, так впереди всё равно вечность, успею куда угодно. А если жив, то и поберечь себя надо...»

Белое приближалось. Уже можно было различить человеческие фигуры, странно неподвижные, а рядом не строения даже, а скорее декорации. Да, больше всего это напоминало именно старые декорации. Колонны, дорические или ионические — кто их разберёт? — торчали ввысь, ничего не подпирая, белые неживые деревья напоминали фикусы из цветочного магазина, и человеческие фигуры казались алебастровыми статуями. Впрочем, нет, не человеческие... Это были ангелы! За спиной у каждого топорщились декоративные лебедячьи крылья. Всё это до идиотизма напоминало придуманный им полчаса назад бред.

Под ногами наконец-то появилось твёрдое, что-то вроде брусчатки, Илья Ильич от неожиданности споткнулся и едва не упал. Выручила рейка, намертво зажатая в кулаке.

Сомнений не оставалось — перед ним был рай! Вернее, искусно выполненный макет рая размером, вероятно, чуть более полгектара. Тутовник вперемешку с яблонями, коленкоровые цветы на клумбах, дурацкие колонны и ангельские чучела с пальмовыми ветвями, арфами и обоюдоострыми тевтонскими мечами, зажатые в кулаке. В самом центре этого садика Илья Ильич, как и ожидалось, сыскал облако с резным креслом на верхушке и восседающего на этом кресле господина. Так же, как и всё окружающее, господь был бел и ненатурален.

Оскальзываясь и помогая себе рейкой, Илья Ильич вскарбкался на облако, приблизился к макету вседержителя, ухватил за ухо. На святотатство никто не отреагировал. Вернее, отреагировало ухо, оно отломилось, вниз посыпался сероватый порошок.

— Тыфу ты пропасть! — огорчился Илья Ильич. — Не успел оглядеться, а уже ломать начал, вандал... Я думал, он хотя бы из папье-маше, а тут вообще какая-то труха. Вот как теперь чинить?

Наклонился, набрал в ладонь порошка, поплевал, стараясь замесить что-то вроде теста, которым можно было бы приклеить богу ухо. Ухо не приклеивалось. Господь смотрел на происходящее с улыбкой всепрощения под грозно нахмуренными бровями. Совершенно дурацкое сочетание, очевидно, того, кто строил обветшалую декорацию, ничуть не интересовала достоверность.

Илья Ильич положил испорченное ухо на колени богу и осторожно спустился в сад. По дороге он заметил, что его палка в нескольких местах пробила облачную поверхность и оттуда клочьями ваты выпирает знакомое серое ничто.

— Ха! — громко сказал Илья Ильич. — Чует моё сердце, что здесь не обошлось без презренного металла!

Достал копеечку, издала бросил на колени богу и приказал:

— Ну-ка, живо поправить, что я тут наломал!

Латки на облаке оказались совершенно незаметны, а вот возникшее ухо получилось слишком новеньким, оно кукольно-

розовым пятном выделялось на меловой поверхности статуи, невольно привлекая взгляд. Илья Ильич поморщился, но больше ничего не стал исправлять. Он осторожно обходил райский садик, разглядывал коленопреклонённых ангелов, восторженно протянувших руки к престолу, ангелов, неслышно поющих или трубящих в горны, отнятые у гипсовых пионеров, воинственных архангелов, охраняющих с мечами в руках периметр махонького рая... «райка» — припомнилось слово, и Илья Ильич подивился его уместности.

По самому краю эдемчика всхолмливался валик белой пыли, очевидно, когда-то здесь поднималась стена, ограждавшая благолепие от непрошенных гостей вроде недостойного Ильи Ильича. Но теперь стена рухнула, и выцветшая райская краса быстро разрушалась. Оглянувшись, Илья Ильич обнаружил, что его босые ноги в нескольких местах проломили полированный плитняк дорожки, выдавив наружу пыль и клубящееся ничто.

Заглаживать следы Илья Ильич не стал. И так понятно, что тут всё в забросе и разваливается само по себе. Выбрал место, где камень казался попрочнее, сел в роденовской позе, обхватив голову руками. Потом засмеялся. Горло, отвыкшее за последние годы от смеха, издавало хриплые, нечеловеческие звуки, внутри всё замерло в ожидании приступа скручивающей боли, но остановиться Илья Ильич не мог. Он хохотал всё громче и отчаянней, хохотал над собственной бездарной смертью, над собой, голым и тощим, сидящим среди развалин кукольного райка с мешком денег на шее. Всего этого было слишком много для мозга, измученного многодневной пыткой, и в то же время слишком мало, поскольку вокруг не было ничего настоящего, кроме сосновой жёрдочки в руках. Но даже сойти с ума Илья Ильич не надеялся. Если уж ты умер в здравом уме и твёрдой памяти, то безумие будет для тебя непозволительной роскошью.

Хохотал со всхлипом, до слёз, до икоты и судорог в натруженном животе. Потом замолк и замер. Если бы умел, то заплакал бы. Другие старики, бывает, частенько плачут, а он живёт всухую. Даже над заваренным цинковым гробом, в котором привезли Илюшку, не сумел пролить ни слезин-

ки. А говорят, кто плачет, тому легче живётся. А уж умирается и того легче.

Илья Ильич потряс головой, зажмурился, не желая видеть окружающего абсурда, застонал сквозь сжатые зубы. Не спасала давняя привычка к иронии, да и на истерику сил больше не было. Прямо хоть ложись да помирай.

— Иду! Иду!.. — раздался неподалёку призывный клич.

Илья Ильич вскинул голову и увидел, что к нему, вздымая клубы серой дряни, бежит человек.

Он бежал словно по хорошей дороге, ничуть не проваливаясь, и весь его вид был донельзя старомоден и кинематографичен. Такие наряды Илья Ильич видывал лишь в годы самого сопливого детства, да и то исключительно у престарелых щёголей, достающих по весне из гардероба пронафталиненные наряды нэповской эпохи. И, конечно, на киноэкране тоже приходилось видывать такое. У встречного была соломенная шляпа канотье! Белая пикейная рубашка с выворачивающимися манжетами и сменным воротничком на запонках! У него были штаны со штрипками и полосатая жилетка с кармашком для часов! Серебряная цепочка аксельбантом сбегала к кармашку, и можно было не сомневаться, что часы там тоже серебряные с откидной крышкой, украшенной гравированной надписью. И на ногах, которые так легко ступали по серому, красовались лаковые штиблеты.

— Опоздал! — причитал бегущий. — Как есть опоздал! Что ж он наделал, дуралей!.. Иду, сударь! — последнее он прокричал в голос, хотя уже был в десяти шагах от Ильи Ильича.

Илья Ильич поднялся навстречу. Ему было неловко, и оттого он особенно остро чувствовал свою наготу. Судя по всему, явился хозяин раешника, в котором Илья Ильич так по-хамски нашкодил. И ведь не скроешь ничего, вон они следы, заметные, оплывшие, словно отпечатанные на тающем снегу. Как теперь прикажешь оправдываться? Эх, до смерти дожил, а ума не нажил!

— А может, и успел!.. — пробормотал прибывший, останавливаясь и окидывая взглядом обнажённую фигуру Ильи Ильича. Затем он перевёл дыхание и без перерыва выпалил: — Ду ю спик инглиш? Джун хуа шо бу шо? Шпрехен зи дойч?

— Я, — ответил Илья Ильич, — абер зер шлехт.

— Абер шебихь, — поправил франт и добавил, обращаясь к самому себе: — Кажется, договоримся...

— Я, вообще-то, русский, — сказал Илья Ильич.

— Ба, земля! — искренне обрадовался франт. — Тогда совсем просто. А то ведь никогда не знаешь, кого сюда занесёт. Каждый на своём языке бормочет, жуть, иной раз ни слова не понять...

— Я тут напортил вам... — виновато произнёс Илья Ильич, указывая на следы разрушения.

— А!.. фигня всё это... — отмахнулся шёголь.

Он подошёл к стражу, всё ещё охраняющему осыпавшиеся ворота, и пинком обратил его в прах.

— Во, не держится, через полгода и следа не останется. Тут одна отработка осталась.

— А что это такое?

— Отработка-то? А пыль видишь? Это и есть отработка. А как совсем рассыплется, то обратно в ничиль перейдёт.

Илья Ильич молча кивнул, отметив про себя слово «ничиль». Очевидно, так называли сероватое ничто, расстилавшееся кругом. Ничего не скажешь, удачное слово, не иначе, придумал его человек, не чуждый философии и латинскому языку.

— Я не про пыль. Кому этот макет понадобился?

— Ай, — незнакомец огорчённо отмахнулся. — Лучше не вспоминать — одно расстройство. Я потом всё объясню. — Он безо всякого перехода протянул руку и представился: — Афанасий. Можно Афоней звать. Сыщик я.

— Илья, — назвал себя Илья Ильич. Хотел по отчеству, как привык за последние годы, но вовремя сообразил, что словоохотливый Афанасий, поди, старше его окажется, так что получится сплошной конфуз.

— Так-то, Илья, — задумчиво проговорил Афоня, — ты хоть понимаешь, что с тобой приключилось?

— Да уж как-нибудь. Я в полном сознании помирал, до последней секунды всё помню.

— Мне, значит, легче, не придётся вокруг да около ходить. Человек ты, вижу, толковый, рыдать и башкой биться не собираешься. Хотя прямо тебе скажу, всё здесь не так, как батюшка

в церкви учил. Это надо сразу уяснить, а то получится вот это-кое безобразие... — Афанасий шагнул и ловким ударом развалил ещё одного ангела.

— А я ничего такого и не ждал, — осторожно произнёс Илья Ильич, на всякий случай умалчивая о своём упорном безбожии. — Потому и удивился, когда встретил раёк.

— Раёк что надо, — протянул Афанасий, скучающим пинком обваливая садовую беседку. — Я ведь испугался, что ты его создал. А это какое-то старьё, они тут попадаются время от времени. Сотворит его какой-нибудь олух царя небесного, все деньги расшвыряет, а потом мается.

— Я тут тоже кое-что создал, — сказал Илья Ильич, покаявая палку.

— Это ничего... пустяки. Небось, одну лямишку потратил?

— Монетку, что ли?

— Ну да, лямишку. Которая маленькая. Она как будто из ламиния сделана, вот и зовётся лямишкой.

— Тогда как раз лямишка и ушла. А костюм попросил — ничего не вышло.

— Костюм — это дороже... Да ты не бойсь, я всему научу, раз уж я тебя сыскал. Только это... я ведь тут брожу, разыскиваю вас, потеряшек, время трачу, силы... ну, ты понимаешь?

— Сколько? — спросил догадливый Илья Ильич.

— Твёрдых расценок нет, — честно сказал Афанасий. — Кто сколько даёт.. Иной в нихиле так намучается, что готов всё что есть высыпать. Но, вообще-то, десять мнемонов будет нормально. Сам посуди, сдери я с тебя сейчас лишку, так ты же потом со мной и здороваться не будешь.

Илья Ильич развязал кошель, отсчитал десять монет покрупнее, протянул сыщику.

— Так?

— Правильно! Я же говорил, что ты толковый мужик! — Афанасий вытянул из-за пристяжного воротника кисет и высыпал туда получку. Кисет был точно такой же, как у Ильи Ильича, только заметно полегче.

— А всё-таки, как бы приодеться? — напомнил Илья Ильич, которого начинало тяготить, что он стоит голый, словно новобранец на медкомиссии.

— Это мы сейчас, живой рукой! Дай-ка мнемончик, покажу, как это делается...

Илья Ильич покачал головой, но мнемончик достал беспрекословно. Афанасий зажал монету в кулаке и спросил:

— Какой тебе костюм-то?

— А какой был за день до смерти, — сказал Илья Ильич, мимоходом подивившись, как легко слова о собственной кончине слетели с губ. — Хороший костюм был, почти новый.

— Значит, тот самый... Так мы могём. Вот новое что выдумать, это к портному надо.

В следующее мгновение Илья Ильич почувствовал на теле одежду. На нём и впрямь был его старый, «почти новый» костюм. Даже затёртое пятно на лацкане, которое не сумела уничтожить химчистка, оставалось на месте.

Афанасий разжал кулак. На ладони вместо одной крупной монеты лежало несколько лямишек.

— Сдача! — возгласил Афанасий, протягивая ладонь. Очевидно, мимо его внимания не прошло выражение лица Ильи Ильича, когда у него потребовали монету.

— Оставьте себе, — сказал Илья Ильич. — Мне их и класть-то некуда.

— Дня денег место всегда найдётся, — возразил Афоня, но лямишки мигом прибрал.

Илья Ильич огладил полы пиджака, сунул руку во внутренний карман, где обычно лежал паспорт. Конечно, никакого паспорта там не оказалось, да и вообще ничего не было. Карманы были пустыми, как после химчистки, которая, вопреки рекламе, не сумела вывести пятна. Но теперь Илья Ильич знал, что если понадобится, он и паспорт себе сможет сотворить. Вот только понадобится ли ему паспорт?

— А я монетку под ноги клал... — сказал Илья Ильич и, обкатывая новое слово, добавил: — На нихиль.

— Это необязательно. Главное, достать деньги и захотеть. Если денег не хватает, то ничего и не получится. Только так сразу деньгами швыряться не надо, пока цены не узнаешь и всё такое прочее. Ну, да я подскажу по первости. А теперь пошли отсюда, я же тебя ещё должен к людям вывести...

— И что, — решился спросить Илья Ильич, — те люди, которые раньше умерли, друзья, родные, они все здесь?

— Не так сразу, — поморщился Афоня. — Тут подготовка нужна, ты уж мне поверь. Ты, главное, за меня держись, а я всё справлю в лучшем виде.

Афанасий порывлся в мошню, добыл какую-то мелочишку, ухватил Илью Ильича за запястье и по-гагарински звонко произнёс:

— Поехали! За счёт заведения!..



Маячок гудел с тупой неумолимостью телефонного сигнала. Он включился вчера и с тех пор не умолкал ни на мгновение. Бип-бип-бип... — телефон занят, но в трубке продолжает гудеть. Даже ночью сквозь сон слышалась чередой коротких гудков. Людмила нехотя открыла глаза, невидящим взглядом уставилась в низкий бревенчатый потолок.

Ну что ему надо? Что он плачет? Знаю уже, знаю... не глухая, ещё вчера услышала и всё поняла...

Можно было бы выключить маячок, придавить, как надоевший будильник, но рука не поворачивалась сделать это. И не потому, что жалко пары лямишек, а просто не поворачивалась, и всё.

И чем думала, дура, когда ставила маяк? Ведь дорого же, мнемонами платила... А теперь не знаешь, как и избавиться. Во сколько это обойдётся? Ха! Одна лямишка... ломать не строить. Выключить его, и не вспоминать больше никогда. А он пусть ищет... Или он эту свою Любашу искать начнёт? Приехал муж из командировки, а у жены... вы думаете — любовник? Как бы не так! Жена сама у любовника, а дома никого нет! Ну что он плачет?.. Слышу, знаю — скончался любимый муж, прибыл... всего-то тридцать лет ждать себя заставил... Зато кормилец... чуть не каждую неделю вспоминал. И, опять же, не как другие, не с новой пассией сравнивал, какова в постели, а больше по хозяйству. Сядет чай пить с покупным джемом вместо домашнего пирога, да и подумает, что при покойнице сытней жралось.

Зомбак заворочался во сне, по-младенчески зачмокал губами. Через несколько минут он проснётся, увидит её рядом и, как всегда, ужасно удивится. Потом улыбнётся, обнажив все свои почерневшие от времени и дурной пищи зубы, и потянется к ней.

Тоже — работа. Другие завидуют. И она была довольна, пока вчера не запикал проклятый маяк.

Зомбак вновь заворочался, неосознанным, полусонным движением облапил её за грудь. Впрочем, даже когда он проснётся окончательно, все его движения останутся чуть-чуть заторможенными. Просто глаза будут открыты и звуки начнёт издавать. Человек, как-никак... тирольский...

Маячок гудел в ровном неумолимом ритме, напоминающем толчки, словно зомбак уже приступил к утреннему совокуплению. Лямышка из висящего на шее кошеля сама скользнула в руку. Маяк, пискнув, умолк.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Илья Ильич открыл глаза. Как обычно бывает на новом месте, потребовалась секунда, чтобы понять, где ты и как сюда попал. Вспомнилось легко, просто, безо всякого надрыва. Собственная смерть (вот уж с чем, кажется, трудно примириться!), равнина, залитая нищим, топтание на месте, нелепый мешок, полный мнемонив и лямышек, рейки, раёк, рассыпающийся отработанной пылью, шеголеватый сыщик Афоня, который сыскал его на равнинах Лимбо, успокоил, одел и привёл сюда. Место, куда они попали, больше всего напоминало придорожную гостиницу, старомодный мотель, таверну, трактир — вот только ни дороги, ни тракта, ни вообще хоть какого-нибудь пути тут не было. Почти сразу за забором начиналось безвременье, заполненное тусклой хлябью нищизы. Но по эту сторону зеленел скудный садик, стояли вытасенные на улицу столики и пахло шашлыком.

Хозяин заведения встретил их как старых знакомых. Афанасию запросто кивнул, а к Илье Ильичу подошёл персонально, поклонился, отрекомендовавшись как уйгур и не добавив

никакого имени. Хотя, возможно, он и в самом деле был уйгуром. Об уйгурах Илья Ильич знал только, что они в родстве с китайцами и считаются лучшими в Азии кулинарами. Трактирщик и впрямь был невысок, желтолиц и косоглаз, хотя ни сашими, ни ласточкиных гнёзд в меню не оказалось. Шашлык, впрочем, был хорош, равно как и овощи с острым соевым соусом.

Стоило всё дёшево, причём шашлык оказался дешевле, чем манты, а те, в свою очередь, стоили меньше, чем салат из зелёной маргеланской редьки, заправленный чем-то невообразимо острым и пахучим. Во всяком случае, за ужин на двоих и за комнаты себе и Афанасию Илья Ильич расплачивался лямышками, не тронув основного капитала. Хотя кто знает, много или мало — пять лямишек за порцию фунчозы? И десять лямишек за отдельную комнату и свежую постель? Единственное, что покуда сумел узнать Илья Ильич, что в одном мнемоне ровно триста шестьдесят лямишек, а мнемонов у него в кошельке было много, уж никак не меньше сотни.

Как Афанасий доставил его сюда, Илья Ильич сказать не мог: они просто очутились возле распахнутых ворот, а навстречу уже выходил приветливо улыбающийся уйгур. Сложивши руки у груди, церемонно поклонился Илье Ильичу, а сыщику сказал со значением:

— С прибылью вас, Афанасий Нилыч!

— Да есть немного, — скромно отозвался Афоня. Он подвёл Илью Ильича к столику, усадил и, наклонившись, быстро зашептал: — Это он намекает, чтобы я ему долги вернул... Видит, что новичка привёл, значит — при деньгах. А я ему много должен. И кто только придумал этот обычай — долги отдавать?.. погоди тут моментик, я с хозяином рассчитаюсь и живой ногой обратно...

Уйгур с Афонецкой скрылись в доме, но меньше через минуту явились вновь. Видимо, расчёты здесь проводились быстро и безо всяких расписок.

— Вот теперь можно весёлым пирком и за свадьбу! — возгласил Афанасий, усаживаясь за стол. — Хозяин, давай сюда всего, на что у меня денег хватит. Достатки мои ты знаешь,

а в долги я сегодня залезать не намерен. Дай хоть день побыть бедным, но гордым!

Уйгур поспешил на кухню, тут же появился оттуда с подносом, уставленным кушаньями, выдававшими его национальность. Был здесь сотейник с рыбным хе, огромнейший ляган, на котором горой возвышался горячий плов, блюдец с катыком, густым, как рыночная сметана, жгучая чимча, которую Илье Ильичу впервые довелось попробовать в Ташкенте, нарезанная аккуратными скибками дыня, шербет и прозрачные кристаллы навата в расписной фаянсовой чашке.

— Жрчка здесь дешёвая, — пояснил Афанасий, разрывая пополам лепёшку лаваша. — Но не вздумай ничего заказывать. Всегда бери только то, что есть в меню. Заказные блюда вдесятеро дороже...

Из-за дома появился ещё один человек, бледный и длинноволосый, с беспокойным тёмным взглядом, выдающим фанатиков и душевнобольных людей. Афанасий сказал ему что-то по-английски, незнакомец коротко ответил, присел на краешек стула и принял кусок лепёшки.

— Ты угощаяся! — щедро предложил Афанасий Илье Ильичу. — Хе у уйгура знаешь какое? Он карпа не признаёт, а только три рыбы: чир, хариус и таймень. Попробуй, сразу почувствуешь.

За полвека вкус того блюда, каким угощали Илью Ильича узбеки, подзабылся, но хе показалось удивительно вкусным, тем более что Илья Ильич, измученный непрерывными болями, не ел, почитай, уже неделю, и сейчас каждый кусок доставлял ему настоящее блаженство. Афоня пировал всюю, видно было, что ему тоже пришлось немало попоститься в последнее время. Приглашённый господин сидел на стуле, выпрямившись и крепко сжимая поданный кусок, к которому, кажется, не собирался притрагиваться.

— Это знаешь кто? — спросил Афанасий, утирая салфеткою жирные губы. — Это знаменитый проповедник. Сам он из Северо-Американских Штатов. Паствы у него там было — не пересчитать. Небось, прихожане думают, что он среди праведников пирует, а он тут, с нами сидит. Он и сам верил, что в раю будет жить, да и теперь от своего не отступается. Дурака

жизнь ничему не учит. Он сюда богатеем попал, аж жуть берёт, ежели представить. А как очутился среди нихилия и деньги увидал, то решил, что это ему такое испытание от бога положено. Деньги расшвырял и думал, что немедля в раю очутится. Ну, и очутился... сам понимаешь где.

— Так мы его произведение видали? — спросил Илья Ильич.

— Не. Его раёк в другом месте, да и поновее будет. Туда и сейчас постороннему соваться не стоит, получишь от архангела мечом по кумполу — мало не покажется. Квакерский рай суровый, туда чужих не пускают.

Квакер сидел, не улыбаясь глядя на обедающих. По сухому лицу было невозможно определить, понимает ли он, что разговор идёт о его особе.

— Ему и сейчас, — продолжал Афоня, — денег порой отваливается, хотя всё меньше и меньше. Но он их не бережёт, не-е!.. расшвыривает безо всякой пользы. Ни себе, ни людям. Сыщики его, бывает, прикармливают из жалости, так ведь изредка. У нас вроде как примета образовалась: повезло, нашёл новичка — дай квакеру кусок. Уйгур на задворках ночевать позволяет, но в комнаты не пускает, там за деньги. Чем ещё жив, сердешный — не знаю.

— Да бог с ним, — оборвал Илья Ильич, не привыкший жалеть сектантов. — Ты лучше расскажи, как тут нормальные люди живут?

— Значица, так, — Афанасий наклонился через стол. — Ты, главное, запомни: презренный металл тут важнее всего. Ты, небось, уже понял, с деньгами у нас всё можно, а без денег, как в песне поётся, жизнь плохая, не годится никуда. Что сколько стоит — поначалу меня спрашивай, а там разберёшься. Но главное — в долг никому ни лямишки. В рост будут предлагать, под любые проценты — не давай! Тут так: выпустил из рук — пиши пропало.

— А чего ж уйгур тебя ссужает? — поинтересовался Илья Ильич.

— Это я один такой блаженный... — отмахнулся Афоня. — Честный я, а уйгур меня знает как облупленного. К тому же сейчас долг зажму, так потом кто меня выручит, когда на мели окажусь? Опять же, куда бы я тебя привёл, если долги отда-

вать не желаю? Дело наше сыщицкое — сегодня при мнemoнах, завтра и лямышке рад.

— Понятно. Но ты всё-таки скажи, те люди, которых я при жизни знал, а они прежде меня умерли, они тоже здесь? Как увидеться-то с ними?

— погоди, это вопрос не сегодняшней... Ты сначала должен научиться всему, что тут потребно. Да хоть бы как с людьми разговаривать? Ты учти, здесь живых нет, обычаи иные, а обиды старые. Родных ты, поди, и не узнаешь, особенно кто молодым представился.

— Я Марка Твена читал, — хмурo сказал Илья Ильич.

— Ишь ты, — Афанасий прицокнул языком, — второй уже человек этого Марка поминает. И что, он — жив покуда?

— Сто лет как помер.

— Тогда не иначе он в Цитадели. Как-нибудь соберусь, почитаю твоего Марка.

— И всё-таки... — напомнил Илья Ильич.

— А что — всё-таки? Вот был у тебя при жизни заклятый враг. Так в том мире ты его запросто мог со света сжить. Хоть самому подкараулить, хоть... ну, в общем, были способы. А тут никуда никого не сживёшь, все и без того на том свете. Да и вообще, никакой подлянки не сделать, разве тот совсем тупой окажется. Только и можно, что не встречаться. Вот земляки наши, особенно кто после войны сюда попал, всё Гитлера ненавидят. А Гитлер он тут, при больших деньгах, между прочим, рукой не достанешь. И ничего ему не сделать, по второму разу на тот свет не отправишь. Только и можно, что забыть его поскорей.

— Вот оно как...

— А ты думал! Война меж мертвецами — последнее дело, а из-за живых дел, так и вовсе глупо. Люди они разные, и правды здесь скрывать не принято, всё равно, кто захочет, тот всё узнает. Но и презирать людей за то, как они жили — тоже не принято. Вот я, скажем, сыщик. Так я и на том свете сыщицким ремеслом кормился. В ОГПУ работал, на хорошем счету был. Вот только расстреляли меня в тридцать шестом. Как Ежов Ягоду скинул, так меня и расстреляли. И за что спрашивается? Служил верой-правдой, и впредь служить был готов...

Добро бы ещё узнали, что я и до семнадцатого в сыскном рабобтал, так нет ведь, просто так в расход пустили, от излишнего рвения.

Илья Ильич молчал, пристально разглядывая собеседника, у которого оказалась такая богатая биография.

— И вот, скажем, повстречаю я тут своего следователя — и что? А ничо, привет, скажу, Антошка! Как ты, своим ходом сюда, с тёплой постельки, или тоже добрые люди помогли? А больше ничего не скажу, потому как теперь мы с ним на равных, оба окочурились.

— Да-а... — наконец вымолвил Илья Ильич. — Занятно.

— А ты ничего мужик, — вдруг произнёс Афанасий. — Это же я тебя проверял, как ты мои уроки понял. Вот дал бы ты мне сейчас в хрюкальце или в глаза плюнул, так сразу бы почувствовал, что не надо было этого делать. А я бы заработал на тебе побольше, чем честным трудом. У нас судей нет, расчёты сами собой ведутся. За мордобой полагается три десятка мнemoнов штрафа, половина — битому, половина — в казну. Хрястнул по зубам, сразу твоя мощна полегчала, а моя наполнилась. А зубы новые вырастут, народ здесь здоровый, болеть незачем.

— Так ты придумал про службу в органах или правду сказал?

Афанасий раздвинул волосы, так что стала видна пролысинка и корявый шрам чуть повыше виска.

— Видишь? Это от пули след, после контрольного выстрела. Специально оставил, скептикам показывать, вроде тебя. Конечно, я не в расстрельной команде служил, а был филером или, по-нынешнему — топтунком, хотя служба есть служба, и случается на ней всякое. Так-то. Я врать не люблю. Правда всегда ядрёней, у неё привкус такой, что не спутаешь. Ты готовься, тебе всякой правды узнать предстоит, так моя ещё шуточкой покажется. Да ты не дёргайся, я ничего личного в виду не имею. Я вообще о людях говорю. Ну вот, скис... а ведь поначалу молодцом держался. Ладно, хватит о плохом, давай лучше выпьем.

Афанасий словно фокусник, выдёргивающий из шляпы кролика, вытащил откуда-то трёхлитровую бутылку мутновато-зелёного стекла. Бутылка была заткнута корковой пробкой и залита

сургучом. Афанасий привычным движением крутанул бутылку, глядя на просвет, как вихряется по кругу мелкие пузырьки.

— Монополька, — сказал он ласково. — Такой у вас считай уже сто лет не делают.

— Куда столько?.. — тихо ужаснулся Илья Ильич.

— Пить, куда ж ещё, чудак-человек? А что много, так сам посуды: мерзавчик три лямишки стоит, и четверть тоже три лямишки. Это же дешёвка! Вот я и беру, чтобы с запасом. Которые молодые, те так не умеют, для них поллитру создать — предел мечтаний. А мне — запросто.

— Спивается народ при таких ценах?

— Не, кто мог спиться, тот ещё при жизни спился. А нам зачем? Хочешь, я её под куст вылью? А если не хочешь, то дай по маленькой, для пищеварения и взаимопонимания...

Квакер осуждающе смотрел голодными глазами.

К вечеру само собой случилось, что за совместный ужин и комнаты заплатил Илья Ильич.

— Ты гля, земля... — заплетаящимся языком твердил Афанасий, — у нас тут всё как у людей, вечер бывает, а завтра утрачко настанет, во как! А в нихиле ничего этого нет, не надейся... Там всегда не то вечер, не то затмение. Плохо в нихиле было, да? А я тебя оттуда вытащил. Работа у меня такая, сыскать человека, на путь наставить, уму-разуму научить. Отловили бы тебя бригадники — как липку ободрали бы. У них налоги знаешь какие? Ты же богатый, а в здешней жизни ни хренища не смыслишь. Коммунальные сборы — не плати. Усёк? Нет у них никакого коммунального хозяйства, всякая срань сама по себе в нихиль уходит. У них под городом тоже нихиль, просто фундаменты попрочнее. Ненавижу бригадников, сами ничего не умеют, а у меня хлеб отбивают... И город ненавижу! Па-а-аду-маешь, город! У нас тут ничуть не хуже. Кустики растут, бесплатно, между прочим, а в городе — захочешь в парк войти — денежку гони! Жмоты! А хочешь, мы соловья заведём? Я знаю одного, он может продать, настоящего. Будет у нас песни петь. Дорогой, чертяка, полста мнemoнов... но если хочешь — покупай! А что, в самом деле?.. Вон, квакер и то не все деньги расшвырял. Распятие сделал и уйгуру за так подарил, у него теперь на стенке висит. А?.. Ну так что, покупаешь соловья?..

Илья Ильич еле отвязался от непрошеного приятеля.

И вот теперь, проснувшись, Илья Ильич лежал в чистой постели и пытался осознать, что же всё-таки происходит вокруг. Первым делом он обнаружил кошелек на шее, хотя с вечера снял его и сунул под подушку. Хотя вроде Афанасий говорил, что мощну здесь ни потерять, ни украсть невозможно, только потратить деньги или добровольно отдать. И ещё какие-то налоги есть: одни собираются сами собой, другие надо платить.

Впрочем, этот вопрос волновал Илью Ильича всего менее, куда хватало и глобальных вопросов, ответов на которые Илья Ильич так и не услышал.

За стеной Афанасий разговаривал с хозяином. Говорили громко, не скрываясь, но понять ничего не удавалось, язык был явно не европейский. Уйгурский, может быть, или китайский... Сыщик вчера жаловался, что китайцев среди новопредставившихся слишком много, приходится язык учить. Впрочем, с тридцать шестого года можно и выучить.

Илья Ильич ослабил тесьму, высыпал на ладонь немалую кучку мнемонеров, пригляделся к ним, благо что утренний свет позволял. Монеты как монеты, новые, ни одной потёртой. Кто же их чеканит и где? Опять же, как они чудеса делают? Вот что узнать бы... хотя этого Афанасий, видимо, не скажет. Скорее всего, он и сам не знает, принимает потусторонний мир как данность и живёт себе. Быть может, оно и есть самое правильное.

Голоса за стеной звучали сердито, там явно выясняли отношения. А ведь не иначе о нём спорят, всё-таки новое лицо. Судя по всему, не так много в таверне постояльцев, хотя, казалось бы, каждый день тысячи людей помирают. Если и впрямь люди сюда попадают богатыми, то встреча и устройство новичков должны быть поставлены на широкую ногу. Афанасий, впрочем, упоминал каких-то бригадников. Должно быть, это и есть профессионалы, а сам сыщик и уйгур заодно — кустари-одиночки. Значить это может что угодно. Возможно, он попал в лапы мошенников, которые зарятся на его мощну. Хотя не исключено, что он избежал жерновов государственной машины, которая мигом выпотрошила бы его начисто. Вот и гадай... всегда хочется верить в лучшее, но когда новые

знакомые разговаривают так, чтобы ты их не понял, это невольно внушает опасения.

Илья Ильич гневно сжал кулаки. От каких мелочей зависит судьба! Если бы он понимал, что там говорят...

На мгновение кулаку стало жарко, а монеты, зажатые в пять, словно усохли. Илья Ильич разжал кулак и увидел, что денег стало значительно меньше, по крайней мере десятков мнемонив исчез мгновенно. А ведь это сумма, на которую, по прикидкам Ильи Ильича, можно чуть не полгода прожить! И одновременно Илья Ильич сообразил, что понимает спорящие за перегородкой голоса. Афанасий и уйгур продолжали ругаться по-китайски, и Илье Ильичу это было известно, но язык стал словно родной, и если бы Илья Ильич захотел, он мог бы вмешаться в спор и говорил бы на том же языке, как будто всю жизнь так разговаривал.

Ай да денежки, ай да лямишки! Вот только как бы не разориться таким макаром...

— Ну чего ты ко мне привязался!.. — захлёбывался неподатлёку голос Афанасия. — Ну выпил я вчера, так ничего ж такого не наговорил. Он и не поймёт ни хрена, ведь первый день всего тут.

— Порядок есть порядок, а договор — договор, — скучно отвечал уйгур. — Кто тебя просил про город рассказывать? Вот уйдёт он сейчас, и что?

— А хоть бы и ушёл, поблуждает денёк в нихиле, потом крепче прежнего за меня держаться будет. А уж я его теперь в любую минуту сыскать могу, ориентировочка у меня на него есть.

— За этот день его бригадники подберут. Зачем он нам тогда? Его ж не выпустят, пока до нитки не разденут.

— Не пугай, не подберут. Мелкая рыбка в большом неводе не стрянет. Да и не разденут совсем-то, кой-что и тебе достанется.

— Всё равно, зачем про город рассказывал? Зачем сам его одевал? Кормил дешёво зачем?

— А затем, что он мне земляк! Это ты прежнюю жизнь позабыл, а я куда нет. Сыщики все такие, как бы я свежего человека чуял, если бы память потерял? Так что хватит с тебя и малой денежки, а большую ты с квакера гребь. Я его тебе с потрохами сдал, вот и пользуйся.

— У квакера никаких денег нет, того и гляди развоплотится.

— Ты ври, — протянул Афоня, — да не завирайся! Чтоб мне так деньги сыпали, как они квакеру идут. А что не держатся они, так ведь все к тебе попадают. Думаешь, я не знаю, как ты с ним наловчился? Отлично хорошо знаю! Нам такие фокусы с детства знакомы! Всё, договорились, квакер твой, что хочешь, то с ним и делай, а профессора я себе беру. Подумаешь, что-то не так ему спьяну болтнул, всё равно он ни хрена не понял, и я около него ещё десять лет ошиваться буду, хоть по лямышке, а всё прибыль. Ничего я там не испортил.

— Ты нарушил договор, — кажется, уйгура заклинило на эту фразу. — Я всё делал как договаривались, я в ваши разговоры не вмешивался, подавал, что ты заказывал, отозвал тебя будто бы долги отдавать, всё как договаривались. А ты поступил против своего слова и нанёс мне убыток.

— Убыток?! Сколько твоя комната стоит?.. А ты сколько слупил? И с меня, между прочим, тоже!

— За тебя платил клиент...

Илья Ильич встал, неслышно вышел из комнаты. Не хотелось дальше слушать разговор, в котором заранее делили твои деньги, называя тебя клиентом и налепляя дурную кличку. Главное он выяснил: попав сюда, он действительно избежал жерновов государственной машины, но очутился в лапах мошенников. И уйти отсюда, похоже, не удастся, разве что в никуда, где его в скором времени подберут бригадники и уже не выпустят, пока не разденут до нитки. Хороша перспективка, однако...

Есть ещё какой-то город, о котором по пьяни проболтался Афонька. Хотя и в городе вряд ли мостовые вареньем намазаны. Куда ни кинь — всё клин. Знал бы, что тут так встречают, честное слово, помирать бы не стал.

Внизу, возле кухни, запертой на висячий замок, стоял проповедник и мыл в большом тазу посуду. Ту самую, с которой Илья Ильич вчера ел хе из тайменя и иные экзотические кушанья.

— Гуд морнинг, — сказал Илья Ильич подходя.

Квакер коротко глянул и отвернулся, ничего не ответив.

— Сэр, — произнёс Илья Ильич, странно уверенный, что говорит по-английски, — должен предупредить, что вас

здесь обманывают. Деньги, которые у вас были, это не вполне то, что вы думаете. Судя по всему, это и вовсе не деньги, а владелец гостиницы вымогает их у вас из корыстных соображений.

— Мне это известно, — не отрываясь от своего занятия, ответил квакер. — Мне известно более того: дьявол не дремлет, и козни его простираются на весь вещный мир! Могушество князя тьмы велико, и многие прельстились его деньгами. Но эти же деньги доказывают, что сей мир также есть мир вещный, и люди, опрометчиво полагающие, будто сбросили с себя ветхого Адама, обмануты. Сюда принесли они свои грехи: алчбу и блуд, ложь и всякую скверну! Но близится час ярости господней! Покайтесь, покуда есть время, отриньте бесовский соблазн...

Илья Ильич развернулся и молча вышел. Он уже давно не спорил с проповедниками, особенно с нетерпимыми, поминающими ярость господню. «Учить глупца...» Что бы ни скрывалось за подслушанной фразой о развоплощении, квакер к этому стремится, веря, что настоящая жизнь ему только предстоит.

Во дворике было пусто и тихо. Похоже, что во всём постоялом дворе было сейчас всего четыре живых, а вернее, скончавшихся души. Илья Ильич подошёл к калитке, открыл, выглянул наружу. Долина Лимбо простиралась перед ним. Нихиль, нихиль... ни буторка, ни движенница, никакого следа миллионов людей. Где здесь искать город? Вероятно, это можно сделать с помощью денег, вот только знать бы как. Зажать монеты в кулаке, пожелать... — и вновь потерять кучу мнемонев. Кажется, сегодня утром он крепко приблизил таинственное и неприятное развоплощение. Пожалуй, пока с экспериментами стоит погодить, тем более, как явствует из подслушанного разговора, Афанасий и вправду проникся к нему добрыми чувствами и собирается не грабить его немедленно, а лишь слегка попользоваться чужим кошельком. Что ж, свой завтрак Афоня заслужил, а если расскажет что дельное, то и обед заслужит.

Илья Ильич прикрыл калитку и вернулся к дому. Оттуда, морщась и потирая лоб, выполз Афанасий.

— Ох, — сказал он, глядя измученным, но честным взором. — Ну и надрался я вчера! Ничего не помню, головка — бо-бо, денежки — тю-тю! Я хоть не хамил, вёл себя прилично?

— Вполне, — успокоил Илья Ильич.

— Это — куда ни шло. Но я больше не пью. Завязал и бутылку уйгуру отдал, пусть в уху понемногу доливает. Уйгур сегодня уху собрался творить, с налимьими печёнками.

— Вот что, — твёрдо сказал Илья Ильич. — Уха — это хорошо, но ты мне прежде объясни, прямо и без виланий, что здесь, собственно, происходит? Как люди живут, чем на жизнь зарабатывают. Мнемоны эти самые — откуда и зачем? Рассказывай всё, сразу и без подготовки.

— Как живут? — страдальчески переспросил Афанасий. — Сам видишь, как живут. Башка трещит с похмелья. Думаешь, покойнику и похмеляться не надо? А зарабатывать тебе рано, всё равно ты ничего не умеешь.

— Научусь.

— Кто бы возражал... Хочешь — пошли.

Они отправились в комнату Афанасия, точно такую же, как и та, в которой ночевал Илья Ильич, отгороженную лишь тонкой, для всякого звука проницаемой перегородкой.

— Садись, — Афанасий кивнул на кресло. — Лет-то тебе сколько?

— Восемьдесят четыре, — чётко выговорил Илья Ильич, ожидая, что сейчас Афоня, который, судя по дате его смерти, давно сотню разменял, заговорит о старости и заслуженном отдыхе. Однако Афоня лишь пробормотал: «Так-так...» — потёр измученную перепоем голову и приступил к делу:

— Для начала надо тебя подправить. Пожито у тебя хорошо, и в этом виде ты ни для какого дела не годишься. А что, ты и вправду профессором был?

— Не был я никаким профессором. Я инженером-строителем был. Дороги строил по всей стране.

— А мне с чего-то показалось, что ты профессор. Книжки читаешь... Да... Дороги здесь строить, сам понимаешь, ни к чему. Тут и дома строить не больно нужно, а ежели кто вздумает новый особняк ставить или, скажем, жилой дом, то не к строителям обращается, а к архитекторам. И уж они к нему

в очередь стоят. Иной сам готов приплатить, лишь бы ему позволили любимым делом заняться.

— Всё равно, без строителей никак. Архитектор — само собой, инженер — само собой.

— Ты ещё каменщика припомни и печника, — саркастически заметил Афанасий. — Ты, вон, дубинку свою создал без дровосека и без лесопилки. Так и архитектор дом может сделать безо всяких каменщиков и кровельщиков; были бы деньги да голова на плечах.

— Как же тогда обычные люди на жизнь зарабатывают? Те, что не архитекторы?

— В том-то и дело, что никак. То есть исхитряются, конечно, но в основном — никак. Вот у тебя для начала деньжищ много, и всё за красивые глаза. С год, наверное, так будет, а потом — изволь пристроиться, раз ты не профессор... Впрочем, в этом я не помощник. Сыщиком ты, всяко дело, быть не сумеешь, тут талант нужен особый. Хотя без таланта у нас вообще пропадёшь: конкуренция огромная, а мест, сам понимаешь, маловато. Уйгур, думаешь, не талант? У него в начале века ресторан был китайский в Томске. На всю Сибирь гремел! А тут — харчевню едва содержать может. Три постояльца, так он и им рад. А как готовит, стервец! Чуешь запах? Отсюда шибает, и слюнки даже у меня текут, хотя после вчерашнего всякий аппетит отсутствует.

— Не чую, — сказал Илья Ильич. — У меня вообще с обонянием худо.

— Всегда было худо или только сейчас?

— Только последние двадцать лет, — усмехнулся Илья Ильич.

— Это поправимо. За деньги, конечно. Ты уже понял, что здесь всё за деньги, а так — ничего не бывает?

— Я это семьдесят лет назад понял.

— Тем лучше. Но только учти, дела сейчас пойдут дорогие... Тебе много капитала прибыло за вчерашний день?

— Представления не имею. А он, что, прибывать должен?

— Слушай, — поинтересовался Афанасий, — а ты, случаем, не святой? Ты хоть пересчитал вчера, сколько у тебя монет в кошельке? Хотя бы мнemoнов? На лямишки куда можешь не размениваться.

— Нет, — признался Илья Ильич. — Мне как-то в голову не пришло.

— А я так каждый день пересчитываю — вдруг там шальная лямишка объявится? Впрочем, дело твоё. Ты, главное, меня слушай. Так вот, монетины у тебя в кошельке не простые, с ними всякие чудеса делать можно, а не только палки пилить и раешники устраивать. Можно, например, омолодиться. Душа прежняя останется, а тело, как у двадцатилетнего. Я-то омолаживаться не стал, мне сорок один был, когда меня шлёпнули, вот я таким и остался, возраст хороший. А тебе молодеть нужно, хоть это и дороговато. Можно и вовсе тело поменять, будешь как Иван Поддубный. Некоторые даже в баб превращаются, а иные бабы — в мужиков, извращенцы какие-то...

— Трансвестизм, — вставил умное слово Илья Ильич, — генетическая болезнь.

— Но ты-то у нас здоровый. Давай вот так: старцем восьмидесятилетним тебе ходить не с руки, но и в молокососа обращаться не советую.

— Марка Твена читал, — напомнил Илья Ильич. — «Путешествие капитана Стромфилда в рай». Там об этом всё чётко сказано.

— Тем лучше. Советую тебе на сорока годах остановиться. И чужое тело выбирать не вздумай, это для твоих генетических транзистов и всяких уродов. Был бы ты горбатый или слепой — тогда иное дело. Тут горбатых исправляют быстро. Но такие вещи только в специальных салонах делают, и стоит оно многие сотни. А я тебя всего за одну сотенку омоложу.

— А денег у меня хватит? Я не считал, но...

— Посчитай. — Афанасий пожал плечами и демонстративно отвернулся, давая понять, что чужими деньгами не интересуется.

Илья Ильич высыпал на ладонь часть мнемоннов и принялся пересчитывать. Отобрав сотню штук, он обнаружил, что кошелёк, как ни странно, по-прежнему полон. Монеты лежали плотно — только-только, чтобы можно было вынимать их безо всяких хлопот.

— Ну как? — спросил Афанасий, не оборачиваясь.

— Он что, бездонный?

— Ага, бездонный. Всыпать туда можно — сколько хочешь, всё влезет. Но вынуть — сколько есть и ни лямишкой больше. Так что ты поглядывай, сколько там остаётся. А то некоторые гусарить начинают, думают, им всё по карману.. Сотню-то набрал?

— Набрал вроде...

— Значит, за сотню мнемонев согласен омолодиться, — произнёс Афанасий, повернувшись лицом. — Чтобы быть тебе в прежнем теле, но в возрасте сорока лет.

— Что-то ты стихами заговорил, — Илья Ильич усмехнулся. — «Чтобы жить мне в Окияне-море, чтоб служила мне рыба золотая и была б у меня на посылках».

— Мы так не договаривались! — резво возразил сыщик. — Я таких вещей не умею, да и денег не хватит. На эту сумму разве что прудок выкопать можно, да и то лягушки за отдельную плату пойдут.

— Так это что, вроде договора? — спросил Илья Ильич.

— А ты думал! Дело денежное, тут точность нужна. Это тебе не костюмчик, который полмнемона стоит. Сумма-то небольшая, у меня столько нет.

— Понял. Виноват, исправлюсь.

— Тогда повторяю. Согласен ли, чтобы я омолодил тебя за сто мнемонев, чтобы быть тебе в прежнем теле, но в возрасте сорока лет и безо всяких хворей?

— Согласен.

— Давай деньги.

Илья Ильич пододвинул кучку монет, Афанасий споро пересчитал их, пересыпал на ладонь, прикрыл сверху ладонью правой руки и зажмурился, сосредотачиваясь.

— В прежнем твоём теле, сорокалетним и здоровеньким, — повторил он как заклинание, а затем жестом фокусника развёл руки.

Ладони были пусты, монеты исчезли.

— И что дальше? — спросил Илья Ильич.

— А ты к зеркалу подойди.

Зеркала в комнате не было.

— Ничего, — сказал Афанасий. — В холле у хозяина висит. Да ты встань, попрыгай, вообще, почувствуй, каков ты есть.

Илья Ильич опустил взгляд на собственные руки. Ещё минуто назад они были морщинисты и покрыты тёмными пигментными пятнами, а теперь он увидел две сильных руки, таких, какие помнились ему с давних пор. Илья Ильич поднялся с кресла, одним резким движением, не подтягивая предварительно ног, не разгибая спину. В зеркало можно было не глядеться, каждое движение неиспорченного долгими годами тела подтверждало, что дряхлость исчезла неведомо куда. За такое не жалко было отдать сто монет, что бы эти монеты ни значили.

— Спасибо... — растроганно пробормотал Илья Ильич.

— А!.. Проняло! Погоди, то ли ещё будет. А сейчас пошли к столу. Теперь, небось, и ты чувствуешь, что хозяин нас сегодня хашем лакомить будет. И не хотел я больше пить, но хаш без выпивки кушать нельзя, заворот кишок может случиться. У нас это не смертельно, но очень больно. Во избежание придётся остограмниться. Водку я уйгуру взаправду отдал, ну да ничего, он чачу подаст, я его знаю.

Остаток дня прошёл бессодержательно. Они много и вкусно ели (уйгур действительно оказался кулинарным гением), но на все вопросы о городе, о будущей жизни, о том, как всё-таки понимать загробную жизнь, Афанасий отвечал невразумительно, всё более ссылаясь на грядущие времена, когда подопечный достаточно приобвыкнет, чтобы самому всё понять. Квакер угрюмо молчал, не обращая внимания на происходящее, или бормотал молитвы, неразборчивые, несмотря даже на приобретённые Ильёй Ильичом способности полиглота. А хозяин, насколько можно судить, знать ничего не знал, кроме своих сковородок и казанов. Он был полон искреннего желания услужить, и если бы не подслушанный разговор, в его искренность захотелось бы поверить.

Вспомнив о намерении честного Афанасия сосать из клиента денежки понемногу, но зато долго, Илья Ильич за обедом демонстративно заплатил за себя одного, и Афоня, слова не сказав, полез в кошелёк и выложил свои двадцать лямишек. Сколько у сыщика монет в кошельке, Илья Ильич не смог определить даже приблизительно. В любом случае — достаточно, ведь уйгур ясно сказал, что никаких долгов у Афанасия

не было, а был фарс, разыгранный, чтобы благодарный клиент мог взять на содержание обедневшего благодетеля. Значит, деньги, полученные от Ильи Ильича, у Афанасия целы и невредимы. Вот и пусть платит. Сам же учил: просто так никому ни лямишки не ссужать.

Вечером, когда невидимое солнце окрасило поднебесный туман, очень похожий на нихиль, только не расстилающийся под ногами, а нависающий сверху, Илья Ильич, устав от бесплодных обещаний и уклончивых ответов, объявил, что завтра, с самого утра он хотел бы попасть в город, и если Афанасий не может его туда доставить, то он отправится сам, пешим ходом.

— Рано тебе, рано! — страдальчески вскричал Афанасий. — Там же не люди — волки! Съедят тебя и костей не выплюнут. Знаешь, сколько стоит номер в городской гостинице? Мнемон в день! В тридцать шесть раз дороже, чем тут! А жратва? Хоть и не слишком дорого, но всё равно, здесь дешевле. Ты хоть сумеешь шикарнейший ресторан от забегаловки отличить? На первый-то взгляд они все одинаковы. А поборы городские? Что ни шаг, а хоть лямишку, да слупят. Гляди, разоришься, будешь квакать с голоду, как наш квакер. Это сейчас уйгур тебе кланяется, деньгу потому что чует, а нищего он тебя и на порог не пустит. И никто не пустит, так в нихиле и сгинешь. Пойми ты, здесь экономнее!

— Так можно все деньги проэкономить, а жизни не видать, — отрезал Илья Ильич. — Раз уж так пришлось, то мне сына искать надо, жену, друзей. Решайся, отведёшь меня в город или мне самому тащиться? Сюда ты меня за счёт заведения привёл, а за доставку в город — даю мнемон.

— Что мне твой мнемон, мне тебя жалко!

— То есть не хочешь идти? Мне одному отправляться?

— Ишь, какой борзый! Пешком в город собрался! Ты в одиночку туда вовек не доберёшься. Туда и с провожатым-то не вдруг попадёшь. Мы же в нихиле: и таверна, и город, и всё остальное. Нихиль текучий, никто не знает, куда нас за эти дни унесло. Называется — дрейф. А город ещё и эманурует, понял, профессор? Ясен пень, что я туда не хочу! Ломаться полдня, а ради чего?

— Так мне одному идти? — упрямо повторил Илья Ильич.

— Заладила сорока Якова! — Афанасий ажно плюнул от огорчения. — Ладно, сведу я тебя в город за два мнемона. Только не завтра. Завтра на разведку сбегая, присмотрю, куда твой город любимый уплыл, а послезавтра с утречка отправимся. Один день ты ещё прождать можешь?

— Один — могу, — сдался Илья Ильич.

А вечером, запершись в своём номере, Илья Ильич словно в дурном детективе подслушивал тайную беседу сыщика Афанасия и уйгурского повара, имени которого он так и не узнал.

— Ты говорил, он пробудет здесь не меньше недели, — занудно твердил уйгур.

— Ну, говорил... А что делать, если он как взбесился? Уйду, говорит, пешком! Один день я тебе выторговал, даже два. Завтра пойду будто бы на разведку и пропаду на пару дней. А ты, значит, беспокойся, но не слишком, чтобы он мне на помощь не побежал.

— С чего бы ему бежать на помощь?

— Это тебе нечего, косомордый, а он ещё свежак, законов не знает. Да и свой он, земляк он мне, понимаешь?

— Он твой родственник?

— У меня родни и при жизни не бывало. А он земляк, он из Питера, понимаешь?

— Не понимаю. По-твоему получается, что те, кто из Томска, у меня задаром кормиться должны — только потому, что они мне земляки?

— Да у тебя вообще никто кормиться не должен! Ты и при жизни-то живым не бывал...

Перекоры пошли по второму кругу, раздосадованный Илья Ильич натянул на голову одеяло, чтобы не слышать.

Наутро выяснилось, что Афанасий убыл на поиски обещанного города. Уйгур сообщил это проснувшемуся Илье Ильичу, пообещал, что к вечеру сыщик должен возвратиться, и постно осведомился, что желает постоялец отведать на завтрак. Илья Ильич гусарствовать не стал и попросил ничего особенного не готовить. Впрочем, даже обыденный завтрак — пельмени с медвежатинной, квашеная черемша и медовый сби-

ть из сияющего медалями баташовского самовара, опрокидывал самые невероятные представления о скромности. Одно преимущество потустороннего мира было налицо: любитель пограть несомненно счёл бы это место раем.

День прошёл вкусно и бессодержательно. Уйгур возился на кухне, сооружая калью со стерляжьими молоками, квакер мыл полы, поквакивая про себя не то молитвы, не то проклятия. Во всяком случае, смысл слов, которые сумел разобрать Илья Ильич, был молитвенный, а интонации — проклинаящие.

К середине дня объявился в гостинице новый человек. Высокий, горбоносый, с обманчиво медленными движениями, всё в нём выдавало опытного бойца и неутомимого ходока. Можно было не спрашивать — и без того ясно, что явился ещё один из вольных сыщиков. Одет в светло-серый комбинезон, позволяющий затеряться в нихиле, так что тебя с десяти шагов не вдруг разглядишь. По всему видать, не слишком это безопасная работа, отбивать добычу у бригадников. Хотя Афоня говорил, что кулачная расправа в загробном бытии дело небывалое. Впрочем, мир на кулаке клином не сходится, было бы желание, а как ущучить ближнего, люди придумают.

Горбоносый пообедал, перекинулся парой слов с уйгуром и исчез. На Илью Ильича он даже не покосил взглядом, очевидно среди сыщиков бытовали свои представления о приличии. Илья Ильич тоже не подошёл, интерес к новым людям у него значительно угас, теперь Илья Ильич старался осмыслить произошедшее. Чуть не весь день просидел в комнатухе, зажавши голову руками, и медленно перебирал в памяти всю свою жизнь. «Здесь ничего нельзя скрыть», — звучали в памяти Афонькины слова. Теперь Илья Ильич догадывался, как можно узнать о человеке всю подноготную. Зажмёшь в кулаке сколько-то там деньжонок, пожелаешь — и знай на здоровье, что знать тебе вовсе бы и не следовало. Оттого потусторонний мир честен и к людским слабостям снисходительно-беспощаден. Всё на виду, чего уж там стыдиться мёртвому человеку живых дел? Значит, иная мораль, иные люди, лишь внешне похожие на тех, кого знал когда-то. Чужие люди... Это Илюшка-то чужой человек? Да

он и сейчас помнит, как таскал сына на руках! Илюшка уж большой парень был, в школу скоро, а любил, чтобы его на ручки взяли, иной раз нарочно притворялся усталым до изнеможения, лишь бы на отцовских руках проехаться. А папаше тоже в радость... Потом, конечно, разошлись, вырос сынуля, свои дела появились, интересы. Отец строитель, дороги делал, а сын как бы наоборот, взрывник, в армии сапёром был, те дороги минировал. Есть в диалектике такой закон — отрицания... Неужто теперь сын вовсе чужим заделался? Не верю.

Старательно, словно мошенник от саентологии, Илья Ильич принялся прозванивать всю свою жизнь, начиная с первых воспоминаний, припоминать каждого человека, с которым судьба свела, а теперь может свести вновь в этом странном месте. Ведь по сути дела, от той, прежней жизни у него остался лишь груз воспоминаний. Сюда он явился голым, и от новорожденного младенца его отличали память, изношенное тело, от которого можно так легко избавиться, да пригоршня монет с многозначительным названием «мнемон».

Родители. Отца он не помнит, отец не вернулся с войны, ещё с той, которая называется «Гражданской». Погиб отец прежде Илюшкиного рождения, а мама почему-то никогда не рассказывала, каким он был. Видать, не за тех кого надо отправился воевать папаня. Даже непонятно, как выжила традиция, чтобы все мужчины в роду носили одно и то же имя. Бабушки и дедушки и вовсе его не застали, бурное начало века крепко проредило семью, одна лишь тётя Саша со своими счастливыми слониками выжила в Гражданскую и скончалась в далёком двадцать втором году, когда, казалось бы, жизнь начала поворачиваться к свету.

Мама. Она всю жизнь куда-то торопилась, вечно была занята. Запомнились частые, скучные её болезни и необходимость идти после седьмого класса в ФЗУ, чтобы поскорей подняться на ноги и жить без оглядки на мать. Собственно, детства у него не получилось, жизнь началась, когда он стал зарабатывать на заводе, а вечерами учиться в Строительном.

А теперь, значит, он должен встретиться с матерью, ставшей чужой ещё при жизни, и с отцом, который не видал его даже

в колыбели. А ещё есть какие-то деды, прадеды, прапрадеды и прапрабабки... бесконечный ряд предков, сваленных сюда, как в отстойник. И что же, они все ждут его, желают видеть, желают говорить? Спросить хотят, как он жил, не опозорил ли фамилию? А те, чьей фамилии ему не досталось, но чья кровь была в его жилах, они ведь тоже здесь и тоже чего-то хотят.

Почему тогда он сидит в этом дурацком заведении под прищуром уйгура и пронырливого Афони, а не стоит перед семейным советом, держа ответ за бесцельно прожитые годы?

И, главное, где Илюшка и Люда, где его семья, которую он уже никогда не надеялся обрести? Пусть там будет что угодно, но он должен увидеться с женой и сыном, разрешить сомнения и большие вопросы...

Илья Ильич высыпал на ладонь кучку серебристых мнемон, недоверчиво покачал головой. Из ума не шёл Афошин совет, повторённый не раз и не два: «Деньги держи крепче, их лишь поначалу много. И, главное, не вздумай ничего над людьми без их согласия творить. Ничего толкового из этого не получится, а по миру прежде срока пойти можешь».

Конечно, Афоня привирает, и крепко, но в данном случае, похоже, не соврал. Какие они ни будь волшебные мнемоны, но над живыми людьми у них власти быть не должно. Даже если эти живые люди давно умерли.

Илья Ильич брякнул монеты на стол и принялся пересчитывать. Насчитал тысячу мнемон, на второй сбился со счёту, пересыпал денежки обратно в бездонный кошелек и спрятал до лучших времён.

Голос уйгура за дверью звал к ужину.

За едой прислуживающий хозяин словно случайно помянул, что не стоит волноваться за Афанасия; в крайнем случае, если их унесло очень далеко, сыщик вернётся на следующий день. Илья Ильич, обсасывая перепелиную косточку, небрежно ответил, что и не волнуется. Афоня мужик бывалый и непременно вернётся в срок.

Неловко было врать, хотя и вранья особого тут не было, просто Илья Ильич не показывал, что в курсе планов, выстроенных обитателями дрейфующей гостиницы. Последние пятнадцать лет состарившемуся Илье Ильичу как-то

не было нужды притворяться, и он отвык от этого нехитрого занятия.

Вечер прошёл тихо, без ставших едва ли не привычными подслушанных разговоров: Афанасий добросовестно отсутствовал, и уйгуру было не на кого ворчать.

Когда окончательно стемнело, Илья Ильич поднялся, бесшумно оделся и вышел из гостиницы. Палисадничек, ограниченный высокими кустами жимолости, заливала ночная тьма. Сквозь кусты смутно сквозили серые отсветы нихиля. Илья Ильич подошёл к калитке, недоверчиво бросил взгляд в пустоту. Здесь было не так черно, как возле гостиницы, но казалось ещё беспросветнее. Очень не хотелось делать шаг в потустороннее ничто. Казалось, шагнёшь и немедленно затеряешься в нихиле, не отыщешь дороги даже к этому островку ненадёжной стабильности.

«А вдруг на калитке установлена сигнализация? — мигнула тревожная мысль. — Сейчас трону её — и начнётся трезвон! Уйгур прибежит, стыдобы будет — не обратиться...»

Илья Ильич криво усмехнулся и отворил калитку, на которой не оказалось даже щеколды. И не скрипнуло ничего, и не звякнуло. Зачем? Всякий знает, силой тут никого не удержишь, а в нихиль неопытному человеку бежать — последнее дело. Помучаешься, потелепаешься в кисельке, так потом ещё и доплатишь расторопному Афоне, когда он прибежит, будто бы случайно, а на деле при помощи какой-то ориентировки, которой хвалился перед уйгуром.

Так Илья Ильич и отправился в самостоятельное путешествие: в руках рейка, которую сделал сам и бросать которую не хотелось; на помолодевшем теле — стариковский костюмчик, за который сполна заплачено Афоне.

Нихиль — субстанция не из лучших, на дорожное покрытие не годится — ноги вязнут, однако сорок лет — это не восемьдесят, громада спящей гостиницы очень быстро растворилась в обманчиво-прозрачном воздухе, Илья Ильич остался один на один с нихилем. Шагал, делая вид, будто помогает себе рейкой, прикидывал, как скоро совершит полный круг, и вернётся ли к забору из крашеного штакетника или просто будет кружить на месте в обидной близости от жилья.

Потом впереди замаячил свет. Жёлтый прямоугольник, тёплый и зовущий. В ночь, когда не видно ни зги и небесная хмарь готова обернуться дождём пополам с мокрым снегом, вдруг появляется перед безнадежным путником свет в окошке, и теперь есть куда спешить, в свинцованные ноги вселяется лёгкость, глаз уже не оторвать от цели, ставшей желаннее всего на свете, и веришь, что за окошком тебя ждут.

Оскальзываясь и проваливаясь чуть не по колено, Илья Ильич побежал к золотому прямоугольнику. Ни на единый миг он не побоялся, что это светится окно в комнате уйгура. Совсем близко мерцает призывный маяк, уже видно тёмное пятно стены, вырастающей прямо из ниши, не отгороженной от потусторонней ночи ни забором, ни чахлыми кустиками. На тёмном обозначился ещё один прямоугольник света — дверь, и там объявилась согнутая тшедушная фигурка:

— Илюшенька, ты, что ли? Пришёл... Ну, заходи.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

С некоторым удивлением разглядывал Илья Ильич незнакомую старушку, худенькую и такую эфемерную, что казалось, будто сейчас она рассыплется, обратившись в шепот отработки. Память на лица у Ильи Ильича была отличная, однако он был вполне уверен, что никогда прежде не встречал этой женщины, которая называла его по имени, словно доброго знакомого.

— Спасибо, Илюшенька, что не забыл старуху, — напевала бабулька, прикрываясь от небытия непрочной фанерной дверью.

Илья Ильич прошёл на середину комнатёнки, огляделся. Давно уж, много лет не видал он таких комнат, словно выкраденных из коммунальной квартиры полувековой давности откуда-нибудь с Большой Пушкарской, Введенской или иной представительной улицы Петроградской стороны. В таких среди грома первых пятилеток доживали свой век интеллигентные старушки с дореволюционным прошлым, те, к кому в очередях полууважительно, полупрезрительно обращались устаревшим словом «дамочка».

Комната, прежде бывшая кабинетом главы семьи или собственным уголком дочери-курсистки, а теперь оставшаяся единственным пристанищем, последним кусочком былой жизни среди нового коммунального хамства, отчаянно тщи-лась сохранить вид старорежимного благополучия. Книги, толстые тома с вензелями владельца, — обязательный Шекспир, Шиллер и Пушкин в марксовском издании, какие-то безделушки, пощаждённые чередой погромов и реквизиций, предмет насмешек и тайной зависти горластых подселенок... И всё это в последней степени ветхости, кажется, коснись неловко пальцем — и в образовавшуюся дыру посыплется серый порошок обработки.

— Вот видишь, как существую? — щебетала бабулька. — Хорошо хоть, вообще жива, я уж полста лет как в трущобы скинута, а вот живу, твоими молитвами, Илюшенька, исключительно твоими молитвами...

— Простите, — неуверенно проговорил Илья Ильич, — дело в том...

— Не припоминаешь, да? — старушка понимающе улыбнулась. — Теперь, Илюшенька, это уже и не важно. А я вот тебя хорошо помню. Кудрявчик ты был, словно ангелок, а баловник — до ужаса! Не ребёнок, а малолетний Сергей Есенин. Всё на полку норовил забраться, на эту вот самую...

Взгляд Ильи Ильича и впрямь приковала полочка — единственный предмет, который среди общей обветшалости выглядел прочно и, казалось, излучал основательную антикварную добротность. На полке ровным строем вышагивала шеренга резных слоников — отголосок забытой моды на всё китайское. Впереди, задрав трубящий хобот, шествовал самый большой слон, нагруженный самыми объёмистыми тюками, за ним двигался слон поменьше, следом ещё меньше... и так до самого крошечного слоника ростом едва в полсантиметра. Но и этот седьмой слон также громко трубил, как и большие братья, и также нёс хозяйке полные тюки лучшего китайского счастья.

— Тётя Саша?.. — выговорил Илья Ильич имя, которое знал всю жизнь, но никогда прежде не произносил, поскольку в упор не помнил старуху, жившую лишь в семейных предани-

ях. Да и сейчас не вспомнил бы про неё, если бы не навязчивая картинка: слоники, нагруженные счастьем. Она приходило ему в голову всякий раз, когда речь заходила о раннем детстве, ведь это было первое осознанное воспоминание — резные безделушки, поразившие младенческое воображение, и имя, навеки привязанное к игрушечному каравану.

— Вот видишь, Илюшенька, вспомнил, — закивала старушка.

Она ещё что-то говорила, Илья Ильич не слышал. Удушьющей волной накатило осознание, что происходящее — правда, и, значит, он увидит всех, кого никогда не надеялся встретить. Какая глупость, стоило ждать бесконечную прорву лет... Люда поступила гораздо умнее, когда проглотила свои таблетки и ушла навстречу сыну.

— Они все здесь? — выдавил Илья Ильич сквозь перехваченное горло. — Сын у меня, тоже Ильёй зовут...

— Здесь, — призналась тётя Саша. — Которые живы, те здесь.

Она подняла прозрачные, вымытые временем глаза и спросила:

— Странно слышать такое? А ведь в загробном царстве, Илюшенька, люди тоже умирают. Я бы уже давно порошком от клопов рассыпалась, пиретрумом, если бы не твои заботы. А сынок твой здесь. Повидаётся.

— Тётя Саша! — взмолился Илья Ильич. — Ради всего святого, как мне его увидеть? Я с вами потом поговорю, и всё остальное потом, а сейчас мне бы Илюшку повидать. Знаю я, что он изменился, за столько-то лет, что не таким стал, как помнится... И что все люди здесь меняются — тоже знаю. Не надо меня ни к чему готовить, я сам разберусь, только скажите, как к сыну попасть?

— Не будет тебе никакого «потом», — вздохнула тётя Саша. — Я ведь последний день доживаю. Вот ты умирал в этом... как его?... в доме призрения и знал, что умираешь. Так и я знаю, что мне небо коптить осталось часа два, не больше. Во мне и сути-то человеческой уже почти не сыскать.

Илья Ильич вздрогнул и замолчал. Да и что можно сказать в такой ситуации: «Простите, я не знал»? Вот тебе и «тот свет»! Вот тебе и бессмертие души!

— Брось, Илюшенька, не расстраивайся, — ласково, словно прежнего младенца успокоила тётя Саша. — Я своё отжила ещё в прежней жизни, а это всего лишь довесок. О нём жалеть нечего... Побудь со мной эти два часа, а там и пойдёшь к своему ненаглядному.

Илья Ильич покорно кивнул, отодвинул гнутоногий венский стул и уселся.

Стул беззвучно развалился, Илья Ильич, взметнув тучу серой пыли, упал на пол.

— Осторожнее! — страдальчески вскричала тётя Саша. — Тут ничего нельзя трогать, видишь, одна отработка кругом, чуть коснёшься — всё в пыль рассыпается. Я уж который месяц сплю ровно собачонка на полу у двери.

— Я сейчас поправлю! — Илья Ильич, даже не отряхнувши костюм, полез за висящим на шее кошельком, высыпал горсть монет. Он уже понял, что комната представляет собой такую же развалину, как встреченный в нихиле раёк, а с помощью пригоршни мнемонев можно вдохнуть в неё призрак жизни.

— Не надо, — остановила его старуха. — На мой век хватит, давай уж поговорим стоя. Перипатетики прогуливаясь беседовали, а мы с тобой постоим. И тратиться ради меня не вздумай.

— Да что вы все о деньгах? — не выдержал Илья Ильич. — У меня их труба нетолчёная.

— Вот и побереги, — голос тётя Саши был по-учительски серьёзен, — потому что это не деньги. Давай, пока время есть, я тебе всё по порядку расскажу. Только не перебивай, а то так и будем бродить вокруг да около.

— Хорошо, — согласился Илья Ильич, с удивлением заметив, что в его голосе звучат те же категоричные, видимо семейные, нотки. — Только сначала...

Призрачный стол налился сосновой твёрдостью, уцелевшим стульям вернулась ореховая фактура, даже скатерть, уже наполовину сползшая пыльной отработкой, вновь засияла крахмальной белизной. Чашки в посудной горке зазвенели чистым фарфоровым звоном, серебряный чайничек над призраком спиртовки засиял. Руке было жарко, и Илья Ильич старался не думать, сколько мнемонев и лямишек, которые, оказывается, вовсе не деньги, улетает сейчас. Илья Ильич бо-

ялся, что, когда он узнает правду, он уже не сможет вот так, безоглядно тратить эти мнемонаы, а вернуть комнате былой вид казалось совершенно необходимым. Даже сейчас холодок предчувствия продрал по спине, и стыдно обрадовала услужливо припомненная Афонина фраза: «Чинить в сто раз дешевле, чем новое создавать».

Тётя Саша молчала, видимо и она разобрала в голосе упрямое семейное «надо». Лишь когда Илья Ильич, словно проверяя на прочность, пристукнул ладонью по столешнице, старушка тихо посетовала:

— Ну куда ж ты? Мнемона три истратил, не меньше...

Всего три мнемона? Илья Ильич перевёл дух.

— Сделай уж тогда и чайку. Я-то тебя угостить не смогу, изнищала в конец.

Илья Ильич разжал кулак, денег в котором и впрямь вроде не убавилось, и протянул старухе мнемон.

— Куда столько? — замахала руками та. — Для этого дела пары грошиков хватит.

Тётя Саша взяла с ладони две лямишки, зажала их в сухоньком кулачке, и тут же чайник закурился ароматным паром, а в сахарнице возникла горка яблочной пастилы.

— Ты уж не сердчай, я вместо сахара пастилку припомнила, люблю я её, грешным делом. А сахар моим зубам не поддаётся. Зубы у меня по сей день свои, но тоже из отработки.

Илья Ильич кивнул и стал разливать чай.

Тётя Саша уселась напротив, взяла чашку. Всякое движение получалось у неё с простотой грации, как в более поздние годы умели лишь немногие особо одарённые актрисы. А если пытаться подражать подобным манерам, то ничего не получится у неумной дуры, кроме жеманно оттопыренного мизинца.

— Так вот, Илюшенька, — промолвила тётя Саша, беззвучно отхлебнув горячего чая, — знаешь, как на поминках говорят о дорогом покойнике: «Он будет вечно жить в наших сердцах». Этакая самоуспокоительная фигура речи... А на деле получается, самая что ни на есть истина. Мы все здесь существуем до той поры, пока живые нас помнят. Тебе потом всяких глупостей наговорят, вымыслов и домыслов, да и просто бредней —

неумных людей всюду хватает, но доподлинно известно только одно: покуда нас вспоминают — мы есть. И монетки, что у тебя в кошельке звенят, это не деньги вовсе, а людские воспоминания. Помянул тебя кто добрым словом, а хоть бы и злым, и сразу в твоём активе денежкой больше. Одно воспоминание — один мнемон. А если этот человек при твоей жизни тебя не знал, а только потом о тебе услышал, то и монетка тебе достаётся маленькая — грошик.

— Лямишка? — переспросил Илья Ильич.

— Ой, их как только не называют! Раньше грошиками и поминальничками называли, сейчас чаще копеечками и этими... лямишками. Я жаргона не люблю, а молодые его легко принимают. А большая монета, настоящее воспоминание, она всегда называется «мнемон». Это от греческого мнемоникон...

Илья Ильич кивнул, показывая, что хотя классической гимназии на его долю не досталось, но настолько он языки знает, и тётя Саша, не вдаваясь в лишние объяснения, продолжила рассказ.

— Так вот, кроме нишля и человеческой памяти здесь нет ничего. Хотя нишля — это и есть самое настоящее «ничто». Конечно, люди и тут верят во всякое и думают, что кроме прожитой им ещё какая-то жизнь полагается, но уж прости старуху, я в эту ерунду и при жизни не больно верила, я же бесстужевка, в народ ходила по молодости лет. Потом перед смертью, в Гражданскую, насмотрелась я на русский народ... Даже в церковь начала хаживать, чтобы хоть этим досадить торжествующему хаму. Но в бога верить всё равно не стала, в ком однажды разум проснулся, того эти глупости уже не прельстят.

Вот, оказывается, из каких времён идёт его вольномыслие!

— Тётя Саша! — воззвал Илья Ильич. — Я ведь тоже неверующий. Ни в молодости не верил, ни тем более перед смертью.

— Вот и хорошо, — улыбнулась старуха, — а то, говорят, сейчас снова стало модно молитвы гундосить. Так ты знай, если кто о божественном с тобой заговорит, то это или дурак, или мошенник. Вернее, что второе: говорит о душе, а прицеливается к деньгам. Память о тебе украсть хочет, чтобы самому послаще жить. Ведь у нас с помощью мнемоников можно... не всё, конечно, но очень-очень многое.

— Это я уже знаю, — сказал Илья Ильич. — Зажимаешь деньги в кулаке, желаешь, и пожалуйста, получи — хоть пастилы к чаю, хоть вечную молодость...

— Вечной молодости как раз и не получишь. Получить можно только то, что у тебя при жизни было, что ты помнишь или можешь помнить. Вот пастилы я за одну лямишку полфунта придумала, а вздумала бы захотеть какой-нибудь олла-подриды, о которой кроме названия и знать ничего не знаю, то ничего путного у меня бы не получилось, только деньги бы извела. Конечно, здесь тоже можно кое-чему научиться, но всё равно, получаться будет хуже и дороже, чем то, что знал при жизни.

— А! — воскликнул Илья Ильич. — Афоня, тот сыщик, что меня нашёл, говорил, что ему четверть смирновской водки в три лямишки обходится, а молодые так не умеют. Теперь понимаю, почему.

— Значит, он её при жизни пил, — покривив губы, произнесла тётя Саша. — Что ж, тоже мастерство, сейчас таких уже немного осталось. По питухам память непрочная.

— И куда деваются те, кто забыт всеми и навсегда?

— А ты на меня взгляни, Илюшенька. Могила моя на Смоленском кладбище давно с землёй сравнялась, из живых людей, кто меня знал, ты был последним, и даже документов обо мне никаких не сохранилось, после стольких-то войн. А время идёт, и каждый день, просто за то, что дышишь, у тебя убывает по одной копеечке. И как последняя монетка уйдёт, то и сам рассыпаешься серой пылью. Ничиль — это же небытие, беспмятство это... Некоторые, конечно, и здесь приспособились, зарабатывают, кормятся при тех, кто позже пришёл, вроде как Афоня твой. Но таких мало, и не потому, что желающих нет, а просто не всякому удаётся. Ведь даже у новоприбывших денег не так много, как кажется. Живые, они о живом думают, им дорогих покойников вспоминать некогда. Оно, конечно, обидно, но правильно. Живые и должны думать о живом.

— Понял... — протянул Илья Ильич. Теперь, когда несложная тайна серебрястых монеток была произнесена вслух, ему казалось, что он с самого начала подозревал нечто похожее на



истину. — А как же те, кого люди действительно помнят сотнями лет, какой-нибудь Александр Македонский?

— Не встречалась... — усмехнулась тётя Саша. — Те великие, кого помнят, отдельно от простых людей живут. Надоели мы им за тысячу лет хуже горькой редьки, и у них выстроено специальное место, которое называется Цитаделью. Что там внутри, я не знаю, и знать мне это отчего-то неинтересно. Охрана там на стенах стоит, и в ворота никого не пускают. Обидно, что те, перед кем в жизни преклонялась, после смерти от людей заперлись, ну да бог с ними, давай лучше о простых людях поговорим...

— Как близких найти, — напомнил Илья Ильич.

— Так вот, — словно не слыша продолжила тётя Саша, — простые люди живут в Городе. Это и в самом деле город, дома там, улицы, парки есть, развлечения самые разные, на любой вкус. Всё людьми сделано, за всё мнемонами заплачено, и за всё нужно платить. Только по улице гулять можно бесплатно.

— А мне Афанасий говорил, чтобы я в городе никаким коммунальным службам не платил, что всё это обман.

— Обман и есть, — согласилась тётя Саша. — Свет и воду, захочешь, сам создашь, за свои кровные, безо всякого водопровода и электростанций, а канализация там и вовсе ни к чему. От неживых людей и отход один — ничиль. Город по сути дела и не нужен, просто люди жмутся один к другому. Хотя некоторые, пока память о них не простыла, создадут себе домик, устроятся в нём поуютнее, и дрейфуют в нихиле сами по себе.

— Вот так? — спросил Илья Ильич, поведя ладонью округ себя.

— Не совсем. Таких, как я, город сам отторгает, и мы тут в нихиле потихоньку растворяемся.

— Но, может быть, как-нибудь можно помочь?

— Нет, Илюшенька, как тут сможешь, если я уже давно всеми забыта. Пока ты жив был, вспоминал иногда, не меня даже, а слоников этих, тем я и перебивалась. А теперь уже нечем, да и незачем. Будет с меня — собачонкой на коврик лежать... Я ведь могла ещё с год протянуть, а то и больше, но я твои последние два мнемона разом потратила, чтобы тебя

встретить. Кстати, и своих ты отыщешь почти таким же способом... компасок называется. Его можно на себя ставить или на другого, но только на знакомого человека, с кем при жизни встречался. На себя — один мнемон, на другого — парочка. Просто зажимаешь деньги в кулак и хочешь этого человека найти. Или чтобы он тебя нашёл. Только ведь он может и не захотеть встречи с тобой. Ты вот хотел найти хоть кого-нибудь и, покуда тебе не мешали, шёл напрямиком к моему окошку. А если бы не искал меня или другого знакомого человека, то и знать бы не знал, что я тебе компас поставила.

— А я думал, что вслепую в нихиле топчусь. Там ведь кругами пойти — самое простое дело.

— Ко мне ты шёл, Илюшенька. Тут многие пытаются родных да знакомых встречать, но не у всех получается, хоть два компаска разом ставь — на себя и на того, кого ищешь. Пока компас к цели доведёт, бандиты тебя десять раз перехватить успеют.

— Какие бандиты? — изумился Илья Ильич. — Мне говорили, что отнять чужие деньги, то есть мнемоны, невозможно, только если сам отдашь.

— Вот сам и отдашь. Ты подумай хорошенько, человек испуганный, голый посреди этого нихиля, а тут появляются люди, эти самые вымогатели, так ты им за то, что они тебя пристроят, за всё стократ платить будешь. У них маяков этих наставлена целая сеть, я сама удивляюсь, что ты меня отыскал прежде, чем они тебя поймали. Так что ты теперь свои мнемоны сохранишь.

— Я слышал, будто есть какие-то бригадники...

— Они самые и есть.

— А я думал, они государственные служащие. Я уже знаю, что они обдирают как липку, но полагал, что в пользу государства.

— Какое же государство в царстве мёртвых? Маркса читать нужно... — старорежимная старуха, премного пострадавшая от доморощенных марксистов, улыбнулась неожиданно задорной улыбкой, лучащейся в углах рта и глаз. — Государство — аппарат принуждения, а к чему ты меня принудишь, если я уже померла? У нас тут анархия в чистом виде, мечта князя Кропоткина. А бригадники, как и все прочие, на свой карман работают.

Илья Ильич отхлебнул жасминного чая, усваивая новую информацию.

— Сыщик мне говорил, что тут штрафы в пользу государства, половина, мол, в казну идёт.

— Куда она идёт — того никто не знает. Может быть, просто в пользу вселенского беспорядка. В городе даже храм есть «мировой энтропии». Но город существует просто потому, что люди даже после смерти жмутся друг к другу. В городе и зарабатывать легче — на таких, как ты, новичках, и на знаменитостях, Цитадель-то рядом стоит. Там охрана кормится, обслуга... ну, и прочим перепадает, когда охранники в город развлекаться идут. От Цитадели держись подальше, ничего доброго там не получишь.

— Там же вроде великие люди должны жить, — удивился Илья Ильич, — не только всякие диктаторы, но и учёные, гуманисты... Что же они от людей заперлись и охрану поставили?

— Ой, — вздохнула старуха, — а ты поживи тут триста лет, посмотрю тогда, что от твоего гуманизма останется... Впрочем, с этим сам разберёшься, давай-ка, научу, как тебе своих искать...

Сильный удар прервал последние слова. Ветхая дверь не слетела с петель, а просто рассыпалась пыльным облачком. В комнату ворвались шестеро человек. Вид их был дик и страшен, лица украшали татуировки и глубокие шрамы, чёрные одежды напоминали скорее маскарадные костюмы: нечто не то средневековое, не то взятое напрокат из мистического триллера. Конкретной атрибутики не было, так что при желании можно было принять явившуюся публику за монахов, дьяволов, инквизиторов или служителей преисподней любой религии, где подобная вера культивируется.

— Вот он! — хрипло взревел устрашающего вида негр, единственный, чьи ритуальные шрамы, возможно, появились при жизни, а не были результатом пластической операции за полмнемона. — Попался, грешник!

— Ребята, вы опоздали, — Илья Ильич безжалостно улыбнулся. — Кыш отсюда!

— ...думал скрыться... — по инерции проголосил чернокожий, затем взгляд его остановился на тёте Саше. — Ну, ведь-

ма, — прохрипел неудачливый бес, — ты мне за это заплатишь!

— И как вы это представляете, любезнейший? — язвительно поинтересовалась тётя Саша.

— Да я тебя, стерву, с потрохами сожру! — вошедший в раж громил саданул ногой по столу, видимо рассчитывая, что и он рассыплется пылью, однако свежепочиненная мебель с лёгкостью устояла. Бригадник взвыл, ухватившись за ушибленную ногу.

— Ты ещё меня ударь, — язвительно посоветовала тётя Саша.

— Вот что, — Илья Ильич шагнул вперёд. — Извинись перед женщиной, почини дверь и выматывайся вон.

— Шо?! — негритос явно говорил на каком-то своём наречии, но Илье Ильичу, ставшему день назад великим полиглотом, казалось, что перед ним обычный дворовый дебошир, который и говорит как положено мелкому братку и дебоширу. — Да я тебя, козла...

Илья Ильич медленно и нехорошо улыбнулся, выволок из-за пазухи толстый, почти не траченный кошель, резким движением распустил завязку. В глазах застывших бригадников он видел испуг, смешанный с недоумением, и это доказывало, что он действует верно. Раз в этом мире нет ничего, кроме монет-памяток, то и счёты промеж себя люди сводят этой же универсальной валютой. Серебристые мнемоны звенящей струйкой потекли в ладонь. Сколько их там могло поместиться? Десятка два, но для людей давно умерших и прочно забытых это было целое состояние. Илья Ильич зажал монеты в кулаке, словно свинчатку, и занёс руку для удара.

— Так кто здесь козёл?

Противник, недавно такой грозный, посерел от ужаса и метнулся к дверному проёму. В этот момент в дверях возник ещё один человек, и беглец врезался в него со всего маху. Оба упали, негр вскочил первым и исчез среди нихила быстрее, чем это мог заметить взгляд.

— Что здесь, собственно, происходит? — громко спросил вошедший, поднимаясь и отряхивая костюм. В голосе его перекатывались нотки неудовольствия, что вполне можно было

объяснить пинком, полученным при входе. У Ильи Ильича не было и тени сомнения, что вошедший имеет отношение к той же мошеннической банде, что и сбежавший негр, однако формального повода для расправы с вальяжным господином не было, да и самый его вид не предполагал кулачной над ним расправы. В конце концов, вид человека, который в подобной ситуации прежде всего заботится о чистоте костюма, способен остановить даже занесённый для удара кулак.

— Ваши люди? — спросил Илья Ильич, указывая на пятерых жавшихся по углам бригадников.

— Первый раз вижу, — словно на очной ставке отозвался приличный. — Я, собственно говоря, представитель федеральных властей, а вы, насколько я понимаю, совсем недавно появились в... как бы это сказать... короче, появились здесь и ещё не прошли регистрации.

— Свидетельство о смерти, что ли, получать? — язвительно спросил Илья Ильич. — Так его там выдают, родственникам, а мне как бы и ни к чему.

— Ошибаетесь, глубоко ошибаетесь... — проникновенно пропел самозванный чиновник.

Илья Ильич краем глаза заметил, что недавние погромщики, пытавшиеся разыграть казалось бы беспроектную карту Страшного суда, один за другим по стеночке прокрались к вышибленной двери и немедленно расплылись в полутьме. Мешать им Илья Ильич не стал, не сюда же они рвутся, а отсюда... Илья Ильич продолжал разглядывать главаря, который уже привычно вещал, то нравоучительно, то с лёгкой укоризной, то переходя на стиль рекламного слогана:

— Люди живут везде и всегда, даже, как видим, нежные люди, тоже живут, а жить в обществе и быть свободным от общества — нельзя. Это не я придумал, а один мудрый человек...

Случилось так, что в молодые годы Илья Ильич жил исключительно среди честных людей. В коммунальной квартире, где проходило его детство, можно было оставить на кухонном столе кошелёк и быть уверенным, что не пропадёт ни единой копейки. Мошенниками считались цыганки и безнадзорные мальчишки, шаставшие по рынку. И тех, и других мож-

но было легко определить по внешнему виду, суетливым движениям и воровато бегающим глазам. Мошенник на доверии был редкой птицей, какую в пору в «Красную книгу» заносить. И когда с приходом нового времени появились благообразные распространители фальшивых лотерей, respectable деятели финансовых пирамид, милые девушки, работающие на подхвате у уличных кидал, и прочий преступный люд, искренне считающий себя хорошими людьми, многие, и Илья Ильич в том числе, не могли этого понять. Везение или чутьё не дали Илье Ильичу вляпаться в мошеннические соблазны, он обходился стороной игроков в шарик и три листика, не брал билетов бесплатных лотерей и не вкладывал денег, которых у него и не было, в проекты, обещавшие слишком большие доходы. Но одно мучило его и не давало покоя. Мошенники почему-то были слишком похожи на людей. Это невозможно представить: стоит человек, смотрит на тебя честными глазами, а сам...

— Скажите, — перебил Илья Ильич монолог федерального чиновника, — вот вы мошенник, и, насколько я понимаю, мошенник-профессионал. А когда вы решили стать мошенником? Когда поняли, что обманывать хорошо и ни капли не стыдно?

— По-вашему, я похож на мошенника? — оскорбился чиновник.

— Ничуть, — заверил Илья Ильич. — Вы удивительно похожи на честного человека. Поэтому я и спрашиваю: вы нашли себя в этом ремесле? Получаете ли вы моральное удовлетворение, когда вам удаётся облапошить встречного? И ещё... вы потомственный мерзавец или вас воспитывали как человека, и ваша мама, которая, вероятно, тоже находится здесь, была бы огорчена, если бы узнала о вашем промысле?

— Знаете, — оскорбился благообразный, — в таком тоне я разговаривать отказываюсь!

— А вас сюда никто и не звал, — напомнил Илья Ильич.

— У меня дело! Я официальное лицо. Или вы предпочитаете, чтобы вас вызвали повесткой и заставили платить штраф за отсутствие регистрации?

— Идите отсюда, — ласково предложил Илья Ильич, — а повестку можете прислать по почте. Кстати, коммунальных

сборов я тоже платить не собираюсь. Лямишка в день, насколько мне известно, взимается автоматически, а всё остальное — ваши придумки. Так что вы с вашей командой опоздали. Можете быть свободны. Жаль, что здесь нет тюрем и милиции, а то засадить бы вас лет эдак на пятьсот. А ещё лучше — повесить. В прежние годы умерших, случалось, выкапывали из могилы и вешали. Лично я повесил бы вас с большим удовольствием.

— Мнемон в день, и я согласен сидеть в тюрьме, покуда у вас не кончатся деньги, — деловито предложило официальное лицо.

— Оботрёшься, — вспомнив молодые годы, ответил Илья Ильич. — Катись колбасой вместе со своей гопой, а то ведь я не пожалею денег и узнаю, что тебе полагается за то, что ты сюда вломился.

— За отработку-то?.. Ничего не полагается.

— Вот теперь ты и заговорил как урка, — с удовлетворением констатировал Илья Ильич. — Сколько себя ни лакируй, а гнилое нутро покажется.

— Послушайте, — возмутился самозванный чиновник, — в конце концов, я вам не тыкал!

— А я тебе сейчас так тыкну, что насквозь проткну, — пообещал Илья Ильич, продолжая сжимать в кулаке отсыпанные деньги.

— Илюшенька! — воззвала из угла тётя Саша. — Успокойся. А вы, — повернулась она к бригаднику, — уходите, пожалуйста.

— Минуты здесь не останусь! — продолжая разыгрывать оскорблённую невинность, бросило псевдоофициальное лицо и кануло в дверном проёме, бросив на прощание: — Ну, каков хам!

— Забавные люди эти мертвяки, — заметил Илья Ильич, возвращаясь к прерванному чаепитию. — Вор на воре сидит и воров погоняет. Одно непонятно, где же честные-то люди?

— Есть честные люди, есть... Только они в нихиль без дела не ходят, нечего тут честному человеку делать. Нормальные люди в городе живут, кто побогаче — в центре, кто похуже — на окраинах, в трущобах. Окраины так и называются — Отработка. Там — такие, как я, убогие, развоплощения ждут.

— Честные люди, значит, в городе, а новичков этим шакалам на растерзание?

— А ты что предлагаешь?

— Организовать настоящие бригады для поиска новичков и не грабить их подчистую, а действительно помогать устроиться в новой жизни. Встречать, вот как ты меня встретила...

— У нынешних бригадников с этого всё и начиналось, Илюшенька, но ведь дорого это, новичков встречать, а работникам тоже жить надо, только опыт приобретёшь, научишься новому ремеслу, как тебя дома забывать начинают, развоплощение замаячит... Значит, нужно зарабатывать. Вот и появляются один побор за другим, все придуманные, а на самом деле, чтобы при свежих покойниках руки погреть, собственное существование продлить подольше. Есть и такие, что без сети маяков работают, на свой страх и риск. Но это таланты, потому они новичков как липку и не обдирают. Например, твой Афоня, ведь хороший человек... а что деньги у тебя выцганивал, так ведь понемножку, только чтобы себе на прожить хватило. А тут — организация, им деньжищ всегда нужно больше, чем есть.

— Хорошо, с этим я разберусь попозже...

— Ладно, — улыбнулась тётя Саша, — слушай, как тебе своих искать...

\*  
\* \*

Из странной, стоящей посреди ниши, комнатёнки Илья Ильич ушёл через несколько часов. Перед уходом поправил что мог, вот только книги не сумел сделать вновь читаемыми. Библиотека у тётя Саши была своеобразная и кроме обязательной классики насчитывала множество каких-то странных сочинений, о которых Илья Ильич и не слыхивал, а потому и восстановить не сумел. А так — потратил сколько-то мнемон, и комната стала жилой. Заодно оттренировал нехитрое умение — узнавать, за что именно получена та или иная монетка. Зажимал серебристый мнемон между ладонями и узнавал кое-что о той жизни, что продолжалась

дома после его ухода, но каким-то боком касалась его. Скажем, шофёр, подвозивший его в Лахту, разменивая накаленным сотню, подумал мельком: как там поживает щедрый старикан... небось подлатали доктора, и теперь дедуля жалеет о раскиданных деньгах. Нет, парень, не жалеет. Сотенная банкнота оборотилась здесь серебристым мнемонам, а это куда как больше, чем просто деньги. Это немного жизни для того, кто уже умер.

Тётя Саша не вмешивалась в хозяйничанье правнучатого племянника, понимала, что только раззадорит гостя. Лишь на прощание сказала:

— Зря ты это, Илюшенька. Мне ведь не нужно. Знаешь, старики, бывает, уже сами не хотят жить. Устают от жизни. Для них даже царствие небесное хуже ада покажется. Вот и со мной та же история... устала. Я ещё в той жизни устала. Потом, как тут очутилась да молодость вернула, так вроде интерес в жизни появился, а сейчас — опять разочарование. И дело даже не в старческой немощи, а просто... ну, это сам поймёшь, как поживёшь тут подольше. Есть в этой жизни фальшивинка, не все её замечают, а мне она очень заметна. А впрочем, не слушай старческого брюзжания, ступай, а я пойду чай допивать, там ещё осталось на целую чашку.

— Я обязательно зайду через пару дней, — обещал Илья Ильич, и тётя Саша кивала, улыбаясь. Потом повернулась к полочке, сняла самого маленького слоника:

— На вот, возьми на память. Они тут одни только и оставались настоящими, когда ты пришёл. Только из-за них я и жива по эту пору. Их мне когда-то на счастье подарили, и видишь, как вышло, действительно они большую удачу принесли. Я тут всякое про здешнюю жизнь говорила, но ты не всё на веру бери, на самом деле мне тут вторая жизнь выпала, и счастья в ней тоже было с достатком. Пусть и тебе будет не хуже.

Илья Ильич ушёл недалеко. Остановила простая и страшная мысль. Ведь он позаботился обо всём: о вещах, об уюте, но забыл про саму тётю Сашу. А у старухи, по её собственным словам, не оставалось ни единой лямишки...

Илья Ильич развернулся и поспешил обратно.

Комната, вынутая из старого петроградского дома и затеянная среди ниши, встретила его светом, теплом и пусто-той. Среди уютных стен никого не было, лишь тончайшая серебристая пыль покрывала новую, только что отреставрированную мебель. Недопитая чашка чая ещё курилась ароматным паром, а под серебряным чайничком мирно мерцал огонёк спиртовки.

Вот так, был человек, а теперь его нету. Не осталось даже в памяти и, значит, нет нигде, лишь немые вещи некоторое время существуют сами по себе. Сыщик Афоня в своих странствиях набредёт на пустую комнату, снимет шляпу, задумчиво потрёт темя: с чего бы это, не раёк в нише дрейфует, а жилая комнатка. Видать, какой-то домосед скончался и, ослеплённый ужасом, создал не штампованный рай, а собственную норку, в которой так славно пряталось от превратностей судьбы. Но и в норке своей покойничек был сыскан жаждающими бригадниками, извлечён на свет, обобран до нитки (ведь оставалось что-то, комнатка — это не рай на полгектара, она всякому по карману!) и отпущен в новую жизнь. «Опоздал!» — вздохнёт Афоня и, если комната ещё не поветшает к тому времени, переночует на постели с пирамидой разнокалиберных подушек, попьёт чаю из фарфоровой чашки, а может быть, и заберёт себе что-нибудь на память. Только что пользы от мёртвой памяти давно скончавшегося человека? Творить может только память живых, об этом живым никогда не стоит забывать.

Илья Ильич понуро постоял, привыкая к мысли, что уже ничего не исправишь, потом осторожно взял оставшиеся шесть слоников, положил во внутренний карман пиджака, потёр темя, словно копируя будущий Афонин жест, и осторожно прикрыл за собой так недавно созданную, но уже никому не нужную дверь.

Ориентируясь по неумело поставленному компасу, двинулся сквозь нишистую хлябь, надеясь, что город, как было обещано тётёй Сашей, появится не позже, чем через полчаса. Компасов было создано два, но один, тот, что ориентирован на Люду, угрюмо молчал, словно бывшая жена уже давно рассыпалась тончайшей отработкой.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ресторан «Дембель» считался не слишком дорогим, но приличным заведением, одним из многих в русском секторе Города. Обычно здесь собирались парни, погибшие в бессмысленных войнах последних десятилетий, а вокруг настоящих воинов, как всегда бывает, тусовался всякий сброд, не военный, но ушибленный армией и даже после смерти не умеющий стать просто человеком. Настоящих было видно и по уверенной повадке, и по нескаредному поведению. Погибши молодыми, они оставили в живом мире родителей, братьев, приятелей и невест. Так или иначе, но их вспоминали чуть не всякий день, поэтому в средствах завсегдатаи «Дембеля» тоже особо не стеснялись, просяживая порой по мнемону в день.

Столики в «Дембеле», как и во всяком ресторане, были двух сортов: обычными и невидимыми, за которыми сидели те, кто не желал привлекать к себе лишнего внимания. Невидимый столик и все кушанья за ним стоили вдвое дороже обычных, поэтому приватные беседы случались в ресторанчике не часто.

Музыканты в «Дембеле» играли круглосуточно, сменяя друг друга. Платили им сущие гроши: кормёжку и по две лямишки в день, однако от желающих отбою не было, одни получали таким образом возможность хоть как-то быть услышанными, а другие, обитающие в Городе уже много десятков лет, считали и две лямишки вполне приличным заработком. Убогие кварталы Отработки были сверх всякого представления заселены музыкантами, когда-то, быть может, и известными, но ныне прочно забытыми. Обычным ресторанным лабухам в заведения Города хода не было, даже для пиликанья под лангет можно было найти по-настоящему талантливого исполнителя.

Двое мужчин сидели за обычным столиком в глубине зала, подальше от сцены, где ненавязчиво играл инструментальный ансамбль. Обоим было лет под тридцать, и только обладатель большого количества мнемона мог бы узнать, собственный

это возраст собеседников, омоложены они или, что тоже случилось в «Дембеле», погибнув в неполных двадцать, посчитали нужным накинуть для виду лишний десяток лет.

— Какое же это оружие?.. — внушал чернявый светлоголовому собеседнику. — Трапедия — обычный гимнастический снаряд. Имеем полное право.

— Цирк, — не то осуждающе, не то подсказывая, произнёс светлый.

— Вот именно. Организуем бродячий цирк: клоунов, акробатов, иллюзионистов пару — мозги пудрить...

— Ты ещё ручного медведя не забудь... Не дороговато обойдется такой цирк?

— В Отработке найдём добровольцев задешево.

— Не пойдут эфемеры на Цитадель. А если и пойдут, то их там в три минуты в распыл пустят, пылесосом собирать придётся. Это ещё до нас пробовали: задавить охранников числом, устроив под стенами Ходынку. Отбились на раз. Теперь эфемеры учёные.

— Да они ничем не рискуют, и знать ничего не будут! Цирк и цирк. Наберём труппу, может быть даже пару представлений дадим на бульваре, пусть со стен поглядят, попривыкнут к нам. А потом как бы случайно станем поближе к стенам...

— Кто прыгать будет? — задал светловолосый главный вопрос.

— Я. Я ещё живым трапедией увлекался, у меня получится.

— Понятно... Значит, ты... А не боишься, что тебя влёт снимут, что утку? Траектория твоего полёта вся как на ладони — из любой пукалки снимут. Я бы снял.

— Они ж не будут ожидать...

— Они всегда ожидают, каждое мгновение. К тому же там старики, уж в чём, в чём, а в птичьей охоте они понимают, думаю, всякому из них приходилось уток сшибать. Ещё из луков.

— Это ты злишься, что не тебе прыгать?

— Ещё чего... Идея твоя, ты и прыгай. Я даже пособить могу, так, по дружбе. Но денег в твой цирк вкладывать не буду. Несерьёзно это. Да и нет у меня денег.

— Это у тебя-то нет? Ты же сам говорил, что тебя каждый день вспоминают...

Светловолосый пожевал губами и ничего не ответил.

— Давай, Илюха, соглашайся! — принялся уговаривать первый. — А то всё болтаем, треплемся, планы строим, хуже штабных, а сами ничего не делаем. А время, между прочим, уходит...

— Я, между прочим, в Афганском прорыве участвовал. И о том, как нас тогда сделали, не по рассказам знаю.

— Молодые вы были, — не то согласился, не то возразил его собеседник, — неопытные. Правил ещё не знали, пытались воевать прошлыми мерками.

— Знали. Там ведь не только наши были, из Афгана и Анголы, но и янки, которых во Вьетнаме кокнули, и сами вьетконговцы, и даже со Второй Мировой кое-кто, их тогда ещё неплохо помнили. Так что знали мы всё как есть, но принять этого не могли и полезли нахрапом. У тех копыя и луки, у нас — акаэмы, значит, не могут они против нас выстоять. А они и не стали сопротивляться. Они просто шарахнули в ответ всем своим капиталом — и были правы. Вот то же самое случится и с твоей трапедией. Пока ты на ней просто так раскачиваешься — это трапедия. А как вздумаешь сальто в сторону Цитадели сделать — так уж не обессудь, кума, попотчуют от души.

— Не успеют. Я считал, у них запаздывание, если противник безоружный, полторы секунды, значит, у меня в запасе две десятых секунды. Ты не хуже меня знаешь, что за это время можно сделать...

Светловолосый Илюха не слушал. Он медленно поднимался со стула, оборотившись в сторону дверей. Там, шурясь на яркий свет эстрады, стоял человек, очень похожий на самого Илюху. Те же светлые волосы, такой же вздёрнутый нос, тот же взгляд недоверчивых глаз. Даже возраст у двух мужчин был примерно одинаковым, так что всякий без колебаний назвал бы их братьями. Однако Илюха, сделав шаг навстречу вошедшему, произнёс слово, которое могло быть обращено к ровеснику только в загробном мире:

— Папа...

— Я, Илюшка, — сказал Илья Ильич.

Бесконечно долгие секунды они стояли друг напротив друга и молчали. Всё было ясно и без слов, хотя ничего не было

ясно. «Мы увидимся там», — говорят о любимом покойнике. А ведь радость встречи можно испытать только в настоящем мире, там мы все будем, и встреча за гробом означает лишь, что любимого человека тоже нет в живых.

Илья Ильич странно всхлипнул и прижался лбом ко лбу взрослого сына.

— А ты совсем не изменился, — сказал Илья-младший.

— Это я тут подновился, — ответил Илья Ильич, чтобы что-нибудь сказать. — Видел бы ты меня в хосписе, краше в гроб кладут...

Черноволосый собеседник Илюшки, оценив загробный юмор шутки, коротко хохотнул.

— Мама здесь? — спросил Илья Ильич.

Сын чуть заметно поморщился, но ответил:

— Куда ж она денется?

— Видитесь с ней?

— Нет, — коротко ответил сын, а потом, видя, что от него ждут настоящего ответа, добавил: — Она хорошо устроилась, в Цитадели служит, а оттуда в город не часто выходят. Не поощряется это, да и сами не хотят.

Что-то в этих словах показалось Илье Ильичу сомнительным, но уточнять он не стал, не желая портить радость свидания с сыном.

— Ты здесь как? — излишне быстро спросил Илюшка.

— Да вот, — усмехнулся Илья Ильич, — проездом.

— Я ж говорю, ничуть не изменился, — Илюшка повернулся к черноволосому акробату и торопливо произнёс: — Серёга, видишь, отец это мой. Я с тобой потом договорю...

Серёга понимающе кивнул и, захватив своё пиво, пересел за один из дальних столиков. Настроение у него было под цвет волос... не соврал, значит, друг Илья и действительно сидит без денег. Прежде от батяни подкармливался, отцы часто вспоминают погибших сыновей, мучаясь, что сами живы, а мальчишки угадали под вражескую пулю. А теперь... кто будет вспоминать погибшего тридцать лет назад солдата? Слишком много с тех пор пришло в Россию двухсотых грузов. А «Книга памяти», что мёртвому припарка... — лямишка в пять лет. Потом Серёге пришли в голову ещё какие-то сооб-

ражения, он встрепенулся, заинтересованно поглядел на толкующих мужчин, но подходить не стал, тоже ведь понять можно, пусть люди поговорят... третий для них сейчас лишний.



Комната сына оказалась той самой, «Илюшкиной» комнатой, что вплоть до ухода Людмилы продолжала ждать в родительском доме. Это потом Илья Ильич порушил весь некрополь, а была бы возможность — даже квартиру сменил бы. Говорил, что мёртвые в душе живут, а не среди сберегаемого барахла. И ведь как прав оказался, аж жуть берёт. Даже полуразрушенный бобинник с записями Высоцкого стоял на полке. И Илья Ильич вдруг подумал, есть ли там последние записи певца?.. Ведь Высоцкий умер позже его сына, так что от Ильи-младшего не досталось ему ни единой лямишки. Странные вещи приходят в голову в самые неподходящие минуты жизни.

Царил в комнате застарелый холостяцкий беспорядок с неубранной посудой и запахом дешёвых сигарет. Илья Ильич в жизни не курил, даже на фронте, и сыновью слабость не одобрял решительно. Очевидно, и Илюшка помнил это, потому что немедленно смёл со стола весь мусор вместе с затесавшейся посудой и какими-то вещицами. Окна открывать он не стал, но в комнате с ходу повеяло прохладой и липким тополиным запахом.

— Оставь, — сказал Илья Ильич больше для порядка, ибо порядок ценил и соблюдал не только дома, но и во всех своих бесчисленных разъездах. — Расскажи лучше, как ты тут. Не вообще, как здесь дела обстоят, а про себя. Как живёшь, чем занимаешься...

— Сам видишь, — сын широким жестом обвёл комнату. — В нашем положении делом заниматься трудно, тут все вроде как пенсионеры, отдыхают, покуда пенсия капает. — Илюшка уселся за стол, словно в яму упал, видно было, что не один час он провёл сидя вот так, обхватив голову руками и размышляя о грядущем, которого лишился тридцать лет назад. — Ничем

я здесь не занимаюсь. С ребятами встречаемся, разговариваем, вспоминаем... чаще — из той жизни, ну... и в этой кой-что было. Развлекается кто как умеет... театров тут много, в кино можно сходить... как кто из режиссёров знаменитых сюда является, так сразу их фильмы крутить начинают, не те, что на экране шли, а как их режиссёр в мечтах представлял. Называется — «правильное кино». Новинки тоже крутят... это по воспоминаниям зрителей, только я туда не хожу, парашное это дело, любой фильм мелодрамой отдаёт. И радио, новости живой жизни, тоже не слушаю, кой-ляд мне его слушать, если всё равно ничего изменить не можешь.

— Радио, значит, есть, — задумчиво протянул Илья Ильич.

— Есть, только денег стоит, хотя и небольших.

— А кто этим всем занимается? Это же работа, та самая, о которой ты мечтал.

— Бригадники.

— Как? — Илья Ильич искренне удивился, но тут же понял, что удивляться как раз и не следовало. Не дураки же эти люди, чтобы только деньги грести у свежепреставившихся. Информация — те же деньги. Наверняка у них там и журналисты работают высококлассные, и психологи, и чёрт знает кто ещё. Так что зря он записал в мошенники всех бригадников скопом. На самом деле это маленький кусочек порядка среди мечты князя Кропоткина.

— Не женился? — наконец прозвучал вопрос, который изводил Илью-старшего болью в пульпитном зубе. И ответ был под стать вопросу, сын дёрнул плечом, словно муху стогнял, и произнёс невнятно:

— Да как тебе сказать...

— Так и скажи.

— В мэрии с кем угодно брак регистрируют, хоть заочно. За один мнемон. Говорят, есть идиоты, которые идут и оформляют брак с Клеопатрой или, скажем, Софи Лорен. А сами живут с обычными бабами, которые... ну, ты уже знаешь, что тут внешность можно изменить?

— Знаю, знаю... — Илья Ильич усмехнулся. — О дураках — не будем. Ты же помнишь, мне на бумажки всегда было плевать. Просто, ежели что, так познакомь с невесткой.

— Нету у меня жены, — жёстко сказал Илюшка. — А всё, что было... несерьёзно это.

— Понятно...

— Да нет, пока ещё не понятно, — сын кривовато улыбнулся, не зная, как говорить на такую тему, — тут без пол-литры не разберёшься... Ты, конечно, меня на тридцать лет старше, но здесь ещё новичок, а я как раз тридцать лет отбыл.

— В отцы годишься, — подсказал Илья Ильич, встретив в ответ понимающую улыбку, очень похожую на его собственную.

Сунув руку за пазуху, Илья Ильич, не глядя, добыл немного денег и, внутренне замерев (непривычно ещё было!) соорудил на столе завтрак. Можно было бы и не завтракать, от голода на том свете никто не умирает, но живая привычка к чревоугодию брала своё. К тому же и впрямь легче говорить за накрытым столом. Только вместо помянутой Илюшкой поллитровки как-то нечаянно обнаружились фронтовые сто грамм, «понтонные», как называли их сапёры.

— Ишь ты! — проговорил Илюшка. — Вареники! С твором, небось, как мама делала... Не забыл, значит?

— Я-то не забыл... — Илья Ильич запнулся на мгновение. — Так что всё-таки с матерью? Я компас поставил, а он молчит, как нет его.

— Говорю же, в Цитадели она, — тень снова набежала на Илюшкино лицо, — работу сыскала.

— А мне говорили, что в Цитадель никакими силами не пробиться. Кем она там устроилась-то?

— Кем, кем?.. Вот тем и устроилась!

— Ты что о матери говоришь? — возвысил голос Илья Ильич.

— А я ничего и не сказал, — сын был мрачен. — Ты сам догадался.

— Не может этого быть. — Слова легли так убеждённо, что точка в конце прямо-таки резала глаз. — Не согласится она на такое никогда.

— Давай я тебе лучше всё прямо расскажу. — Илюшка поднял измученный взгляд, потом быстро налил водки в пузатую стопочку, единым глотком опростал её и только тогда загово-

рил, уже не морщась, словно горькие слова были лучшей закуской, враз отбившей и водочную и душевную горечь: — Она ведь сюда попала как есть нищая, всё до последней лямишки бригадникам отдала, только чтобы они меня отыскали. Они и отыскали где-то после сорокового дня, когда мнемоны уже не потоком идут, а по одному капают. Тут-то она и поняла, что натворила: и сама растратилась, и меня на голодный паёк посадила. Мы ведь в начале восьмидесятых пытались Цитадель штурмом взять, ещё услышишь — Афганский прорыв. Ничего не вышло, только зря деньги раскидали. А меня она больше всех вспоминала, это уж так водится... Я — нищий, она — нищая, хоть сразу берись за руки и отправляйся в Отработку. Ты ведь о ней не часто думал: в работу с головой ушёл, да и утешился быстро. А ей обидно. Вот она и отправилась в Цитадель, когда на очередного зомбака конкурс объявили...

— Постой, — сказал Илья Ильич, — я что-то не понял. Мне говорили, что в Цитадели великие люди живут, о ком память по-настоящему крепкая. А ты о зомбаках каких-то говоришь, штурмах...

— Там всякие живут, — отмахнулся сын. — Ещё узнаешь. Поначалу это интересно, так народ и к призракам бегают, с каким-нибудь дьяконом Фёдором потолковать, и вокруг Цитадели прогуливается. Призраки-то на отшибе обитают, рядом с Отработкой, а зомбаков охранники к рукам прибрали, там хоть и небольшие, а всё денежки.

— Объясни толком! — взмолился Илья Ильич.

— Помнишь, ты меня маленького в Эрмитаж водил? А там — мумия, жрец какой-то... Пта... Пту... Не помню. Ведь этот жрец жил когда-то, жрал и пил, мечтал о чём-то, рабами повелевал. Наконец, помер, тело его бальзамировщики замариновали, а он тут очутился. Снова жил в своё удовольствие, тоже, небось, повелевать пытался. Покуда его в родном Египте помнили, так, может, кем и повелевал. А потом его напрочь забыли, так что он через сколько-то времени отработкой рассыпался. А ещё через тысячу лет его гробницу нашли, имя прочли на стене, мумию выкопали. Мимо этой мумии теперь каждый день тысячи человек проходят, и от каждого ему лямишка. Мнемонов ему не видать, но зато мелочи этой — до хренища.

Ты знаешь, у египтян поговорка была, её тут всякий слышал: «Мёртвого имя назвать — всё равно что вернуть его к жизни». Вот он и возродился из отработки на манер Феникса. Только что там могло возродиться? Памяти нет, души не осталось. Одно тело и вернулось к жизни. Таких тут и кличут кадрами, или, в просторечии, зомбаками.

Илья Ильич кивнул, показывая, что слушает, а Илюшка продолжал, словно радуясь, что может говорить о чём-то отвлечённом, а не о матери и собственных неважных делах:

— Зомбак и не помнит ничего, и делать ничего не умеет. А деньги есть. Тут и объявляется конкурс на то, кому он деньги отдавать станет, силой-то их у него не взять, только в обмен на что-то. Кормить его, скажем, или в постель с ним ложиться, а то просто — сидеть рядом и говорить что-то. Они же лопочут непрерывно... некоторые.

— Так мать там вроде сиделки?

— Вроде лежалки, — зло ответил сын, и на этот раз Илья Ильич не одёрнул его. Теперь становилось понятно, почему так упорно не отвечает поставленный на Люду компас.

Молчали долго. Илья Ильич переваривал услышанное, которое никак не желало укладываться в голове. Собственно говоря, ещё когда Афанасий внушал ему, что здесь людей иными мерками судить следует, Илья Ильич подумал, что за столько-то лет Людмила могла завести новую семью и вообще измениться до неузнаваемости. Но то, что сказал сын, не лезло ни в какие ворота.

— Зачем она так? — выдавил он наконец.

— Обо мне позаботиться решила! — Илюшка хлопнул ещё одну стопку и нервно закурил. — Ты же её знаешь, она всю жизнь только тем и занималась, что алтарь выискивала, на котором себя в жертву принести удобнее. Семье, принципам, долгу какому-то... Мучилась она, что я из-за её самоубийства на бобах оказался. Вот и решила зарабатывать любой ценой. А тут этот конкурс дурацкий, ей возьми да и потрафь.

— То есть она из-за тебя туда отправилась?

— Из-за кого же ещё?

— А ты?

— А что я? Я её денег не беру. И не возьму, даже когда в Отработку скачусь. Я даже не знаю, сколько она там выколачивает... за свой труд.

Опять долго молчали, рюмки три или четыре. «Понтонная» чекушка давно кончилась, Илюшка, по-прежнему молча, вытащил из ниоткуда бутылку «столичной», привычным движением сорвал станиолевую крышечку, плеснул в пузатые стаканчики. Илья Ильич пил словно воду. Потом выговорил:

— В конце концов, какое у меня право осуждать? Хотя, конечно... — и, не закончив фразы, потянулся к быстро налитой стопке.

Илюшка кивнул, подтверждая, что понял отца, и тоже нарушил тишину:

— Ты уже поселился где?

— Нет покуда, — произнёс Илья Ильич, и последнее, казалось бы лишнее слово завершило предыдущий разговор, показав, что к тягостной теме возврата не будет, и никто не собирается представлять трагедий. Как получилось, так и получилось, но надо жить, а то, что у запоздавшего с кончиной главы семейства не оказалось ни дома, ни семьи, то это беда временная и поправимая. Покуда — нет, а там — как получится. И слова про осуждение были сказаны больше для сына, ему-то она мать, и останется матерью даже на том свете. А пуще всего — недосказанное «хотя», в котором слилась вся горечь и недоумение. Добро бы сыскала покойница новую любовь или просто сошлась с кем-то от тоски и женского одиночества... было бы по-человечески понятно и сына не касалось бы никоим боком. А так... неудивительно, что молчит поставленный компас и кривит губы ригорист Илюшка.

И всё-таки хорошо, когда тебя понимают, и весь этот клубок вины, горечи и обиды не приходится распутывать от начала и до конца, да ещё на глазах у сына. Перевёл умница Илюха разговор на обустройство будущей жизни, а прошлого как бы и не было вовсе. Даже рубить узел не придётся, сам истлеет и забудется. Тот, кто живёт одними воспоминаниями, понимает это лучше прочих.

— Хочешь, оставайся пока у меня, — подхватил Илюшка, — а там уже без торопливости решишь, как устраиваться.

— Чего тебя стеснять... Мне бы комнатёнку какую-нибудь, но слишком от тебя далеко, но и чтобы не мешать особо.

Только теперь Илья Ильич сообразил, что напрочь не представляет, как тут решаются жилищные проблемы. Комнаты люди обставляют сами, это и по Илюшкиной норе видно, и по тетисашиной коммунальной комнатёнке. А вот где эти комнаты берутся... Опять бригадники распределяют? Не загробная жизнь, а суший «Марш коммунистических бригад». Коммунальные сборы не платить, это понятно, а как насчёт всего остального? Дома ведь кто-то строит — привычные городские многоэтажки, какими весь центр Питера уставлен: тут и многоквартирники девятнадцатого века постройки, явно после капремонта — из нынешнего фешенебельного центра, тут и монументальный сталинский ампир, и изыски последних лет. Разве что безликих крупноблочных строений, в каких и по сей день при жизни ютятся большинство народа, почти не видать. Вроде бы весь город — один спальный район, но дома сташены из центра. И памятников нет... Великим, которые поблизости в Цитадели прячутся, не очень хочется чугунные идола ставить, а себе любимому — долго ли простоит? Вот и получается: по внешности — центр города, а по сути — спальный район. Забегаловки, ресторанчики, казино, театрики и дома, дома, дома... А что в этих домах внутри, как жилплощадь используется, кому принадлежит? Неужто и после кончины людей продолжает портить квартирный вопрос?

— Комнатёнку получить не проблема... — задумчиво протянул сын. — Их тут сколько угодно, хотя лучше получить обычный объём и обставить комнату самому. И дешевле, и жизнь будет привычной. Но давай этим чуть погоды займёмся...

— Давай! — покладисто согласился Илья Ильич.

— Сегодня ты у меня ночуешь. Я, вон, на диванчике лягу, а тебе койку уступлю.

В эту ночь койка и диванчик остались без дела. Илья Ильич с Илюшкой сидели, вспоминая прежнюю жизнь. Такой бы разговор да в реальности, то-то радости было бы скончавшимся родственникам, друзьям и просто случайным, но почему-то запомнившимся людям. Мнемоны текли бы рекой, изрядно украсилось бы загробное царство, и, глядишь, бла-

годарные покойники воздвигли бы на площади монумент человеку, который вспоминает... Конечно, были бы там не Илья Ильич с сыном, а отлитая в бронзе старушка, которая целыми днями не то дремлет в протёртом кресле, не то просто сидит, уставив маразматический взгляд в экран выключенного телевизора. Не спешите включать глупый ящик, рассеивать слабое внимание... бабушка, сама того не зная, занята важным делом: возвращает к жизни тех, кто уже ушёл. А бесконечный сериал отвлечёт ум, в склеротическом мозгу начнут бродить никогда не существовавшие персонажи, а реальные люди пойдут в отработку, превратятся в ничиль.

Порой, во время бесконечной беседы ни о чём, к слову приходилось, что опытнейший сын поминал что-то о нынешнем бытии, в котором отец покуда не смыслил ни уха, ни рыла. Вроде бы ни о чём специально не рассказывал, но чуткий Илья Ильич успел отметить, как часто поминается в этих оговорках Цитадель и ненавистные охранники. Этого уже было достаточно, чтобы понять: есть у Илюшки цель — и цель жизни и просто цель, в которую палят — и называется она Цитаделью.

Поначалу Илья Ильич решил было, что нотки ненависти сквозят в Илюшкином голосе оттого, что в Цитадель ушла мать, но потом понял, что сыновья ненависть не к самой Цитадели, а к охранникам, стоящим на стенах.

— Показал бы ты мне эту Цитадель, — попросил Илья Ильич. — Или туда нельзя?.. Опасно?

— Почему опасно? Там бульвар вдоль стены, люди гуляют. Хочешь, с утречка сходим. Только ничего там интересного нет.

— Это тебе не интересно, а я ещё не видал. Кстати, а почему тут утро есть, день, ночь... В нихиле вроде ничто не меняется, там всегда сумрак.

— Это само собой происходит. Где людей много собирается, или просто находится что-то людьми созданное. Почему так — никто не знает. Одни считают, что это вещи эмануруют. Они же на самом деле не снашиваются, а просто портятся от времени. И вот, когда из них вложенная память уходит, она-то и создаёт эффект идущего времени. Другие говорят, что воздух и свет образуются за счёт тех лямишек, что с каждого взима-

ются автоматически, просто потому, что дышишь. И человек, прежде чем отработкой рассыпаться, задыхается, поскольку дышать ему больше нечем.

Илья Ильич припомнил исчезновение тётки Саши и передёрнул плечами.

— И что же, если спать побольше, то денег меньше уходит?

— Всё одно, лямишка в день.

— Понял... А с прежними приятелями, теми, кто уже тут, ты выдаешься?

— Да как тебе сказать... Специально — нет. А так порой сталкиваюсь на улице. Я себе свойство купил, в те поры, когда мнемонаы швырял без счёта: ежели вижу человека, сразу знаю, встречался с ним или нет. Припоминать не нужно. А то ведь со мной вечно такое происходило: вижу знакомого человека, знаю, что мы знакомы, а где, когда, как его зовут — убей, не помню. Дурацкое положение. Теперь со мной такого не бывает. Если хотя бы пару раз с человеком словечком перекинулся, то могу вспомнить, где это было и о чём разговор шёл.

— А я знание языков себе заказал, — признался Илья Ильич. — Причём нечаянно. Захотел узнать, о чём люди говорят, а деньги в кулаке держал. Теперь все языки понимаю, что новые, что древние.

Илюшка присвистнул.

— Абсолютный полиглот!.. Это крутенько. Сколько же денег ушло?

— Представления не имею. Я и сейчас не знаю, сколько этих монет у меня. Неловко считать.

— Посчитай, — сказал Илюшка, и отец сразу припомнил Афанасия, дававшего тот же совет.

Илюшка тем временем сунул руку за пазуху, повозился немного и сказал:

— Двадцать мнемонюв. Вообще-то, не так много, а для отработки — целое состояние.

— Что — двадцать мнемонюв?

— Твоё знание языков стоило.

— А!.. А я решил, что ты успел проверить, сколько у меня деньжищ в мошне спрятано.

— Этого никто не определит. Тайна личности, ядрён батон... Всё остальное, пусть за большие деньги, но можно узнать, а этого — нет.

Посмеялись не очень весело и вскоре, как водится в нетрезвых компаниях, перешли к анекдотам, тем более что загробных анекдотов Илье Ильичу услышать было негде. Когда за окном мертвенная ночная серость сменилась дневным светом, отец с сыном вышли на улицу и направились к Цитадели. Шли пешком, благо что недалеко и можно добраться бесплатно.

— Вот идут по улице два Ильи Ильича, — вспомнил отец старую, полсотни лет не звучавшую шутку. — А двое — как будет?

— Илей Ильичей, — убеждённо, как в детстве, сказал Илюшка.

Бульвар и впрямь был бульваром, крепко утоптанной дорожкой, проложенной по оплывшему крепостному валу — больверку, и обсаженной с двух сторон деревьями, о чём Илье Ильич не без удовольствия поведал сыну.

— Первые бульвары в Париже появились, когда французы стали сносить городские укрепления. Всё равно город давно разросся за пределы крепостных стен, так что пользы от них никакой не было. Стены снесли, а земляные больверки срывать — себе дороже. Их обсадили с двух сторон деревьями, а может, эти деревья уже и сами выросли, не знаю, по верхушке вала дорогу проложили, и получилось место для гуляния. Сверху вид красивый, и зелень, опять же... Аристократы в каретах туда на променад отправлялись, а кто победнее, те вроде как мы, пешком. Потом в подражание Парижу в других городах специально начали бульвары прокладывать, кое-где даже насыпь нарочно делали. А в России простой люд говорил не «бульвар», а «гульвар», потому что там гуляют...

— Вот она, Цитадель, — сказал сын.

Ничего особо грозного или мрачного не показалось в открывшейся взгляду обители. Стена не то из шершавого песчаника, не то просто из засохшего самана, не особо высокая, метра четыре, не больше. За стеной густо кудрявится зелень и выглядывает пара не то смотровых башенок, не то минаретов или звонниц. Ото всей этой патриархальности вея-

ло музейным спокойствием, а уж никак не военной силой. И даже фигуры часовых серьёзности картине не добавляли. Через каждые полсотни метров, не скрываясь, напоказ, стояли неподвижные фигуры. Юбки, а вернее — опоясания с густой бахромой. Грубые льняные рубахи — и никакого намёка на доспехи, хотя бы кожаные или из нашитых блях. Лишь на головах у некоторых красовались круглые шлемы-мисюрки. В руках короткие копья с широким лезвием, из-за плеча виднеется конец круто изогнутого лука. Тёмные лица непроницаемы и наполовину скрыты завитыми и выкрашенными хной бородами, так что стоящие кажутся манекенами, а не живыми людьми. Впрочем, живого в них и впрямь осталось очень немного; Илья Ильич вдруг осознал, что воочию видит людей, скончавшихся три тысячи лет назад и сумевших продлить своё эфемерное существование на эти самые тысячи лет. Непобедимые воины, телохранители древних владык, забытые людьми и историей, они давно должны были рассыпаться пылью, но живут, поскольку всё новым и новым владыкам необходимы телохранители и непобедимые воины. И каждое поколение умерших солдат безуспешно пытается сокрушить эту первую когорту, которая держится вовсе не силой своего оружия, а мощью тех, кто живёт за стеной. Пытается сокрушить, для того чтобы... а в самом деле, зачем? Этой ночью Илья Ильич не раз и не два слышал от сына о провалившихся попытках взять Цитадель штурмом, о несостоявшихся попытках взять Цитадель штурмом, о задуманных попытках взять Цитадель... Зачем, и что это изменит в сложившемся положении вещей?

— Смотри!.. — перейдя вдруг на свистящий шёпот, проговорил Илюшка. — Вон, видишь?

Ничего особого Илья Ильич не видал.

— Да вон, через два человека, видишь, часовой стоит? Это же из новых, с ружьём!

Воин, на которого указывал Илюха, никак не годился в современники людям, прогуливающимся по бульвару, хотя и меднобородые ассирийцы, составлявшие большинство на стенах, не могли бы назвать его своим. Был он одет в камзол, поверх которого красовалась блестящая кираса, а вооружён до

потопным кремнёвым мушкетом и шпагой, которая праздно висела на перевязи.

— Значит, это правда! — возбуждённо повторял Илюшка. — Мне рассказывали, будто бы лет триста назад Цитадель была взята, а я не верил. Там на стенах всё больше ассирийцы, несколько римлян, да ещё китайцев порядочно, говорят, тоже из тех времён. А этот совсем свежий... Значит, брали Цитадель и в Новое время, просто большая группа прорваться не сумела, быть может, вот этот стрелок один всего и прорвался. Но ведь прорвался же! Значит, и мы можем.

— Ничего не понял, — перебил Илья Ильич. — Что значит «взять Цитадель», если стоит она цела и невредима, и зачем это нужно? Вообще, смешно, пока я в гостинице у вольных охотников проживал, так мой друг Афоня о городе говорил сплошными непонятками. А в городе так же точно о Цитадели судачат. Интересно, о чём в Цитадели разговоры идут? Давай-ка, пока мы тут гуляем, расскажи всё по порядку. И прежде всего, зачем вы собираетесь Цитадель разрушать?

— Никто её разрушать не собирается... — проворчал сын. — Просто те, кто на стенах живут, у них работа есть. Не знаю уж, сколько они получают, но когда в город прогуляться выходят, то ни в чём себе не отказывают. Правда, редко такое случается, а вот этого, новенького, и вообще триста лет никто не видел, одни слухи ходили. А взять Цитадель — значит прорваться внутрь и занять место на стене. При этом автоматически становишься её защитником. Только ведь для того, чтобы там встать, надо хотя бы одного вот из этих вниз спихнуть. А мы по сравнению с ними шмакодявки, у них опыт тысячелетний и деньги не чета нашим.

— По-моему, вы от безделья беситесь, — Илья Ильич пристально глянул на сына. — Ничему кроме войны не обучились, вот и тут продолжаете воевать. Знаешь, что мне это напоминает? Есть такая игра: «Король на горе»... Вспомнил?

— Я её никогда не забывал. А куда, скажи, мне себя положить? Ты и сам скоро с этим столкнёшься. Тебе пока всё в новинку, а как побудешь тут лет хотя бы пять, пооботрёшься — и что? Человеку без дела никак нельзя, а какое ты себе применение сыщешь?

Илья Ильич топнул каблуком.

— Ты под ноги-то погляди. Вроде бы это не ничиль. В городе — асфальт, кое-где, я видал, — плитка. Тут, на бульваре — грунтовка, между прочим, хорошо сделано. Вот и я буду, как встарь, дороги ремонтировать, а понадобится, то и новые строить.

Илюшка усмехнулся.

— Ты знаешь, сколько за последнюю сотню лет дорожных строителей было? Места все заняты давным-давно. Если бы ты крутым изобретателем был, новый тип покрытия придумал, тогда — иное дело. А ведь ты просто строил, добросовестно, не спорю, но обычных строителей тут в десять раз больше, чем дорог. И какого-нибудь заслуженного старика ты с занятого места не сгонишь, такое можно сотворить только с охранником Цитадели.

Илья Ильич критически оглядел редкую цепочку стражников. Молчаливые фигуры придавали пейзажу нарочитую театральность, но теперь за этими декорациями виделось иное — настоящее и жестокое.

— Вот мы с тобой болтаем, а они слушают, — последние слова Илья Ильич сказал как бы самому себе. — Наверняка у них все чувства искусственно обострены, так что они всякий шепоток слышат и цвет глаз у дальнего прохожего могут рассмотреть. Вот послушают они наши крамольные разговоры, да как шарахнут...

Илюшка ошеломлённо уставился на отца, потом медленно произнёс:

— Не шарахнут. У нас свобода слова. Можешь под самой стенкой стать и вопить, что заблагорассудится. Только если очень громко или, там, матерно, то оштрафуют. Причём чем больше постороннего народу рядом случится, тем значительней штраф. Деньги эти идут на то, чтобы люди, которым ты можешь помешать, не слышали орежа, мата, и не видели непотребств. Я однажды свидетелем был: стоит мужик перед воротами Цитадели, орёт, надрывается, а я не слышу ни словечка. А если бы он штаны спустил и начал стражникам задницу демонстрировать, то я бы и не увидел этого. Вот как я с этим мужичком заговорил, то враз разобрал, какими словами он цита-

дельников величает. Это тоже верно, раз я к нему обратился, значит, сам хочу знать, что он кричит.

— И что же он кричал?

— Да просто матерился на знаменитостей. Вы, мол, при жизни на моей шее сидели, и после смерти слезать не хотите. Дурак, короче. Так что тут у нас не только бандитизма нет, но и хулиганство редко встретишь. Ущучивает народ друг друга с помощью подколов и тонких интриг, иногда так больно ущучивает, что лучше бы уж по морде дали... — продолжая говорить, Илюшка взял отца под руку и повёл прочь от крепостной стены.

— Погоди, — воспротивился отец. — Мы же ещё ничего толком не осмотрели. Ворота тут какие-нибудь есть, или всюду так и будет сплошная стена?

— Есть ворота, куда они денутся, — Илюшка был недоволен, но послушно повернул обратно. Видно было, что какая-то мысль не даёт ему покоя.

— Хотя, если ты занят, то пошли отсюда, — предложил Илья Ильич, только теперь заметивший неожиданную нервозность сына.

— Да нет, мне не к спеху, — Илюшка уже успокоился и глядел, как прежде, весело. — Просто мысль одна в голову пришла, вот я и забежал, чтобы её обдумать. Не умею я думать неторопливо, обязательно надо бежать, словно опоздаешь принять решение.

— У меня — то же самое, — согласился Илья Ильич. — На объекте, бывает, пока план работ составишь — раза три весь выстроенный участок обежишь. При этом ещё и все недоделки заметишь... прорабы боялись меня — жуть! Думали, я специально бегаю, проверять.

Они дошли до приземистых воротных башен. На башнях с каждой стороны стояло по два часовых, а сами ворота были гостеприимно распахнуты.

— Входить, конечно, остро не рекомендуется, — высказал догадку старший экскурсант.

— Можно... — Илюха пожал плечами. — Даже не очень дорого. Там тебя встретит специальный человек, спросит, что ты хочешь им предложить, а затем объявит, что в твоих услугах

они не нуждаются. Есть и экскурсии, но это чудовищно дорого стоит, по карману только богатым новичкам, к тому же большинство обитателей Цитадели в этот день из дому носа не кажут. Кому приятно чувствовать себя экспонатом?

— Уговорил, — засмеялся Илья Ильич, — на экскурсию не пойдём.

Подойдя поближе, гуляющие заглянули в проём. Там густо зеленел ухоженный парк, аллея, обсаженная кустами жасмина, скоро сворачивала, так что взгляд далеко не проникал. Ни единой фигуры Илья Ильичу заметить не удалось, видимо не здесь было любимое место прогулок покойных знаменитостей. Вспомнив о нервозности сына, Илья Ильич пожал плечами, произнёс пренебрежительно: «Да, пожалуй, это не слишком любопытно...» — и повернул вспять.

Город располагался секторами, которые, словно дольки апельсина к центру, сходились к Цитадели. От распахнутых ворот легко можно было пройти хоть в пакистанский, хоть в испанский сектор. Илья-младший привёл отца в полутёмное кафе немецкого сектора.

— Пиво тут лучше чем везде, — произнёс он, потеряв ухо, и Илья Ильич понял: «Ушей нежелательных среди немцев меньше».

Тем не менее, был взят самый обычный столик, открытый всем взглядам и любознательным ушам. Тоже ясно, если в заведение явились иностранцы и прячутся от посторонних глаз, значит, имеет смысл подслушать, о чём они будут толковать. А так — забрели любопытствующие и едят жирные гусиные полотки, запивая тёмным баварским пивом. Немецких пивнушек в русском секторе почитай что и нет, кому они нужны, если за настоящей немецкой кухней за минуту можно дойти в Германию. Это только в американском секторе понапихано всякой всячины — и китайские ресторанчики, и итальянские пиццерии, и даже трактиры, имеющие самое отдалённое отношение к русской кухне, зато вполне отвечающие представлениям рядового американца.

Илья Ильич приготовился было, используя свой дар полиглота, объясняться с официанткой, однако обошлись без его помощи, кружки пива и полотки возникли как бы сами собой.

— Так и что тебя озарило? — тихо спросил Илья Ильич, держа гусиную грудку возле рта так, чтобы со стороны было не видно, что двое разговаривают. А то ведь кто его знает, может, и впрямь у Илюхи появился секрет, который ни за какие мнемоны не купишь.

— Ай, глупости всё это! — Илюшка махнул рукой. — Просто подумал, что если у этих на стенах и впрямь чувства обострены, то они прекрасно видели, что мы готовимся к штурму. Команды шёпотом передавались, а они их слышали и были готовы. Вот если ввести систему условных знаков... А потом понял, что ерунда. Опытный солдат шкурой чует, когда ему опасность грозит. Поймут безо всяких шепотков. И всё-таки мушкетёра на стене мы видели, значит, есть у них в обороне щёлочка. Мизинчик бы туда просунуть, а там — расшатаем...

— Что расшатывать-то? — Илья Ильич покусал губу, стараясь почётче сформулировать свои сомнения. — Ну, пробьётесь вы туда, поскидываете со стен меднобородых, встанете сами, не с луками и копьями, а с базуками и пулемётами. Что с того изменится? У вас будет работа: на потеху гуляющим торчать, а Цитадель как стояла, так и будет стоять, потому что не вы её охраняете, а она вас кормит. Это же диалектика.

— Изменится, — упрямо сказал сын. — Те, которые за стенами живут — это же элита. Это мы тут лямишку в день платим за право дышать, а те, кто в Цитадели, отдают куда больше, за спокойствие платят, за право личной жизни. А собранными деньгами, пусть не всеми, но значительной частью, распоряжается охрана. На эти деньги можно не только Цитадель украсить, но и город. Помощь эфемерам организовать, да и просто обустроить всё как следует. Ты знаешь, в азиатских кварталах до сих пор полно трущоб, люди среди такого убожества ютятся, представить страшно. Хотя... эти люди просто не знают, что можно иначе жить. Моя комната какому-нибудь бошу тоже трущобой покажется. Но ведь есть и настоящие бедняки, которые и не живут, и не рассыпаются.

— Понятно, понятно... — покивал Илья Ильич. — Эфемерам помогать — это хорошо. А через сотню лет их наберётся несколько миллиардов — что вы тогда с ними делать будете? Каждому

лямишку в день за то, что дышишь, да какую-нибудь мелочишку, чтобы покушать. Спать им в нихиле тоже не годится — значит, ещё тратиться пусть на плохонькое, но жильё. Миллионы мнемоннов на поддержание трушоб... поверь, ты очень быстро при-  
мешься списывать лишние рты. Начнёшь выбирать, кто жизни достоин, а кто — не очень. И будут вас бояться и ненавидеть. Нет, лучше уж вот так, ничего не мочь, совесть целей останется.

— Ты, между прочим, при жизни пенсию получал чуть не четверть века, — хмуρο напомнил сын.

— Получал. Но не потому, что я её заработал, а потому, что смертный. То есть я её, само собой, заработал, но не вечную. А жили бы старики вроде свифтовских струльбругов, то им бы пенсии не платили, будь спокоен.

— Экой ты... трезвомыслящий, — сказал Илья-младший.

— На том стоим. Я строитель, дорожник, и привык думать о последствиях своей работы. А то поплывёт покрытие в первую же распутицу.

Илюшка хотел что-то возразить, даже по лицу было видно, что возражать собрался, но тут их прервали:

— Илье Ильичу горячий привет!

Подошедшая девушка была незнакома Илье Ильичу: либо изменила внешность до неузнаваемости, или непристойно омолодилась. Во всяком случае, на вид ей было лет пятнадцать, а это не слишком характерный возраст для города мёртвых. Лишь затем Илья Ильич понял, что незнакомка кличет по имени-отчеству не его, а Илюшку, который ведь тоже Илья Ильич.

— Антуанетте Арнольдовне горячий привет! — отозвался Илюшка явно кодовой фразой.

Боже, эта фря ещё и зовётся Антуанеттой Арнольдовой! Хороши у Илюшки знакомые девушки, недаром он морщился, когда его спросили о личной жизни.

Очевидно, Илья Ильич не сумел скрыть чувств, потому что юная Арнольдовна резко обернулась, пристально посмотрела на Илью Ильича и сказала совершенно обычным голосом:

— А вас я не знаю, первый раз вижу. Вы Илье друг, да?

Илья Ильич пожал плечами, как бы говоря, что нет ничего удивительного, что кто-то с ним не знаком, а вот кем он приходится Илье, это никого не касается. Раз за одним столиком си-

дят, то знакомы, а третий в мужском разговоре будет лишний, даже если внешность у лишнего тянет на три сотни мнемонеров.

Антуанетта вздохнула очень натурально, произнесла: «Тогда не буду мешать», — и не просто отошла, а вовсе вышла из кабачка, звякнув на прощание дверным колокольчиком.

Надо же, деликатная девица оказалась. Илья Ильич почувствовал что-то похожее на укор совести.

— А может быть, ты и прав, — подал голос Илюшка. — Ничего больше не умеем, вот и ходим войной на неприступную крепость. А другие живут как люди, стариков своих поддерживают, в отработку скатиться не дают. Один мой сосед, он физиком при жизни был, всё опыты ставит, пытается природу нихилия определить. Но тот не даётся. У нихилия собственных свойств нет, так он любые воображаемые свойства принимает. Горячий нихиль, зелёный, жидкий... Представляешь зелёный цвет сам по себе, без носителя? Вот и я не представляю. А сосед чего-то мудрит с этими качествами — и счастлив. Потом ему, конечно, надоест, да и мнемонеры кончатся. Успокоится мужик, пообнищает, скатится в Отработку, а там и в нихиль свой любимый превратится. Меня та же судьба ждёт, только я не опытами балуюсь, а военными прожекторами маюсь. Но пока жив, буду прожекторы строить.

— Ну, так уж и прожекторы... Сам же сказал, брали её триста лет назад. Расскажи-ка ты мне, что известно про оборону этой твоей Цитадели, и как вы её взять пытались. У меня боевой опыт какой-никакой тоже имеется, к тому же я не просто пехтура, а сапёр. Может быть, подрываться можно под стену, или ещё как-нибудь подкузьмить. Рассказывай, не стесняйся, а я заодно послушаю, какие у вас разведанные собраны.

\*  
\* \* \*

Домой возвращались уже под вечер. Илью Ильича, не спавшего предыдущую ночь, качало от усталости, да и Илюшка позёвывал. За день они успели побывать в нескольких секторах города и заглянуть в Отработку, где жители уже не делились по нациям, а просто дотягивали отпущенные дни кто как умел. Кварталы Отработки охватывали город широким кольцом,

подобно тому, как пятна свалок окружают мегаполис, только здесь на помойке оказались не испорченные вещи, а позабытые люди. Сквозь истоптанную мостовую проглядывал nihil, дома казались ветхи, да и не дома это были, а какие-то блоки, фрагменты, выдавленные на окраину, подобно тому, как живой организм гноем изгоняет вонзившуюся занозу.

Люди, которые проживали здесь последние лямишки, давно оставили всякие попытки устроиться и заработать на жизнь. Именно на жизнь, в самом прямом смысле этого жестокого слова. Не сыщешь лямишки — нечем станет дышать, терпеливо ждущий nihil, которым наполнена река забвения, задушит, растворит, уничтожит. Никем ты был, в ничто и обратишься.

Старики, очень много стариков... Когда-то они, должно быть, омолаживались, ходили по улицам, радуясь второй нечаянной жизни, сидели в кафе, любили друг друга, ссорились и ненавидели, старались уязвить противника ловкой интригой или колкой шуткой, искали работы, не заработка даже, а возможности применить то, чему научились в предыдущей жизни. Сейчас каждый из них точно знал, сколько лямишек остаётся в тощем кошельке, и, несмотря ни на что, каждый продолжал надеяться.

Илья Ильич, сроду не подававший нищим, проходя сквозь этот квартал, роздал с полсотни лямишек. Никто не протягивал руки за подаванием, просто холодом обдавало от взглядов. Так смотрят бездомные кошки и скорбящие богоматери со старых икон.

— Понял теперь, почему я успокоиться не хочу? — спросил Илюшка, когда развалины Отработки остались позади и они вошли в русский сектор.

— Понял, не дурак, дурак бы не понял... — механически отшутился Илья Ильич, думая о своём.

И, не желая разговора на тягостную тему, спросил:

— А что за девчонка к тебе подлетела?

— Так, случайная знакомая... здешняя. В «Дембель» она порой заходит, вокруг парней вертится, а приткнуться не может. Я её и запомнил только потому, ну.. я тебе говорил, что запоминаю всех, с кем хоть раз поговорить довелось. А так, считай, мы и не знакомы.

— А чего ж приткнуться не может? Внешность у неё хороша, даже если всё это макияж, то нестандартный, на заказ делан. На такую парни липнуть должны.

— Так она же не проститутка, а из тех дур, кто хочет семью и любовь до гроба. А семьи в том мире остались, тут прочную семью редко встретишь, такую, чтобы в прежнюю жизнь корни не уходили. Опять же, возраст. Молодая девушка из себя инженерю корчить не станет, значит, этой не меньше пятидесяти лет. Я имею в виду тех, прижизненных лет. Да небось ещё и старой девой была... Нет, я от таких стремглав бегу.

— Ясно... — протянул Илья Ильич и добавил невпопад: — А Цитадель мы с тобой возьмём. Кажется, понял я, в чём тут секрет.

## Глава пятая

К удивлению Ильи Ильича, сын остался безразличен к обещанию взять Цитадель силами двоих человек. Они пришли домой, попили чаю и улеглись спать, так и не обсудив свежесобретённый план. Илье Ильичу пришлось на следующий день напоминать сыну о своих словах.

— Все новички думают, что им удастся Цитадель нахрапом взять, — снисходительно объяснил Илюшка. — Я тоже так полагал. И тоже первым делом начал придумывать, как бы под стены тихой сапой подкопаться. Только ничего не получится, там и без нас рыли. Нихиль разгрести — милое дело, хоть на километр рой, туннель выходит ровный, гладкий и никуда не ведущий. Ну, скажем так, фундамент Цитадели глубже уходит, а уж его тебе даже поцарапать не удастся.

— А если взорвать?

— Мощностъ взрывчатки зависит от того, сколько ты в неё денег вложил. У защитников денег больше. Так что взрывай — не взрывай, а стена будет стоять как стояла. Фейерверк получится знатный, это верно, а больше — ничего.

— Понятно. Я ждал чего-нибудь подобного. В конце концов, всё, что тут есть материального, существует лишь благо-

даря мнемонам, значит, и отталкиваться следует от мнемонов в чистом виде, а не от их материального воплощения.

— Красиво излагаешь, — улыбнулся сын. — Мы эту нехитрую премудрость на своих шкурах постигали во время Афганского прорыва. Потому и выискиваются способы не силой прорваться, а обманом. Серёга, вон, собирается с трапеции прыгать. Знает, что ничего не получится, а мудрует, расчёты какие-то приводит, запаздывание высчитывает... Поможет ему это запаздывание... против лома нет приёма.

— Есть.

— Другой лом, что ли? Где ты такую прорву денег возьмёшь?

— Зачем лом? Достаточно спицы... если знать, куда ткнуть.

— А ты уже, конечно, знаешь. Давай, рассказывай, что ты сумел за один день вызнать...

Когда Илья Ильич коротко в трёх словах изложил свой план, Илюшка долго молчал, затем сказал:

— Всё равно ничего не получится. Нутром чую, что-то здесь не так.

Илья Ильич пожал плечами и не ответил.

Помолчали. Потом, под незначащие разговоры, позавтракали. Никогда в реальной жизни Илье Ильичу не удавалось нормально пожарить яичницу с ветчиной, и сейчас, когда ничего он не жарил, а лишь придумывал, глазунья получилась разом горелая и недожаренная. Съели какая вышла, но кофе, убийственно крепкий и сладкий, делал уже Илюшка.

— Дорожных мастеров им не надо, повара из меня не получится, — подвёл итог молчанию Илья Ильич. — Пойду в управдомы.

Илюшка протянул руку, вытащил из ниоткуда газетный лист, бегло просмотрел, затем предложил:

— Ну что, хочешь посмотреть, как люди деньги зарабатывают? Сегодня полуфинал чемпионата по греческому боксу. Билеты мне по карману, так что пошли, я тебя приглашаю.

— Бокс вроде английское изобретение, — произнёс Илья Ильич. — Ну, ещё о французском боксе я слышал, и кикбоксинге — не знаю, что это такое. А про греческий не слышал.

— А теперь не только услышишь, но и поглядишь, — Илюшка поднялся, показывая, что следует поспешить. — Занятная штука.

Илья Ильич покорно встал и пошёл. Собственно говоря, он готов был идти куда угодно, лишь бы рядом с сыном. Не хочет Илюшка говорить о делах — не надо, время терпит.

Спортивный зал находился в центре города, там, где в диком смешении сливались все сектора. Жилых домов в этом районе не замечалось, зато сплошняком жались всевозможные стадионы, концертные залы, строгие музейные здания и блистающие огнями кабаре — короче, всё то, что не требует особого знания языков. Одни только театры предпочитали располагаться в национальных секторах, хотя чуть ли не каждый второй житель города мёртвых был полиглотом.

— Слушай, — озадаченно спросил Илья Ильич, замерев перед ампириным зданием с лепной надписью «Европейское искусство», — а что, собственно говоря, тут выставлено? Подлинники все в том мире остались.

— Авторские копии, — пояснил Илюшка. — А есть и новые произведения, которые уже здесь созданы. Художники-то, те, кто не забыт, все у нас. Кое-кто бросил работать, а другие — пишут. Для души или на заказ, кто как захочет. Можно заказать собственный портрет работы Ван Дейка — всего полтора мнемона, я узнавал.

— Под Ван Дейка или сам Ван Дейк будет писать? — уточнил Илья Ильич.

— Сам. Тут с этим строго, подделки определяются на раз.

— Потом надо будет сходить, посмотреть... Дорого это?

— Нет, какие-то гроши. Художники тут все знаменитые, им наши лямишки не нужны, так что берётся только на поддержание музея, чтобы экспонаты не рассыпались, ну и зрителям кое-что перепадает.

— А ты говорил, работы нет. Чтобы зрителем в музее быть, многого не нужно.

— Ага. Только мест таких — раз-два и обчёлся. И каждое занято уже сто лет как. Экскурсию можно заказать за две лямишки, доктор искусствоведения будет по залам водить, лич-

но тебе всё рассказывать. Ему ведь тоже хочется свои знания к делу приложить, да и лямишки не лишними будут, если этот профессор помер лет полтора назад. Сочинения его век не переиздаются, да и не читает их почти никто, вот он и мыкается здесь, ни живой, ни мёртвый, перебивается с хлеба на квас.

— Лямишки — нелишки... — задумчиво пробормотал Илья Ильич. — Любопытно получается, гуманитар здесь худо-бедно, но имеет больше шансов прокормиться, нежели технарь.

— Ясно дело, — согласился сын. — Тела-то у нас умерли, а души покуда нет. А гуманитар, он к душе ближе. Только давай всё-таки пойдём. Хочется соревнования тебе показать. Очень поучительное зрелище.

— Что я, бокса не видел? — пожал плечами Илья Ильич, но послушно двинулся за Илюшкой.

При входе в здание и в обширном вестибюле коловращалась небольшая, но суетливая толпа. При виде вошедших к ним кинулось разом несколько человек, но Илюшка небрежным движением мизинца остановил их всех.

— Тотализатор, — пояснил он небрежно. — И без того сплошная ограбловка, а уж с жучками связываться — вовсе гиблое дело. Что-то не слыхал я, чтобы на этих тотализаторах кто-нибудь разбогател, кроме владельцев. Пошли...

Под завистливыми взглядами собравшихся Илюшка выудил из кошельа блестящий мнемон. На мгновение зажал меж ладонями, сказал:

— Твой.

— Поберёг бы, — посоветовал Илья Ильич. — Теперь у тебя таких монет изрядно поубавится.

— Будет тебе, — грубовато сказал сын. — Сам же не любишь мемориалы. Пошли.

— Билеты где покупать?

— При входе в зал. Билетёров там нет, мы же входим в частные владения, и значит, либо заплатим, сколько положено, либо просто не войдём.

Илюшка продемонстрировал пустым дверям зажатый кулак, и они вошли в зал, где было довольно много народу, хотя и не такая прорва, как ожидалось Илье Ильичу. Во всяком случае, места у самого ринга нашлись.

Уселись, огляделись. Ринг покуда был пуст, по трансляции тараторил диктор, перечисляющий победы и звания некоего Апеллеса, о котором Илья Ильич в прежней жизни и не слыхивал.

— Сколько билеты стоят? — поинтересовался Илья Ильич.

Теперь, когда уже заплачено, можно было и поинтересоваться. И Илюшка, поскольку уже заплачено, так же спокойно ответил:

— Пустяки, по тридцать лямишек с носа. Так что у меня ещё сдачи полный кулак остался. Греческий бокс не слишком популярен, а вот на рыцарские турниры, особенно когда из Цитадели бойцы приходят... Баярд, рыцарь без страха и упрёка, против Генриха Второго — десять мнемонных билет стоил. И ничего, раскупили.

— Был там? — коротко спросил Илья Ильич.

— Делать мне больше нечего. Туда заживревшие бездельники рвались, что при жизни пороха не нюхали. Вот они любят себе нервы щекотать, тем паче что копыя у рыцарей не турнирные, а боевые. Убить тут никого невозможно, а покалечить — запросто. У проигравшего, бывает, вся призовая сумма на лечение уходит.

— А как же мне говорили, что здесь и ударить никого нельзя...

— Сейчас увидишь, — Илья кивнул в сторону ринга, где уже появился рефери в белом хитоне, а следом и бойцы. Были они полностью обнажены, мускулистые тела, смазанные маслом, лоснились. Кошели, точно такие же, как и у Ильи Ильича, висели на бычьих шеях, словно оба спортсмена только что явились в потустороннее царство. Впрочем, мир ещё не видал таких пышущих здоровьем покойников. Они были бы схожи как братья-близнецы, если бы не чёрная кожа того, что стоял в правом углу.

— Смотри, — Илюха показал на негра, — этот Свамбо, его при жизни и не знал никто, ну, только в родном племени да враги, которых он громил. А тут — приспособился и уже не первый век кулачными боями деньгу заколачивает. Пять против одного, что он Апеллесу накостыляет, несмотря на все его титулы.

— Какие титулы, ежели ему накостыляют?

— Олимпийский чемпион, — с удовольствием сообщил Илья-младший. — Настоящий, ещё из тех игр, что в Древней Греции проходили, в Олимпии. Имя его, небось, в каких-нибудь документах сохранилось, только кто те документы читает? Раз в год пара лямишек перепадёт — и всё. Такие здесь призраками становятся. И жить не живут, и помереть не могут, поскольку память о них не вполне истлела. А этот вон как лоснится. Хотя как подумаю, что он уже две с половиной тысячи лет только тем и занимается, что кулаками машет да по морде получает... тут ещё подумать надо, стоит ли так жить.

Бойцы сняли денежные кисеты, и каждый повесил его на стойке в своём углу.

«Украсть нельзя, — вспомнил Илья Ильич, — всё-таки хоть это здесь правильно поставлено. Хотя если вспомнить, что в реальной жизни кое-кто умудрялся своровать память о другом человеке, то, думается, такой тип и здесь сумеет чужое умыкнуть».

Повернувшись друг к другу, Свамбо и Апеллес проревели не то приветствие, не то вызов на битву.

— Вот теперь, — сказал Илюшка, — они могут бить друг другу по морде сколько угодно безо всяких штрафных санкций. Так сказать, по обоюдному согласию. Колхоз — дело добровольное.

Хотя вызов и прозвучал, бой всё не начинался. На помосте появилось двое секундантов, которые принялись бинтовать бойцам руки. Глазам Илье Ильича давно вернулась былая зоркость, но всё же он затряс головой, не веря тому, что увидел: руки бинтовались жёсткими ремнями, на которых, кажется, были наклеены даже какие-то бляхи.

— Они, что, без перчаток будут боксировать... вот в этом?

— А ты как думал? В Древней Греции кулачные бойцы перчаток не знали. Чтобы руки не попортить, ремнями кулаки бинтовали, а для пушшего удара — свинцовые вкладки ставили.

— Это же кастет получается! — ужаснулся Илья Ильич. — Они же поубивают друг друга!

— Убить любого из здешних жителей довольно затруднительно, — философски заметил Илюшка. — А морды отполируют так, что загляденье.

«Оэ!» — зычно крикнул рефери, и бой начался. К удивлению Ильи Ильича, это не была варварская рубка. С полминуты бойцы выжидательно кружили по площадке, далеко выставив левый кулак и занеся для удара правую руку. Первые удары пришлись кулак в кулак, глухо клацнул сминаемый свинец. По всему было видно, что пара прекрасно изучила друг друга и может не тратить сил и времени на разведку, но кулачный *bon ton* требовал выполнения этикета, и этикет выполнялся.

Затем первые удары пробили глухую оборону. Лица окрасились кровью, Аpellес явно лишился пары зубов, алая струйка сбежала из угла рта, могучие надбровья Свамбо вспухли ещё больше, правую бровь рассекла глубокая ссадина.

— Это же технический нокаут! Куда рефери смотрит? — зрелище явно не нравилось Илье Ильичу.

— Тут нет технических нокаутов. Пока стоит на ногах — должен драться.

Свамбо глухо ревел, Аpellес сражался молча. Ещё дважды он исхитрился приложить освинцованным кулаком в расщеплённую бровь, но негр и не думал падать. Чудовишный удар, пропущенный греком, свалил его наземь, но Аpellес упруго вскочил и в четвёртый раз достал многострадальную бровь противника. Зал немедленно после появления первой крови завёлся и теперь бесновался, распаяясь с каждой секундой. В мире, где невозможно умереть иначе как естественной смертью, где даже пощёчину обидчику нельзя дать без немедленной сатисфакции, из людей выползали такие инстинкты, что не снились римлянам времён упадка.

— Врежь ему, врежь! — орал сосед Ильи Ильича, размахивая кулаками и брызжа слюной. — Жми!

Было совершенно непонятно, за кого он болеет, казалось, ему довольно вида свежей крови, а кто кого нокаутирует в конце концов — совершенно неважно, разве что деньги на тотализаторе поставлены.

— Бе-ей!..

Свамбо перешёл в наступление и безостановочно проводил серию ударов, не столько эффективных, сколько эффектных. Теперь и у древнегреческого атлета физиономия вспухла ба-

гровым волдырём, а кровь из расквашенного носа бесследно стекала по намазанной маслом груди. И всё же Аеллес упорно продолжал метить по рассечённой брови негра, стараясь лишить противника зрения.

Илья Ильич отвернулся. Его мутило. И это называется спорт? А на помосте — олимпийский чемпион? Хотя ещё современники Аеллеса сатиры сочиняли по поводу изрубцованных морд кулачных бойцов.

Аеллес улучил момент и с левой руки рассёк вторую бровь Свамбо. Впервые в рычании чернокожего послышалось что-то напоминающее боль. Даже далёкий от бокса Илья Ильич понимал, что теперь греку достаточно выждать время, пока противник ослабнет, а затем попросту добить его. Впрочем, дожидаться, покуда Свамбо ослабнет, можно было неограниченно долго. Руки Свамбо продолжали работать с неумолимостью паровозных шатунов, и хотя лишь один удар из десятка достигал цели, но это были удары сокрушительные, способные оглушить носорога, а не то что человека. И наконец, несмотря на всю свою ловкость, Аеллес тоже пропустил хук, заставивший его покачнуться на враз ослабевших ногах.

— Руби!.. — вопил сосед Ильи Ильича.

Положение немедленно переменилось. Теперь Свамбо добивал грека, а тот уходил от града ударов, каждый из которых оставлял вспухающий рубец. И, наконец, Аеллес окончательно сломался. После очередного хука он согнулся, закрыв кулаками лицо, и уже не стремясь уйти от ударов. Свамбо, глухо рыча, с размеренностью машины лупил кастетом в голову, намереваясь добить почему-то ещё не упавшего олимпийца.

— Работай! — ликовал сосед.

Аеллес пошёл кругом на подкашивающихся ногах. По всему было видно, что сейчас он рухнет без малейшего толчка, но Свамбо обрушил ещё один мощный удар в темя согнувшегося атлета. В этот удар он вложил всю свою страшную силу, это был коронный, завершающий аккорд, после которого возможны только аплодисменты восхищённых зрителей. И, конечно же, ради такого удара Свамбо раскрылся, тем более что противник был уже считай что мёртв. И в это мгновение кулак грека снизу ударил в незащищённое горло. Илье Ильичу

почудилось, что даже сквозь единодушный вопль толпы он слышит хруст, с которым бронированный кулак дробит хрупкую гортань.

Сосед захлебнулся собственным визгом.

Секунду Свамбо ещё стоял, и за это время Апеллес пружинисто распрямился и не дал сопернику упасть самому, чудовищным ударом в челюсть швырнув негра на пол. Затем, пошатываясь, отошел в дальний угол и принялся равнодушно ждать, когда его объявят победителем.

— Вот тебе и один к пяти! — озадаченно пробормотал Илья. — Кто-то сегодня наверняка переедет в Отработку.

— Подстроен результат, что ли? — хмуро спросил отец.

— Нет. Ты же видишь, как он его свалил. Этот удар не запрещён, но просто не принято так бить. Весь сбор от этого матча лечение вряд ли оправдает. Видать, действительно у них дело на принцип пошло.

— Поганые у них принципы, — сказал Илья Ильич. — Зачем ты меня сюда привёл?

— А для того, чтобы ты посмотрел, как здешние старожилы удар держать умеют. А ведь эти по сравнению с ассирийцами, что на стенах стоят — щенки. А тебе вздумалось такого со стены сшибить. Хочешь, пройдем в раздевалку? Там куча спарринг-партнеров мается. С любым можно договориться, что ты ему за полста лямишек в морду дашь. И не просто кулаком, а со свинчаткой. Если с ног собьёшь, он тебе деньги в двойном размере вернёт. Вот только никто ещё на этом деле не обогатился. Тут и исходные данные, и тренировка, и искусственно завышенный болевой порог. Понял теперь, против кого выступать приходится?

— Понять-то понял. Но я вот думаю, а ежели под ремни, когда руку бинтовать начну, пяток мнемонов положить и этским кастетом твоего спарринг-партнёра перепаять... как думаешь, на ногах он устоит? Ежели вломить ему на всю сумму..

— Ты с ума сошёл! — сказал Илюшка.

— Я всего лишь исхожу из специфики местности. Если здесь нет ничего, кроме мнемонов, то и бить следует мнемонами.

— Икнуть не успеешь, как в Отработку улетишь.

— Или окажешься на стене.

— Да нет, если даже и собьёшь стражника, на тебя в ту же секунду вся их мощь обрушится. Понимаешь, в ту же секунду. Запоздывание у них две десятых, это уже много раз проверялось. Тут даже с ракетным ускорителем до гребня долететь не успеешь.

— А если бить будет один, а прыгать — другой?

— Даже если другой успеет вспрыгнуть, его скинут прежде, чем он успеет помочь своему товарищу. Уж с ним-то никто не станет церемониться, и запоздывания тут не будет.

Илья Ильич, не поднимаясь с места, глянул в сторону ринга, откуда служители выносили тело Свамбо. Никаких признаков жизни заметить в нём не удавалось, так что пришлось верить на слово, что негра вылечат и через год Апеллес снова встретится в чемпионате с неубиваемым соперником. Диктор по местной трансляции торжественной скороговоркой вещал, что греческий атлет обещал, став чемпионом, часть призовой суммы перечислить на лечение чернокожего варвара. «Иначе на будущий год мне не с кем будет боксировать!» — с восторгом повторил он слова Апеллеса.

«Рекламный трюк, — неприязненно подумал Илья Ильич. — Чемпионом ему ещё стать нужно, во второй полуфинальной паре тоже, небось, не кисейные барышни встречаются».

Потом он сказал главное:

— А другой, когда он на стене окажется, не должен своему товарищу помогать. Он должен стать в ряды защитников Цитадели и товарища вниз спихнуть. Вот и весь секрет.

Илюшка долго молчал, потом заметил:

— Ты этого утром не сказал.

— Ну не всё же сразу.

— Я так не хочу. Погано это. Это всё равно что стрелять по территории, где свои могут быть. Или то же самое, что раненого оставить унитовцам. Понимаешь, за предел это.

— Другого способа я не вижу, — сказал Илья Ильич. — Ты же не собираешься систему ломать, ты в неё вписаться хочешь. Значит, принимай её законы. Вот как на этом матче: бей и не думай, что кулак свинцом одет.

— Н-да... — протянул Илюшка, — ты, папаня, даёшь! Я хотел тебе правду жизни показать, а получилось, что ты мне показал.

— На том стоим.



Наконец пришло время пересчитать наличность. Мнемонов оказалось почти десять тысяч. Если бы не чудесная способность кошелька скрадывать вес и не раздуваться от больших сумм, то его и с места сдвинуть было бы трудно. Илья Ильич припомнил даже, как в юности подрабатывал грузчиком в одном из ленинградских универмагов, и в бригаде самой тяжелой работой считалось грузить деньги. Мелочь на сдачу привозилась из банка в опечатанных бельтинговых мешочках, медь по сто рублей в мешке, серебро — по пятьсот. И весил такой мешочек ровно десять килограмм. Бухгалтерия в универмаге находилась в мансарде на третьем этаже, и грузчики проклинали всё на свете, таская на третий этаж крошечные, но веские мешочки, которые непонятно, за какое место брать и как нести. А тут — красота, высыпал в волшебный кисет — и никаких забот. Хоть миллион мнемонов всыпай. В общем-то, это и правильно, а то покойные знаменитости и шагу бы не сделали под тяжестью своих богатств.

Илья Ильич знаменитостью не был, его мнемоны связаны были в основном с похоронами и оформлением наследства внучатыми племянниками. Дело такое, тут хочешь не хочешь, а по сто раз на дню вспомнишь богатого дядюшку. Илья Ильич не обманывался, понимая, что через пару недель поток мнемонов превратится в скудный ручеек, а там и вовсе иссякнет. Кому вспоминать одинокого старика?

Но куда сбережённое от лап бригадников богатство легало перед ним, выстроившись ровными рядами, столбики по десять штук выстраивались в полки, и всё вместе обещало долгую, исполненную радостей и развлечений жизнь. А можно потратить их разом, создав в нихиле раёк или попытавшись взять штурмом Цитадель.

Лямишки лежали отдельно, внушительной кучей. Были тут безликие монетки, полученные на сдачу, были и настоящие поминальнички, от безразличных чиновников, оформлявших документы, от сотрудников Северного кладбища, от землекопов и случайных прохожих, чей взгляд зацепился за траурную машину, от совершенно незнакомых людей, пришедших наве-

стить лежащих в хосписе родственников и услышавших о его кончине во время обязательной беседы с немощной бабушкой. «Вот был у нас один, Ильёй звали, шепутной старичок, даже бежать пытался, а всё одно назад привезли. Вчерась помер от рака в печени...» — от самой бабульки приходится покойнику полновесный мнемон, а от вежливой слушательницы — ни к чему не обязывающая лямишка. Бабулька и сама скоро здесь обьявится, а её издёрганная заботами дочь забыла о рассказанной новости в ту же минуту. И больше уже не упадёт от этих людей ни мнемон, ни лямишек. Вообще ничего.

Явился Илья, оглядел разложенные сокровища, при свистнул:

— Круто! Неужто и у меня столько было поначалу?

— Больше было, — уверенно сказал Илья Ильич.

— Тебе повезло, тебя бригадники не чистили. А у меня считай все сливки в их лапах остались.

Илья Ильич промолчал, а сын снял свой кошель и высыпал на стол его содержимое. Было там куда как поменьше денег, нежели у самого Ильи Ильича. Десятка три мнемон и горстка мелочи.

— Оставь, — сказал Илья Ильич, — это дела не изменит.

Илья промолчал, но решительно придвинул свои деньги к общей куче, и отец не стал спорить. Он лишь отобрал один мнемон и протянул его сыну:

— На память-то возьми.

Илюшка кивнул, зажал мнемон ладонями, потом улыбнулся:

— А это и не от тебя вовсе. Есть ещё один человек, вспоминает иногда... Она меня и не дождалась, через полгода, как я в Африку загремел, замуж выскочила. А потом, как узнала про похоронку, нет чтобы радоваться — мол, объясняться не нужно — редела целую неделю. Сейчас у неё внуков шесть штук, скоро правнуки появятся, а порой вспоминает, как мы в Приморском парке целовались. Лягушка там есть каменная...

— Знаю.

— Станный всё-таки народ — женщины, — сказал Илюшка, и Илью Ильича в миллионный раз обдало горечью, что сын ушёл, не успев оставить детей, а значит, и прочной памяти.

Сына он уламывал целую неделю, тот считал, что такой способ попасть в Цитадель для него не годится. В ход шли такие доводы, что в ином сне не привидятся. Насилу уболтал. Илюшка твёрдо обещал, если дело выгорит, пересылать отцу часть будущего жалования, чтобы тот не оказался вовсе нищим и не ухнул прежде времени в Отработку.

— В Отработку мне рано, — усмехался Илья-старший. — Вот устрою тебя, и так жизнь колечком закручу — только держись. Друзей старых нужно повидать, подружек фронтовых...

— Ты с ними никак лет шестьдесят не видался, — поддержал беседу сын. — Узнаешь ли?

— Ничего, заново познакомлюсь. Мужчина я теперь видный...

За полмнемона (ломать не строить!) Илья Ильич вернул себе прежнюю внешность, обратившись в восьмидесятилетнего старика. Только здоровье оставил сорокалетнее. Илюшка аж побледнел, когда увидел отца в настоящем виде.

В течение двух последних дней Илья-младший совершал послеобеденный променад под стенами Цитадели, вызывающе одетый в камуфляжную форму и с акаэмом на ремне. Меднобородая охрана никак не отреагировала на подобную выходку, хотя с автоматами прекрасно была знакома ещё со времён неудачного Афганского прорыва. Зато остро отреагировал приятель Серёга, который, не набравши денег на цирк, установил в опасной близости от стен несколько гимнастических снарядов и предлагал всякому желающему за одну лямишку покрутить солнце или позаниматься на кольцах. Желающих было маловато, так что бизнес этот обещал обернуться сплошным убытком. Зато сам Сергей в порядке рекламы не слезал с перекладины, надеясь таким образом усыпить бдительность стражи. Увидав Илью в военной форме, он примчался объясняться, но внятного ответа не добился.

— Ничего у тебя не получится, — отрезал Илюшка, — а я хотя бы делом занимаюсь. Хочу проверить кое-что.

— Отцовы деньги решил на ветер пустить? — мстительно спросил Сергей.

— Покуда своими обхожусь. Автомат — это же дешёвка, не то что твой спортзал. И арендной платы за личное оружие не берут.

— Ну смотри, испортишь мне проект, я тебя на дуэль вызову.

Тем не менее по городу поползли слухи, что ветераны прошлых войн не успокоились и готовят новое нападение на Цитадель. Народу на центральном бульваре изрядно поубавилось, хотя многие, напротив, стали туда захаживать, желая посмотреть настоящую битву, а не зрелище, при котором участники вешают кошель на гвоздь и произносят ритуальную фразу о взаимном желании бить и быть битым.

Кстати, дуэль, которой угрожал обиженный Сергей, проводилась точно так же, как и любые соревнования. Без денег, но с оружием в руках. Сытые западные покойники такими вещами почти не баловались, а вот поколение россиян, которое было щедро прополото войнами конца тысячелетия и бандитскими разборками, вспомнило старинный кодекс чести. Прорва мнимонов бездарно улетала на ветер, потраченная на лечение огнестрельных и колотых ран, полученных во время поединков чести. Илюшка, погибший ещё в советское время, о подобных вещах отзывался с усмешкой, хотя трудно сказать, как бы он поступил, если бы дело всерьёз дошло до пистолетов.

План был разработан до мелочей и, казалось, предусматривал всё, однако когда Илья Ильич с тросточкой и Илюшка с автоматом с разных сторон вышли на центральный бульвар, случилось непредвиденное. Собственно говоря, что именно произошло, Илья Ильич ни осознать, ни тем более запомнить не сумел. Обратил внимание, что среди гуляющих, одетых большей частью по-среднеевропейски, появилась фигура в белом балахоне и со шнуром на голове, затем в глазах полыхнуло, и Илья Ильич обнаружил себя лежащим в нихиле. Болела голова и грудь, пришлось потратить немного денег, чтобы суметь подняться и добраться до дому.

Илюшка ожидал его, сидя за столом. Под глазами у него красовались чёрные круги, по которым нетрудно узнать контуженного. Был Илюшка зол и не скрывал этого.

— Сильно тебя стукнуло? — спросил он отца.

— Сильно... — Илья Ильич потёр ноющую грудь и осторожно уселся в кресло. — Рассказывай, что там произошло, а то я ничего не помню.

— Ты не поверишь, — Илюшка нервно рассмеялся. — На террориста напоролись! Шехид недоделанный, свинья арабская! Кого он там терроризировать хотел, уж и не знаю. Завопил «Аллах акбар!» и подорвал себя посреди бульвара. Это ж сколько он деньжищ в этот заряд вложил? Теперь явно в Отработку загремит.

— А говорят, что тут никому физического вреда не причинить, иначе как по договорённости...

— Ты деньги-то пересчитай... там у тебя наверняка лямишек прибавилось. И на лечение хватит, и возмещение морального ущерба. Ты смотри, вот я — подрывник, мне тротилovou пашку или заряд аммонала придумать легче лёгкого, вроде как тебе разметочную вешку. Обойдётся такая штука в лямишку или две. И, ежели в нихиле её рвануть, долбанет будь здоров. А если я вздумаю в городе такими вещами баловаться, то вместо взрыва будет один пшик. Тут уже надо в этот заряд серьёзные деньги вкладывать, которые пойдут на то, чтобы всё тобой сломанное исправить можно было, людей раненых вылечить и штраф заплатить. Чем больше на это дело денег выделить, тем громче бабах получится. А этот тип, вероятно, новенький, и, также как ты, бригадников миновал, потому как осёл полный, жизни здешней не знает, а бомба рванула мощная, на несколько тысяч мнемонов.

— Против кого он выступал-то? Он Цитадель подрывал или просто хотел народ на валу покрошить?

— Это ты у него спроси. Он, поди, и сам не знает. Ему лишь бы убить. Отморозок, одно слово...

Выяснилось, что в результате теракта у заговорщиков прибавилось больше сотни мнемонов. И это уже после того, как было поправлено порушенное здоровье.

— Понял теперь, почему у нас террористов не ловят и в каталажку не сажают? — смеялся Илюшка. — Поди, полгорода нам сейчас завидует. И народу на валу прибавится — не продохнуть.

Так и случилось. Гуляющие валили к Цитадели толпами, разглядывали посечённые осколками деревья, обсуждали размеры компенсации, полученной счастливыми, пострадавшими при взрыве. Цифры назывались нереальные, завы-

шенные в сотни и тысячи раз. Сергей, пользуясь ажиотажем, придвинул переносной спортзал в опасную близость к стенам, хотя желающих поболтаться на кольцах сильно не прибавилось, зеваки не тот народ, который станет платить деньги за сомнительное удовольствие заниматься спортом, но Сергей всё выжидал и план свой в жизнь не проводил. В самый разгар ажиотажного гуляния оба Ильи отправились к Цитадели вторично. Особых надежд на этот поход не возлагали, так что даже придумали особый знак, подав который можно было отменить дело в самую последнюю секунду.

Знака подавать не пришлось. Появление десантника с автоматом, о котором точно знали, что он «был там», вызвало всеобщее волнение. Илюшку немедленно окружили и принялись расспрашивать. Бросаться на стену в такой ситуации было бы совершенно невозможно. Илья Ильич понял это и, не дожидаясь условного знака, отошёл в сторонку. Его, впрочем, тоже не оставили в покое. Какой-то господинчик, невысокий и курносый, подошёл и безо всяких политесов вступил в разговор:

— Нет, вы посмотрите, что делается! Получается, что средства массовой информации создают террористам самую настоящую рекламу! Ну кто хоть когда-нибудь слышал об этом ваххабите? А стоило ему подорвать себя, как о нём заговорил весь мир, и сюда он является миллионером! Допустим, что тут он не разобрался и потерял несправедно добытое, но ведь он и не должен был получать таких сумм!

Говорил словоохотливый господин на чистейшем русском языке, нимало не беспокоясь, понимают ли его. Впрочем, самый вид Ильи Ильича, его потрёпанный «почти новый» костюмчик точно изобличали российского гражданина советской ещё закалки.

— Я вас понимаю, — сказал Илья Ильич.

— Ах, оставьте! Что вы можете понимать? Ведь это же тенденция, понимаете?.. Тенденция! Одни трудятся, другие получают деньги. Так было там, то же самое творится и здесь! Вот я актёр, всю жизнь посвятил искусству. Не спрашивайте, как меня зовут, не спрашивайте!.. Мне это уже не нужно. Они добились своего, затёрли талант, пусть теперь радуются.

Тридцать лет на театре, и ни одной главной роли! Это кошмар, пусть он останется на их совести. Но ведь этого мало! Единственная за годы служения роль в кино... и что? Моей фамилии нет в титрах! Я не склочник, нет, но тут я пошёл к режиссёру. И знаете, что он мне ответил? Что я, мол, всю массовку должен в титры вносить? Но я-то был не в массовке, нет! Я играл царя! Хорошо, пусть моя роль занимает меньше минуты экранного времени, но каждый зритель — а их были миллионы! — в эту минуту подумал: «Вот он какой, государь император Павел Первый!»

Экс-актёр приосанился, принял гордую позу, а Илья Ильич подумал, что гримёры должны были очень постараться, чтобы придать этой жалкой личности сходство с царём, который при всех своих недостатках, моральных и физических, всё же умел держаться по-царски.

— Но ведь это ещё не всё! Подумайте о другом: картина была в прокате больше полугода, шла первым экраном, и от каждого зрителя покойному государю досталась монета. Лямишка, не спорю, но ведь их были миллионы! В обычной жизни простой человек не думает о Павле Первом, а мой талант напомнил о нём! А какова благодарность?.. Встретить, поговорить, отблагодарить, в конце концов! Я не требую, чтобы император поделился полученными деньгами, хотя и это было бы нелишне, но по крайней мере спасибо сказать можно?

— Цари не привыкли говорить спасибо, — назидательно произнёс Илья Ильич. Артист, обиженный жизнью и не нашедший успокоения даже в смерти, не вызывал у него ни малейшего сочувствия.

— Это плохо! Ведь он существует только благодаря таким, как я!

— Вот вы ему это и скажите, — посоветовал Илья Ильич.

— Как я туда пройду, как? Я всю жизнь был честным человеком, я трудился, а не воровал, у меня нет миллионов. Как я туда пройду, скажите на милость?

— Трудный вопрос, — признал Илья Ильич. — Хотя вот я, например, не трудился ни единого дня, всю жизнь воровал, но, как видите, тоже здесь. И чем, скажите, мы с вами отличаемся?

Илья Ильич сделал неуклюжую попытку взять актёра под руку, как бы готовясь к долгой доверительной беседе, но тот отшатнулся, судорожно схватился за грудь, где висел неумыкаемый кошель, и поспешно отошёл.

Илья Ильич довольно усмехнулся, удивляясь самому себе. Эту шутку, позволявшую избавиться от докучливого собеседника, он не проделывал уже лет пятьдесят и даже не думал, что ещё способен на такое. Как ни верти, а новая жизнь пробуждает в душе молодые чувства. В этом вопросе гений подвёл Марка Твена.

Илюшка наконец избавился от окруживших его слушателей, и Илья Ильич, постукивая палкой, отправился следом за сыном. По дороге он думал, что если не сгинет при попытке штурма, а потом случай и благосклонная судьба позволит заново омолодиться, то надо будет отыскать Любашу, узнать, как там она...

Шум под стенами Цитадели утих лишь через две недели. К этому времени все уже знали, что именно произошло, знали имя неудачливого террориста, в долгих пересудах обмусолили историю о том, как он пытался повеситься, узнав, что всего лишь обогатил тех, кого намеревался ужаснуть. Сначала безумец твердил о карающей руке, которая и за гробом настигнет неверных, затем заскучал, хотел было покончить с собой, но по неопытности лишь намучился вдоволь и истратил те крохи, что успели капать ему уже после загробного теракта. Последнее испытание подорвало фанатичную уверенность, что ему ведома воля Аллаха, и загробный убийца стал обычным тихим психом, каких немало дотлевают в кварталах Отработки.

Во время этих событий то Илюшка, то Илья Ильич ходили на бульвар, приглядывались, прислушивались и ждали удобного времени. И наконец сочли: пора.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Шамашкар, носитель железного меча, стоял в дозоре. Стоять в дозоре было его право и обязанность, должность и предназначение, предписанное великим Аном, матерью Арурой и Ашшуром — отцом богов и владыкой определяющей судьбы.

С того самого времени, как ему перестали брить голову и локон юности затерялся среди отросших волос, Шамашкар служил ассирийскому царю. Двенадцать лет в войсках! Сначала прашником, а затем, после того как отличился под Дамаском, получил предмет всеобщей зависти — железный меч, и уже не выходил первым под удары, а шёл следом за колесницами, закрепляя победу.

В прежние времена такого не было: чтобы воин не занимался ничем другим, кроме войны. Шамашкар хорошо помнил прежние времена. Отец работал на поле, выращивал кусты, дающие шерсть, мать и вторая отцова жена пряли тонкую хлопчатую нить, что так ценится среди знатных. Тем семья и перебивалась. Порой по селениям пробегали царские гонцы, объявляя, что снова Ур или Вавилон восстали на сынов Ашшура. Тогда отец, поминая недобрым словом всех богов, собирался, брал пращу и круглый, обитый буйволовою кожей щит и уходил на войну. С одной из таких войн он не вернулся, семья напрасно ждала хозяина с добычей. Победа всегда улыбается Ассирии, жаль, не все воины возвращаются из победоносного похода.

На следующий раз не вернулся и Шамашкар. Но не потому, что достала его злая вражеская стрела, проткнуло копьё или растоптал взбесившийся конь. Беда не коснулась его, даже хабиры, убивающие из-за угла, не смогли причинить вреда. Шамашкар остался живой и собрал под Арпадом немалую добычу. Но и домой вернуться не удалось. Новый царь — Тиглатплассар, или, как его попросту звали в войсках — Тигли, зачислил удачливого прашника в царский полк, воины которого не могли быть землепашцами и не смели пасти овец. Их уделом стала только война, и даже во сне Шамашкар знал, что оружие его лежит рядом.

Поначалу Шамашкар был недоволен. Хотелось домой к привычным делам, обидно было, что слитки свинца, и шерстяные ткани, и большое бронзовое зеркало, что добыл во время грабежа, он уже отправил родным, а в результате не слышал ни восхищённых возгласов, ни громких похвал. Однако против воли царя человек не может ничего возразить. К тому же в скором времени бывший прашник привык к новому по-

ложению. Конечно, война — трудная и опасная работа, но и там нашлось немало приятных моментов. Весело следить, как таран пробивает ворота кажущегося неприступным микдола, сладко ласкают слух стоны пленников, насаженных рёбрами на острые колья. А уж каких чудес довелось повидать на своём веку! Забиба, царица арабов, платила дань цветными овцами. Шерсть этих животных была изумительным образом окрашена в синий и пурпурный цвет, народ отовсюду сбегался поглазеть на редкостную диковину, и Шамашкар, который был среди стражи, охранявшей удивительное стадо, находил немало поводов для гордости. Хотя, если сказать по правде, овцы были как овцы, они глупо трясли хвостами, бестолково блеяли и всё время норовили шархануться куда-то в сторону. И воныло от их пурпурных боков на редкость гадостно.

Впрочем, лучше уж отгонять домой овец, чем пленников. А пленников было нужно много. Целые народы забирал под свою руку любимец Бэла Тигли. В первую очередь угонял ремесленников, людей искусных во всяком мастерстве и художестве. Как бы ни был жарок бой, Шамашкар знал, что покорённый город нельзя грабить, прежде чем не пройдут по его улицам люди, которым раба-кали поручил отбирать мастеров. И лишь когда выедут из разбитых ворот повозки, можно добирать всё, что осталось, жечь дома, рубить пальмы, заваливать камнями источники, чтобы благодатная земля превратилась в пустыню и никогда отсюда не звучало угрозы Ашшуру. Они переселили на новые места народы дамуну, яялила, наккабая и будая, причислив их к жителям Ассирии, установив для них справедливость и возложив все повинности, которые должны нести исконные ассирийцы.

Шамашкар шагал по дорогам Ура и Арпада, и враги растекались при виде его меча, словно вода перед носом лодки. От страха дрожали их жилы и сперма иссохла, как у евнуха. Великое царство раскинулось от солёных вод Бит-Якина до страны Бакни на востоке. Вечерами у бивачных костров солдаты обсуждали небывалые новшества, придуманные и введенные царём. Сам Тигли пришёл к власти на солдатских мечах, подняв мятеж в провинции Кальху, и теперь немало сил положил, чтобы никто из наместников не забрал достаточ-

но власти, чтобы провести в жизнь подобные мечты. В стране больше не было рабани — наместников, управлявших большими провинциями, каждая провинция была разделена на пять или шесть областей, для управления которыми уже не требовались наместники, а лишь назначаемый чиновник — массену. Высокий титул рабани сохранился лишь за наследным принцем Салманасаром. К тому же массену назначались исключительно из числа дворцовых евнухов. У кого нет детей, тот не сможет основать династии, и значит, не опасен. Никогда ещё гарем не был в такой силе, в его тёмных комнатах решались судьбы царств. Вернее, сановники думали, что они что-то решают, на самом деле судьбы царств решал железный меч Шамашкара. Люди моря — финикийцы, иудеи, не знающие бога, крикливые арабы — все пали перед железным ассирийским мечом, и стон шёл по земле.

А потом случилась великая несправедливость, о которой Шамашкар очень не любил вспоминать.

Царский полк двигался по землям Вавилона, внушая непокорным, как следует себя вести, когда приходит хозяин. Всё было как предписано богами, враг не устоял, смелость его ушла, и он облачился во вретище. Однако нашлись безумцы, заградившие дорогу войску. Боевые колесницы вавилонян врезались в ряды ассирийцев. На каждой колеснице стояли щитоносец и лучник, обвязанный вожжами. Топот копыт, ржание, крики и густое гудение стрел...

Точно такие же колесницы были в войске непобедимого Тигли, и Шамашкар частенько слышал споры воинов: чья работа трудней и ответственней. Один должен огромным, в человеческий рост щитом, сплетённым из тростника и обитым кожей, прикрывать от ударов себя и своего товарища. Причём делать это надо так, чтобы не закрывать обзора, не мешать управлять колесницей и пускать стрелы. Второй — бьёт во врага из тяжёлого лука, одновременно управляя упряжкой коней. Конечно, кони хорошо выезжены и слушаются голоса, а на всякий случай вожжи обвязаны вокруг поясницы стрелка, так что он может, не прекращая стрельбы, движением тела направлять коней. Кто решит, чей труд достойней? И вечной обидой для стрелков и щитоносцев оказывалось то, что самая

большая выдача вина и самое крупное вознаграждение полагалось не им, а мукил аппати — воинам, строящим дороги, без которых боевая колесница окажется совершенно беспомощной (Илья Ильич, который в эту минуту кинул из-под бровей оценивающий взгляд на задумавшегося стражника, согласился бы с мудрым решением царя Тигли).

И вот там, в мелкой стычке, для которой не нашлось места на глиняных таблицах, вражеское оружие достало Шамашкара. Срезень — тяжёлая стрела, у которой вместо заострённого наконечника красуется вогнутое лезвие, формой напоминающее полумесяц. В полёте такая стрела гудит наподобие шмеля, и звук этот, для земледельца знаменующий мирное начало лета, воину напоминает о смерти. Срезень с лёгкостью перерубает руку или ногу, но серповидное лезвие специально изогнуто по форме шеи. Именно в шею и ударила проклятая стрела Шамашкара. Сбоку ударила, так что не помогла даже завитая и умашенная маслом накладная борода.

Не было боли, только мир крутанулся, словно в те давние мгновения, когда отец подбрасывал маленького Шамаша и ловил его, смеясь над детским визгом. Вот так же швырнуло ударом срубленную голову Шамашкара. А потом он обнаружил себя среди бесплотной пустыни, безоружным и раздетым, и долго ощупывал шею, стараясь убедиться, что голова крепко держится там, где ей положено.

В нищете его встретили темнокожие египтяне и попытались обратить в рабство. Угрожая копьями, они хотели заставить высыпать деньги из кошель, оказавшегося на перерубленной шее, но Шамашкар воспротивился и неожиданно сумел голыми руками разбросать вооружённых противников и уйти в «пустыню облаков» — так он называл про себя нищину. Вскоре он встретил своих и узнал о смысле посмертных денег (великолепная вещь, что пожелаешь, то и сбудется! Не иначе отец богов Ашшур поделился с людьми крохой своего всемогущества).

Очень быстро он привык к новой жизни и, вернув себе железный меч, пошёл биться с египтянами, жителями Вавилона и Дамаска, с другими народами, порой вовсе неведомыми, которые оказались на удивление сильны. Враги не желали уми-

рать от ударов, не иначе их боги тоже дали своим детям частицу всемогущества, отменив приговор Мамиту. Всякая победа немедленно оборачивалась поражением, походы требовали денег, которые почти никогда не возвращались после боёв, а новые деньги прибывали всё реже, родственники — да уязвит их печень тарантул! — вместо того чтобы день и ночь вспоминать об умерших, занимались ничтожными живыми делами, посадив воинов Ашшура на голодный паёк.

Так продолжалось до той поры, пока в заоблачном мире не появился окончивший земные дела мудрый царь Тигли.

С той давней поры, как отец богов Ашшур сотворил небо и землю из тела убитой им Тиамат, минуло множество царей, и многоучёная владычица Белет-цери устала записывать их имена. Цари являлись в облачный мир в блеске и славе, они пытались создавать царства, они требовали дани от покорённых народов и налогов от собственных подданных. Кое-кто по старой памяти даже платил, приближая своё исчезновение, а вместе с тем и гибель царства. Сами цари погибали редко, обращаясь в духов, бродящих среди развалин.

Тигли, во всём любивший новшества, не пошёл по этому пути. Конечно, он, как и его предшественники, собрал верных, но не двинулся в поход, а прежде всего выспросил каждого об удивительных особенностях загробного мира. Потом он заставил сражаться воинов перед своим лицом, обещая победителю награду и благоволение, но прежде награды проверял, насколько изменилось содержание их кошель. Он восстановил царский полк, и впервые под сумрачным небом прозвучали слова: «Жалование — шестьдесят монет в день». После этого Шамашкар, в кошеле которого было почти пусто, готов был на всё ради доброго царя Тигли. Но приказ, который им объявили перед началом первого похода Тиглатпассара в загробном царстве, поверг старого солдата в недоумение. Ему запретили нападать! Войско, состоящее из одних только меченосцев, вышло в путь, имея строжайший приказ: никого не убивать.

И без того, не имея прикрытия, они должны были стать лёгкой добычей вражеских лучников и пращников, но ведь им ещё было приказано не обнажать мечей, прикрываясь толь-

ко щитами. А меч, уж коли он вытащен, применять только для обороны, не смея ударить врага. Кто нарушит приказ, тот останется без жалования и вина весь месяц. Разумеется, с такими приказами победы не дождёшься. Эламнты, на которых они напали, обратили ассирийское войско в бегство. Впервые обладатели железных мечей бежали с поля боя!

Зато когда рассеянное войско собралось, обнаружилось, что у каждого, на кого обрушился оставшийся безответным вражеский удар, заметно добавилось денег в кожаном кошелье. Девять десятых прибыли забрал царь, но и того, что осталось, хватило на хорошую гулянку, где, как повелось, пили за славную победу, одержанную ассирийским войском. Хотя многие так и не избавились от удивления при виде такой победы.

На добытые деньги Тиглатпассар выстроил крепость-микдол: систему башен, связанных длинной земляной стеной. Землю для строительства пришлось творить из податливого тумана. Солдаты ворчали, но в глубине души были довольны, что ходят по твёрдому, не проваливаясь на каждом шагу, словно в дельте Евфрата. Вот где мукил аппати, занимавшиеся строительством, доказали, что не зря едят хлеб.

Остатки этого вала и сейчас видны рядом с новой крепостной стеной. Там всякий день гуляют жители раскинувшегося возле Цитадели поселения. Именно от них, а не от кочевников, которых теперь с собаками не найдёшь, охраняет Шамашкар глинобитную стену крепости.

Внутри микдола были поселены простые люди, свои и чужие, без разбору. Им царь обещал защиту и покровительство в обмен на очень небольшой ежемесячный налог. Люди, уставшие от того, что созданное ими немедленно разрушается, соглашались, тем более что денег у них было больше чем у любого воина, ведь раб, пастух или землепашец редко когда могли нанести удар грабителю, и значит, после каждого грабежа оказывались с барышом. Дивно устроено царство мёртвых, правильно рассказывали старики, что там всё наоборот!

Когда по нимилу разнеслась весть о богатом городе, немедленно нашлись желающие его завоевать. Они приходили великими и малыми отрядами, но все ушли ни с чем. Поначалу было трудно обороняться, не ударяя мечом, а лишь отби-

вая удары, не нанося раны, а получая их. И всё же именно такой бой приносил победу. После двух или трёх удачных ударов враг уже ничего не мог сделать и впустую размахивал оружием, неспособным достать защитников стены. Раненые воины отходили за спины товарищей, лечить раны и подсчитывать барыши, убитые возвращались на следующий день с кошельками, полными денег, а враги уползали, не получив ни единой царапины, но лишившись всего состояния.

Когда-то, разделив страну на шестьдесят областей и вручив управление евнухам-массену (арабы называли этих людей эмирами), Тиглатпассар все заботы о процветании крошечного удела переложил на их ожиревшие плечи, сам ограничившись получением налогов и рекрутов в царское войско. Точно так же и здесь мудрый правитель открывал ворота царской крепости перед всяким, кто хочет жить мирно и согласен платить за это. При этом житель Цитадели мог кланяться любым богам, говорить на любом языке, вовсе не признавать ассирийского владычества и даже не знать о существовании владыки определяющей судьбы. Почестями и рёвом труб Тиглатпассар пресытился ещё в прежней жизни.

Когда желающих поселиться в Цитадели стало слишком много, плата была повышена, а затем поднималась ещё несколько раз, так что простой обыватель уже не мог там жить. Зато рядом со стенами появилось целое поселение, обитатели которого называли себя «живущими в мире». Как и полагаётся, главная опасность исходила именно оттуда: по ночам бандиты, вооружённые длинными ножами, ползли на стены, мечтая проникнуть в богатые дома жителей Цитадели. Глупцы, подобные ишаку, не знали, что стражники давно умеют видеть в темноте и разучились спать на посту. Шамашкар лишь посмеивался, глядя на старания воров. Пару раз он даже позволял себя порезать, а потом пил на вырученные деньги жёлтое финиковое вино.

Шамашкар мало задумывался о жизни, он просто брал от неё, что считал нужным: вино, женщин и войну. Война в мире серых облаков оказалась иной, чем в первой жизни, но ведь это ничего не значит. Побеждает не тот, кто первым ударил, а тот, кто победил. А он, любимец царя Тигли, непобе-

дим, ибо могуч и вооружён отличным железным мечом. Ни медь, ни бронза не могут противостоять железу, и ничья сила не может противостоять моши сынов Ашшура. Давно уже не появляются под крепкими стенами войска Мидии и Элама, и вечный противник Вавилон не присылает своих сынов. Все они умерли, и память о них стёрлась. Другие народы живут в городе, раскинувшемся у стен, и враги нападают уже не для того, чтобы разрушить Цитадель и ограбить жителей, но желая занять место истинных хозяев, чтобы самим охранять покой живущих.

Дважды это им удавалось, и тогда среди воинов, искони защищавших Цитадель, появлялись чужаки. Первый раз Цитадель была взята чуть ли не случайно. Римляне, грубый варварский народ, в ту пору возвысились ненадолго и, считая себя хозяевами мира, вздумали захватить власть в Цитадели. О том, что готовится нападение, было известно заранее, только слепой мог бы не заметить его, и воины уже предвкушали, как станут тратить деньги побеждённых. Нескольким воинам атакующей когорты опрометчиво позволили подняться на стену, чтобы они могли как следует потратиться в бою. Но когда на стене завязалась свалка, плебеи, собравшиеся поглазеть на кровавое зрелище, повытаскивали ножи и с криком кинулись добывать себе места наверху. Часть римлян, наученные горьким опытом недавних гладиаторских бунтов, спешно поворотила мечи против черни, так что бить их было уже нельзя. По счастью, догадливых оказалось не так много, а остальных воины Ашшура просто пошвыряли вниз, под ноги разъярённой черни. Там случился взаимный мордобой с бесцельной тратой денег. И всё же несколько кичливых римлян остались служить в гарнизоне и со временем даже перестали восприниматься чужаками.

Прошло чуть меньше двух сотен лет, и приятелей Шамашкара проредило ещё раз. Вернее, не проредило, поскольку в ту войну никто не погиб, а разбавило чужаками. Самое удивительное, что это произошло чуть ли не с ведома царственного Тигли. Мудрый владыка знал, что небрежением потомков и решением судеб его земное царство разрушилось и память о нём сгинула, что жив он только благодаря своим здешним заслугам.

Потому особое внимание Тиглатпассара Третьего привлекали те жители Цитадели, память о которых не убывала спустя полсотни лет со дня их кончины, а возрастала, словно покойник поднесь пребывал среди живых. К таким людям великий царь приходил как равный, чтобы учиться мудрости. Так он оказался в доме прославленного полководца Чжугэ Ляна, чьё имя в поднебесной империи известно всякому и не забудется вовеки. Там среди неспешного разговора о делах земных и потусторонних прозвучали слова: «Нет такой крепости, которую было бы нельзя взять». И когда ассириец напомнил о своём неприступном микдоле, Чжугэ Лян ответил, поглаживая редкую седую бороду: «Эту крепость, как и любую другую, можно взять штурмом. Вопрос в том, нужно ли её брать».

Что-то в этой беседе осталось недосказанным, так что Тиглатпассар, вернувшись в свои покои, приказал усилить стражу на стенах и быть особо бдительными. Предчувствие не обмануло, через несколько дней под стенами появилась толпа вооружённых китайцев. Они громко кричали и размахивали оружием, так что даже самый сонный охранник успел бы проснуться и приготовиться к бою. И только потом желтокожие двинулись на приступ.

Заранее предвкушая прибыльное развлечение, ассирийцы раздвинулись, допустив на стену первый ряд атакующих. Дело было знакомое — несколько ударов, и китайцев, лишившихся своих монет, можно будет скинуть на головы тех, кто теснится внизу. Однако именно этих нескольких ударов и не последовало. Поднявшиеся на гребень обернулись ко второму ряду атакующих и принялись не зло, но торопливо спихивать их вниз. Тогда ещё никто не знал, что весь второй ряд составляют воины, не имеющие денег. Их кошельки были обвязаны ритуальными шёлковыми шнурками в знак того, что владелец не желает тратить ни единого поминальничка. Разумеется, и вреда они не могли причинить ни малейшего, и немедленно обратились в бегство. Зато те китайцы, что отогнали своих товарищей от стен, теперь считались защитниками крепости, нападать на них стало равносильно самоубийству. Несколько рыжебородых, не сразу сообразивших это, были откинуты далеко в никуда, где могли на досуге размышлять о преврат-

ностях переменчивой судьбы. А вышколенные китайцы и не собирались набрасываться на опростоволосившихся ассирийцев. Два войска стояли словно изготовившиеся к драке коты и не знали, что делать.

Второй раз Тиглатпассар появился в покоях китайского полководца, но на этот раз не для философской беседы, а для переговоров.

— Я понял, в чём была моя ошибка. Больше никто из чужих даже края пальца не положит на гребень стены. Их будут гнать раньше. А тех, кто уже поднялся на стену, я готов принять на службу наравне со своими воинами.

— В обороне наверняка найдутся и другие слабые места. Но я рад, царь, что ты принял верное решение. Только принять на службу следует всех, кто участвовал в штурме, — поправил Чжугэ Лян, протянув лист жёлтой рисовой бумаги, покрытый каллиграфически выведенными иероглифами — именами тех, кто сейчас стоял на стене, и тех, кто своим поражением помог им устоять.

— Мне не нужно так много солдат, — возразил царь.

— Не следует оставлять внизу тех, кто знает твою тайну. К тому же я думаю, что вскоре тебе понадобится много солдат. Твоя крепость невелика, а людей, прославленных среди потомков, становится всё больше. Мне кажется, пришла пора строить новую Цитадель, бóльших размеров, иначе её построят без тебя, и в мире появится два владыки.

— Хорошо, я возьму всех. Но тогда я верну в войско и тех ассирийцев, что были скинуты со стены.

Чжугэ Лян молча поклонился, соглашаясь со словами царя.

— Что ты хочешь для себя?

— Ничего. Ты царь, а я всего лишь полководец, верно служивший своему государю и не завидующий никому. Мне не нужны ни власть, ни почести, пока меня помнят в Поднебесной, у меня будет всё, что требуется человеку моих привычек. А если я буду забыт, то стоит ли длить бесцельные годы?

Они разговаривали долго и неторопливо, и всё это время два войска стояли друг напротив друга, готовые сорваться в бессмысленную резню, и только железная выучка позволила им устоять.

Шамашкар был среди тех, кто отстоял весь срок в первом ряду. Он был готов к любому повороту событий, но искренне обрадовался, услышав команду опустить оружие. Старый солдат нутром чует, когда предстоит весёлая стычка, а когда следует молиться всем игиги, чтобы командир приказал отступить. То, что после несостоявшейся битвы загробный мир изменился, осталось для него незамеченным. Шамашкар как и прежде отстаивал свой срок на стене, бесконечно отрабатывал на плацу приёмы боя, а в свободное время спал или развлекался с девицами. Служба была необременительна, жизнь проста и понятна. Так может неприметно пролететь не две, а двести тысяч лет.

Из города внизу доставляли небывалые чудеса и диковины, предметы роскоши и наслаждения. Шамашкар оставался холоден при виде изысков нового времени, все они напоминали ему крашенных баранов царицы Забибы. Особенно новинки последних лет: яркий, неживой свет, громкая, непривычная музыка, гремящее оружие, самобеглые колесницы, воняющие нефтяным дымом — всё это во множестве появилось внизу. Удивляло только великое скопление народа, населившего Город. Никогда людей не было так много, и никогда они не были так ничтожны.

Сегодня, как и всегда, всё спокойно. Ничтожные ходят внизу, он возвышается над ними, глядя с высоты своего величия. И всё же они знают, что за торжественной неподвижностью скрывается сила, способная сокрушить любого из них и всех сразу. Слизняки ползают у подножия стены, порой они собираются в кучи и лезут на приступ. Тогда он обнажает меч. Не бьёт, он давно отвык ударять мечом, но обнажает его, показывая свою власть. Смешно, на что они надеются? Всякому, имеющему глаза, ясно, что не могут пукалки и пыхалки новых людишек сравниться с прекрасным мечом из настоящего железа. Хотя и за нынешними нужен глаз да глаз. Побеждает тот, кто всегда готов к битве. Вот внизу ходит раб с гремачей трубкой. Раб, конечно, у мужчины должна быть борода, а если ты воин и не можешь носить настоящего мужского украшения, то бороду следует подвязывать, дабы внушать страх робким и обманывать в сражении сильного. А этот, внизу, выбрит, и во-

лосы подрезаны коротко. Значит — раб. И всё же умышляет что-то, иначе не приходил бы со своим жалким оружием. Неподалёку фигляр, канатоходец, вертится на поперечной палке, словно цыплёнок на вертеле. Этот тоже умышляет, иначе не ставил бы своего вертела каждый день на пол-локтя ближе к стенам. Прочие — гуляют, вот только старик в тёмных одеждах смотрит пристально, с прищуром, как глядят враги, готовые кинуться на верную смерть, лишь бы не склонить шею под рабское ярмо. Но что может старик? Пусть глядит и бесильно исходит желчью.

И в этот миг старикашка, стоящий внизу, что-то бросил. Такое случалось часто, хотя и не каждый день. Зависть и кажущаяся безнаказанность порождали подобные выходки. Шамашкар твёрдо помнил приказ: до тех пор, пока выходка не угрожает крепости — не предпринимать ничего. Они могут орать, плевать... могут мочиться на стену — провидение само накажет их за это. Они могут кидать камни и помёт в стену, это разрешается. А вот если что-то полетело в стражника, это уже наказуемо. Но необязательно. Выгоднее просто отбить летящую гадость, не трогая дурня, а потом в твоём кошельке прибавится денег. Шамашкар вскинул ладонь, чтобы отразить летящий камень, и лишь потом понял, что бросил в него сумасшедший старик.

Кошель! Точно такой же, что и у самого Шамашкара, какой боги дали всякому пришедшему к подножию крепости. Испугаться Шамашкар не успел. Он успел приготовиться к бою и вызвать подмогу, успел выдернуть меч и встретить удар не грудью, а щитом. А вот на испуг времени уже не хватило: мир качнулся и погас, не дав осознать, какая ужасная несправедливость произошла с ним вот уже второй раз за его долгую жизнь.

\*  
\* \*

Деньги исполняют волю владельца. Они не умеют быть экономными и расточительными, не подсказывают, что такое хорошо и что такое плохо. Захочет владелец, и всё до последней лямиишки пойдёт на создание посреди нихилия игрушечного



эдемчика. Заочет — просадит на тараканьих бегах или проиграет в рулетку. Есть такие, азартные, которых не останавливает даже мысль, что проигрывают они не просто деньги, а собственную жизнь в самом прямом смысле слова. Что делать, если без этого мелкого азарта для них жизни всё равно нет.

И когда Илья Ильич не торопясь полез за пазуху, движением, никого не удивляющим, вытащил кисет, а затем резким злым броском метнул его в торчащего на стене стражника, ничто в мироздании не возмутилось таким непригожим поступком. Это только моралисты полагают, что память сохраняется лишь для добрых дел и по самой природе своей призвана созидать. Это не так, разрушать она может ничуть не хуже, и хрестоматийный пример Герострата тому порукой. Пара лямишек ушла на то, чтобы полёт небывалого снаряда был точным и стремительным, поскольку сам Илья Ильич, никогда не отличавшийся в метании гранаты, не мог бы кинуть кошель как следует. Всё остальное богатство бессмысленно растратилось в пустой стихии разрушения. Потом, много дней и лет спустя, Илья Ильич думал порой, что если бы не эти человечески понятные, но неразумные порывы, если бы не дурацкие религиозные представления, заставляющие тысячи людей расшвыривать самих себя, создавая безжизненные райки и эдемчики, если бы не великое множество иных необдуманных поступков, то как бы могло процвести загробное царство! Однако люди хотят разного, и единственная ценность — человеческая память — во многом тратится на то, чтобы изничтожить самое себя.

Не было ни взрыва, ни грохота, ни прочих пиротехнических эффектов. Просто стражник, встретивший шитом летящую бомбу, нелепо взмахнул руками и исчез, словно никого и никогда тут не было.

— Давай! — заорал Илья Ильич, хотя уже видел, что Илюшка и без того бежит к стене, готовясь вспрыгнуть на гребень. Тренированному десантнику подобный прыжок не в диковинку, если, конечно, стену не охраняет тысячелетняя стража.

Сам Илья Ильич тоже бежал, изо всех сил понукая старческие ноги. Он понимал, что на стену ему не вскарабкаться, но

до последнего изображал нападение на Цитадель, чтобы ответный удар пришёлся на него, а не на Илюшку.

Илья уже взлетел на невысокую глинобитную стену и стоял там напружинившийся, готовый к бою.

— Бей! — крикнул Илья Ильич.

С неожиданной ясностью он понял, что Илюшка не сможет ударить его и, значит, через секунду будет сброшен с верёвки, так и не сумев закрепить за собой место среди защитников Цитадели.

— Меня подожди! — Сергей, красиво державший на гимнастических кольцах крест, уже всё понял. Он успел соскочить и помчаться вперёд, чтобы встать рядом с товарищем. Не заметив, он сшиб Илью Ильича и уже в прыжке увидел бешеные Илюхины глаза и занесённый для удара приклад.

Илья Ильич, упавший на четвереньки, увидел, как Серёга, не успев зацепиться за край стены, изогнулся и исчез точно так же, как секунду назад рыжебородый охранник. А затем по всему периметру крепостной стены возникли фигуры охранников, и Илью Ильича ударило едва ли не сильнее, чем во время взрыва самодельной арабской бомбы.

\*  
\* \*

Когда за месяц третий раз кряду приходишь в себя посреди хлябей Лимбо, к этому можно привыкнуть и уже не задаваться вопросом, куда тебя занесло. Хотя на этот раз пробуждение было на редкость мучительным. Болело всё, так что казалось, будто боль не вмещается в слишком маленьком теле и разливается окрест, заставляя болеть разреженный воздух. Даже нихило под ногами было больно, и эта боль отчётливо ощущалась. Как всегда при слишком сильной боли (такое не забудешь, когда ждёшь укола, а смерть, затаившаяся в печени, грызёт неторопливо и расчётливо), остаётся место для неестественно спокойных мыслей на отвлечённую тему. Казалось, надо бы думать, успел ли Илюшка зафиксироваться на стене, или вакантное место занял так некстати прыгнувший Серёга, а Илье Ильичу вспомнилось, как Илюшка рассказывал о своём соседе — физике. Тот сейчас

был бы доволен, ощутив боль, существующую отдельно от тела. Ничего не скажешь, забавная вещь nihility, и прав был мудрый Аристотель в своих представлениях о бескачественной первоматерии, в которой потенциально скрыто любое качество.

Трудно завозившись, Илья Ильич негнушимися пальцами распустил шнурок кошельа и вывернул его над подставленной ладонью.

Пусто. Ни единой лямишки. Вообще ничего. Странно, что он ещё жив, не задохнулся среди бескачественного nihilya, который бесплатно позволяет только боль. Хотя на сегодняшней день за воздух у него заплачено, да и завтра он тоже ещё не умрёт. Со дня смерти прошло слишком мало времени, множество живых людей помнят его, и, значит, даже при самом плохом раскладе он не исчезнет, а обратится в призрак, подобно тем квазиисторическим личностям, что обитают где-то на задворках Цитадели. У Города — Отработка, а у Цитадели — квартал призраков. Жаль, что они с Илюшкой не удосужились сходить туда, сейчас по крайней мере знал бы, чего ожидать. Говорят, у них собственная память выпадает, бормочут бедняги то небольшое, что сохранилось о них среди памятливых живых людей. Этакие склеротики загробного царства. Не хотелось бы попасть туда, лучше уж сразу...

Денег не осталось ни лямишки, но одежда цела, зубы, которых в реальном восьмидесятилетии почти не оставалось, сейчас при себе, да и возможности полиглота, видимо, сохранились. Цитадель была аккуратна, стараясь наказать как следует, но не повредить того, за что плачено живыми деньгами. Ничего не скажешь — профессиональная работа: получил по полной программе, и ни единой лямишки штрафа. Всё при себе, вот только компас, поставленный на Илюшку, молчит, словно и не было никогда ни компаса, ни Илюшки. Неужто всё-таки сын сейчас в Цитадели?

Невнятное рычание заставило Илью Ильича обернуться. К нему, размешивая ногами бесплотный nihily, мчался рыжебородый стражник. Лицо его было страшно, на губах выступила пена.

— Шакал! — хрипел он. — Падаль! Я растопчу тебя в кашу, порву голыми руками!

Пугаться Илье Ильичу было уже нечего, поэтому он обезоруживающе улыбнулся и хотел что-то сказать. Потом он сам не мог вспомнить, что именно, потому что тяжёлый кулак рыжебородого с размаху впечатался в подбородок. Свамбо или Апеллес и не заметили бы такого тычка, но Ильа Ильич немедля кувырнулся в ничиль. Недавно вставленные зубы лякнули, рот наполнился кровью. Боль, только начавшая утихать, полыхнула с новой силой.

Стражник наклонился, сгрёб Илью Ильича за грудки, рывком поставил на ноги и, прежде чем тот успел вскинуть руки, чтобы защитить лицо, вмазал каменным кулаком в глаз. Ильа Ильич не упал только потому, что противник продолжал держать его за лацканы. Следующий удар пришёлся в солнечное сплетение, и тут же двумя сцепленными руками по шее. Ильа Ильич, которого больше не удерживала лапа разъярённого воина, мешком рухнул в ничиль. Он уже не пытался защищаться, сознание мутилось, тело не слушалось, и оставалось покорно дожидаться, когда бушующая тварь соблаговолит добить его.

Словно в замедленном кино видел Ильа Ильич, как убийца заносит ногу для удара. Последствия представлялись мрачно и отчётливо: сломанные рёбра, отбитая печень... В долгой жизни Ильи Ильича бывало всякое, но подобное только в кино видеть доводилось, да и то в старых лентах такого не показывали. И словно в кино у спятившего режиссёра, который вдруг спутал боевик с фантастическим триллером, фигура рыжебородого заколебалась в сером воздухе, теряя очертания, взметнулось облачко серебристой пыли, а потом на Илью Ильича упала пустая, пахнущая чужим потом одежда. Закон, о существовании которого забыл и Ильа Ильич, и его противник, свершился с механической неотвратимостью. С каждым ударом в кошелё рыжебородого убывало денег, и едва он отвёл душу на всю сумму, ничиль забрал его себе. Уж этому человеку, о котором в памяти людей не осталось ничего, не грозила судьба призрака. Ничиль и есть ничиль. Ничем он был, в ничто и обратился.

Ильа Ильич сплюнул кровь, проверяя, целы ли зубы, хотя и странно заботиться о таких вещах, когда самому осталось существовать в плотском облике от силы один день. Зубы шатались, но, кажется, были целы.

С брезгливым интересом Илья Ильич шелохнул опустевшие вещи рыжебородого. Кафтан из грубого льна, а медные бляхи, отсутствие которых так удивило Илью Ильича, оказывается, вшиты с исподу. Внутри кафтана, рукава в рукава, вложено что-то вроде рубашки. Надо же, хлопчатобумажная... Любопытно, был ли у ассирийцев хлопок, или это дань новому времени? Хотя кафтан тоже подбит ватой, так что, видимо, своё, по моде тех лет. Вместо штанов — опоясание, длинная лента материи с бахромой по краю. Илюшка рассказывал, что во время штурма крепостей воины, оказавшиеся на гребне, скидывали опоясания и с их помощью втаскивали на стену ждущих товарищей. А дальше, видимо, воевали с голой задницей, потому что обернуть эту штуку вокруг чресл — задача не из простых. Вся одежда грязная, засалена до крайней степени. Хорошо хоть, вшей здесь не бывает, а если и бывают, то за особую плату. Сапоги с подмёткой, вывернутой на носок, чтобы не так сильно снашивались на каменистых дорогах. Таким сапогом припать — мало не покажется. Изношены чуть не до дыр. И этому человеку завидует всё царство мёртвых?! Хотя, скорей всего, он просто не знал, что можно жить комфортней. Он получал от жизни всё, что пожелает, и не виноват, что скудная фантазия не умела пожелать чистой одежды... Меч, дурно выкованный из дурного железа. Странно, вроде бы — древний мир, у них там бронзовый век должен быть. Во всяком случае, в школе так учили. В Египте метеоритное железо было дороже серебра. Опять дань новым веяниям, или обычное незнание истории, отличающее чуть не всякого русского человека?

Илья Ильич поднял грубо сделанный медный браслет, сунул в карман — на память. Странно — на память о человеке, который только что бесследно рассыпался именно потому, что памяти о нём у людей не осталось. Браслет был тяжёл и ещё хранил тепло чужой руки.

Потом внимание привлёк кожаный мешочек — кисет для денег, в точности такой же, как у самого Ильи Ильича. Выходит, за тысячи лет внешний вид кошелька ничуть не изменился. Быть может, в таких вот ксивниках наши неандертальские пращуры хранили своё немудрящее достояние — скребок, проколку, пару кремешков для высекания огня. И с тех самых пор,

едва у людей появилось представление о самих себе и память об умерших, умершие стали воскресать среди нихила с кожными мешочками на шее. Интересно, какого вида были в ту пору поминальнички — мнемоны и лямишки каменного века? Особо причудливые каури, не иначе, говорят, эти ракушки по всей ойкумене в качестве денег ходили, и на заполярном Урале археологи находят в могильниках тропическую ракушку.

В мешочек Илья Ильич заглянуть не успел, от первого же прикосновения истлевшая кожа расползлась, и чужой кошелек рассыпался, канув в нихиль. Что ж, это правильно, такая вещь владельца переживать не должна.

Потеряв интерес к трофейному барахлу, Илья Ильич хотел было встать и тихонечко, пешим по конному, как полагается вконец обнищавшему жителю Отработки, направиться к дому. Как ни верти, но Илюшкина комнатка теперь его, а за комнату заплачено сполна, так что она переживёт своего владельца. Однако приступ дурноты опрокинул его обратно в нихиль. Чёрт бы подрал проклятого ассирийца! Последний удар двумя руками по затылку явно вызвал сотрясение мозга, так что идти куда бы то ни было оказалось совершенно невозможно. Придётся куковать тут, без капли воды, так что даже рот, полный крови и желчи, не прополоскать. Илья Ильич скорчился в позе младенца в утробе и приготовился к долгому и мучительному ожиданию.

— Иду, сударь, иду! — послышался голос.

Илья Ильич разлепил один глаз, тот, по которому не приложился кулак стражника, и увидел сыщика Афоню. В свою очередь тот, увидав бедственное положение Ильи Ильича, всплеснул руками и воскликнул:

— А я гадаю, чего у меня компас так странно сработал!

Глянул в избитое, вновь постаревшее лицо, сокрушённо покачал головой.

— Говорил я, земля, рано тебе в Город. Ну что, на кого ты там попёр как не надо?

— На Цитадель, — признался Илья Ильич.

— Ой-я! — сыщик страдальчески схватился за щёку, словно у него заныли зубы. — Хуже ничего придумать не мог! И деньги, небось, все профукал.

— До последней лямишки. Только что проверял.

— И что теперь?

Илья Ильич не ответил, ему вновь стало дурно. Тягучая желчная рвота обжигала горло.

— Ну чего с тобой делать, земля, — посочувствовал Афанасий. — Давай, пошли. Буду тебе по две лямишки на день выдавать. Одну на воздух, а другую — чтобы уйгур во дворе спать разрешил и водички дал. — Афанасий поморщился страдальчески и добавил: — Ты не думай, я тебя не за красивые глаза ссужаю, а потому что ты ещё свежак, тебе ещё деньги приходить будут. Как появятся — отдашь, я таких, как ты, знаю, ты отдашь. Вставай, тут недалеко, своими ногами дойдём.

Илья Ильич попытался встать и не смог. Голова болела нестерпимо, ноги подкашивались.

— Ить, как тебя корёжит, — заметил Афанасий. — В другой раз прежде думать будешь, а не лезть нахрапом, куда не прошили. Что мне теперь, на закорках тебя переть? У меня денег тоже не полный амбар, после тебя удачу как отрезало, ни одного человечка не отыскал.

Наставительный голос мучил больную голову несказанно, Илья Ильич не выдержал и застонал сквозь сжатые зубы.

— Ладно, где моя не пропадала, — сжалился резонёрствующий сыщик, — довезу тебя.

Афоня наклонился поднять тряпки, которые, видимо, принимал за вещи Ильи Ильича. Из кучи тряпья вывалилась завитая, выкрашенная хной накладная борода.

— Ишь ты, поди ж ты, что ж ты говоришь! — восхитился Афоня. — Это ты стражником наряжался, что ли? Думал, не признают, да? Не, тебя ещё учить и учить. Меня слушать надо было, если жизни не понимаешь! Ты ещё свой маскарад придумать не успел, а они там на стене уже всё знали и посмеивались. Усёк теперь, голова еловая?

— Это не моё, — выдавил Илья Ильич. — Это настоящий стражник был. Я его со стены скинул, а он меня избил. Лупил, пока сам не рассыпался.

Афоня замер с раскрытым ртом, затем гулко сглотнул и переспросил:

— Настоящий стражник? Из Цитадели?

Илья Ильич кивнул, с трудом сдержав вскрик от полыхнувшей в затылке боли.

— И это он тебя тут изволтузил?

— Он.

— Ты не врѣшь? — свистящим шѣпотом спросил Афоня. — Так у тебя же денег должен быть полный кисет! За этакую кулачную расправу! Если бы у него денег не было, он тебя и пальцем коснуться не сумел, махал бы кулаками что мельница — и всё впустую.

Только теперь эта очевидная для загробного мира истина вошла в большую голову Ильи Ильича. Непослушными пальцами он распустил завязку, и на подставленную ладонь потекла струйка лямишек.

— Ого! — возопил Афоня. — Да ты богач! Ты глянь, сколько их у тебя!

— Только что ни единой не было, — смущѣнно пробормотал уличѣнный Илья Ильич.

— Так, небось, до драки смотрел?

— Какая там драка... Бил он меня и сдачи не просил.

— Так, — переходя на деловой тон, сказал Афанасий. — Давай-ка я тебя подлечу..

— Сам... — не согласился смурной Илья Ильич.

— Опять наделаешь как не надо, — поморщился Афанасий, но настаивать не стал, лишь посоветовал: — Голову поправь, а синяки да шишки сами пройдут, нечего на это деньги швырять. Экономить приучайся. Экономия, она, брат, должна быть экономной.

— Экономика, — машинально поправил Илья Ильич.

— Тебе виднее, ты у нас профессор. А экономить всё равно приучайся, тех денег, что прежде, у тебя уже не будет. Небось, дома и сороковины прошли, так что особо вспоминать тебя больше не станут.

Голову отпустило разом, словно и не болела она никогда, лишь рвотный вкус во рту никуда не делся, напоминая о недавних страданиях. Илья Ильич осторожно поднялся, не доверяя обретенному здоровью.

— Рѣбра-то целы? — заботливо спросил Афанасий.

— Вроде целы.

— Ну, тогда пошли.

Таверна уйгура ничуть не изменилась, что показалось даже странным, ведь с самим Ильёй Ильичом за эти же дни случилось столько всего, что на несколько лет могло хватить. Уйгур встретил их поклонами, взгляд его на мгновение задержался на вспухшей физиономии гостя, но и теперь восточный человек дипломатично промолчал, никак не высказав своего удивления. Зато Афоня дал волю чувствам.

— Ты гляди, — закричал он, дёргая уйгура за рукав, — видишь, кто пришёл? А ты говорил — не вернётся! Нет, старая дружба не ржавеет!

Илья Ильич усмехнулся потаённо и ничего не сказал.

Вновь, словно в первый день, выставленный на улицу столик был накрыт крахмальной скатертью, объявились кушанья, о доброй половине которых Илья Ильич и не слыхивал. И когда Афоня извлёк из воздуха четверть «Смирновской», в том не было уже ничего удивительного, а только дань традиции.

— Со здоровичком! — произнёс тост благодушествующий Афанасий.

За это Илья Ильич выпил с готовностью.

Закусили лосиной губой, тушённой в сметане. Квакер, видимо окончательно перешедший на должность полового, принёс с кухни блины с припёком и мёд. Афоня, щуря сытые глазки, наклонился к Ильё Ильичу и шёпотом спросил:

— Слушай, как тебя всё-таки угораздило стражника прикончить? Они же бессмертные.

— Сам помер, — коротко ответил Илья Ильич. — Бил меня, пока деньги не кончились, а там и рассыпался.

— Так ты его действительно со стены сбил, или просто в Городе встретил и до того довёл, что он на тебя с кулаками кинулся?

— Со стены.

— Чудеса на постном масле! Сам бы не видел, не поверил бы ни в жисть. А как ты его?..

— Старался... — Илья Ильич пожал плечами.

Афоня понял, что подробностей не дожждётся, и вновь перешёл на менторский тон.

— А всё равно, как ни верти, получается, что ты в прогаре.

Денег нет, омоложаться заново нужно будет, а что стражника ты порешил, так на его месте уже кто-то другой стоит.

— Не кто-то, а мой сын.

— А!.. Тогда понятно. Значит, как ты этого дурачка сделал — тоже не скажешь. А вот у меня детей нету, даже случайных. Я проверял, тут это нетрудно узнать, осталась в живом мире твоя кровь или ты весь сюда убыл.

— Я тоже весь, — сказал Илья Ильич. — Сын у меня молодым погиб, не успел пожить.

Афоня кивнул и наполнил стаканчики. Выпили ещё по одной. Говорить было не о чем, и Илья Ильич, удивляясь самому себе, запел на мотив старой песни «Полюшко поле» текст, слышанный от студентов-стройотрядовцев на прокладке трассы:

*Глокая куздра штека будланула бокра,  
И теперь она куздрючит тукастенького бокрёнка!*

Очень хорошо слова эти ложились на ситуацию, объясняли всё и всё оправдывали. Зачем зря трепать языком, когда можно спеть, и всё станет понятно? В прежней жизни он бы ни за что не позволил себе такого, но сейчас... какие могут быть комплексы? Единственное неотъемлемое право усопшего — быть собой. Поётся, значит, пой, и пусть кто-нибудь попытается осудить тебя за несоответствие месту, времени или ситуации.

Афанасий некоторое время слушал молча, потом, ничего не спрашивая, начал подпевать, и вскоре они пели на два голоса:

*Ой, ты куздра, зачем ты будланула бокра?  
Ведь у бокра был бокрёнок, очень тукастенький бокрёнок!*

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Компас замолк. Много лет кряду она ежедневно слушала его тонкие гудки, возвещавшие, что с сыном всё в порядке, насколько может быть порядок с человеком, давно ушедшим из жизни. И вдруг — тишина. Полная. Могильная тишина.

Сначала она подумала на самое простое: сын поставил блок, не хочет, чтобы она знала хоть что-то о его житье. И объяснение этому было подходящее, долгожитель муж встретился с Илюшкой и восстановил его против матери. То есть особо восстанавливать там было нечего, ригорист Илья не простил матери её работы, но мужёнок напомнил, чем ещё можно досадить бывшей супруге. Потом в голову пришло простое соображение, что муж ничего о её нынешней жизни не знает, во всяком случае не знал до недавнего времени, что полжизни назад он похоронил её всерьёз и навсегда, не надеясь на встречу, и потому никакой злости и обиды накопить за эти годы не мог. Это у неё злость на саму себя и обида за не сложившуюся жизнь переродились в недоброжелательство к мужу, оставшемуся жить, поступившему умнее, чем она.

Тогда пришёл страх. Если Илюшка не поставил блока, не заслонился от матери стеной молчания, то куда он делся? Вдруг он в один день растратил все свои деньги и вновь погиб, прежде чем мать успела помочь ему? А ведь такое запросто может случиться, мальчик привык жить ни в чём себе не отказывая, а теперь, когда отец тоже здесь и не вспоминает его каждый день, Илюшка мог и не рассчитать, разом пустив деньги на ветер.

Людмила успокаивала себя, что даже в этом случае сын не исчезнет бесследно, а обратится в призрак, ведь документы в военных архивах хранятся, «Книга памяти» издана, но от подобных успокоений становилось ещё хуже.

А в сожителе, как назло, словно что-то человеческое проснулось. Он сидел на топчане, время от времени вопросительно поглядывал на Людмилу, но не дождавшись слов, начинал тянуть заунывную, выматывающую душу песню. Песни, которые пел зомбак, были без слов: одна весёлая и одна унылая. Сегодня весёлой не было слышно, зомбак с небольшими завываниями тянул одну и ту же ноту, от которой у Вселенной начинали болеть зубы. Прежде Людмила не злилась на эти песнопения, лишь удивлялась порой, неужто из подобных завываний родились знаменитые тирольские йодли? Места вроде те самые, зомбак в живом мире, где сыскалось его вмёрзшее

в лёд тело, носит гордое звание тирольского человека. И учёные спорят, был ли он предком современных людей, или же приходится им двоюродным пращуром. А чего спорить? Ясно же, что не был он ничьим предком, помер бездетным, замёрз на Альпийском перевале. Те, у кого дети есть, так своей жизнью не кидаются.

В конце концов Людмила не выдержала, споро собралась и вышла, заперев дверь снаружи на щеколду, чтобы зомбак в приступе неожиданной активности не умотал куда-нибудь в никуда. Хотя, скорей всего, он так и будет сидеть на топчане и подвывать отвратительным фальцетом. Вот только глядеть с неммым вопросом ему будет не на кого.

Где живёт Илюшка, она знала отлично, хотя уже лет пятнадцать не появлялась в его квартире. Сын не гнал, но и не привечал родную мать, так что немногие встречи происходили где-нибудь на нейтральной территории.

Квартира оказалась не заперта. Собственно говоря, потратив определённую сумму денег можно открыть любой замок, но именно поэтому соваться без спроса в чужие дома было не принято. Себе дороже обойдётся. Но сейчас дверь не прикрывалась ни единой лямикой, так что Людмила смогла беспрепятственно зайти и оглядеться. Сразу стало ясно, что покойный муж побывал здесь совсем недавно: нигде не видать ни единого окурка, и даже в воздухе не чувствуется табачного запаха, Илья-старший терпеть ненавидел курево.

И что теперь? Пойти опрашивать соседей? Так ведь наверняка никто ничего не слышал, не знает, не видал... Сидеть и ждать, рискуя, что зомбак упрётся куда не следует, а она лёгкой пташкой вылетит с работы, которая теперь необходима как никогда? Илью ещё будут поминать, а она — кому нужна?

Ничего не высижив, Людмила прошла на лестничную площадку и позвонила в соседнюю дверь.

Вообще дома в Городе представляли странное явление. Снаружи это были самые обычные дома, какие высятся в фешенебельном центре любого крупного города. Но внутри обнаруживалось невероятное смешение стилей, ибо свою квартиру всякий планировал исходя из собственных вкусов и

предпочтений, а в дом квартира вписывалась лишь оттого, что людям свойственно жаться друг к другу, и если очень немногие способны купить собственный особняк на окраине или в центре, то и жилище, дрейфующее среди нишля, способно удовлетворить лишь крайне нелюдящего мизантропа. Но уж зато разнообразие квартир превышало всякое воображение. Конечно, большинство людей воссоздавали то жилище, к которому привыкли в прежней жизни, разве что слегка улучшали свой быт. Так было дешевле и привычнее. Но кое-кто устраивал истинную фантазмагорию, благо что тонкие с виду стены обеспечивали абсолютную изоляцию от соседей.

Едва палец коснулся кнопки звонка, как дверь распахнулась (лямишка долой, а не суйся без дела в чужой дом!), в глаза полыхнул слепящий синий свет и мрачный голос пророкотал:

— Добро пожаловать в истинный рай!

Тьфу ты пропасть! Сновидец... надо же так неудачно напороться. Последние десятилетия их становилось всё больше и больше. И прежде человек, недовольный своим положением, мог залечь в постель, заказавши за небольшую плату приятный сон. Однако случалось, что из подсознания выползали такие монстры, что приятное сновидение оказывалось пострашнее любого кошмара. К тому же рано или поздно приходилось просыпаться. Но теперь можно купить компьютер со специальными программами, которые сновидение корректировали, и миллионы человек ушли из одного ненастоящего мира в другой, ещё более искусственный. «Тень тени» — вспоминали Платона люди грамотные. Сновидцы не посещали зрелищных мероприятий, поскольку в своём придуманном мире могли испытывать любые приключения, они не ходили в кафе и рестораны и вообще ни единой лямишки не тратили на «настоящую» еду, ведь мёртвый умереть от голода не может, а пиршества виртуального мира вполне утоляли привычный голод. Владельцы традиционных развлекательных учреждений скрежетали зубами и толковали о падении нравов и грядущей гибели культуры. Зато всякий, кто мог претендовать на звание программиста, с лёгкостью находил себе занятие. Математики и физики прежних поколений изо всех сил пытались переквалифицироваться, и многим это удава-

лось, так что к тому времени, когда создатели компьютерных программ начнут умирать от старости, все приличные места в компьютерном бизнесе будут уже заняты. Поневоле задумаешься — стоит ли жить долго?

Людмила уже собиралась отступить и захлопнуть гостеприимно распахнутую дверь, как вдруг почувствовала, что финансовые её потери одной лямишкой не ограничиваются. Проклятье! Если хозяин светящейся берлоги вздумал брать большие деньги за вход в свой дом, он обязан заранее предупредить об этом посетителей!

Людмила, как и всякий старожил, проведший в Городе достаточно много времени, прекрасно знала, что может и чего не может делать один человек в отношении другого. Лямишку за звонок он вполне может слупить, но не десять же мнемон! А ведь именно на столько полегчал сейчас Людмиллин кошелёк.

Людмила задумалась. Можно, конечно, развернуться и уйти, вознегодовав на несправедливость, но не сказав никому ни слова. Тогда деньги вернуться, почти все. Десяток лямишек пропадёт, это стандартные вычеты при любом автоматическом перечислении денег, но всё-таки десять лямишек, а не десять мнемон. Но с другой стороны... Людмила вдруг усмехнулась коротко и жёстко. С другой стороны, перед ней открылась редкая возможность крепко насолить дуралею, вздумавшему без спросу лазать в чужой кошелёк. Хозяин, не предупредивший о платном входе, оказывается в полной зависимости от уплатившего гостя. Они сейчас словно два боксёра, только один произнёс традиционную формулу честного поединка, а второй зажимает в кулаке те десять мнемон, что были отняты у него бесчестным образом. Что ж, любезный, сейчас ты получишь удовольствий на всю сумму!

Усмехнувшись ещё раз, Людмила вошла в голубое пламя.

Перед ней вспыхнула надпись: «Выберите оружие».

Игровичок! Людмила умерла в ту пору, когда об этой заразе и слыхом не слыхали, а теперь модное веяние проникло и в загробный мир. Презрительно оттопырив губу, Людмила бегло проглядела предложенный арсенал. Всё понятно, ей предлагается взять на себя роль хищного монстра и на все десять мнемон

монов натворить безобразий в придуманной сказочной стране, после чего её начнут долго и старательно убивать. Разумеется, тоже понарошку. Не дождёшься, милый. Деньги ты у меня спёр настоящие и по башке получишь на самом деле.

Подойдя к стенду с пометкой «Создать самому», Людмила в полминуты истратила практически весь свой резерв. Прежде ей не приходилось сталкиваться с подобными развлечениями, но она с полувзгляда определила нехитрую логику создателей игрушки. Чем более могучее оружие выбирал игрок, тем меньше ему предоставлялось возможности пустить его в ход. А с оружием ценой в полмнемона с тебя сойдёт семь потов, прежде чем причинишь недругу ущерб на оставшиеся девять с половиной монет.

Прежде чем войти в следующую дверь, Людмила критически оглядела свой наряд. Она уже давно не носила модных вещей и, даже отправившись на поиски сына, не сменила рабочую одежду. меховая кацавейка и юбка из грубой некрашеной шерсти — думается, там, куда она попадёт, подобный наряд никого не удивит. Бедная пейзажанка — именно то, что надо.

За второй голубой пеленой сиял яркий солнечный день. Под ногами травка, ровная, травинка к травинке, направо — лес, скомбинированный из набора повторяющихся деревьев. Пара неопределимых птах вперебивку пускают мелодичные трели. Покуда всё это создано компьютером, который жужжит где-то неподалёку от постели владельца квартиры. А вот как начнётся нечто нестандартное, значит, он сам вмешался в цифровую идиллию. Тут уже нужно держать ухо востро.

Налево — поле и красивая деревенька за ним. Видимо, с уничтожения всей этой красоты ей и предлагают начать. И сколько же стоит пожечь деревню и разогнать жителей?.. Две лямишки... Выбери она какой-нибудь огнепал за пять мнемонев, она могла бы разнести полстраны. Но и так несколько лямишек у неё в запасе ещё есть. Прощай, деревенька!

Огнепала у Людмилы не было, поэтому она воспользовалась зажигалкой, с помощью которой ежеутренне растапливала очаг в доме зомбака. Сначала подохла скирды, расставленные на лугу, а потом, когда пейзажане в одинаковых куртках,

штанах и деревянных башмаках сбежались тушить сено, перешла к деревне, благополучно подпалив её с трёх концов. Уж теперь-то владелец игрушечной страны узнает о её приходе и примчится на зов.

Безропотные пейзажи суетились среди огня, что-то вытаскивая, что-то пытаясь тушить, но пожар, оплаченный двумя лямышками, разрастался. Людмиле даже стало жалко несчастных игрушечных человечков, чем-то напоминавших муравьёв, суетящихся в разворошенном муравейнике. Тем не менее она, не оглядываясь, отошла по дороге километра на полтора и присела возле развилки на большой плоский камень, вероятно и положенный здесь для этой цели. Долго ждать не пришлось, раздался цокот копыт, и из-за поворота появился всадник. Никаких особых доспехов на нём не было, просто белая рубаха с отложным воротником и непременно кожаные штаны. Шпага в потёртых ножнах была единственным его оружием. О внешности хозяина можно было сказать ещё меньше: волнистые волосы, серые глаза, волевой, гладко выбритый подбородок.

— Красавец, — определила недруга Людмила, — Жан Маре недоделанный.

Сразу было видно, что владелец страны проводит время в пирах и битвах, всякую ночь спит с новой свежеспасённой красавицей и думать не желает о том, чтобы сменить свой индивидуальный рай на нормальное посмертие. Судя по неистребимой инфантильности, это мужик лет этак пятидесяти пяти, инженеришка или чиновник, не наигравшийся в детстве в казаки-разбойники и хотя бы теперь навёрстывающий упущенное. Вот национальность его определить трудно... не азиат, во всяком случае, а каким-нибудь афроамериканцем он может оказаться запросто.

— Милорд! — возвала со своего камушка Людмила. — На вас наша последняя надежда! Чудовище разорило нашу деревню, дома сожжены, люди убиты...

Всадник приостановил коня.

— Чудовище? — переспросил он, озарив лицо белозубой улыбкой.

— Да, чёрный дракон, ужасный и неуязвимый, — Людмила отвечала фразами со стенда выбора оружия, нимало не со-

мневаясь, что именно так и должны говорить жители компьютерного сна.

Перевоплощение в чёрного дракона, «ужасного и неуязвимого» было самой дорогой услугой, предлагаемой персонажу. Конечно, витязю придётся изрядно попотеть, прежде чем он угробит чудище, но зато и дракон сможет причинить вреда стране лишь на несколько лямишек. Это был самый приятный вариант для жаждущего развлечений сновидца.

— Хорошо... — протянул герой. Судя по всему, он спешно пытался составить афоризм, который прославит его имя до окончания программы.

— Милорд! — Людмила протянула изготовленную пять минут назад фляжку. — Вот единственное, что у меня осталось! Это вино из подвалов родительского замка. Оно подкрепит вас перед битвой!

Очевидно, дуралей привык получать от случайных встречных всевозможные подарки и приспособления, необходимые для грядущих подвигов, потому что он, ни секунды не колеблясь, принял флягу, небрежным движением вышиб пробку и сделал большой глоток. Лицо его исказилось, герой судорожно принялся плевать прямо на холку белоснежного коня.

— Ведьма! — прохрипел он. — Отравила!

— А ты чего хотел? — спросила мстительная ведьма. — Чтобы я тебя развлекала за свои же деньги?

— Тварь! — всадник потянул из ножен шпагу. — Убью!

— Тихо! — Людмила вздёрнула руку с зажатым кошелём. — Я тут в подлинном виде, игровой ресурс у меня полностью вышел, а никаких обязательств честной борьбы я не давала. Ударись — до самой отработки не рассчитаешься.

Всадник с проклятием бросил шпагу. Его начало рвать.

— Сволочь ты, — простонал он в промежутке между приступами. — Я тебя пригласил к себе, дал тебе всё, а ты...

— Не пригласил, а заташил, не спросив согласия. Так что теперь — не жалуйся. Кстати, мне некогда, а игровой ресурс, повторяю, у меня кончился. Дальше удерживать меня можешь только за свой счёт. А я тебе разрешения не даю.

— Убирайся! — страдальчески выкрикнул неудачливый драконоборец.

Сон покорно растаял, Людмила очутилась в тесной комнатёнке, в которой обитал любитель сказочных снов. В запасе у неё оставалось ещё пятнадцать лямишек, на которые она могла надеть безответных гадостей, поэтому торопиться Людмила не стала, а принялась оглядывать комнату, прикидывая, чем ещё можно досадить владельцу квартиры. Сам хозяин лежал на неразобранной постели, глаза его были открыты и немигающе уставились на придвинутый к лицу крошечный экранчик. Вероятно, именно так и достигалось слияние сна и компьютерной игры. Людмила громко рассмеялась, обнаружив, что и здесь сновидец создал себе внешность киногероя. Как говорится, если человек дурак, то это надолго. В животе у лежащего громко бурчало. Это пока ещё самовнушение, вирулентная культура дизентерийной палочки, созданная Людмилой, начнёт по-настоящему действовать лишь через пару часов. Всё-таки удачно, что при жизни она была микробиологом, так что создание оружия, которое било и здесь, и во сне, обошлось ей не так дорого. Теперь спящий дурак бросит свои подвиги и станет носиться от одного придуманного знахаря к другому и обосрёт весь свой мир, прежде чем догадается, что это всего лишь сон, а лечиться надо наяву. К этому времени и тут всё будет залито жидким поносом. Жаль, что спящий не ест и не пьёт, а то бы вовек не отмылся. Зато внешность у него сильно испортится, исхудает, бедняга, как шепка, от призрака не отличить будет. И жаловаться некому, выпил дизентерийную культуру он сам, так что всё в рамках законности.

Людмила развернула экран, плюнула на него, а потом придвинула обратно к лицу спящего. Вот так, теперь её ресурс и впрямь полностью исчерпан, и нужно побыстрее выметаться из гостеприимной квартирки.

Теперь, когда месть осуществилась на полную катушку, ей было жаль потерянных мнемон. Опять же, хорошо, что попался ей индивидуалист, не имеющий за пределами своего сна никаких контактов. А то ведь многие соединяют свои компьютеры в единую сеть, и ведут там жизнь, почти не отличающуюся от настоящего загробного бытия. Вот только нигила там нет, а жизнь, говорят, куда красивей и насыщенной, чем здесь. И даже город там имеется, слегка напоминающий на-

стоящий. Но вместо ниши и кварталов Отработки — леса и степи до самого горизонта. Ненастоящая компьютерная природа, но всё же это лучше, чем мёртвые просторы Лимбо. И жить в том городе дешевле, чем в настоящем, если, конечно, не лазать по особо дорогим сайтам. Компьютерные маньяки называют свой город Дополнительным Городом, или, коротко, Доп-Тауном. Людмила не так давно читала, что Доп-Таун придуман вовсе не здесь, а в живом мире, причём не компьютерщиком, а каким-то литератором. Выдумщик этот по сей день жив и не знает, с каким восторгом ждут его умершие фанаты. Впрочем, профита с такого восторга немного, лишь держатели платных сайтов заранее объявили, что когда создатель Доп-Тауна скончается, ему будет позволено безвозмездно бродить по всем закоулкам виртуального города.

А окажись сновидец одновременно и сетевиком, что тогда? Впрочем, тогда он не смог бы поставить свою ловушку, в Доп-Тауне нравы суровые, любителя подобных штук мигом раскрутили бы на всю его наличность.

Людмила осторожно притворила дверь, подумала, не написать ли объявлениице, что мол, за этой дверью ловушка, но не стала — и без того сегодня потрачено денег больше, чем можно себе позволить.

Сын так и не появился, квартира была пуста, и даже, как почудилось матери, словно нежилым духом повеяло в ней. Куда теперь идти, у кого спрашивать? Пропал человек, а окружающим и дела нет... И лишь через минуту Людмила догадалась, кто может наверняка знать о судьбе сына. Илья! Вряд ли он заслонился от бывшей жены, ему даже в охотку будет с ней повидаться. Жаль, что поставленный тридцать лет назад компас она уничтожила так некстати.

Постоянная проверка наличности и прозванивание приобретённых способностей с течением времени становятся чуть ли не ритуалом: вспомнив о компасе, Людмила немедленно ощутила, что никуда он не делся, цел и невредим, но просто приглушён той недавней лямийкой. Как удачно! Всё-таки тот, кто придумал ставить компас на другого человека, понимал толк в своём деле, знал, что сегодня ты и слышать не хочешь об этом человеке, а завтра он тебе нужен, так что минуты без

него не прожить. И стереть и вновь восстановить раз поставленный компас можно за какую-то лямишку.

Компас загудел сразу, громко и настойчиво, словно и не выключался никогда. Илья был где-то совсем рядом, через мгновение Людмила поняла, что он идёт сюда. Подавив мгновенное желание выскочить навстречу, Людмила опустила в кресло, и не встала, даже когда хлопнула входная дверь.

В комнату вошёл старик, и это неприятно резануло Людмилу. Конечно, тридцать лет со счетов не спишешь и со счётов не сбросишь, но тут, где за не слишком большую цену можно не стариться, было тяжело видеть морщинистое лицо и пергаментные руки когда-то близкого человека. Плюс ещё страшные чёрные круги под глазами, какие, говорят, бывают при сердечной недостаточности, но больше всего напоминают следы побоев.

— Ну, здравствуй, Илюша, — произнесла Людмила.

Илья не удивился, не вознегодовал и не обрадовался. Слово и не увиделись они впервые после сорока лет разлуки и двух смертей. Прежде всего он сел на край дивана — кресло в комнате было всего одно — и лишь затем проговорил:

— Здравствуй, Люда. Что скажешь?

Людмила встретила его взгляд. Все восемьдесят прожитых лет смотрели на неё... из них последние тридцать лет в разлуке. Всё-таки правильно мечтают влюблённые — умереть в один день. А если не довелось, то уже ничем не склеишь того, что расколото временем.

Мгновение Людмила молчала, осознавая, что не будет ни семейных сцен, ни шагов к примирению. Она боялась и того, и другого, но сейчас ей показалась обидной понимающая мудрость, светившаяся в глазах старика. И потребовалось ещё мгновение, чтобы проглотить эту обиду и заговорить о главном:

— Где Илюшка? Он куда-то пропал, я его не слышу.

Илья Ильич развёл руками и сказал примиряюще:

— Я его тоже не слышу. Скорее всего, он в Цитадели.

— Как?..

— Да вот, — Илья Ильич снова развёл руки, — мы вчера на Цитадель штурмом ходили, и вроде бы Илюшка сумел на

стену подняться. Во всяком случае, с тех пор я его и не слышу. Возможно, это обязательное у них условие, чтобы не следили за ними...

— Нет там никакого условия, — сказала Людмила не то мужу, не то самой себе.

Она прямо из воздуха выдернула газету — Илья Ильич так и не удосужился узнать, как это делается и сколько стоит местная пресса — и зашуршала страницами.

— Вон оно, на первой странице, — сказал Илья Ильич, сразу углядевший жирный заголовок: «Попытка штурма».

— Тут сказано «неудачная попытка», — казалось, Людмила не говорит, а стонет, — во что ты его втянул?

— Если бы была неудачная, — напомнил Илья Ильич, — то компас бы работал. Он даже на призраков работает. А совсем погибнуть Илюшка не может, ты же сама знаешь.

— Что я знаю?! — Людмила наконец перешла на крик. — Пока тебя не было, всё было нормально, а как ты появился — нате вам!

Илья Ильич хотел съязвить, что, мол, не по своей воле он тут, но сказал только:

— Извини.

— Что извини, что?.. Где теперь его искать?

— В Цитадели. Компас не работает, но должны быть и другие способы... — Илья Ильич коротко глянул на Людмилу, и та поняла несказанное: «Ведь у тебя же есть там знакомства...»

Опять намёк показался ей оскорбительней прямого обвинения, потому что намёк пришлось молча глотать.

— Хорошо, — сказала она, — я попрошаю кой-кого.

— Как узнаешь — мне скажи, а то я тоже волнуясь.

— Хорошо, я позвоню.

— У меня телефона нет, — чуть виновато сказал он.

— Тут можно без телефона, если компас поставлен.

Людмиле было неприятно признаваться, что компас на мужа у неё поставлен давным-давно и молчал все эти пустые годы, поэтому она выпрямилась в кресле и спросила язвительно:

— Чего ж ты не спрашиваешь, как я тут жила самостоятельно?

— Мне Илюшка рассказывал.

— И что он тебе рассказывал, позволь поинтересоваться?

— Что же я, не понимаю?.. — Илья Ильич говорил, уставившись себе в колени, не глядя на Людмилу, так что глухой старческий голос казался совсем чужим. — Я ведь тоже эти годы монахом не жил, что ж я теперь буду — пенять, что ты другую семью нашла?

— Нет у меня семьи, — отчётливо произнесла Людмила. — Работа у меня такая — шлюхой!

— Перестань, — тихо произнёс Илья Ильич.

— А чего скрывать? Шлюха она шлюха и есть, — Людмила с особым удовольствием повторяла оскорбительное слово, которого не дождалась от мужа. — Добро бы ещё с нормальным человеком жила, тут ещё можно было бы про любовь со-врать, а то ведь зомбак — он вроде животного, с ним только за деньги и можно. А это знаешь как называется? Тебе шлюхи мало, на «б» слова ждёшь?

— Я вчера человека убил, — Илья Ильич вскинул прозрачные глаза, в упор глянув на Людмилу. — Совсем убил, так что он на моих глазах в пыль рассыпался. А между прочим, он мне ничего не сделал, я его вообще первый раз увидел. Я знал, что охранник, если его со стены скинуть, долго не живёт, но всё-таки убил. И тоже ради Илюшки, чтобы он мог на свободное место встать. Что же я теперь, тебя осуждать буду?

Людмила встретила его взгляд и лишь теперь поняла, что круги под глазами не от старческих немощей, а таки от побоев. Слегка подлечено, но если приглядеться, видно, что и губы расквашены, и скула рассечена. Ногами его били, что ли? Видать, изрядно досталось под стенами Цитадели.

— Да-а... — медленно выдохнула Людмила. — С какой стороны ни глянь, всюду ты хороший, а я в дерьме. Я без сына жить не смогла, грех на душу взяла — и что? А ты — разумник, тридцать лет его кормил. Тут всякий скажет: ты отец, а я дрянь себялюбивая. И теперь я как последняя сука в грязи валяюсь, чтобы сыну помочь, хоть немножко исправить, что сама же натворила, а ты пришёл и снова устроил всё, так что лучше не бывает. Одна я осталась, как цветок в проруби. И при жизни ты меня перешагнул, и после смерти...

— Не надо, — попросил Илья Ильич.

— Отчего же не надо? — видимо, Людмила вздумала до конца пройти крестный путь и, начав с самобичевания, уже не могла остановиться. — Я-то про тебя всё знаю. Не часто вспоминал, но всё-таки бывало. А я монетку в ладонях зажму и узнаю, при каких обстоятельствах этакое чудо случилось. А ты про меня ничего не знал, думал, я давно сгнила, и лопух вырос. А я — вот она. Сначала не знала, куда себя приткнуть, Илюшке я, мёртвая, не больно нужна, у него тут свои приятели, дела какие-то... Я, дура, всё пристаю: сыночек, малыш... А ему, если посчитать те года вместе со здешними, уже под шестьдесят, просто смотрится парнем, стареть не хочет. Так и я, видишь, не постарела... один ты правде в глаза глядишь.

— Я тоже омолаживался. А это... в общем, нужно это было, чтобы Цитадель взять.

— Они и на Цитадель ходили, давно уж. Я тогда чуть со страху второй раз концы не отдала. Выхаживала потом Илюшку. Единственный раз, когда он у меня деньги брал. А у меня самой денег шиш да маленько, ты меня уже почти не вспоминал, а другим я и вовсе была без надобности. Вот потому, когда объявили конкурс этот поганый, я минуты не колебалась. Шла и знала, что место получу. А что в постель с этой чуркой ложиться, так ты как раз в ту пору свою Любашу завёл, так что мне сам бог велел.

— Не надо...

— Почему же — не надо? Ты муж, имеешь право знать. А мне ведь и рассказать больше некому. Живу я с ним, мужчина видный, только зубы гнилые, изо рта у него воняет. Опять же, содержит меня за свой счёт, так что если тебе слово «шлюха» нежный слух режет, можешь звать меня содержанкой. А что, содержанка и есть, вот только содержание скудное, словно родной жене. В этом мужики все схожи, и этот тупее полена, а денежки держит крепко, зомбак чёртов!

— При твоей жизни и слова этого в русском языке не было.

— При жизни — не было, а сейчас — есть. Мертвецкое это слово, тут без него не обойтись.

— Перестань, — Илья Ильич наконец сумел придать голосу достаточно твёрдости. — Что я тебя, не знаю?.. Зачем ты юродствуешь?

— А что мне осталось делать? Раньше хоть надежда была, что не зря всё, а теперь — куда я?

— Бросай эту свою работу, Илюшка теперь пристроен, а нам с тобой много ли надо? Будем просто жить, как будто и не умирали...

— Нет уж. Не знаю, как ты, а я давно умерла. И реанимировать меня не надо. Не нужно мне твоего благородства, и всепрощения не нужно. Знаешь, как немцы говорят: «Где себе постелила, там и спи». Так что пойду я. Прощай, муженёк. Не половинка ты, а ломоть отрезанный...

— Куда ты пойдёшь?

— А вот это тебя вовсе не касается. Полжизни ты без меня жил и ни разу не задался вопросом, куда я пошла... Живи ещё сто лет, или сколько у тебя получится. И я тоже буду жить, как получится. Домой я пойду. Есть у человека такое понятие — дом. Это не крыша над головой, а место, где ты у себя. Вот туда и пойду.

С прошлой жизни знакомая дверь захлопнулась, щёлкнув замком, Людмила торопливо сбежала вниз, словно боялась, что Илья догонит её, но Илья не стал её догонять, замок не щёлкнул вторично, наверху было тихо.

Городской транспорт в городе существует больше для порядка и в угоду ностальгии. Кому торопиться некуда — ходят пешком, благо что ноги не болят. Остальные — тоже ходят пешком, но за деньги, пользуясь тем, что в нихиле нет ни пространства, ни расстояний, и откуда угодно куда угодно можно дойти за десять минут, если, конечно, не станет поперёк пути забор, созданный чужими мнемонами. Забор называется изысканно-красиво: Цитадель. Туда и направилась Людмила.

Дурни полагают, что Цитадель — это бесконечная вереница дворцов, где в неге и праздности великие покойники вкушают заработанное блаженство. А там куда больше обычных домов, ибо каждый старается продлить ту жизнь, к которой привык и где чувствовал себя если не счастливо, то хотя бы комфортно. Конечно, есть и дворцы: череда однообразных Людовиков, различаемых лишь стилями мебели, проживает среди потрёпанной пышности, содержа остатки двора, министров и про-

чую шушеры, которые без сюзерена давно стали бы полуразвоплотившимися призраками. Да и сами короли существуют большей частью благодаря неунывающему гению Александра Дюма. Вот папаша Дюма тот и впрямь живёт во дворце, ибо любил и любит роскошь и хотя бы после смерти может позволить себе исполнение чуть ли не любой прихоти.

Но порой встречаются в Цитадели такие норы, что оторопь берёт: как могут люди жить в подобном хлеву? И больше всего таких нор в стороне от основных поселений, там где обитают зомбаки.

Полуземлянка-полуизба из небрежно отёсанных брёвен, низкая и закопчённая внутри: именно в такой согласился жить альпийский предок, и за право слезить глаза возле открытого очага щедро отсыпал строителям мелких поминальничков, которые рекой потекли ему, когда восторженные газеты всех стран завопили о сенсационной находке в глубине ледника. Сейчас, когда шума в прессе уже нет, лямишки капали неторопливо, лишь от посетителей музея, где были выставлены вещи найденного покойника. Но и этих копеечек хватало на поддержание дома, на еду, за которую приходилось платить втридорога, ибо сам альпийский предок ни приготовить ничего не мог, ни поесть толком. Хватало и на женщину. На неё...

Людмила солгала, сказав, что зомбак крепко держится за свои копейки. Другим и впрямь не давалось ничего, но перед ней альпиец с кретиническим радушием развязывал кошель, позволяя брать сколько угодно. Видимо, так было при жизни с давно сгинувшей супругой, которую напоминала Людмила, так стало и теперь, когда злой случай воскресил бледную пародию на человека.

Шестьдесят лямишек Людмила ежедневно отдавала охранникам, прочее оставалось ей. Не так это было и много, в иные дни десяток монеток, не больше, так что не хватало даже на содержание кормильца. Зато в сезон, когда наезжали в Швейцарию туристы, порой набегало и по мнемону.

На себя Людмила почти ничего не тратила, иной раз неделями крошки не брала в рот, благо что голодная смерть тут никому не грозит, только от ванны не могла отказаться, бега-

ла туда дважды в день, словно отмыться от чего-то старалась. Смешно, конечно, что рядом с первобытным жилищем приткнулась облицованная кафелем ванная комната, но Людмилу подобная эклектика не возмущала. Имеет она право хоть на что-то? И без того всю жизнь положила на других. И всё зря...

Те деньги, что оставались, небольшие, но всё-таки деньги она никуда не тратила, сохраняя на чёрный день. Для сына, которому теперь ничего не нужно, ему свои копейки капают. Кап, кап, капейка за капейкой... И здесь она оказалась ненужной... никому.

Илья-то не попенял, деликатным прикинулся. Но и доброго человеческого слова от него не дождался. «Ничего, выветрится из него жилой дух, начнут забывать, развоплощение замаячит — придёт, будет лямишку вымалывать...» — подумала она и тут же поняла: не придёт. Гибнуть будет, а о ней не вспомнит, и помощи станет искать где угодно, но не у неё.

Зомбак привычно ходил из угла в угол, широко размахивая рукой, гордо оглядывал самого себя. Был он в кожаных, подбитых мохом штанах и таких же сапогах. Видать, и в древние времена пушнина не всякому была по карману, и беднота утеплялась мохом. Не помогла моховая подкладка альпийцу, замёрз в горах... Шубейка, которая не уберегла от ледяной могилы, валялась поперёк постели, а иной одежды у альпийца не водилось, так что целыми днями он расхаживал демонстрируя мускулистый и совершенно не волосатый торс. Странно, вроде бы дикарь, должен быть в шерсти, а он человек как человек, только ноги кривые от детского рахита и зубов счистай почти нет. По здешним местам подобные недостатки легко исправимы, но ему ничего такого не нужно, и без того сам себе он нравится необычайно. Особенно татуировка на правом боку: скачущая лошадь. У лошади этой шесть ног, но две лишних непременно прикрыты рукой. И если идти, размахивая руками, то кажется, что лошадь и впрямь скачет. Этакий кинематограф каменного века. Время от времени нечто подобное входит в моду среди живых, тогда люди вспоминают про альпийскую мумию, и Людмиле перепадает чуть больше денег.

При виде Людмилы зомбак заулыбался невразумительно, загукал, энергичнее замахал рукой, демонстрируя вечно и бес-

цельно скачущую кобылу, с которой Людмила порой сравнивала саму себя.

— Что, Федя, проголодался? — спросила она. — Сейчас покормлю.

Она и сама не могла бы сказать, почему называет сожителя Федей. Какая-то давняя ассоциация, не то слышанное что-то, не то читанное. Дикий человек, обитающий во льдах, должен носить такое имя.

Зомбак налопался просяной каши с варёным салом, и его разморило. Вместо того чтобы возобновить беготню, он приутился к Людмилиному боку и затих.

— Так-то, Феденька, — тихо произнесла Людмила. — Один ты меня не бросил. Да и то, потому что дурак.

\*  
\* \* \*

Двое охранников с непроницаемыми лицами привели Илью в низкий зал с прямыми давящими потолками. Здесь царил полумрак, на стенах дымились курильницы с ладаном, пахло как в церкви. Всё это очень напоминало исторический фильм, и не будь Илья старожилом, давно привыкшим к странностям потустороннего мира, он мог бы перепугаться или, напротив, воспринять происходящее не всерьёз. Но куда всё шло как следует, а во что одеты окружающие и что пованивает со стен — его не касается.

Честно говоря, он ожидал, что к его появлению на стене отнесутся более эмоционально, всё-таки лет триста сюда никто не мог пробиться, а триста лет срок приличный даже для бессмертных воинов. К тому же способ, каким он проник сюда, вряд ли мог оставить безразличными защитников Цитадели. Илья ждал угроз, готов был и к репрессиям. Вместо этого подошедший воин коснулся его плеча и коротко бросил:

— Идём, Тигли хочет видеть тебя.

«Тигли-Мигли, — подумал Илья. — Неужели тот самый Тиглатпассар Третий, который, по преданию, основал Цитадель? Эх, надо было, прежде чем на штурм идти, историю подучить покрепче. Хотя бы знал, с кем разговоры разговаривать буду».

И вот теперь он стоял перед древним царём, которого солдаты меж собой по-простецки звали Тигли.

Всё было словно в учебнике истории для пятого класса: завитая крашенная борода, не своя, а явно искусственная, прямые складки одежды, чадное пламя масляных светильников, хотя уж здесь-то можно было бы провести электричество... Впрочем, здесь как раз и нельзя — тронный зал, не хухры-мухры, тут всё должно быть торжественно и по старинке. Не верилось, что вот эта дремучая древность правит бурлящим городом, расположенным за стенами. Хотя кто там правит? Вот захочет он сейчас развернуться и уйти — и никто не посмеет остановить его. Только вновь сюда попасть уже не получится ни при каком раскладе. Поэтому надо стоять и ждать, что ему скажут.

Честно говоря, Илья не очень представлял, что ему скажут. Ведь он враг, напавший на Цитадель и сумевший войти в неё с боем. С такими обычно разговоры бывают недобрými.

— Служил? — коротко, почти не разжимая губ, спросил царь.

— Да, — Илья не знал, как следует титуловать царя и не собирался этого делать. То есть военная дисциплина есть военная дисциплина и обращение должно быть уставным: к одному — товарищ генерал, к другому — ваше величество. Но о таких вещах следует предупреждать заранее.

— Погиб в бою? — очевидно, титулы за почти три тысячи лет приелись царю. Куда больше его интересовали ответы.

— Да.

— И снова пошёл в бой... это хорошо. Мне трусы не нужны.

Илья промолчал, понимая, что здесь ответа не требуется.

— Ты знаешь, кого ты убил, взойдя на стену?

— Нет.

— Этот воин служил мне, ещё когда я ходил на Аскалон, и царь Митини сошёл с ума от страха, услышав мою поступь. Это был хороший воин, и у меня нет причин любить тебя.

Илья молчал, понимая, что любые оправдания усугубят неловкость положения.

— Служба будет трудна, — продолжил царь.

— Я солдат.

— Жалование — шестьдесят монет в день и еда из общего котла.

Илья молчал.

— Это вовсе не так много, как болтают в городе. Ты, наверное, рассчитывал, что тебя осыплют золотом за всё, что ты сделал нам?

— Я рассчитываю, что мне за службу будут платить так же, как всем остальным.

— Всем остальным платят шестьдесят монет в день. Если тебе не понравится солдатская еда — можешь есть своё. Тебя никто не ждал, и никто не горит желанием делить с тобой пищу.

Это Илья сам понимал и потому оставил царские слова без ответа. На мгновение перед внутренним взором мелькнули картинки, какова может быть дедовщина в воинском подразделении, где старослужащие тянут лямку уже третью тысячу лет, но тут же Илья отбросил эту мысль, как ни с чем не сообразную. Каким ни будь новичком, а сделать тебе ничего не смогут, разве что условием приёма на службу поставят согласие, чтобы над тобой мог свободно издеваться всякий желающий. Вот только воевать такой салажонок с трёхсотлетним стажем не будет. И военачальник это, конечно, понимает. Солдат есть солдат, и ему дозволено многое, в частности называть промеж себя владыку определяющей судьбы попросту Тигли и исповедовать принцип талиона, платя ударом за удар. Солдат, который не уважает сам себя, не сможет как следует воевать.

— У тебя есть внизу родные или друзья?

— Есть, — Илья не счёл нужным лгать, тем более что ложь так легко проверяется.

— Ты их больше не увидишь.

Илья вновь промолчал. Вступать в пререкания не имеет никакого смысла.

— Непременное условие для всех новичков, поступающих на нашу службу, пока не пройдёт установленный срок, не подавать о себе никаких вестей живущим внизу. Срок установлен — шесть раз по шестьдесят лет. За это время ничтожные рассыплются в прах, а достойные уже не будут нуждаться в твоих монетах. Таким образом я забочусь о своих солдатах.

Воин должен думать о службе, а не о голодной родне. Если ты не согласен с этим решением, можешь уходить прямо сейчас.

Разумеется, Илья был не согласен с таким решением, но возражать было бы верхом глупости, и он промолчал уже в который раз. Тигли усмехнулся, показывая, что видит новобранца насквозь, и странно выглядела живая усмешка над подвзанным футляром накладной бороды.

— При казармах достаточно челяди, женщин и мужчин, пиасти и бел-пиасти, все они получают меньше, чем будешь получать ты, и с радостью станут служить тебе. Не пытайся их подкупать, все, у кого в душе обитала неблагодарность, уже не живут, и прах этих людей давно остыл. Я не стал вешать их на колья, я просто отпустил их, лишив своего покровительства, как отпускают тех, с кого палач содрал кожу. Они плакали стоя под стенами, а когда пришёл срок, они умерли без моей опеки, как умирает человек, лишённый кожи. Я давно никого не казню и не наказываю болью. За малые прегрешения накладывается пеня, за большие — виновный изгоняется. Напшану расскажет тебе, что является большим прегрешением, а что малым.

Илья не понял, кто именно будет вводить его в курс дела: Напшану — должность или имя собственное, — но уточнять не стал, решив, что разберётся по ходу дела. Он лишь спросил, с каким оружием ему придётся иметь дело, и услышал в ответ правильную мысль, что воин должен быть с оружием, но не должен пускать его в ход, поэтому что именно он будет держать в руках, никого не касается. Главное, чтобы внизу видели, что стража вооружена.

На этом аудиенция закончилась и началась служба.

Черноволосый Напшану, по виду типичный армянин, хотя кто знает, быть может, ассирийцы как раз и звали этим словом предков армян, показал Илье его комнату (Илья ожидал общей казармы и был приятно разочарован при виде убогой, но всё-таки отдельной каморки). Затем Напшану объяснил, что служить Илья будет во дворцовой охране, стоять на воротах и не должен пускать во дворец никого, кроме сут-рези и рабани. Кто эти счастливики, Илья не знал, но поверил, что очень быстро научится определять их. К стене Цитадели он не смеет приближаться на сто локтей, разговаривать можно

только со слугами и сослуживцами; за разговоры с обитателями Цитадели полагается штраф, а за появление на стене — изгнание. Жалование выплачивается первого, одиннадцатого и двадцать второго числа каждого месяца, как было заведено ещё при жизни Тиглатпассара. Военские занятия начнутся завтра, а сейчас он может отдыхать.

Оставшись один, Илья перевёл дыхание и достал письмо, которое дал ему отец перед тем, как они отправились к Цитадели.

«Илюха! — писал отец. — Ты помнишь, что мушкетёра, при виде которого ты так удивился, никто не видел на стене больше трёхсот лет? Почему-то мне кажется, что это у них там такая учебка. Пока солдат не станет той самой крутью немереной, о какой ты рассказывал, и примерной службой не докажет своей верности, на боевое дежурство его не допустят. И ещё мне кажется, что тебе не позволят послать мне весточку. Скромный жизненный опыт подсказывает, что именно так и получится. Твоё новое начальство поначалу будет не слишком жаловать тебя, а других способов досадить тебе у него нет. Так что не дёргайся зря, я не буду беспокоиться, что с тобой. Убить или швырнуть в тюрьму тебя невозможно, так что отсутствие вестей будет означать, что всё в порядке. А я постараюсь протянуть триста лет, только для того, чтобы ещё раз увидеться с тобой. Так что не вешай носа, как-нибудь до понедельника доживём. Папа».

Илюшка горестно покачал головой. Как всегда, отец оказался прав и всё предвидел заранее. Вот только об одном не подумал: а стоило ли рваться сюда? Ту сумму, что они потратили, он заработает здесь за двести лет. Новая жизнь вряд ли обещает быть очень интересной, а отцу теперь придётся сидеть на голодном пайке, но и в этом случае проживёт ли он эти три столетия? И даже три с половиной, ведь срок карантина назначен шесть раз по шестьдесят лет, чёрт бы побрал этих шумеров с их шестидесятеричной системой счисления!

Вот и получается, что он рвался сюда просто потому, что не пускают. Что-то вроде альпинизма: лез, лез и, если сумел победить самого себя, то залез. А что дальше? Покричал «ура!» — и спускайся в долину. А вот он даже в долину спуститься не мо-

жет, потому что это значило бы, что всё было зря. Как напророчил друг Серёга: «Решил отцовские денежки на ветер пустить?» Как-то там Серёга? Фингал под глазом, небось, на пол-лица...

Дверь отворилась без стука, на пороге возник мушкетёр, тот самый, появление которого на стене так поразило Илью. Был он невысок ростом и гладко выбрит. Длинное, породистое, как у артиста Филиппова, лицо выражало живейший интерес.

— О, так это ты нокаутировал старину Шамашкара? — спросил он по-английски и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Изрядная была скотина, между нами говоря. Всё время норовил выдуть чужое пиво, и кости у него были фальшивые.

Илья кивнул, соглашаясь.

— Меня зовут Том Бэрд, — представился гость. Повернувшись спиной, он постучал себя по кирасе. — Развяжи-ка ремни у этой железяки, а то устал, сил нет.

Илья встал и принялся управлять с ремнями.

— А я почему-то решил, что ты француз, — сказал он. — Вроде бы мушкетёры были французами.

— Вот ещё, — фыркнул Том Бэрд. — За лягушатника приняли... Дурной народишко, мы их и прежде били, и впредь будем бить.

Освободившись от доспеха, Том уселся и вытянул ноги в проход. Набил крохотную трубочку с длинным прямым чубуком. Илья щёлкнул зажигалкой.

— О, забавная штука! — англичанин протянул руку, повертел колёсико, изучая несложный механизм. Лошадиная физиономия озарилась улыбкой. — Меняем, — сказал он и, не дожидаясь согласия, придвинул Илье истёртые за столетие кремь и кресало, а зажигалку пихнул куда-то под камзол, где, видимо, скрывался карман.

Илья повертел допотопное приспособление и сказал:

— Вери велл. Только зажигалка недели через полторы выдохнется и уже не будет работать.

Том пожал плечами.

— Обмен есть обмен, — сказал он. — Кто-то всегда проигрывает.

Потом он кивнул на поставленный в угол автомат.

— Это твоё ружьё?

— Да, но меняться не буду.

— У солдата, — произнёс Том, наставительно подняв палец, — есть бог, командир и ружьё. Оружием меняться нельзя.

Том оглядел пустую каморку и спросил:

— У тебя пиво есть? Портер или эль... поляки пиво пьют?

— Поляки пьют пиво. И я тоже пью, но пива у меня нет, — Илья похлопал рукой по пустому кисету.

— Понимаю... я тоже попал сюда нищим. А жалование выдают трижды в месяц по два фунта, да и то неполных. И вообще служба паскудная. Общества нет, развлечений никаких, только со шлюхами валяться. В город тебя ещё долго не пустят, а с господами из Цитадели разговаривать запрещено.

— Любая служба не сахар, — уклончиво ответил Илья. — А сам-то ты как сюда попал?

— А так и попал... Стражника из ружья застрелил и встал на его место.

— Ты что-то путаешь. Не берёт огнестрельное оружие тех, кто на стене. Что я, не знаю? Лет пятнадцать назад мы уже ходили на Цитадель штурмом.

— О!.. — уважительно протянул англичанин. — Я это помню. Меня тогда первый раз на стену пустили. Весело было.

— Это кому как.

— В драке всегда так, одному тумаки, а другому весело. А я стражника не просто застрелил, а всыпал в аркебузу пригоршню мнемонов и выпалил как картечью. Это теперь, едва начинаешь целиться, тебя в оборот возьмут, а прежде было иначе — стреляй, если денег не жалко. Стражники даже подначивали, если кто с луком или пищалью вздумает у стены появиться. Если у стрелка в кошельке пусто, так он и не попадёт, а если мошна тугая, то деньги ваши будут наши. Рана заживёт, а прибыль от такого получается немалая. А я придумал не пулей стрелять, а прямо деньгами. Был там один среди стражи, очень он мне не нравился, вот его я и пристрелил, он только ногами дрыгнуть успел.

— А на стене как закрепился?

— Так же, как и ты. Помощничка себе сыскал, виконта одного. Он же не знал, кто я такой, думал, я тоже из джентль-

менов, раз в камзоле и при оружии хожу. А я из железнобокой гвардии Оливера Кромвеля! Кавалеры называли нас круглоголовыми? и виконт не признал во мне иомена! — Бэрд хохотнул. — Его убили в битве при Нейзби, застрелили из аркебузы... может быть, я и застрелил, а он, как услышал, что я при Нейзби сражался, такими ко мне чувствами проникся, хоть плачь, хоть смейся. Даже не спросил, за короля я был или индипендантов. Вот я его и уговорил, что буду стрелять в стражника, а потом, ежели повезёт попасть, то и виконт ко мне на стену заскочит. Мы ж тогда не знали, что выстрел от количества денег зависит, думали, стража заговорённая. Ну, а у меня кроме аркебузы ещё и пистолет был, тоже монетой заряженный. Виконт, как меня на стене увидел, ко мне полез, а я ему из пистолета — промеж честных глаз. Ничего, вылезился. Чжао, тут такой китаёза есть, говорил, что видал его у стены. Ох, как он ругался, меня на дуэль вызывал! Меня тогда в дозор не ставили, так я Чжао попросил, чтобы он сказал дураку, что я не кавалер, а из железнобоких. Тот, бедняга, как узнал, что я из простых, скуксился и прочь уплёлся. Где он теперь — не знаю, благородные редко до конца помирают, должно быть, он и сейчас среди призраков бродит.

Рассказ кромвелевского солдата произвёл на Илью двойственное впечатление, но Илья за благо почёл не давать сослуживцу моральных оценок. Сам тоже не ангел... Поэтому, выслушав исповедь до конца, Илья перевёл разговор на более спокойные рельсы.

— Всё-таки, ты как сюда попал? Не на стену, а вообще. При Нейзби ты вроде уцелел...

— Меня через полгода в стычке с диггерами убили. Из лука... представляешь? В наше время из лука стрелять... Но попали хорошо, два дня подыхал. Под конец одного хотел — чтобы скорее.

— А меня сразу. Я и понять ничего не успел. Но всё равно дурацкая смерть.

— Да уж, на войне умной смерти не бывает... Но виконту дважды дурацкая досталась. Он-то себя полагал в безопасности, думал, что если у меня ничего не получится, то он тут ни при чём, просто на променад вышел, а ежели я поднимусь на

стену, то и он за мной. Службы он не хотел, он, дурак, представлял, что командовать будет, по меньшей мере в начальники гарнизона метил. И чистку заранее задумывал: добрых христиан в Цитадели оставить, а Магомета и всех остальных — в нихиль выгнать. Болван, одно слово, богаче Магомета здесь никого нет, ему весь Восток в молитвах деньги шлёт. Захочет, так он нас всех в нихиль выгонит, а не мы его.

— Христос разве не богаче? — для порядка полюбопытствовал Илья.

— Христос — бог, — убеждённо сказал Бэрд и перекрестился. — Он у себя в раю, тут его никто не видал. А вот Понтия Пилата я видел и даже заговорил, хотя запрещено разговаривать с жителями Цитадели, если они сами тебя не подозревали. Штраф начислили сто фунтов, заработок почти за два года! А Пилат мне ничего не ответил. Не помню, говорит, никакого Христа. Бродяг всяких много повесил, а сына божьего не припомню... Да ну, он от старости, наверное, в детство впал. Тут много таких, дома их зачем-то помнят, а сами они хуже малых детей. Праздность многих развращает. Вот среди солдат ни один умом не тронулся, а всё потому, что служба.

— Слушай, — сказал озарённый неожиданной мыслью Илья, — а мне это ваш Тиграт... в общем, Тигр Полосатый сказал, что триста лет нельзя живущим внизу вестей передавать...

— Так это разве весть? Гадость врагу сказать — дело святое. К тому же я не сам, китайца попросил.

— Так, может, и ты крикнешь там одному... Парень, что на турнике возле стены вертится, ну.. тот, которому я промеж глаз врезал. Крикни ему: «Илья, мол, просил передать, что дураком ты, Серёга, был, дураком и после смерти остался!»

— Вери вэлл, — лицо англичанина озарилось улыбкой. Он явно представлял, как будет беситься незнакомый ему Серёга, получив такую весточку. — Он был твоим врагом?

— Он был дураком, а дураков надо учить.

— Вери вэлл. Я передам.

Бэрд извлёк из-за пазухи трепаную колоду карт и гордо объявил:

— Во, видал вещь? Однополчане наши, блудники вавилонские, такого и не знают, они только в кости умеют, да ещё в зернь. А христианину в такие игры грешно играть.

— А в карты, что, не грешно? — искренне удивился Илья, который, как человек неверующий, игрывал во всякие игры, кроме разве что зерни, о какой-то имел довольно смутное представление.

— Карты — самая христианская игра, — убеждённо сказал Бэрд. — Тут четыре масти, они символизируют добродетели христианского воина. Это пики — храбрость в бою. Это бубны, или щиты — упорство в обороне. Это крести — они означают веру в Иисуса Христа. А черви — это любовь к даме сердца. В прежние годы у рыцаря обязательно дама сердца была, а мы люди простые, нам и маркитантки довольно.

— Ясно, — протянул Илья, тасуя засаленные карты. — Это король, это дама, это валет...

— Кавалергард, — поправил железнобокий революционер.

— А туз что означает?

— Туз — это воля небес. Видишь, карта чистая? Над королём только господь бог.

— Тогда, конечно, игра безгрешная, — признал Илья. — А во что ты играешь?

— Игра называется «сражение». Делим колоду пополам. Открывай верхнюю карту... видишь, твоя карта больше моей. Значит, забираешь себе обе и кладёшь под низ. А теперь у меня больше, значит, я твою карту беру в плен. Можно играть на деньги, можно на шелбаны.

— Так это же «пьяница»! — разочарованно воскликнул Илья, никак не думавший, что глупейшая из карточных игр имеет столь почтенную историю.

— Это «сражение»! — оскорбился англичанин.

— Хорошо, пусть «сражение». Но всё равно лучше уж тогда в очко играть. Тоже на шелбаны... тремя картами по носу.

— Это как? — заинтересованно спросил Том. Между делом он успел соорудить две кружки пива, одну из которых щедрым жестом придвинул Илье. Прославленный английский эль оказался мутной бурдой отвратительного вкуса. Впрочем, в семнадцатом веке он, видимо, таким и был.

Илья на последние лямишки сотворил новую колоду и принялся объяснять мудрые правила игры в очко. Железно-бокий оказался игроком страстным и неумелым, так что в самые короткие сроки Илья выиграл больше двух сотен шелбанов и через полчаса уже трепал карты о вспухший английский нос, приговаривая при каждом шелчке:

— Не умеешь играть, так и не берись!

Служба начиналась плодотворно, содержательно, и конца ей не предвиделось ни ныне, ни присно, ни во веки веков.



Оставшись один, Илья Ильич долго сидел, глядя себе в колени. Осмысливал холодное понятие: «один». За последние годы он привык к этому состоянию. После смерти Любаши так и жил бобылём, благо что до крайнего предела худо-бедно мог себя обслуживать, и даже согласившись на хоспис, сбежал оттуда за день до кончины. И лишь после того, как Русланова пророчески провизжала ему: «Ленты в узлы вяжутся!» — завязалось бытие таким узелком, что никакому Гордию не измыслить и никакому Александру не разрубить. Два месяца посмертная жизнь неслась галопом, и вдруг разом остановилась. Сиди как в недавнем прошлом, отдыхай, радуйся, что бок не болит.

Спрашивается, что теперь делать? Бежать за Людой, угорваривать, возвращать, каяться неведомо в чём? А потом? Налаживать эфемерный быт, который будет держаться исключительно за счёт непрочной памяти о нём? Людмила, покончившая с собой тридцать лет назад, забыта основательно. Кому нужно вспоминать давнюю трагедию? Покуда, быть может, раз в год кто-то из бывлых знакомых и пошлёт ей мнемон, а лет через десять все знакомые тоже очутятся здесь, так что её уделом станет Отработка. И она это понимает. Обижена, оскорблена, но ушла сама и по доброй воле не вернётся.

Больше всего в прошлой жизни Люда ценила прочность, основательность, надёжность. Профессия мужа, связанная с непрерывными разъездами, была ей что нож острый. И при жизни, и в посмертии ей прежде всего нужен верный зарабо-

ток. Не для себя, для сына... но теперь Илюшка далеко и в копейках её не нуждается. Вот и вся простая трагедия.

Последние годы Илья Ильич умудрялся едва ли не сутками сидеть, размышляя ни о чём, но сейчас уже через полчаса тело потребовало движения, а мысли потихоньку перешли к насущным делам. И всё же, словно оправдываясь перед самим собой за несуществующую вину, Илья Ильич упорно сидел, не ложась на диван и не вставая, пока не умудрился уснуть и не проснулся за полночь с затёкшими ногами и шеей.

Нужно было чем-то заняться, и Илья Ильич решил пересчитать лямишки, заработанные собственными боками и битой физиономией. Высыпал на стол многотысячную кучу монеток и замер, увидав, что поверх всего лежит новенький блестящий мнемон. Неужто древний шумер, или кем там был неудачливый стражник, мог тысячелетиями сохранять не разменянную монету? И неужели в древней Мидии и Ассирии мнемоны были точно такими же, что и сегодня?

Илья Ильич осторожно зажал монету между ладонями и облегчённо вздохнул. Мнемон был его собственный, пришедший совсем недавно. Лика, жена двоюродного племянника, которую он и видел-то раза два на больших семейных сборах, но которая теперь поселилась в его квартире, пытаясь со стула дотянуться до высоко приколоченной кухонной полки, подумала невзначай, как же восьмидесятилетний хозяин лазал на такую верхотуру? А так вот и лазал, пока ноги держали, с табуретки... А потом перестал лазать. Не помню, что у меня там было напихано...

Лямишки Илья Ильич пересчитывать не стал, решив, что посмотрит, много ли ему будет прибывать мнемон, и последующую жизнь станет планировать, исходя из полученной цифры. Сгрёб лямишки в кошель и замер, услышав, как в прихожей тренькнул звонок. Поспешно вскочил, побежал открывать, ожидая всего: хорошего и дурного.

На площадке насупленный и злой стоял гимнаст Сергей. Вид у него был неважнецкий, видать он только что выбрался из ниши. Не иначе пешком шёл, двое суток.

— Илья где? — хрипло спросил он, не узнавая Илью Ильича.

— Нет его. И впредь не будет.

— Это же его квартира, — недоумевающе произнёс Серёга. — Вы кто такой?

— Отец.

Сергей потряс головой, недоумевая, как умудрился так чудовищно состариться мужчина, с которым его познакомили в кафе, но решив, что обманывать смысла нет, произнёс с чувством:

— Сука ваш сынок, ясно? Так ему и передайте, когда увидите. И пусть не прячется, я его всё равно найду!

— Его искать не надо, — миролюбиво произнёс Илья Ильич. — Он теперь в Цитадели служит. Угодно — лезьте на стену и говорите ему всё, что думаете.

— Да вы хоть знаете, что эта падла сделала?! — закричал Серёга. — Против своих пошёл!.. За такие дела брюхо испарывать надо, а не разговоры разговаривать!

Ещё во время беседы с умницей Афанасием Илья Ильич решил, что никому и ни при каких условиях не станет выдавать несложной тайны взятия Цитадели, и потому на выкрик Серёги отвечал спокойно, хотя и покривив слегка душой:

— А вас, милостивый государь, никто не просил туда лезть. Возможно, вы позабыли, так я напомним, что, кинувшись на стену, вы сбили с ног одного пожилого человека. Меня сбили. В результате я остался здесь да ещё в таком непрезентабельном виде. И вы надеялись, что мой сын встретит вас с распростёртыми объятиями?

Было неловко врать простодушному Серёге, притворяться, будто тоже надеялся попасть в Цитадель, но другого пути Илья Ильич не видел. Если тайна Цитадели станет общей, стража на стенах начнёт меняться с удивительной быстротой, а значит, в скором времени кто-то скинет вниз и Илюшку. И самое главное, что в общем положении вещей это ничего не изменит. Так что пусть на стенах стоят рыжебородые, а среди них один аркебузир и один десантник с акаэмом — дразнящее доказательство, будто Цитадель можно взять штурмом.

— Так он, что, прорвался?! — отчаянным шёпотом прокричал Серёга.

— Ну, — по-скабарски ответил Илья Ильич, приготовившись к долгому и выматывающему допросу.

— Так, значит, можно снова... — немедленно загорелся Серёга. — Давайте вместе! Я вас выведу первым...

— Не получится. Эта дырка в обороне уже законопачена, я проверял. Старику теперь тоже не дадут подойти вплотную.

Полсотни лет Илье Ильичу не приходилось врать, и он сам восхищался той лёгкостью, с какой вспомнилось забытое искусство пудрить мозги. Ясно ведь, что и прежде ни старику, ни девушке, ни мальцу не позволили бы напасть врасплох, но теперь этого уже не проверишь. Пусть гимнаст Серёга думает что угодно, лишь бы на стену не лез.

— Чёрт... — огорчился Серёга. — Ну, лопухнулся я, но ведь и он мог бы предупредить. Вдвоём бы вас легче на стену подняли...

«Не успели бы, — прикинул про себя Илья Ильич. — А если бы и успели, то немедля были бы скинуты вниз. Чтобы закрепиться на стене, нужно принять участие в её обороне, а не в нападении. Такая вот маленькая хитрость: обязательное условие победы — бить своего. Потому и стоит твердыня несокрушимо, что может быть взята только с помощью подлости. Но тебе, мой горячий друг, этого знать вовсе не обязательно. Да и всем остальным — тоже: незачем умножать в мире подлость».

— Что теперь переживать, — смиренно сказал он.

— Ничего, — упрямо сказал Серёга, — зато теперь у нас есть там свой человек. Заступит на пост, перемигнёмся, и пусть рыжебородые молятся своему рыжебородому богу.

— Ежели увидите его на стене — мне свистните, — попросил Илья Ильич.

— Не маленький, понимаю как-нибудь, — разумно сказал Серёга.

«Ничего ты не понимаешь, — продолжил молчаливую полемичу Илья Ильич. — Первая же попытка предательства вышвырнет „нашего человека“ из рядов защитников. Да и не увидишь ты его на стене, уж не знаю, учебка у них там или просто карантин, но думаю, что Илюха лет триста на караул заступать не будет. А через триста лет если и останутся у него знакомые в нижнем городе, то такие, что обладают прочным положением и на стену переть не станут. Уж до такой простой вещи можно додуматься».

— А заранее договориться? Вы способ связи предусмотрели?

— Цитадель, — нахмурившись напомнил Илья Ильич. — Всё заблокировано. Придётся ждать, когда он на пост заступит. А там у нас разработана система условных знаков.

«Пилите, Шура, пилите...»

Разговор окончился за полночь, Серёга убежал окрылённый, забыв и о впусую растраченных мнемонах, и о том, как получил прикладом в лоб от того самого Ильи, на которого теперь возлагал все свои надежды. А Илья Ильич долго мылся холодной водой, не думая об утекающих в никуда лямияшках. Про себя он твёрдо положил остаток жизни провести по-старчески, ни во что не вешиваясь и не занимаясь ничем, кроме собственного хрупкого здоровья. А наутро, обнаружив в активе ещё десяток мнемон (Лица с мужем обсуждали перепланировку квартиры, и Илья Ильич несколько раз пришёл к слову), омолодился, истратив прорву ассирийских лямияшек и отправился в город искать хоть кого-нибудь знакомого.

Вообще-то, по совести, нужно было бы повидаться с матерью и хотя бы после смерти поглядеть на отца... Оба они должны дождаться его, ведь он вспоминал их, хотя и не так часто, как полагалось бы любящему сыну, но именно это и мучило Илью Ильича всего более. Не мог он представить, что скажет этим людям, одного из которых в жизни не видал, а о второй если и вспоминал, то безо всякой любви и сыновней почтительности. И вот теперь предстояло поглядеть им в глаза, и это новое испытание и без того помятой совести мучило Илью Ильича хуже парадантозного зуба.

Именно поэтому и нужно идти, куда совесть не замолчала успокоено. А то ведь бывают люди, в самодовольный разум которых и тени сомнения не закрадывается — а правильно ли я живу? Совесть у таких то ли скончалась во младенчестве, то ли не родилась вовсе, пав жертвой аборта. В загробном мире такие люди тоже чувствуют себя комфортней других, но Илье Ильичу очень не хотелось походить на этих кадавров. Пока совесть болит, мы живы, а замолкла навеки — то и человек умер, хотя ходит среди людей, даже не в посмертии, а в настоящем мире, смотрит, разговаривает и внешне вполне благополучен.

Поставить маяк обошлось бы в полновесный мнемон, а этого обнищавший Илья Ильич позволить себе не мог. По счастью, в Городе существовала адресная служба, где за три ля-мишки можно было узнать место проживания любого ещё не истаявшего гражданина.

Адрес у отца с матерью оказался разный, что уже не удивило Илью Ильича. Так или иначе, мама пережила отца почти на девятнадцать лет, а проведя столько времени в разлуке, почти невозможно заново начать совместную жизнь.

Илья Ильич опасался, что мать окажется в Отработке, но адрес указывал вполне благопристойный квартал. А вот отец... Илья Ильич так и не понял, что за странный адресок выдала ему справочная служба. Во всяком случае, никаких улицы и дома там не было, а лишь исполненный цифири и латинских букв индекс.

Адрес — это не маяк, он не показывает, где находится адресат в данную минуту, да и действует всего одни сутки, но зная адрес, дорогу спрашивать не надо, иди, и придешь напрямиком куда надо.

Мать жила в обветшавшем сталинского ампира доме. Илья Ильич поднялся на третий этаж, повертел медную ручку механического звонка. В квартире долго стояла тишина, потом раздались шаркающие шаги и давно позабытый голос спросил встревоженно:

— Кто там?

Не повернувшись язык произнести слово «мама», Илья Ильич судорожно глотнул и выдавил сквозь перехваченное горло:

— Мне Елену Ивановну..

— Я никому не открываю, — донеслось из-за двери.

— Это я, — произнёс Илья Ильич.

Живо вдруг вспомнилось, как в далёкие предвоенные годы он прибежал из ФЗУ и тоже не мог попасть домой, потому что мать не открывала, покуда не убеждалась, что сын пришёл один и за спиной у него не стоит грабитель, желающий прирезать её ради скудного вдовьего барахла. Бывало, что выведенный из себя Илья принимался трезвонить, призывая на выручку соседей по коммуналке, за что ему потом порядком влетало. А тут, где жилищный вопрос разрешён и у всякого

имеется отдельная квартира, надеяться не на что. Вот возьмёт и не откроет..

— Какой ещё — я? — ворчливо спросили из квартиры.

Спрашивается, чего ей бояться? Или за семьдесят лет, что она ютится здесь, мать окончательно рехнулась и уже не понимает, на каком она свете?

— Я это, — возвысил голос Илья Ильич. — Илья!

— Ты ври да не завирайся, — упорствовал голос за запертой дверью. — Илья ещё в Гражданскую помер.

Так и есть, маманя искренне полагала себя живой.

— Сын я ваш! — выкрикнул Илья Ильич, отметив, что обратился к матери на «вы», как только с чужими людьми говорят.

— Какой ещё сын? Нет у меня никакого сына! Убирайся давай, пока милицию не вызвала.

— До свидания, мама, — сказал Илья Ильич обшарпанному дерматиону и сбежал вниз по лестнице. Если за закрытой дверью и бормотали ещё что-то, он этого не слышал.

Второй адрес привёл его в места, о которых он много слышал, но так и не удосужился побывать. Больше всего оно напоминало помойку, а вернее, свалку какого-то промышленного предприятия. Только предприятие это было столь ядовитым, что даже неистребимый бурьян не мог прижиться на белесых отвалах. Всё вокруг, словно дустом, было засыпано тончайшим порошком отработки. От Лимбо эти места разительно отличались отсутствием ровности, на каждом шагу из белой почвы торчали какие-то обломки, выпирали руины старой кладки, металлические конструкции, груды слипшихся книг и чуть ли не присыпанные пылью человеческие кости. Всё было хрупким и эфемерным, лишь в стороне незыблемо прочно поднимались глинобитные стены Цитадели. Здесь их не украшали изразцы и скульптуры крылатых быков, невысокие стены красовались во всём своём глиняном убожестве, мёртвые и мертвящие, лишь фигуры стражников, маячившие через каждые шестьдесят локтей, оживляли ландшафт.

При виде молчаливых фигур с мечами и копьями Илья Ильич невольно поёжился. Легко говорить, что пока он не напал, никто его не тронет, а не избавиться от ощущения, что сейчас его узнают и сторицей отплатят за погибшего сослу-

живца. И почему-то особенно страшно было заметить среди стражи знакомую фигуру сына. Вроде бы всё сделал, чтобы Илюшка попал на службу, а теперь самому неловко. Хотя кому тут смотреть, узнавать, обсуждать... не то место.

Район назывался Призраки, и обитали здесь тени тех, кто по несчастному стечению обстоятельств не мог ни жить, ни стинуть окончательно. Вот, скажем, жил в полузабытом семнадцатом веке воровской казак Игнат Заворуй, и всей памяти о нём осталось челобитная княжеского приказчика с жалобой, как стянул негодный Игнат с клетки жареного гуся. Лежит та челобитная в уездном архиве и не даёт истереться памяти об Игнате Заворуе. То архивариус, перекладывая бумаги, взглянет в папку, то дотошный историк, глотая пыль, извлечёт на свет полуистлевший документ и тиснет статеечку в малотиражном журнале, что, мол, триста лет назад нравы столь повредились, что и жареного гуся с клетки слямзить могли запросто. Коллеги прочтут, покачают головами, и от каждого капнет воровскому казаку малая лямышка. Жить с тех доходов нельзя, но и окончательно исчезнуть они не дают. Вот и шатается вблизи стен неприкаянный призрак, почти ничего о прежней жизни не помнящий. И только гуся никак не может забыть... скусный гусь был, право слово, жирнюшший! А то вдруг какой ни на есть литератор, бельлетрист-дивнописец, наковыривая фактуру для романа, споткнётся о сочное имя и выведет Игната Заворуя малым мазком всеохватного исторического полотна. И тогда закапают лямышки бодрым ручейком, облечётся Заворуй плотью, заговорит в голос, приоденется и, покуда у романа читатели есть, гуся жареного всякий день будет на стол ставить.

Многие полагают, что оживший призрак ничем от зомбака не отличается, но это неверно. Конечно, склеротик он преужасный, а в остальном — человек как человек. И неважно, что он забыл чуть не всю прежнюю жизнь, себя он помнит и ощущает живущим, а это главное.

Но и среди призраков таких аристократов, которые имеют надежду на воскрешение, меньшинство. Основную массу составляют призраки, которые в скором времени исчезнут навсегда.

Поняв, куда он попал, Илья Ильич ничуть не удивился. И в самом деле, где ютиться незнакомому отцу, как не среди призраков? Илья Ильич вспоминал о покойном родителе не часто, а если учесть, что в настоящей жизни они не виделись, то от единственного сына Илье-самому-старшему доставался не мнемон, а лямышечка. Прочим же, по прошествии восьмидесяти с лишним лет, помнить об этом человеке и вообще было без надобности. Разве что, знакомясь с Ильёй Ильичом, кто-нибудь подумает мельком, что и папаша у старика был Илья... Значит, получит покойник лямышкой больше — а толку с той лямышки? Так что, по всему видать, уже полста лет, как живёт отец среди призраков, и со дня на день растворится вовсе. Жив покуда только тем, что в последние земные дни Илья Ильич много думал о смысле жизни, и как-то само собой мысли обращались к прошлому.

Одно беда, как среди этого развала искать человека по сути незнакомого? Блюдце вертеть, вызываю, мол, тень отца Гамлета?... Явится папаша, сообщит, зачем жил, за кого воевал, порадует, что не на то сынок растратил все свои восемьдесят четыре года.

Илья Ильич усмехнулся и, не испытывая никакого священного трепета, отправился через развалины города призраков. Приведёт однодневный компас куда нужно — замечательно. Не приведёт — тоже беда не велика. Всё равно ни помочь здесь живущим он не может, ни огорчить их своим появлением. Разница невелика, все мы умерли, только кое-кого не успели позабыть окончательно.

Кругом было спокойно, то ли призраки народ не любопытный, то ли Илья Ильич показался им неинтересен. А потом из ниоткуда сконденсировалась бледная фигура в длиннополой шинели, спокойно, без ожидания и надежды глянула в лицо пришедшему. Был явившийся удивительно похож на Илюшку, только лицо тоньше и злее, а возможно, такие черты неосознанно придал ему сам Илья Ильич.

Всё-таки одно хорошо в царстве призраков: лишившись плоти и не имея за душой ничего материального, видение не смущает свидетелей кажущейся наготой, а является таким, как помнится или может помниться в покинутом мире. Пехотная

шинель начала прошлого века, без знаков различия: ни красных нашивок, ни белогвардейских погон, ни вообще ничего.

— Здравствуй, отец, — сказал Илья Ильич. — Я сын твой, Илья.

— Иль я, иль не я, — знакомо пошутил призрак, и Илья Ильич подумал, что и этот семейный каламбур пришёл из глубины веков от рассыпавшихся пылью предков. Маленький Илюшка тоже любил распевать его на варварский мотивчик, и если бы не пресёкся род, то так и пошла бы шутка от дедов к внукам. Потому и призрак не забыл её и произнёс как пароль, по которому можно признать своего.

— Я не знаю, зачем я пришёл, — признался Илья Ильич. — Жил я, о тебе особо не думая, а сейчас вдруг потянуло.

— Я тоже хотел на тебя посмотреть, — призрак слабо улыбнулся. — Там не успел, а здесь не торопился... Сына ты как называл?

— Ильёй.

— Это хорошо.

Илья Ильич не стал говорить, что его Илья погиб бездетным и фамилии их на Руси больше не будет. Скорей всего, призрак знал это когда-то, но благословенный склероз избавил его от ненужной боли. «Амнезия — амнистия души», — писал последний из великих поэтов.

— Расскажи о себе, — попросил Илья Ильич.

— Жил, — произнёс призрак и надолго замолк. Потом добавил: — По Малинину и Буренину..

Ещё одна шутка, не забытая в череде годов: старый как мир учебник арифметики, в котором можно найти решение любой задачи. Илья Ильич понял, что не услышит ничего, о чём бы не знал прежде. И не в том беда, что отец не хочет говорить с ним, но помнит он только то, что может помнить призрак. Никогда тень отца Гамлета не откроет ни единой роковой тайны.

Они долго стояли, глядя друг на друга, Илья Ильич мучительно прикидывал, можно ли дать призраку денег, не оскорбится ли тот и сумеет ли взять милостыню, но прежде чем он пришёл к какому-то выводу, тень в солдатской шинели шагнула в сторону и немедленно растаяла в сумраке, который разливал окрест близкий nihиль.



Ещё три лямишки, и новый адрес привёл Илью Ильича обратно в район, где доживала его мать. И квартира у Любаша тоже была на третьем этаже, только в другом доме, поновее и всяко дело поудобнее строения времён четвёртой пятилетки. На звонок незваного гостя из-за двери послышался весёлый Любашин голос:

— А нас нет дома. Мы ушли и вернёмся часиков в пять. Если очень нужно — входите и можете обождать нас. Дверь не заперта.

Вот так. Наконец-то нормальная человеческая жизнь, только ему нет места и здесь. И неважно, встретила ли Любаша со своим прежним мужем или нашла новую судьбу, безличное «мы» сказано так, что поневоле почувствуешь себя третьим лишним.

Не коснувшись незапертой двери, Илья Ильич спустился во двор. По дороге глянул на часы: начало шестого — надо поторопиться, не хватало ещё мордой к лицу столкнуться с Любашей, да ещё у самого её дома.

И всё же не успел. Едва вышел на улицу, как увидел Любашу. Илья Ильич никогда не считал свою сожительницу особо красивой, а тут, увидав её помолодевшей, совершенно неприлично замер от восхищения. Внешности Любаша не меняла, она просто была счастливой, а это состояние украшает человека лучше любого косметического салона. Любаша шла под руку с невысоким и несколько субтильным мужчиной, который, прямо скажем, не смотрелся рядом с пышной Любашиной фигурой. Илья Ильич вспомнил, что Любашин муж страдал пороком сердца, отчего и умер, не дотянув до сорока. Значит, он и есть... Ждал её здесь больше двадцати лет, получал мнемонаы и узнавал о жизни своей суженой. Любаша часто вспоминала покойного мужа, иногда в такие минуты, когда не принято говорить ни о каком другом мужчине кроме того, что рядом. А она на такие глупости внимания не обращала, вставляя мужнино имя к месту и не к месту. Значит, и муж знает всё о её грешной вдовьей жизни. Однако понял и зла не накопил. И вот теперь идут

рядом, рука об руку, несхожая чуть карикатурная пара, при взгляде на которую у встречающих теплеет на сердце. У всех, кроме Ильи Ильича.

Хотя, если вдуматься, никогда Любаша ему в страстных чувствах не признавалась и к телячьим нежностям относилась в высшей степени неодобрительно. Видно, угадывала что-то вешим сердцем и сберегала нежность для того, по ком сердце сохнет.

Закаменев лицом, Илья Ильич шагал навстречу идущей паре. Теперь вся надежда, что его не узнают. Пустые слова никому не нужны, проще всего пройти мимо, не узнавая.

Любаша узнала его с полувзгляда. Счастливая красота разом слетела с её лица, взгляд затравленно заметался, Любаша даже попыталась свернуть в сторону, но ровно шагающий муж, сам того не замечая, заставил её идти прямо. Уж он-то Илья Ильича узнать не мог и, почувствовав смятение женщины, лишь крепче прижал её локоть, как бы говоря: «Всё в порядке, ведь я рядом». И своенравная Любаша покорно пошла навстречу Илье Ильичу. Саму её ничуть не смутила бы неловкая встреча, излишней стеснительностью Любаша не страдала, но сейчас она испугалась за ничего не подозревающего мужа.

Они разминулись, не покосив взглядом, и лишь пройдя десяток шагов, Илья Ильич оглянулся вслед уходящим. В это самое мгновение оглянулась и Любаша. Они встретились глазами, позволив себе, наконец, узнать друг друга. Может быть, это показалось Илье Ильичу, но в Любашином взгляде светилась благодарность.

Илья Ильич улыбнулся и послал Любаше воздушный поцелуй.

\*  
\* \* \*

Теперь, кажется, совсем всё. Сыновний долг отдан, с былыми привязанностями развязался на удивление быстро, старых приятелей искать — охоты нет, от недавнего богатства не осталось и следа, и значит, можно начинать жизнь сначала. И прежде всего — следует пообедать, потому что после

вчерашнего пиршества в уйгурской гостинице у Ильи Ильича росинки маковой во рту не было. Оно, конечно, не смертельно, но если хочешь жить, а не предаваться скорби по не сложившейся жизни — изволь завтракать, обедать, а порой и ужинать.

Илья Ильич пошёл в «Дембель». Серёга сегодня вряд ли появится, других знакомых там нет, значит, можно посидеть за кружкой пива и тарелкой чего-нибудь мясного с большим количеством соуса. И если кто-то захочет обвинить его в бесчувственности, то пусть сам и постится.

Нашлось пиво и баранина по-африкански — тушённая с черносливом и бананами. Вышколенная официантка принесла заказ, а потом вдруг наклонилась и доверительно шепнула:

— Простите, ведь вы тот человек, который здесь с Ильёй был? С афганцем?..

Илья Ильич, ничего не ответив, поднял вопросительный взгляд.

— Понимаете, в газетах написано о неудачной попытке прорыва, а люди говорят, что один человек прорвался.

— Если б я знал... — честно ответил Илья Ильич. — Может быть, и прорвался. Компас молчит.

— Вы его сын?

— Я его отец.

— Ясно. Я же вижу, что вы похожи. Знаете, я очень рада за Илью, за вашего сына... И за себя тоже, — официантка ослепительно улыбнулась и поспешила объяснить: — Наш ресторан теперь в моду войдёт, уже сейчас посетителей видите сколько? Нам прибавка к зарплате обещана. И всё благодаря вашему сыну. Вот этот столик, где он обычно сидел, будет теперь стоять полмнемона... вы не беспокойтесь, вас это не касается. Вам мы всегда будем рады, и всё по старым ценам, ведь вы его отец...

«Вот оно, дыхание славы», — подумал Илья Ильич. А вслух сказал:

— Я вам очень благодарен.

По каким-то неведомым каналам слух о нём распространился по небольшому залу, Илья Ильич чувствовал на себе любопытные взгляды, и африканская баранина стояла ему по-

перёк горла. Довольно неприятно, когда тебя рассматривают, словно редкую диковинку, такого австралийского какаду, которого посадили в клетку, но не велели тыкать пальцами, чтобы птичка чувствовала себя естественно. Поэтому Илья Ильич даже обрадовался, когда в кафе впорхнула (опять птичьи ассоциации...) какая-то девица и, увидав Илью Ильича, напрямиком подлетела к нему и уселась напротив. Сегодня это ещё можно было сделать не заплатив полмнемона.

— Здравствуйте, — прошебетала она. — А я вас помню. Вы были тут с Ильёй Ильичом.

Теперь и Илья-старший припомнил, кто с ним разговаривает. Непристойно омолодившаяся дама... Илюшка предполагал, что это старая дева пятидесяти лет, которая таким образом лелеет прижизненные комплексы. Чёрт, как же её зовут? Что внешность на триста мнемона — запомнилось, а имя — нет. Что-то ужасно вычурное и неестественное...

— Абсолютной памяти я себе не заказывал, — признался Илья Ильич, демонстративно подцепляя вилкой кусок мяса, — так что, простите великодушно, имени вашего я не запомнил.

— Анютой меня звать, — сказала неожиданная собеседница.

Илья Ильич чуть приметно нахмурился. Сын называл эту девушку (или всё-таки деву?) как-то иначе... Антуанетта — точно!.. Ему тогда ещё вспомнилась строчка из позабытого стиха: «Гильотины весёлый нож ищет шею Антуанетты», и он подумал, а получает ли автор, если, конечно, он уже здесь, лямишку за подобное цитирование, если, конечно, цитирует живой человек. Ведь любитель стихов не помнит ни имени стихотворца, ни даже где он прочёл запавшую в душу строку.

— Меня зовут Илья Ильич, — совсем не представиться казалось неприличным.

— Опять вы смеётесь, — Антуанетта надула губки. — Илью Ильича я отлично знаю, он вместе с вами был.

— У нас в роду всех так зовут, и старших, и младших.

— Ой, так вы братья! — обрадовалась Антуанетта. — А я уж подумала...

«Неужели она такая дура?» — разговор начал забавлять Илью Ильича. Казалось невероятным, что кто-то умудрился прожить целую жизнь и помереть, сохранив столь сокруши-

тельную наивность. Интересно, что она ответит, если прямо в глаза прочитать ей мораль о недопустимости такой внешности и подобного поведения. Если бы это была проститутка, всё стало бы ясно: ночная бабочка ищет клиентов, охочих до малолеток. Но Илья говорил, что девчонка вполне приличная...

— Простите, запомятовал, как вас по батюшке? — затруднительно было бы читать мораль, называя собеседницу Анютой или даже Антуанеттой.

— Никак, — ясные глаза под ресницами, не требующими туши, уставились на Илью Ильича. — Это ваш брат так шутил. Я его по имени-отчеству называла, и он тоже, придумал, будто бы я Антуанетта Арнольдовна. А у меня отчества нет, мама сама не знает, от кого она меня родила.

«Вот те на! Дитя городских трушоб», — этого Илья Ильич не ожидал.

— Сколько же вам лет, Аня?

— Семнадцать.

— Не понял. Вы там прожили всего семнадцать лет или появились здесь семнадцать лет назад?

— Здесь, конечно. А там я нисколько не жила. Нам не велели вспоминать, что было до смерти, но всё равно все вспоминают. Я тоже потратила немножко денег и вспомнила. Меня мама родила, дома, засунула в полиэтиленовый пакет, такой, знаете, с ручками, и выбросила на помойку. И когда меня нашли, я уже была неживая.

— Простите, — шёпотом произнёс Илья Ильич.

Мгновение он молчал, осмысливая услышанное. Недавнее желание читать мораль казалось теперь таким ханжеским, что хоть в никуда проваливайся от стыда. Невыносимо было сидеть под любопытствующими взглядами зевак, словно каждый из них видит его насквозь со всем его самодовольством и менторским тоном, который он, к счастью, успел проглотить вместе с недожёванным куском баранины. И ещё это дурацкое мясо с этими идиотскими бананами; так и видится картинка: жуирующий фарисей поучает бедную девушку. А ведь эта девушка за полчаса настоящей жизни, что выпали ей на долю, испытала такое, о чём ему за восемьдесят четыре года лишь

слышать доводилось. Попалась бы ему эта мамаша, в нихиль бы закопал, чтобы и памяти не осталось.

— Пойдёмте отсюда, Анюта, — предложил Илья Ильич. — Покажете мне местные достопримечательности, а то я новичок, кроме Цитадели ещё ничего не видал.

— А как же ваш брат? Он искать вас не станет?

— Простите, Анюта, но Илья мне не брат, а сын. На самом деле я старик, а это, ну вы знаете, можно омолодиться... Я понимаю, получается вроде обмана, но ходить стариком, страдать от немощи, когда так легко можно поправить здоровье... А Илья сюда не придёт.

Анюта легко вскочила из-за стола.

— Ну и пошли тогда. Я вам покажу самое красивое место в Городе.

Они пошли по улице. Илья Ильич обратил внимание, что Анюта идёт просто, не срезая углов, как ходят люди, которым некуда торопиться, или у которых очень мало денег. «Срезать углы» — одно из местных словечек, которые успел подцепить Илья Ильич. Это значит — ходить, скрадывая расстояние, так что через пару минут можно очутиться в любом районе города. Правда, такие прогулки стоят денег, хоть и небольших.

— Я всегда удивлялась, — щебетала Анюта, — что на том свете, сколько бы о человеке ни думали, он всё равно состарится и попадёт в Отработку.

— Там нет Отработки. Там человек просто старится, — сказал Илья Ильич, отметив про себя, что «тем светом» Анюта называет настоящую жизнь.

— Но ведь там тоже есть деньги. И что же, совсем-совсем нельзя снова стать молодым? Даже если очень много заплатить?

— Совсем, — сказал Илья Ильич. — Это было бы чудо.

— «Чудо, чудо! — все кричали. — Мы и слыхом не слыхали, чтобы лезя похорошеть», — продекламировала Анюта и добавила: — Значит, у нас тут жить лучше.

— Жить вообще лучше, — согласился Илья Ильич.

Они прошли мимо городского парка, куда можно было войти за шесть лямишек, свернули в сторону тихого голландского квартала. Здесь тоже было довольно много зеле-

ни, маленькие народы умеют и любят вспоминать дорогих покойников, так что голландцы и на том свете живут лучше многих. Невысокие дома расступились, открыв мощённую плиткой площадь. Пара скамеек, несколько бесплатных муниципальных кустиков и памятник посередине. На невысоком постаменте в мраморном кресле сидит худенькая старушка. Забытое вязание распласталось на коленях, клубок скатился к ногам и ждёт шаловливого котёнка. Застывшее морщинистое лицо, в широко раскрытых глазах плавает масло безмыслия.

«Memento vita», — гласит врезанная в камень надпись.

— Хорошо тому, у кого там бабушка осталась, — тихо произнесла Анюта.

Илья Ильич медленно покачал головой.

— Бабушки должны вспоминать подруг и своих бабушек...

Он хотел добавить, что каждый человек должен сполна прожить обе отпущенные ему жизни, но вовремя прикусил язык, сообразив, что снова впадает в менторский тон, исполненный неосознанной жестокости, и спросил иное:

— А как же ты тут жила — одна?

— Да как и все. Меня бригадники в нихиле нашли и отдали в приют. Вы думаете, таких, как я, мало? Тут почти в каждом секторе приюты имеются. В русском секторе большой приют. Там я и жила.

— Дорого это?

— Что дорого? — не поняла Анюта.

— Денег с воспитанников много берут? — уточнил Илья Ильич.

— Нисколько... — Анюта была искренне удивлена. — Они же маленькие, как с них деньги брать? У каждого воспитанника был свой кошелек, но его специальным шнурком обвязывали и пломбу ставили, чтобы никто туда залезть не мог. Пломба от чужих, а от самих детей — шнурок, он какой-то особенный был, не распутать. А то ведь малыши не понимают, они такого могут натворить, если им позволить деньгами распоряжаться. У некоторых денег было много, их ча-

---

\*Memento vita (лат.) — помни о жизни.

сто вспоминают. Но всё равно, пока он не вырастет, никто не знает, что у него в кошельке. Одевают всех одинаково, и кормят одинаково, и учат. Мальчишки, которые постарше, хвастали, что умеют шнурок распутывать и деньги доставать. Хвастались, у кого сколько мнемон. Даже считалка была: «У тебя один мнемон, у меня один миллион, у кого мнемон нету, в Отработку выйдет вон».

— Н-да... — протянул Илья Ильич, отмечая про себя мрачный смысл считалки и двусмысленность, которая проскользнула в речи Анюты, когда она произнесла слово «натворить». Ведь скорей всего она так и понимает это слово: что дети, дорвавшись до мнемон, начнут творить нечто ненужное, а быть может, и вредное. Вот уж действительно бытие определяет сознание.

Они уже никуда не шли, а сидели на бесплатной скамеечке под невидящим взглядом мраморных глаз. Анюта рассказывала, а Илья Ильич слушал, лишь изредка вставляя что-то от себя.

— Там один мальчик был, маленький, ему ещё год не исполнился, он и ходить толком не умел, так утром нянечка приходит, а его нету — рассыпался. Представляете? Оказывается, его мама ни разу про него даже не вспомнила. Она его придушила и в печке сожгла и с тех пор больше ни разу про него не вспоминала, а другие люди о нём и не знали. Этот мальчик как свой единственный мнемон прожил, так и рассыпался. А другие вырастают — такими богачами становятся! Иногда в гости заходят, подарки дарят. Тогда нянечки и воспитатели премию получают.

— А вообще им кто платит? Воспитателям, учителям, за еду и одежду для детей?

— Бригадники. У них специальный детский фонд есть, из него и оплачивают все расходы.

Илья Ильич потёр нос, скрывая смущение. Живо вспомнилось, как костерил он бригадников за рвачество, как считал всех без исключения мошенниками. А ведь на этих людях тут всё держится. И эта скамейка, даже если поставлена неизвестным доброхотом, в порядке поддерживается всё теми же бригадниками.

— А воспитатели многие работали бесплатно, — сообщила Анюта. — Некоторые могли бы в Цитадели жить, а они с нами возьтятся. У нас попечителем писатель Ушинский, а в соседнем — другой писатель, Януш Корчак простым воспитателем работает, хотя он ещё знаменитее, чем наш. Мать Тереза к нам приходила, подарки дарила всем...

— Надо же?.. — удивился Илья Ильич, который по неграмотности своей в подобных вопросах путал мать Терезу с Дэви Марией Христос и считал авантюристкой, прогремевшей по России в пору её самого печального развала.

— Многих ребят новые родители забирают, — продолжала Анюта, — но это трудно, разрешение получить на усыновление. Потом настоящие родители помрут, они ведь обижаться будут. Кроме того, нужно год ждать, а то некоторые сначала захотят усыновить кого-то, а потом расхотят. Это же дорого... то есть это совсем бесплатно, но нужно предъявить десять тысяч мнемон, чтобы тебе позволили ребёночка взять. Я вот думаю, если бы у вас там так же люди поступали, небось, никто бы детей на помойку не выбрасывал.

— Это точно, — согласился Илья Ильич. — Только тогда бы и детей не рождалось, и мы бы все лет через сто вымерли.

— Меня два раза хотели удочерить, но у одних денег не хватило, а другие через год просто не пришли. Развелись, наверное, или расхотели со мной возиться. А вот я бы взяла малыша из приюта, только у меня мужа нет и десяти тысяч мнемон тоже. Но я иногда ухожу из Города и гуляю по нимилу. Вдруг, думаю, какая-нибудь мама своего ребёночка выкинет, а я его найду. Я бы его в приют не отдала, пусть думают, что я сама его родила, как в том мире.

— А поверят?

— Не-а... — вздохнула Анюта. — Не поверят. Но пока они узнают, пока за ним придут, у меня всё-таки ребёночек будет. А долго его растить я всё равно не смогу, денег не хватит. Нет, вы не думайте, меня часто вспоминают. Мама, как напьётся, так и начинает ныть: «Ах, доченька, ах, лапусенька!» Всем кругом рассказывает, что у неё дочка была, но умерла младенчиком. Люди же не знают, как я умерла, они её жалеют. От каждого мне лямишка, а от мамы — мнемон. А мама каждую

неделю напивается, где только деньги берёт? Я же знаю, на том свете деньги сами не приходят, их зарабатывать нужно.

— На водку почему-то всегда деньги находятся, — вздохнул Илья Ильич. Ему было невероятно стыдно слушать эту исповедь, словно он, проживший на Земле восемьдесят четыре года, виноват перед девочкой, убитой через полчаса после рождения. Достать бы тварь, которую Анюта называет мамой, не понимая, что в это слово вкладывается иной, великий смысл.

— А ещё дворник меня вспоминает, — продолжала Анюта, — тот, что меня нашёл. Каждый раз, как подходит к мусорным бакам, так и вспоминает. Страшно ему, что снова что-нибудь такое попадётся. Но он меня живой не видел, от него лямишка приходит. И когда пьяный — тоже вспоминает иногда и другим рассказывает. Я тогда себе праздничный обед устраиваю или на танцы хожу. А что, это обязательно напиваться, чтобы других вспоминать? Я как-то попробовала — противно... и голова потом болела, лямишку пришлось тратить на лечение.

— Не обязательно, — сказал Илья Ильич, — просто некоторые иначе не умеют. Душа у них закаменела. От водки она сперва немного отмякает, а потом ещё хуже — вроде как на следующий день голова болит.

— Понятно... — протянула Анюта. — То есть на самом деле ничего не понятно. Вот вы там много прожили, расскажите, как это в том мире жить? Я вроде бы всё знаю, и в школе училась, и рассказывали нам, и фильмы видела, а всё равно чего-то не понимаю.

«Тебе бы, по совести говоря, и сейчас ещё нужно в школе учиться, а не по ресторанам ходить», — чуть было не произнёс Илья Ильич, но вовремя прикусил язык. Что изучать в школе детям загробного царства? Науки естественные для них вроде сказок — не вводить же в программу нихилеведение или отработкологию? Языки понадобятся — их можно за минуту все выучить, сколько на свете есть, было и будет впредь. Вот и остаётся литература, спорт, хорошие манеры и немножко истории. А для этого десять лет за партией сидеть не нужно. И как только человеческий детёныш ухитрится распутать хитроумный узел на опечатанной мошне, он отправляется в самостоятельную жизнь, в которой не будет работы, любовь

окажется бездетной, да и сама жизнь станет зависеть от поступающих из другого мира мнемонгов. Человеку, сполна прожившему ту жизнь, эта кажется сладким десертом, а если иной жизни и не знаешь? «Ах, какое огорчение, вместо хлеба есть печенье!» Как рассказать человеку, ничего, кроме печенья, не пробовавшему, о вкусе ржаного хлеба?

И в согласии с этой пищевой ассоциацией Илья Ильич произнёс:

— Анюта, ведь вы, наверное, голодная, я вас сорвал на прогулку, не дав пообедать. Давайте пойдём куда-нибудь, вы перекусите, а я вам попытаюсь рассказать, как жилось на том свете.

Они покинули площадь, перешли узкий канал со стоячей водой (и такое есть в Городе!) и в Датском секторе отыскивали крошечную едальню, которые здесь назывались «кро» и славились домашней кухней. По какому-то неведомому признаку Анюта определила, что эта забегаловка дешёвая и значит, тут можно просто поесть. Им подали жирную балтийскую сельдь, запеченную с сыром «данбо», свекольный салат и картофельное пюре, взбитое до состояния июльского облака. На десерт был рис алемань, какого в Германии не попробуешь. Издавна известно, что лучшие франзолы пекут не во Франции, а в Петербурге, а сладкий германский рис по-настоящему умеют готовить лишь в Дании. Немцы его вечно недосаливают, и популярный десерт начинает неприятно напоминать кутю.

Илья Ильич ещё не успел привыкнуть ко вкусному разнообразию мировой кухни, а Анюта лопала датскую экзотику с аппетитом проголодавшегося, но ничуть не удивлённого человека. После обеда Илья Ильич жестом остановил Анюту, потянувшуюся было за деньгами, и заплатил за обоих. Ему всё ещё было неловко, словно он в чём-то виноват. И, выполняя своё обещание, он старательно рассказывал о первой жизни, которая для Анюты была «тем светом».

— Понимаете, здесь живётся легче, приятнее, в чём-то даже интереснее, но тот мир бесконечно разнообразней, хотя многие этого просто не замечают. Попробуйте здесь выйти за городскую черту — всюду нигиль и редкие островки чудиков, которые пустились там дрейфовать. Люди жмутся друг к другу, так достигается хоть какое-то разнообразие. Я сначала не мог

понять, почему всякие секты и замкнутые общества почти не создают собственных поселений, которые бы не признавали Города, а то и враждовали с ним.

— Как это — враждовать? — искренне не поняла Анюта. — Вот не нравится тебе кто-то, так можно сделать так, что ни он тебя видеть не будет, ни ты его. Говорят, в Городе таких много, некоторые вообще невидимками живут. А ещё есть сновидцы, они тоже ни с кем не встречаются.

— А как быть с теми, кто хочет других заставить жить по-своему?

— Такие тоже бывают, — согласилась Анюта, — только они долго не живут. Вы, может быть, слышали, недавно один такой подорвал себя перед Цитаделью.

— Слышал, — улыбнулся Илья Ильич. — Он очень громко подорвался, трудно было не услышать. То же обычно получается и со всеми остальными. Деньги расфукают — и нет их. А у нас там ничего подобного: поездом друг друга едят. И никакого наказания за вмешательство в чужую жизнь не полагается. Очень многие из самых скверных людей, попав сюда, живут в Цитадели, и ни совесть, ни людская молва им не указ, потому что память о себе оставили хоть и скверную, но громкую. Неважно, убиваются по тебе или проклинают, мнемоны получают одинаковые.

— Это несправедливо, — согласилась Анюта.

— Только если бы было иначе, то насилие прорвалось бы и сюда. А так никто никому ничего плохого сделать не может.

— Может... — Анюта продолжала неспешно подцеплять ложечкой взбитые сливки, шапка которых кучилась поверх риса, но что-то в её безмятежном голосе заставило поверить, что и здесь при желании можно сделать плохое, очень даже можно.

Тогда Илья Ильич, которому больше ничего не оставалось, начал рассказывать не о людях, а о природе и своей работе, которая порой природу губит, но без которой тоже никак. Рассказывал о зарослях иван-чая вдоль просеки, по которой будет проходить трасса, о землянике, рдеющей на вырубках, о майских соловьях, чьё пение душисто, словно цветы черёмухи. О таёжных завалах, где стволы упавших сто лет назад лиственниц кажутся нарочно сделанными насыпями, поросшими зелёной шу-

бой мха. О том, как неистребимо любопытный барсук выходит взглянуть исподтишка на работающих людей, как осы свирепо защищают свой бумажный дом, как медведь по ночам обнюхивает оставленную на объекте технику, а с первыми проблесками утра бесшумно растворяется в тумане, оставив на размешанной гусеницами земле отпечатки лап, удивительно похожих на ногу небывалого великана, страдающего плоскостопием.

— Главное, что этот мир создан людьми для людей, здесь продумана и оплачена каждая мелочинка, а тот — существует сам по себе и для себя. Именно поэтому он столь необъятно велик.

— И поэтому там нужны дороги? — тихо спросила Анюта.

— Поэтому — тоже.

По домам расходились далеко за полночь. Впрочем, в Городе полночь понятие весьма относительное. Работали кафе и рестораны, гуляли люди. Где-то далеко в африканском секторе стучали тамтамы, и Илья Ильич с удивлением обнаружил, что понимает, о чём они говорят. Рассказывали, что некий расхен прорвался в Цитадель, но никто не знает, как ему это удалось. Анюта, свободно изъяснявшаяся на нескольких языках, видимо не была всеобъемлющей полиглоткой и оставалась в безмятежности. Заволновалась она, только когда Илья Ильич вздумал проводить её до дому. На возражение, что молодой девушке не годится ходить одной по ночному городу, она удивилась так искренне, что Илья Ильич даже опешил и лишь потом сообразил, что там, где не может быть никакой опасности, меняются и понятия о приличиях, и человеку, не знавшему настоящей жизни, не понять его тревоги.

Договорились, что завтра Анюта зайдёт за ним и сводит в китайский сектор, где есть очень красивая пагода.

— И ещё там есть маленькая цитаделька, в которой живёт Мао Цзэдун. Он не захотел жить в Цитадели, и ему построили отдельную резиденцию. Тоже красивая, только туда никого не пускают. Охраны там море, но никто их не штурмует, потому что охранники там ничего не получают.

Илья Ильич кивнул, подумав мимоходом, что моря Анюта никогда не видела и не увидит, так что слово это для неё имеет только переносный смысл, примерно как для него пампасы, где только и осталась настоящая воля.

— Не надолго это, — произнёс он вслух. — По политикам память непрочная. Нет, конечно, в учебниках он ещё долго останется, и в Цитадели за ним место будет зарезервировано, но чтобы отдельную Цитадель в одиночку содержать... К тому же фанатики, которые его обожествляют, скоро повымрут, а новых взять негде. Что он тогда делать станет?

— Это все знают, — согласилась Анюта. — Вон, в немецком секторе Гитлер тоже бункер выстроил. Хотел даже отдельный нацистский сектор делать и на остальных войной ходить. Говорят, тогда многим деньжата перепадали, когда гитлеровцы пытались силой свои порядки наводить. Но они быстро растратились и на нет сошли. А сам Гитлер как миленький в Цитадель уполз, и носа оттуда не кажет. Ведь он в живом мире такого натворил, нам рассказывали...

— Не очень-то он миленький, — вздохнул Илья Ильич, попавший на фронт в январе сорок второго и дотащивший свои понтоны до самого Одера.

Этой краткой политинформацией и закончился романтический вечер, вернее, романтическая часть вечера, потому что, когда Илья Ильич полночь явился домой, он увидел на лестнице обиженную физиономию Серёги. Оказывается, Сергей решил провести небольшую рекогносцировку, наведя брошенное спортивное оборудование. И там один из охранников прокричал ему обидные слова.

Илья Ильич внимательно выслушал сбивчивую Серегину ругань, затем спросил:

— Вы что, вправду ничего не поняли? Это же Илья весточку передать умудрился: мол, всё в порядке, устроился, принят за своего. Или вы думаете, что охранники согласились бы хоть что-то кроме ругани передать? Это же ясно как дважды два и сбоку бантик!

— Об этом я не подумал, — растерянно произнёс Сергей. Он потёр лоб и добавил: — Вот только почему у вас всякие планы, а все шишки — мне?

«Наверное, потому, что и впрямь ты умом недалёк», — подумал Илья Ильич, но вслух этого говорить не стал. Долго заливал что-то Сергею, успокаивал, но избавиться сумел лишь сказав, что устал как собака, на ногах не стоит и хочет спать.

— А вы знаете, — сказал Сергей на прощание, — сегодня ко мне на трапедию народ валом валит. Я тут прикинул, получается, что я сегодня в ноль вышел, первый раз за все эти дни.

— Вот видите, — покивал Илья Ильич. — К сожалению, это интерес временный, да вы и сами это понимаете...

На следующее утро Анята позвонила в его дверь, когда сам Илья Ильич, отвыкший от ночных бдений, ещё не продрал глаза. Однако ни полюбоваться красивой пагодой, ни поглазеть на приют великого кормчего им не удалось. От русского сектора до китайского конец не близкий, а Анята по-прежнему углов не срезала, и Илья Ильич, которому впервые не прибыло ни лямишки, тоже не торопился тратиться, предпочитая пешую прогулку. В результате они сбились, заплутав в бразильском секторе, где всюду шли приготовления к карнавалу. По стенам домов развешивались гирлянды, на площади устанавливались колёса для будущих фейерверков, где-то уже гремела музыка, и люди, пока ещё не наряженные, танцевали румбу.

— Интересно, — заметил Илья Ильич, — ведь это очень дорогое удовольствие, карнавал... кто его организует и за какие шиши? Насколько я понимаю, сюда может прийти любой человек из любого сектора, причём совершенно бесплатно.

— Может, — подтвердила Анята. — Только человек, пришедший сюда веселиться, и деньги тратить будет здесь. Есть, пить, сувенир какой-нибудь купит, который самому не готовить. И местные жители во время карнавала меньше дома сидят, больше тратятся. Торговцам это выгодно, вот они и организуют праздники.

— А чего ж тогда карнавал раз в год? Делали бы каждый месяц.

— Каждый месяц нельзя, люди устанут и не будут на карнавал ходить. Это же основы маркетинга, неужели вы этого в школе не проходили?

— Анята, вы представить себе не можете, чего я только в школе не проходил. И что я проходил — тоже. Больше всего нам внушали, что торговать — плохо, а воевать — хорошо.

— Зачем воевать? Нам рассказывали про войны, но я, наоборот, глупая, у меня это в голове не укладывается.

— По здоровом размышлении такое и не должно укладываться в голову. А воевать нас учили до полной победы мировой революции. Впрочем, этого лучше тоже не понимать. Давайте лучше обедать. Всё равно мы заблудились и в Пекин сегодня не попадём. Вот вроде бы неплохая забегаловка...

— Что вы! — Анята замахала руками. — Это очень дорогой ресторан! Тут всё гораздо дороже, чем в соседних!

— Что-то я не понимаю, — признался Илья Ильич. — Что такое они могут предложить, что дерут такие деньги? Кухня всюду выше любых похвал. Блюда готовятся, а не придумываются, хотя я этих тонкостей не понимаю. Обслуживание везде в высшей степени вежливое. Музыка живая, хотя я, опять же, ничего в этом не понимаю. Какого ещё рожна надо?

— Во-первых, посуда разная...

— И там, и там — серебро, чешский хрусталь, саксонский фарфор или что-нибудь в этом роде. Бумажных тарелочек я тут ни у кого не видал.

— В простых ресторанах посуду моют, а в дорогих весь хрусталь и фарфор после первого же использования бьют, а следующему посетителю делают новые тарелки. У них специальные ювелиры работают, хрустальщики и художники по фарфору.

— Чутьё какая! — воскликнул Илья Ильич, вспоминая свой похудевший кошелёк. — С жиру народ бесится. Правильно их бригадники потрошат.

— А ещё в дорогих заведениях безопасность на высоком уровне и приватность обеспечена.

— Какая безопасность? Что тут вообще можно сделать человеку?

— В дешёвом кафе подойдёт кто-нибудь и сядет за ваш столик. А вам, может быть, не хочется, чтобы он рядом сидел. А он ещё возьмёт и примется из вашей тарелки есть. Некоторые этим промышляют, особенно цыгане. А вы ему ничего и сделать не сможете, потому что никакого стыда у него нет, а бить его нельзя.

— Наверняка можно что-то придумать!

— Давно придумано. Можно за пару лямишек превратить свою еду во что-нибудь жутко тошнотворное. За это тоже ни-

чего не будет, ведь это твоя еда, и ты её хулигану не предлагал, он сам хапнул. Но и хулиганы это знают, поэтому они только один кусок хватают, а потом сидят и смеются. А некоторые нарочно ещё возьмут, а потом стошнят тебе прямо на костюм. И опять они правы, ведь это ты сделал еду такой. Тут как ни верти, а безнаказанный хулиган всегда перед нормальным человеком будет иметь преимущество. Поэтому в маленьких закусточных, вроде вчерашней, редко бывает больше одного столика.

— А как же в «Дембеле» обходятся?

— Никак. Просто ставят блок на нежелательных посетителей. Для всех вход свободный, а им нужно заплатить такую сумму, что закачаешься. Так что каждый хулиган в каждом ресторанчике может учинить дебош только один раз в жизни.

Илья Ильич покивал, соглашаясь, и они пошли дальше. Совсем неподалёку они сыскали дешёвое заведение, но ни поесть, ни отдохнуть в прохладе не сумели. У самых дверей путь им преградила молодая, нелепо накрашенная девица. Была она столь вызывающе ярка, что можно было к гадалке не ходить, что внешность свою корректировала она сама без помощи специалистов и даже без доброго совета человека, обладающего хотя бы задатками хорошего вкуса. Волосы под платиновую блондинку, ярко-чёрные глаза чуть не в пол-лица, пухлые губки, вывернутые таким бантиком, что и у кукол не встретишь. На чудо-диву никто не обращал внимания, принимая её за деталь грядущего карнавала. Во время праздника некоторые богачи специально изменяют внешность, отращивая себе рога, хвосты, всевозможные горбы, когти и прочие невысказанные уродства. Полностью переродиться в чудовишную химеру могут лишь сновидцы в своём призрачном существовании, но вырастить пару рожек способен любой, заплативший по сто мнемон с рога, — есть такие специалисты в особо дорогих салонах красоты.

Разодета бабёнка была под стать своей внешности — в пух и прах, что для карнавала также вполне естественно. Хотя карнавал ещё не начался, дива была пьяна в дымину, как умеют напиваться лишь русские бомжихи. Атропиновые глазищи то начинали яростно сверкать, то норовили расползтись в разные стороны, личико, так недавно отреставрированное, по-

крывали красные пятна, которые через несколько месяцев беспутной жизни образуют на нежной коже склеротический рисунок. Платье было измято и не перепачкано только потому, что на мостовых города мусор долго не держался, проваливаясь в нихиль.

И, как и следовало ожидать, заговорила супердива по-русски:

— Вот они где! — голос красавица позабыла обновить, и он явно прибыл из прошлой жизни: сиплый, прокуренный и пропитый голос истаскавшейся алкоголички. — А я вас ишу. Что, не узнали, да? Не узнали...

Илья Ильич ни мгновения не сомневался, что узнавать ему некого. Ни в той, ни в этой жизни не бывало у него подобных знакомых. Даже если допустить, что голос тоже изменён специально к карнавалу, то развязную хамоватость, исполненную природного свинства, подделать было бы просто невозможно. Искусство имиджмейкеров в этом вопросе бессильно. И лишь потом он понял, что хотя обращается встречная шлюха к нему, но вся игра, ею затеянная, направлена на Анюту. Девушка стояла растерянная, лицо её было белым, словно его простирали с разрекламированным порошком. Конечно, ведь у неё есть способность, если понадобится, мгновенно вспомнить любого, хотя бы раз встреченного человека. И никакой маскарад не позволит остаться неузнанным. А возможно, здесь и нет никакого маскарада, скорей всего они встретили одну из подруг Анюты по детскому дому. Какие бы великие педагоги ни пестовали умерших детей, неудачи в работе всегда возможны, и теперь Анюта с ужасом глядит на бывшую подружку, с которой лучше всего было бы вовсе не встречаться.

— Простите... — начал было Илья Ильич значительным голосом, но говорить ему не дали. Девушка впервые сфокусировала на нём осмысленный взгляд и произнесла:

— А бой-френд у тебя ничего, только староват малость. Ну, да это не беда, омолодится, были бы денежки. А ты меня так и не узнала... нехорошо, дочура, это же я, твоя мамочка.

Илью Ильича как обухом по затылку тяпнули. Так, значит, это Анютина мать?! Та самая стерва, которую он желал бы в нихиль зарыть... Ну, держись, тварюга! Думаешь, ничего тебе

не сделаю, налёт интеллигентности помешает? Ошибаешься... на трассе и не таких бичей случалось к общему знаменателю приводить.

— Так, — произнёс он резко, — значит, это вы и есть! Вы разыскиваетесь по обвинению в убийстве вашей дочери. Вы имеете право хранить молчание, однако предупреждаю, что всё вами сказанное может быть использовано против вас!

Всё-таки любое знание рано или поздно бывает востребовано. Сколько одиноких вечеров было убито перед голубым телепузырём за унылым просмотром бесчисленных дюдиков, и вот теперь дурацкая фраза, приехавшая из американского криминального быта, пригодилась. Любопытно, как отреагирует на неё пьянчужка.

— Чево?! — протянула бомжиха. — Ты, парень, мне лапшу на уши не вешай, я законы знаю, у меня за всё заплачено! Кого это я убила? Вот моя дочка, живёхонька!.. Ничего ты мне не сделаешь, запомнил? Сам ты убийца, понял? Я тебя ещё за растление малолетних привлеку! Пойдём, доченька, угостишь мамочку со свиданьем... А на этого дурака наплюй, я тебе такого парня найду — закачаешься!

Анюта пятилась, испуганно глядя расширенными глазами, но по всему было видно, что сейчас она сдастся и пойдёт за своей мамашей, словно морская свинка на полдник к удаву. А обвинительная речь, так блестяще начатая Ильёй Ильичом, не произвела вообще никакого впечатления. Несомненно, бригадники, сквозь цепкие руки которых прошла покойница, обобрали её начисто, но дело своё они знали, так что бомжиха отлично усвоила правила нового бытия и была морально готова к любому повороту событий.

Впрочем, права есть и у Анюты, ничего мамаша насильно сделать не сумеет, всё её преимущество в отсутствии души и беспредельной хамоватости, а это — не слишком большая сила.

Илья Ильич наклонился к Анюте, ухватив её за плечо, и шепнул:

— Блок ставь!

— Не могу! — простонала девушка.

— Тогда я сам!

— Вы чего там сговариваетесь? — возопила бомжиха. — Удрать хотите? Не выйдем!.. Я законы знаю, ты мне ещё алименты платить будешь, я тебе мать родная, не кто-нибудь, ты меня вообще содержать обязана!

В это время Илья Ильич управился с блоком. Как его ставить, он не знал и взял за образец блок, стоявший в дверях дорогого ресторана. Денег Илья Ильич потратил не слишком много, так что и цена входа оказалась не так высока: теперь за право поговорить с дочерью бомжиха должна была заплатить тридцать мнимонов. И она их заплатила, скорей всего не поняв, что слышит предупреждение, а просто решив, что Илья Ильич вздумал чем-то угрожать ей.

— Чтoб я ещё платила с родной дочерью говорить? — возопила она и ухватила Анюту за плечо. — Идём отсюда, а с этим чмом я попозже разберусь!

В следующую секунду она беспокожно завертела башкой, почувствовав потерю денег. Илья Ильич успел отметить мельком, что бригадники хотя и грабят подчистую, но основным навыкам жизни в царстве мёртвых обучают. Он, например, так и не умеет на раз определять сумму потраченных мнимонов, а пьяная стерва делает это с лёгкостью.

— Ворюга!.. — завизжала мамаша, сверкая глазищами. — Креста на тебе нет! Да я тебе яйца вырву и вкрутую сварю!

Синие наманикюренные ногти полоснули воздух у самых глаз Ильи Ильича, но достать не сумели, видимо в кошеле стервочки уже недоставало денег для решительных действий. Ругаться она ещё могла, а вот вцепиться в харю — нет.

Илья Ильич взял Анюту под руку.

— Пойдём отсюда, — едва ли не повторил он фразу своей противницы, — видеть её не хочу.

Дюжина лямишек исчезла из кошелья, и бомжиха беспомощно завертела головой, пытаясь сообразить, куда подевалась дочь со своим вредным ухажёром.

— Но ведь она сказала, — беспомощно пробормотала Анюта, — надо её угостить... она же моя мама...

— Анюта, я вам потом всё объясню. Это не мать, вспомните, что она с вами сделала. Да подумайте, в конце концов, хочется вам сидеть вместе с ней, пить водку и слушать её пьяный бред?

— Н-нет...

— Вот и идём отсюда. А она пусть пьёт с кем-нибудь другим.

К этому времени бомжиха сообразила, что произошло, вытаскивала кошель, высыпала наличность на ладонь, но обнаружила лишь несколько лямishesек — явно недостаточно, чтобы взламывать чужую оборону.

— Ограбили!.. — запричитала она. — Караул!

Прохожие со скучающим любопытством посматривали в её сторону, подходить с соболезнованиями никто не торопился.

— Да что же это творится? — две мутных слезинки повисли на сантиметровых ресницах. — Родная дочь, дочура, мамочку ограбила! Я к ним с поцелуями, а они ко мне с х... — на этом ригористически настроенное мироздание, не позволяющее оскорблять чужой слух непригожими словами, обрезало монолог на полузвук.

Илья Ильич едва ли не силком вёл Анюту сквозь предкарнавальную сутолку. Вид у девушки был потерянный, иногда она что-то беззвучно шептала, и на ресницах, точно так же, как у матери, поблёскивали слёзы. Только ресницы были свои и слёзы — настоящие, а не выдвленные алкоголем. Рассказывают, будто некий естествоиспытатель полжизни потратил, чтобы установить биохимическую разницу между искренними слезами и тем, что выделяется под действием лука и иных слезогонных веществ. В фальшивых слезах больше белка, так что в крайнем случае они оказываются мутными. Стоило тратить годы, чтобы установить факт, интуитивно известный всякому?..

Как всегда, размышление на отвлечённую тему помогло Илье Ильичу взять себя в руки, и он начал успокаивать Анюту. Должно быть, именно его бессмысленных слов и не хватало девушке, чтобы окончательно потерять самообладание и разреветься.

Скамеек в Бразильском секторе не водилось, в случае нужды люди безо всяких комплексов усаживались на тротуар, но Илья Ильич зачем-то тащил рыдающую спутницу по оживлённой улице, не зная, что с ней делать, и радуясь, что не принято в Городе подходить к незнакомым и тем более интересоваться, что случилось... ведь тогда нужно будет и помочь

в случае нужды. А возможно, попросту Город скрыл от взглядов толпы рыдающую девчонку, чтобы не мешать ей плакать, а им веселиться.

— Ведь у меня же никого больше нет... — наконец сумела выговорить она связную фразу.

Что можно было возразить на этот выкрик? И Илья Ильич сказал единственное, что ему оставалось:

— А я? Я же никуда не делся.

— У вас семья, сын... Друзей миллион, вы в прежней жизни вон сколько прожили... что я вам...

И тогда Илья Ильич рассказал, что Илюшки больше нет... то есть он есть, и даже никогда не умрёт, но и увидеться с ним нельзя. Рассказал, как ходил к матери, а обнаружил чужую, выжившую из ума старуху (а ведь мать у него была настоящая — не чета стерве, что называла себя Анютиной мамочкой). Рассказал, что семья за тридцать лет разлуки сгнила напрочь, а настоящими друзьями он так и не обзавёлся. Приятели имеются, большинство уже давно здесь, а настоящих друзей так и не нашёл. Дружба любит постоянство, а он всю жизнь провёл перекати-полем, даже последние годы, когда из колонны перешёл в управление и высиживал пенсию в чиновничьем кресле. В ту пору у начальства не стоял вопрос, кому ехать через полстраны с ревизией или на приёмку объекта, посылали Илью Ильича, зная, что он лёгок на подъём, а дело знает как свои пять пальцев, так что вокруг единственного пальца его никто не обведёт. Вот только должность такая не способствует обрастанию друзьями. Так что вокруг пальца Илью Ильича обвела судьба, оставив его одиноким как перст. Простая, самоочевидная ситуация, которую легко можно объяснить на пальцах.

Конечно, не всё и не так рассказал Илья Ильич, но главного добился, Анюта перестала плакать, а слушала, заворожено кивая головой.

— Знаете, у кого-то из русских поэтов, у Бунина, кажется, есть стихотворение об одиночестве, так оно кончается строчкой: «Хорошо бы собаку купить». Но у меня даже собаки не было, куда я её дену со своими разъездами? А когда немощь нагрязнула, то тем более — сам ног не таскаю, какая тут соба-

ка... да и была бы — сюда её не привезёшь, хоть сто прививок делай и двести справок бери.

Анюта кивнула в очередной раз и тихо сказала:

— У воспитанников в детдоме была своя сказка, или вроде сказки, такая история. Её нельзя чужим рассказывать, поэтому никто и не знает. Будто бы где-то среди нихилия есть поляна. Ты не думай, нам мультики показывали, так что я знаю, что такое поляна. Там трава растёт, солнышко светит и летают бабочки. И нигде нет ни одного человека. Людям туда нельзя, потому что это вроде Цитадели, только не для людей, а для животных. Ведь есть же знаменитые животные, которых помнят уже тысячу лет. Главный среди них — Буцефал, конь Александра Македонского. А помогает ему Инцитат, который был римским сенатором. И когда у какой-нибудь девочки или мальчика умирает любимая зверушка, она попадает туда. У них там мнемонов нету, у них сразу получается для котёнка миска молока и диван с подушками, для щенка — косточка, а для лошадей — трава и речка. Вот так прямо посреди поляны стоит диван, а на нём лежат кошки.

— Красиво... — сказал Илья Ильич.

— А ты не смейся! — почему-то обиделась Анюта. — У нас хоть и уютно, а всё было: и собака, и кошки. Настоящие, только котят не рождалось. Собаку Бурбас звали. Говорят, ей уже больше ста лет. Хозяин у неё давно рассыпался, а перед смертью пришёл и подарил её уютно, сказал, что не может больше её содержать.

— Что ж не продал? — спросил Илья Ильич.

Анюта удивлённо уставилась на него.

— Друзей не продают, — сказала она убеждённо.

Они уже снова шли по русскому сектору, углубляясь всё дальше от центра, от ярких огней, музыки, от ресторанов и казино, от панорамных кинотеатров, муниципальных скверов, музеев и памятников. Вокруг скучнел спальный район, где обитают жители, берегущие каждую лямишку. Дома и здесь оставались элитными с виду, но почему-то казались не такими нарядными, как в центре. Благородная бедность сквозила в каждом окне. Наконец, возле одного, ничем не примечательного дома Анюта остановилась.

— Вот здесь я и живу, — произнесла она сдавленным голосом.

Илья Ильич, державший Анюту под руку, отпустил её и погладил по рукаву, словно успокаивая маленького ребёнка.

— Идите сейчас, отдыхайте, — произнёс он, почему-то переходя на «вы», — а завтра всё-таки попытаемся куда-нибудь сходить. Главное, не надо бояться, эта женщина сюда не придёт, блок я поставил надолго. Да она, небось, уже и забыла всё как есть, валяется где-нибудь пьяная... Но если хотите, я посижу с вами, покараулю немножко.

— Спасибо, — чуть слышно проговорила Анюта. — Сидеть со мной не нужно.

Она повернулась и побежала к парадной.

— Жду завтра! — крикнул Илья Ильич.

Массивная деревянная дверь гулко хлопнула.

Илья Ильич постоял несколько секунд, глядя на окна и стараясь представить, за каким из них живёт Анюта. Потом пожал плечами и пошёл к центру, к бывшему Илюшкиному, а теперь своему дому. Прошёл шагов двадцать, оглянулся, снова пожал плечами. Странно было на душе. Девчоночка, годная ему во внуки, если не в правнучки, пробудила чувства совершенно не отеческие, и только что стоило немалых усилий развернуться и уйти, не напросившись в гости. Тем более что там, в квартире, номера которой он не спросил, нет ни строгих родителей, ни вообще никого.

— Бес в ребро... — пробормотал Илья Ильич, признаваясь самому себе в абсолютно недопустимых чувствах. Потом он вздохнул, успокаиваясь и представляя, как завтра Анюта ни свет ни заря поднимет его, и они отправятся в китайский сектор, но, конечно, опять не доберутся. Илья Ильич знал, что на этот раз он не проспит, а поднимется задолго до звонка и будет ждать его с мальчишеским замирием сердца. И впрямь бес в ребро; в потустороннем мире бесам раздолье.

Анюта не позвонила и не пришла.

Обманутые ожидания оказались вдвойне неприятны, поскольку Илья Ильич, и впрямь вскочивший среди ночи, от нечего делать принялся пересчитывать наличность и обнару-

жил прибавку в двадцать девять мнемонев. Это не были живые воспоминания, мнемонев оказались немymi, сообщив лишь, что получены они в качестве платы за поставленный блок. Получается, что деньги, которые заплатила пьянчужка, пошли не Аняте, как полагалось бы по совести, а ему. Когда Илья Ильич сообразил это, его ожгло стыдом, и он ждал Аняту, думая в первую очередь о том, как будет извиняться и возвращать несправедные деньги.

А Анята не пришла. Обиделась или просто не сочла нужным прийти. Давно известно, хочешь испортить отношения с человеком — задолжай ему побольше денег или дай крупную сумму займа. Отношения будут испорчены прочно и навсегда.

Илья Ильич просидел день взаперти, питаюсь чаем и плохо придуманной яичницей, а на следующий день отправился сам разыскивать Аняту. Некоторое время он бродил по безликим спальным кварталам, пока не убедился, что даже дом точно определить не сможет. И только затем сообразил, что адрес можно узнать любого человека, а не только близкого родственника.

Адреса у Аняты не оказалось, перед глазами возник уже знакомый индекс, указывающий на квартал призраков. Стараясь унять холодную дрожь в груди, Илья Ильич поспешил за слабым сигналом временного маячка. Да не может этого быть, так просто не бывает. Какой же Анята призрак? Теплые ладони, растерянная улыбка, наивные рассказы, особо страшные в своей наивности... Скорей всего, она просто отправилась за чем-то в этот квартал, кого-то навестить или одиноко посидеть среди развалин, а адрес указал не квартиру, где её сейчас нет, а место, где она находится в данную минуту. Ну, конечно, так оно и есть, ведь адрес этот тот же маяк, просто временный, на один день...

В квартале призраков ничто не изменилось, да и не могло измениться. Те же археологические обломки, сохраняющие подобие памяти о позабытых людях, те же засыпанные пылью свитки и папки документов, та же тишина и неподвижность. И так же, как три дня назад, не потревожив рыхлой пыли, из ниоткуда появилась человеческая фигура.

— Анюта, — прошептал Илья Ильич, — что же это с тобой? Она улыбнулась виновато, словно извиняться собралась, и ничего не ответила.

«Мать умерла, — наконец сформулировал Илья Ильич истину, в которой не хотел признаваться самому себе, — а больше Анюту вспоминать некому. Дворник со своими лямишками не прокормит...»

— Он уже давно на пенсии, — ответила Анюта на не прозвучавшую мысль.

— Что ж ты не сказала, что у тебя совсем денег нет?

— У меня оставалось немножко, но я их отдала. Она сказала, что я обязана её кормить, и я отдала...

Илья Ильич застонал, схватившись за голову.

— Что ж ты мне не сказала? У меня твоих денег тридцать мнemoнов. Я просто тогда ещё не знал об этом...

Анюта молчала, и видно было, что судьба мнemoнов её мало волнует.

— Почему ты не сказала?

— Я сказала, что я тут живу, но оказалось, что я вам не нужна вовсе. Зачем мне эти мнemoны?

— Ты мне нужна, — холодея, выговорил Илья Ильич. — С чего ты взяла, что не нужна?

— Если девушка позволяет проводить себя до самого дома, значит, она к себе приглашает. Это все знают. А ты не пошёл. У других девчонок всё просто получалось, а у меня вот... я даже не целовалась ни разу.

— Анюта, — выдохнул Илья Ильич, — смотри, вот твои деньги, много... Ты же всё помнишь, возьми, ещё можно всё вернуть! Не уходи, ты мне нужна! Ну что я тут буду без тебя делать?!

Она не ответила словами, лишь отрицательно качнула головой, и в этом движении утонули все беспомощные доводы.

Илья Ильич наклонился и поцеловал бесплотные губы.

\*  
\* \*

Долина Лимбо в любую сторону уходит в бесконечность, демонстрируя, что для человеческой памяти пределов нет. Думайте, живые, вспоминайте, фантазируйте — сюда вместит-

ся всё. Но пока что миллиарды живущих сумели создать лишь один Город, окружённый океаном нихилия. И одни лишь умершие фантасты утверждают, что где-то вдали, на космических расстояниях, располагаются города, в которых обретают по-смертие не прилетевшие инопланетяне. Не верьте профессиональным брехунам, никого там нет, только блёклая ровность нихилия. И можно идти в любую сторону, пока всякое отчаяние не растворится в бескачественной субстанции. Нихиль лечит всё, но никогда не торопится.

Который уже раз топтал Илья Ильич окаянный кисель, шагая неведомо куда. Позади остались развалины квартала призраков, теперь можно идти, не думая ни о чём, разве что об Афоне, который уловит сигнал проснувшегося маяка, прибежит, прочтает назидание, а потом начнёт лечить «Смирновской» монополькой под уйгурские хичины. Ох, как много и вкусно приходится питаться в мире невещественном! Набитый желудок тоже хорошо заглушает боль опустошённой души.

А чем ещё заняться покойнику? Лучшее спасение — работа, но её нет, а мысль о развлечениях не вызывает ничего, кроме тошноты. Мудрое спокойствие музеев сейчас не для него, ревущее безумие спортивных и гладиаторских арен — тем более. Суматоха маскарадов, надуманные проблемы театральных постановок, абстракции публичных диспутов (и такие есть!) — всё кажется ненужным и звучит фальшивым диссонансом.

Такое и в прошлой жизни бывало, хотя там никогда не винил себя в чужой смерти, разве что однажды, когда слуру не выгнал с работы вечно пьяного чикировщика, и того в конце концов придавило упавшим стволом. Официально он тогда отделался лёгким испугом — выговором и депремированием, тем более что алкоголиком должен был заниматься мастер. Но на сердце было скверно, и, чтобы излечиться, Илья Ильич часами бродил по болоту, продираясь сквозь раkitник и заросли чистотела.

В Лимбо не росло непролазных кустов и трав, осыпающих брюки дождём цеплючих семян, тут можно шагать в любую сторону, и благодетельная усталость обещает явиться не скоро. Остаётся простор для медленных, тяжёлых мыслей, что так удачно изгонялись гнусом и паутиной, которая, если вовремя не сбить её взмахом руки, налипнет на глаза, губы, нос... в ре-

зультате приходится тереть грязную физиономию немытыми ладонями, а потом мыться тёмной водой медленного лесного ручья, постепенно возвращаясь к жизни. В Лимбо есть только nihil, душа здесь остаётся наедине с собой и в одной себе должна искать силы для обновления.

Какая глупость, он всего лишь вовремя не подумал о ближнем — и вот человека нет! Причём это уже второй раз. И если с тётей Сашей он был новичком, дурнем, ничего не понимающим в загробной жизни, то сейчас обязан был сообразить, что раз мамаша-убийца явилась сюда, то значит, Анюта стоит на грани развоплощения. Мог, обязан был, предложить помощь, даже не зная о проклятых тридцати мнемонах. Так ведь нет, сглотнул похотливые слюнки и ушёл, расхваливая себя за целомудрие и не думая, что лишил девчонку не только жизни, но и любви, пусть не настоящей, а куцей загробной... хотя бывает ли ненастоящей первая любовь?

Теперь мучайся, старикашка, терпи молчаливый взгляд совести. Хорошо тем, кто в убогости своей верует в господа. Они точно знают, что такое хорошо, и что такое плохо, всё это решено за них и записано в дряхлых книгах. Плохо называется грехом, хорошо — праведностью. Праведники будут замаринованы в райской скуке, грешники зажарены в аду. К тому же для грешников существует надежда, что любой грех может быть прощён безудержным милосердием божьим. Спросить бы Анютину мамашу, простится ли ей убийство младенца, наверняка сказала бы, что грех отмолен. Крестик-то у неё посреди декольте болтается, а вот душа давно где-то потеряна, и милосердие господне, заменившее совесть, тому очень поспособствовало. А тут — сам большой, сам маленький, не на кого переложить груз, стой лицом к лицу со своим грехом.

В прежней жизни Илье Ильичу не раз приходилось слышать ханжески-удивлённое: «О каком грехе вы говорите? Вы же неверующий, значит, никакого греха для вас нет: воруйте, убивайте, распутничайте... Главное для вас — в милицию не попасть».

Обычное дело, всякий меряет других по себе. Привыкнув к мысли, что на небесах сидит грозный надсмотрщик, добропорядочный христианин перекладывает на бога ответственность за собственные поступки и искренне полагает, что если

бы не божий запрет, он непременно стал бы насильником и убийцей. Что же, ему виднее, быть может он и станет. Насильничать, убивать, грабить — характерно для рабов, которым вдруг перестала грозить плётка. Рабы божьи в этом смысле не являются исключением. А человеку неверующему приходится быть человеком самому, без помощи божественных кар. Единственный его помощник — совесть, без которой вполне может обойтись благопристойный христианин.

И ещё от греха удерживает грех.

*В грехах мы все — как цветы в росе,  
Святых между нами нет.  
А если ты свят — ты мне не брат,  
Не друг мне и не сосед.  
Я был в беде — как рыба в воде,  
Я понял закон простой:  
Там грешник приходит на помощь, где  
Отвёртывается святой\*.*

Грех — это поступок, за который нас мучает совесть.

«Помилуйте! — возопит христианин. — А если у человека совести нет? Вон, Анютина мать выбросила новорожденного младенца на мороз, и ничто в душе не дрогнуло, она что — безгрешна?»

Да, безгрешна. Спросите её саму, и она подтвердит, что если грех и был, то давно прошён. Для её поступка в русском языке есть другое слово: «преступление». Жаль, что закон не сумел дотянуться к убийце. А если бы младенца по несчастью заела свинья, то не было бы и преступления, ибо для свиней законов не написано, и преступать им нечего. Это было бы злодеяние. Свинью, совершившую такое, зарежут без суда и закопают подальше от глаз людских. Но никто не назовёт свинью ни грешницей, ни преступницей.

Так они и стоят рядом — три понятия справедливости: грех, преступление, злодеяние. За грех человек карает себя сам, за преступление наказывает закон, за злодеяние — обы-

---

\* Стихотворение Вадима Шефнера «Грешники».

чай. А для бога места нет, бог и справедливость — понятия несовместные, так что зря религия пытается подгрести понятие греха под себя.

Человек, раз в жизни испытавший благодетельные муки совести, уже не станет бездумно творить что ни попадя, прошлый грех стоит на страже, сохраняя чистоту души. А святой подобен невинному голубку, которому неведомы жалость и доброта. Биология давно знает это; запирайте в одной клетке двух волков — они подерутся, но побеждённый останется жив. А возьмите голубка и горлицу, тех, что по наивному уверению песенки, никогда не ссорятся. Святая невинность не знает греха, и дело кончится убийством слабейшего, причём убийством медленным и жестоким, ибо крошечным клювиком несподручно убивать. И никто не вспомнит о жалости, жалость и сострадание доступны лишь тому, кто знает вкус крови.

Благословен будь, спасительный грех!

Но порой жизнь складывается так, что прошлые грехи не могут предусмотреть всего и предупредить от совершения новых. Такое называется недомыслием, и когда с человеком случается подобная беда, ему остаётся шагать по бесплодной равнине, не находя в nihile никакого утешения. Остаётся думать ни о чём, в сотый раз пережёвывая пресную мысль. Остаётся самому себе проповеди читать, да такие, хоть на публичный диспут с ними выходи... мало ли что ещё можно... nihile стерпит и растворит всё.

Долина Лимбо в любую сторону уходит в бесконечность.

\*  
\* \*

Что-то в беспредельной ровности привлекло внимание. Чуть заметное тёмное пятно на сером фоне. Сидящий человек, позой своей пародирующий не то роденовского мыслителя, не то — Мефистофеля, работы Антокольского. Илья Ильич послушно отправился туда. В первое мгновение ему представилось, что там мучается новичок, ещё не осознавший окончательно, что за жуть с ним произошла, и оттого особенно перепуганный. В такую минуту появление рядом обычного человека, того же Афони — материального и прозаичного до

мозга костей, может сберечь новичку немало нервных клеток, которые, впрочем, в здешних палестинах вполне благополучно восстанавливаются.

Интересно, как здесь обходятся с душевнобольными? Должно быть, вылечивают с лёгкостью, и люди живут, вспоминая прежнее бытие с недоумением и обидой. Единственная болезнь, которая считается неизлечимой в мире, созданном людской памятью, — склероз. Да и то соматические его проявления исправляются на раз. И всё-таки лишние мучения потому и называются лишними, что их быть не должно.

Илья Ильич побежал, увязая ногами в непрочном грунте. Очень хотелось закричать: «Иду, сударь, иду!» — но дурная стеснительность удержала язык, а потом Илья Ильич разглядел, что сидящий облачён в какую-то накидку и вообще не выглядит человеком, только что окончившим земной путь. Скорей всего, это такой же бедолага, ушедший в никуда подальше от людских глаз.

Хотя никуда идеально скрадывает шаги, а Илья Ильич так и не выкрикнул ничего, однако незнакомец немедленно поднял голову и в упор взглянул на Илью Ильича. И с этой секунды язык уже не поворачивался называть его незнакомцем, ибо облик встречного был известен Илье Ильичу с самого школьного детства. Тёмные блестящие глаза, тёмные волосы, противу всех циркуляров не тупеем завитые, а стриженные под горшок, нос с лёгкой горбинкой, уныло нависающий над чёрными, без малейшей проседи усами... новый памятник на Малой Садовой удивительно точно угадывал внешность этого человека... хотя, возможно, жители Цитадели с годами начинают походить на свои изображения, копируя бесчисленные портреты и монументы.

— Здравствуйте, Николай Васильевич, — сиплый звук с трудом протиснулся сквозь перехваченное горло.

Сидящий продолжал смотреть молча, на лице не отражалось никаких чувств, даже вполне понятного ожидания. И Илья Ильич подумал вдруг, что не случайно он встретил именно этого человека, ибо не было на Руси писателя с более воспалённой совестью, нежели Николай Васильевич Гоголь. Но судьба, послав ему эту встречу, не станет более помогать,



так что если желаешь услышать вешее слово, изволь задать непраздный вопрос. И вот этого-то вопроса, в поисках ответа на который мы открываем книги гениев, Илья Ильич и не мог сформулировать.

— Мне... — выдавил он наконец, — нужна ваша помощь.

— *Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate*\*, — проговорил Гоголь, кажется самому себе.

Фраза показалась столь неожиданной, что Илья Ильич, не смотря на купленное владение языками, не сразу понял, что было сказано. И лишь потом сообразил, что встреча не зря произошла именно в нихиле. Человек, понявший суть жизни, сюда не сбежит, Лимбо — долина отчаяния, а полтора века — срок вполне достаточный, чтобы вполне отчаяться. Так что не помощи нужно ждать, а спешить на помощь.

— Николай Васильевич! — с чувством произнёс он, мимоходом отметив неизбежную странность такого простецкого обращения к великому. — О чём вы? Смотрите, жизнь не кончена, надежда всегда светит человеку.

Смотреть среди нихили было особенно некуда, а фраза Деккарта «Пока живу — надеюсь» пришла в голову позже, вместе с мыслью, что вряд ли Гоголь сильно уважает картезианство. Хотя трудно сказать, какие взгляды могут образоваться у человека, умершего полтора столетия назад и все эти годы прошедшего в Цитадели среди самых выдающихся людей.

— Кончена.

И опять слово упало безадресно, сказанное не то самому себе, не то бесчувственному пространству, но никак не Илье Ильичу.

— Неправда, — Илья Ильич решил бороться до последнего. — Пускай здесь нет солнца, земли и неба, но есть люди, оставшиеся живыми, несмотря на свою смерть. Вы нужны этим людям, и значит, вы сами живы.

— Тут нет людей. — Взгляд чёрных глаз, словно привезённых из Италии, где Гоголь провёл худшие свои годы, нако-

---

\* *Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate* (итал.) — «Оставь надежду, всяк сюда входящий» — цитата из «Божественной комедии» Данте.

нец осмысленно остановился на лице Ильи Ильича. — Кругом одни трупы наарумяненные, а я первый среди вас. Душно...

Почти цитата, произнесённая автором, живо напомнила Илье Ильичу разговор с отцом, который помнил только то, что сохранилось в памяти живых. Неужто такая же судьба ждёт любого из живущих в Цитадели? Тогда всё, что он сделал для Илюшки, было зря.

— Не верю. — Илья Ильич возразил таким же не подлежащим обсуждению, императивным тоном. — Ваши книги, повести и комедии, вами написанные, продолжают жить там, среди живых. Вас помнят, читают, любят. О какой смерти вам можно говорить?

— Смерть души. Книги, написанные по глупости, которые я устал проклинать, не дают сгнуть ветхому Адаму, отчего нет освобождения душе. Простой земледелец стократ счастливее величайшего среди избранных: он прожил в нищете отпущенные ему дни, умер и забыт. За свои малые грехи он отмаялся в здешнем чистилище и воссоединился с господом, а те, кто прогремел в мире суетной славой, вынуждены прозябать здесь вечно. Грех гордыни — страшнейший среди прочих, за него я и наказан.

— Оставьте. — Илья Ильич уже вполне усвоил манеру говорить, выставляя точку после всякой фразы. — Есть грехи страшнейшие. Недавно я видел одну женщину. Она убила своё дитя, но её преступление осталось неизвестным. — «Что за чушь, каким языком я выражаюсь?» — мелькнула неуместная мысль, но остановиться или сменить лексику Ильи Ильич уже не мог. — За своё преступление она не понесла никакого наказания ни при жизни, ни сейчас. Скоро она пропьёт последние монеты — и что? Воссоединится с господом? И вообще, о каком чистилище вы говорите? Вы же православным были при жизни.

— Я и сейчас православный. А чистилище — это фигура речи, не более. Не суетному разуму определять строение мира. Никакого доверия разуму оказывать нельзя, особенно в отношении путей и препятствий к спасению. Что мы можем знать о той женщине? Быть может, она страдала от содеянного так, что сполна искупила свой грех. Недаром же она пьёт горькую чашу.

Илья Ильич усмехнулся, вспомнив отреставрированную, но уже опухающую морду Анютиной матери. Вот уж точно — страдалица, такую ещё поискать!

Куда-то исчез пиетет перед писателем, которого ставил выше иных и прочих. Гений сгинул, остался всего лишь христианин, неотличимый от квакера, что мыл посуду в заведении уйгура. Вера всех стрижёт под одну гребёнку и умеет нивелировать самый могучий ум и самую великую душу.

— А ведь в Цитадели вместе с вами обитают многие святые мужи, отцы церкви, в том числе и православной... Как это согласуется с утверждением о наказании за грехи?

— Свят не поп, святая благодать, — раздражённо ответил собеседник. — Много званых, мало избранных. Значит, лживая молва зря объявила этих людей безгрешными. Тот, кто устроил сущее, разбирает самые щекотливые струны души, и раз эти люди здесь, значит, тому есть причина.

— Удивительной должна быть причина, собравшая в одном месте всех, кем человечество по праву гордится.

— И тех, кем оно стыдится, тоже, — эхом откликнулся Гоголь. — От нас ждут смирения, но тщеславие людское не знает границ, и сюда люди принесли все свои пороки. Игрища, балетные скакания, разврат и гордыню. И никто не хочет задуматься, отчего на стенах стоят воины Нимврода и Навуходносора.

— Тиглатпассара Третьего, — поправил Илья Ильич, который перед штурмом специально этот вопрос проштудировал.

Однако Гоголь не заметил поправки или не счёл нужным заметить её.

— Прежде эти люди были ловцы зверей, теперь они ловцы душ. Но ловят они не для царя небесного, а для своего господина. Нас стерегут наши собственные пороки, а мы живём словно внешняя смерть не касалась нас траурным крылом. Подумать только, Пушкин до сих пор пишет стихи! Пушкин, который умел видеть правду как никто! Зачем? И для кого?

— Для людей.

— Здесь нет людей. — Заученно повторил Гоголь. — Все умерли. Все!

Разговор слепого с глухим, состоящий из утверждений, всякое из которых вопреки смыслу и правилам грамматики, заканчивается безапелляционной точкой.

И тогда Илья Ильич задал вопрос, которого не должен был задавать:

— Скажите, а вам не кажется, что на самом деле вы умерли не в пятьдесят втором году, а в ту минуту, когда швырнули в огонь вашу книгу?

Сидящий вскочил, замахал руками, крылатка чёрным нетопырем забила над плечом:

— Прочь! Прочь! Дьявол!

Почему-то Илье Ильичу почудилось, что сейчас его швырнёт словно от стен Цитадели, но всё же перед ним был не древний ассириец, а писатель, проникавший некогда в самые глубины человеческой души. И как бы ни калечила его жестокая болезнь, ударить ближнего он не может. Особенно ударить при помощи ненавистных денег.

Гоголь побежал, тоже без помощи лямишек и мнемонов, увязая ногами в рыхлом, побежал, как спасается человек от страшного и отвратного зрелища. Илья Ильич молча смотрел вслед. На сердце было страшно и отвратно. Ещё какая-то часть души скончалась в эту минуту.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

За день прибыло десятков мнемонов и едва ли не полсотни лямишек. А вроде бы никаких юбилеев в живом мире не предвиделось, как и компаний под лозунгом «Вспомнить былое». В прошлый раз подобная прибыль случилась, когда Юле задали в школе вычертить генеалогическое древо семьи. Юля была дочерью Лики и родилась уже после смерти Ильи Ильича. Собственно говоря, Лика с мужем завели второго ребёнка сразу, как только въехали в освободившуюся квартиру. Хоть и цинично говорить такие вещи, а куда деваться от правды? Многие семьи живут ожиданием, когда же наконец попримрут старики, и можно станет вздохнуть чуть свободнее. Хорошо

хоть, Лика не забыла упомянуть его среди старших родственников, а потом старательная пятиклассница ещё выспрашивала маму, и вместе они даже сыскали в пухлой папке с документами свидетельство о смерти и орденские книжки, так что даты жизни оказались не перепутаны, а когда на уроке спрашивали о предках, воевавших в Отечественной войне, Юля выглядела не хуже других. А самому Илье Ильичу и мнемонов досталось, а уж лямишек насыпало от всего пятого «г» класса. Получается, что в новых школьных программах тоже порой проскальзывают положительные моменты.

На этот раз причина для прибыли оказалась совсем иной. В Управлении списывали бумаги, те, что не подлежат хранению в архивах. А подписей Ильи Ильича на исторических документах не стояло. Не перекрывал он Енисей и Ангару, не долбил стокилометровые тоннели, не разворачивал вспять великие реки. Просто строил дороги, по которым ездят, не интересуясь, кто клал асфальт. И акты приёмки вкупе с дефектными ведомостями хранят до первого капитального ремонта. А потом списывают в макулатуру.

Сегодня списывали в макулатуру Илью Ильича. Прорву скоросшивателей с подшитыми бумагами, давно уже ненужными, до которых прежде не доходили руки, потащили во двор, где и спалили, невзирая на недовольство пожарной охраны. Но прежде документы наскоро просмотрели. Начальство отдало такое распоряжение порядка ради, а юный топограф, по блату попавший в управление и в жизни не бывавший в поле, занялся этим делом на предмет любопытных редкостей и анекдотов. Люди знающие подтвердят, что именно в старом делопроизводстве скрыты самые блестящие нелепицы и удивительные жизненные случаи. На этот раз улов любознательного чиновника был невелик, бумаги, составленные Ильёй Ильичом — акты, докладные и дефектные ведомости, — не содержали материала для бессмертной рубрики «Нарочно не придумаешь». Зато подпись под документами развеселила молодого человека чрезвычайно.

— Гляньте, какая фамилия! — воскликнул он, демонстрируя сослуживцам украшенный печатями лист. — Каровин! Представляете, через «а» написано!

Первая лямишка скользнула в кошелёк Илье Ильичу.

Гоша Дозис, давно уже не Гоша, а Георгий Моисеевич, ведущий специалист, дослуживающий последние предпенсионные денёчки, подошёл, наклонился над столом, листанул бумаги, кивнул, соглашаясь.

— Был у нас такой. Между прочим, заслуженный строитель.

Это была неправда, не дали Илье Ильичу почётного знака, на пенсию он уходил в бурное андроповское правление, когда о наградах и мысли в голову прийти не могло. Но мнемон, доставшийся от Гоши, оттого не стал менее весом.

— Белорус, наверное, — оторвавшись от компьютера, подала голос одна из сотрудниц. — У них там так и пишут: «Карова».

— Бульбеник, — процедил молодой. — Я их знаю, им только бы в город да на тёплое местечко.

«Чем кумушек считать трудиться», — подумал Дозис, и мысль его ясно донеслась к Илье Ильичу, когда он зажал полученный мнемон в ладонях.

А вслух постаревший Гоша произнёс:

— Этот Каровин, боевой старичок, живчик, можно сказать, тридцать лет дороги строил, а к нам уже напоследок явился. Он на дорожном строительстве зубы съел, к нему все наши спецы консультироваться ходили. И, между прочим, он всю войну отпахал. На майские приходил, так медали на груди не помещались. И не юбилейная чешуя, а боевые награды. Полный кавалер Славы между прочим.

Это тоже было преувеличение, Славу Илье Ильичу дали всего однажды, за форсирование Вислы, но слушать такое было приятно.

— Понятно, — возгласил юный хлыщ, чьим именем Илья Ильич даже интересоваться не стал. — Да, были люди в ваше время. Тогда и солнце ярче светило.

— А то нет, что ли? — оскорбился Георгий Моисеевич, и разговор уплыл в сторону.

Однако в течение дня обиженный невниманием Гоша ещё кое-что припомнил о бывшем коллеге и даже побеседовал о нём с одним из старых работников, который тоже не позабыл и фамилию Каровин, и самого Илью Ильича. Хоть и был

приятель из другого отдела, но и ему случалось спрашивать совета у человека, который всю строительную мудрость руками превзошёл.

А хлыщ, оставивший по себе самое неприятное впечатление, выдрал из дела лист с подписью и потом несколько раз развлекал удивительной фамилией знакомых девиц, так что шлейф лямишек тянулся целую неделю.

Казалось бы, нужно радоваться, за один день прибыло деньжищ на год аккуратной жизни, но веселья не было. Илья Ильич понимал, что такого рода всплески будут всё реже и реже. Всего-то дюжина лет прошла со дня его ухода, а он уже вполне забыт. Родственники, те, что постарше, вспоминают его раз в год, сослуживцы и бывшие соседи — и того реже. Приятели, сверстники — все уже здесь и сами мыкаются, экономно расходуя нещедрое подаяние потомков.

Бурно отметив своё появление в загробном царстве, Илья Ильич быстро остепенился и жил, ничем особо не выделяясь из общей среды. Обитал в комнате, которую по старой памяти звал Илюшкиной, по ристалищам и дорогим развлекаловкам не ходил, стараясь экономить деньги, которых оставалось не так много. Отыскал кое-кого из старых знакомцев, но оказалось, что бывлые приятельства рассыпаются ещё надёжнее родственных связей. Всухую русский человек вспоминать прошлое не умеет, а загробная денежка — не чета пенсионным грошам, со временем тутошняя пенсия не растёт, а усыхает. Хорошо тому, у кого правнуков и праправнуков десятками считать можно, он хоть и на голодном пайке сидит, а семейная память прокормит. А одиноким, да тем, кто от глупости или по иной причине ограничился одним балованным дитятей — им совсем конец приходит. Но и те, и другие домой знакомых приглашать не торопятся, а если и согласятся встретиться, то где-нибудь на нейтральной территории, так, чтобы каждый платил за себя сам.

Увы, теперь скромная сумма в полмнемона казалась огромной, и Илья Ильич начал привыкать, что обедать каждый день вовсе не обязательно, а можно недельку и попоститься, тратясь лишь на воздух да на поддержание в порядке немудрящего быта. Лямышку за комнату (тут главное следить, чтобы не накопилось слишком много барахла, иначе будет дороже), ещё

лямишку за воду и совсем чуть-чуть на библиотеку. Библиотеки в Городе имелись в каждом секторе и поражали взгляд непредставимым богатством фондов и дешёвой обслуживанием. Видимо, это была одна из услуг, которые дотировались вездесущими бригадниками. За одну лямишку можно было целый день сидеть в читальном зале, а за две — взять любую книгу домой на три дня.

Сначала Илья Ильич увлекался посмертным творчеством любимых писателей, а затем нечувствительно вернулся к тем книгам, которые читал при жизни. Несколько книг даже купил, хотя книги стоили недёшево, но жить не имея возможности снять с полки любимый томик оказалось выше сил. Рассказы Чехова, «Повесть о Ходже Насреддине» Леонида Соловьёва и томик избранных стихотворений русских поэтов. Поэтическую антологию Илья Ильич составил сам и на следующий день получил от благожелательного библиотекаря готовую книгу. В ту пору Илью Ильича весьма занимал вопрос: тётя Саша свою библиотеку тоже заказывала у специалистов, или она настолько любила и помнила эти книги, что сумела создать их сама? Илья Ильич тоже был страстным книжником, а вот памяти на прочитанное у него не было.

Книги Гоголя, некогда самые любимые, Илья Ильич перечитывать не смог.

Мучимый праздностью Илья Ильич попытался посещать бесплатные мероприятия, но это в большинстве оказались собрания всяческих сект и тому подобных обществ, так что он зарёкся развлекаться на дармовщинку. Тёмные люди, одним своим присутствием выпивающие жизнь из окружающих, есть и среди мёртвых, от таких следует держаться подальше. Зато на собрании одного из клубов Илья Ильич обустроил личную жизнь. Хотя, если быть точным, роль Ильи Ильича в этом деле оказалась совершенно страдательной. Зашёл, сам не зная зачем, соблазнившись на вывеску «Клуб» и надпись на дверях «Вход свободный», и попался на зуб энергичной американке. Почему-то думал, что в клубе собираются какие-нибудь коллекционеры: филуменисты или филателисты, нумизматы, маловразумительные бонисты или собиратели значков, а значит, выставка будет под объяснения восторженного дилетанта. По-

том уж сообразил, что коллекционирование в потустороннем мире занятие вполне бесперспективное — подлинников, как ни старайся, ни одного не найдёшь, а наилучшими копиями любой может разжиться за самые смешные деньги. Так что с клубами филуменистов в Городе туго, да и нумизматы не часто встречаются. А уж клуба в самом центре, где до любого сектора рукой подать, им вовек не построить.

Гостеприимное заведение оказалось клубом знакомств. Хитроумное устройство в дверях отсеивало шлюх и альфонсов, пропуская лишь тех, чьи помыслы чисты. А поскольку Илья Ильич представления не имел, куда заходит, а значит, помыслы имел невинные, то его, разумеется, пропустили. Только бедж на груди появился с именем, прижизненной фотографией и жирно выписанным числом «восемьдесят четыре», обозначающим истинный возраст потенциального жениха. Кто захочет обмануться, тот обманется, а тут всё должно быть честно, и вошедший в бесплатное заведение заранее на эти условия соглашается.

Прежде чем Илья Ильич сумел сообразить, куда его занесло, на него уже положили глаз.

Строгого вида дама, моложавая и спортивно-подтянутая, подошла и, нимало не смущаясь, принялась считывать с беджа данные. У самой дамы имелась точно такая же карточка, и на ней также красовалось крупно выписанное число «восемьдесят четыре». Ровесница, значит. Хотя кто его знает, сколько лет или десятилетий американка провела в здешних краях? То, что перед ним американка, не вызывало у Ильи Ильича ни малейших сомнений. Удивительным образом американские бабушки, даже самые старенькие, напоминают не бабушек, а тёток. Не видно в них всепонимающей доброты, зато через край хлещет громогласная энергия и безапелляционность, именно для тёток и характерная. Всё это можно было воочию наблюдать и на омоложенном оригинале, и на фотографии, изображающей всё ту же энергичную особу, но в её реальном виде. То, что внешне-сти американка не поменяла, пришлось Илье Ильичу по душе.

— Здравствуйте, мисс, — галантно произнёс Илья Ильич, поклонившись и быстренько прочитав имя, выведенное на визитке.

Даму звали Лилиан Браун — имя вполне подходящее как для американки, так и для кого угодно.

— Вы квакер? — голосом экзаменатора спросила Лилиан.

— Боже упаси, — ответил Илья Ильич, с душевной судорогой вспомнив проповедника, моющего посуду в заведении уйгура. — С чего вы так решили?

— Ваше имя... Илия...

— Не Илия, а Илья. Это русское имя, я русский.

— О!.. — протянула та полувосхищённо-полуутвердительно. — Вы тот самый русский медведь! Это очень хорошо, теперь вы не опасны, вы не сможете построить здесь свою империю зла.

— О чём вы? — искренне удивился Илья Ильич.

Далее он в течение пяти минут выслушивал поток благоглупостей, содержащий все ложные стереотипы, которые лет двадцать тому назад бытовали среди очень средних американцев. Илья Ильич узнал о своей стране и народе столько нелепых мнений, что не счёл нужным даже возражать. Сказал лишь:

— Мисс, клянусь, я никогда не занимался строительством империй. Я действительно строитель, но всю жизнь строил исключительно шоссевые дороги.

— *Imperia est viae*\*, — произнесла Лилиан на плохой латыни и почему-то вдруг рассмеялась, чем немедленно расположила Илью Ильича в свою пользу. Смеяться она умела по-человечески, хотя зубы (разумеется, свои) всё равно казались украденными с рекламного проспекта модного зубопротезного кабинета. Но тут уже ничего не поделаешь, американская улыбка давно и, видимо, навсегда для всякого неамериканца стала эталоном неискренности.

А вообще, если не касаться в разговорах никаких тем сложней проблем домашнего быта, Лилиан Браун оказалась замечательной женщиной. С ней было легко и просто, и как-то само собой получилось, что через день Илья Ильич был приглашён домой к новой знакомой. А поскольку он уже знал, что означает такое приглашение, то всё получилось без каких бы то ни было переживаний и душевного надрыва. Даже с Люба-

---

\* *Imperia est viae* (лат.) — Империя — это дороги.

шей подобной простоты не было, там всё же какие-то чувства замечались. «Просто встретились два одиночества», — как любила напевать бывшая подруга. Лилиан не допускала в отношения даже таких чувств. И уж тем более речи не шло о любви. Это был секс в химически чистом виде, слегка сдобренный приятельскими отношениями.

Зато секс Лилианы Браун оказался виртуозным, чего никак нельзя было предполагать, глядя на её замороженную внешность. Сначала эта особенность сильно привлекала Илью Ильича, но с течением времени акробатические этюды в постели малость поднадоели, и напоминали уже не любовные игры, а производственную гимнастику, до которой Илья Ильич никогда не был охотником. Впрочем, главную свою задачу — вымывать из головы вредные размышления о смысле жизни — подобного рода семейная жизнь выполняла успешно. Как говорится, регулярный жидкий стул есть свидетельство твёрдости духа. То же можно сказать и о многих иных регулярных вещах.

Контактов с Людмилой не было ни малейших, об Илюшке — ни слуху ни духу. При жизни коптел один, и после смерти — то же самое. Раз в году, после родительской субботы, когда появлялась пригоршня шальных лямишек, Илья Ильич отправлялся к уйгуру и проводил вечер в обществе Афони, который каждый раз встречал его радостными криками. Из воздуха добывалась четверть «Смирновской», уйгур приносил сибирские деликатесы, за которые каждый платил из своего кармана. Вечер заканчивался громким пением «Глокой куздры», в которой с течением времени появилось больше десятка куплетов:

*Ежели куздра вдруг будлать не станет бокра,  
Будет бокр не будланутый, что уже вовсе неприлично...*

С Лилианой они тоже иногда выходили в свет, куда-нибудь в итальянский или испанский сектор Города, где не было знакомых ни у него, ни у неё. Почему Лилиана так заботилась, чтобы никто случайно не прознал об их связи, Илья Ильич понять не мог. Уж, кажется, не дети, если суммировать годы настоящей жизни с годами нынешнего посмертия, то каждо-

му будет под сто. В таком возрасте можно не стесняться досужих пересудов, однако авторитет княгини Марьи Алексевны был для американки непререкаем.

Во время этих культпоходов каждый платил сам за себя. Сначала подобное равноправие раздражало Илью Ильича, который был твёрдо уверен, что за даму обязан платить мужчина, но в этом вопросе он встретил столь же твёрдое убеждение, что дружба дружбой, а табачок врозь. Можно гулять вместе и старательно заниматься сексом для взаимного удовольствия и пользы здоровью, но кошелёк у каждого свой, и сколько там лежит мнемон — никого не касается. С течением времени Илья Ильич начал разделять эту точку зрения, поскольку мнемоны стали для него большой редкостью, и платить за даму он уже не мог бы при всём желании.

По американским меркам дом у Лилианы был более чем скромнен: две не слишком больших комнаты, в одной из которых располагалась столовая (она же гостиная), во второй — спальня, где и проходила большая часть свиданий. Спартанская простота убранства говорила о том, что Лилиана тоже не слишком богата. Так или иначе на поддержание в порядке всякой вещи приходится выделять деньги. Это в реальной жизни с безделушки достаточно временами стирать пыль, и она будет храниться вечно. Тут — не потратишь полагающейся лямишки — сама вещичка пылью развеется. В кварталах Отработки тому масса примеров.

Какие-то безделушки были и у Лилианы. Человек, живущий благодаря чужой памяти, не может не ценить собственные воспоминания и просто обязан хранить сувениры и сувенирчики. Исчезновение дорогих сердцу вещичек предшествует гибели самого человека. Потому и стоят на комодах и в сервантах декоративные чашки, самодельные подсвечники, лежат в шкатулках брошки и колечки, которые никогда не надеваются в качестве украшения, но берегутся пуше зеницы ока. Какие именно воспоминания связаны у Лилианы с румяной пастушкой саксонского фарфора, и что за фотографии скрываются в семейном альбоме, Илья Ильич не знал, а сама Лилиана рассказывать не посчитала нужным. Разговаривали они на какие-то странные темы, Лилиана рассказы-

вала о своём парикмахере, о пасторе методистской церкви, о какой-то Элизе, чья глупость не знает границ. О себе — ни полслова. «Мой дом — моя крепость» — поговорка английская, но и американцы частенько ей следуют. Илья Ильич даже не узнал, была ли замужем его подруга, есть ли у неё дети и, вообще, кто присылает мнемоны почившим в бозе гражданам Соединённых Штатов.

Соответственно, и сам Илья Ильич не особо распространялся о бывшей жизни. Кое-что, конечно, рассказывал, даже имена называл, так что Лилиана обогатилась ещё одним заблуждением, полагая, что Людмила и Любаша — разные формы одного имени. Илья Ильич чуть было не ляпнул, что и Лилиану следовало бы добавить в этот список — до кучи, но вовремя прикусил язык.

Чтение, прогулки и еженедельные (а то и дважды в неделю) секс-рандеву — вот и всё, чем наполнял Илья Ильич посмертное существование, в которое он прежде не верил, которого не просил, но привык к нему чрезвычайно быстро. Прогулки были непременно пешими, то бишь безо всякого срезания углов. Всё равно торопиться некуда. Зато в одиночестве или под руку с Лилианой Илья Ильич побывал на всех карнавалах, маскарадах и праздничных шествиях, что бывали организованы для развлечения скучающих горожан. Ещё одним достоинством Лилианы было то, что оказавшись под маской и не рискуя быть узнанной, она немедленно сбрасывала всю свою чопорность и выплясывала такое, что каблук дымились.

В каждом секторе раза два в год случались праздники, выбивавшие жизнь из привычной колеи. Районы, прежде тихие, наполнялись гуляющим людом, гремела музыка, полыхали фейерверки, и каждая пядь свободного пространства покрывалась лотками, откуда расхваливали свой товар всевозможные офени. В обычные дни мелкие торговцы, а заодно и мошенники всех сортов, предлагающие прохожим спустить неведомо на что всю свою наличность, на улицах не показывались. И дело здесь не в запретах, просто арендная плата, от которой невозможно уклониться, оказывалась так высока, что торговать с рук было просто невыгодно. А в праздник все поборы такого рода отменялись, и мелкий частник торопился урвать

свою лямишку. Не раз и не два, проходя по праздничным улицам, Илья Ильич вспоминал гимнаста Серёгу. Это ж сколько деньжищ он спустил, выставя в будний день свой спортивный зал возле самых стен Цитадели?

Опять же, нищенство и назойливая реклама... В дни больших праздников они считались как бы частью антуража и отличались особой специфичностью для каждого городского сектора. А в будний день человек, которого достала бесцеремонная реклама, запросто мог слупить с рекламщика пару лямишек. И поскольку реклама и попрошайки надоели всем ещё в той жизни, то промысел этот оказался жутко убыточным и процветал лишь в дни торжеств.

Особенно много туристов из других секторов привлекала русская масленица. В эти дни на улицах и площадях русского сектора появлялся снег, оплаченный гильдией торговцев, снег ложился и на загородном спидвее, проложенном специально для любителей быстрой езды. Но в эти дни по шоссе мчались не автомобили, а аэросани и гремящие бубенцами тройки. Устроители жгли чучело зимы, возводили нетающие ледяные скульптуры и торговали блинами, окупая все свои немалые расходы.

И если глянуть внимательно, то каждый день хотя бы в одном из секторов великого города мёртвых шумел особый, только этому сектору свойственный праздник.

Так прошло лет... двенадцать, кажется, или тринадцать? — Илья Ильич начал сбиваться со счёта. В Городе снег выпадает по расписанию, и весна, которую ждёшь как начало новой жизни, приходит только после того, как её оплатили добрые дяди. Новый год здесь, конечно, празднуют, шумно и со вкусом, но он быстро забывается, так что сбиться со счёту нелегко. По-настоящему о времени напоминает лишь похудание кошелька.

Неожиданные деньги, полученные от бывших сослуживцев, позволили решить одну из неприятных проблем — старость. В своё время Илья Ильич омолодился до сорокалетнего возраста, и теперь он выглядел как пятидесятилетний. Лилиана уже дважды напоминала ему, что пора бы омолодиться. Для старожилов это дело привычное, да и не слыш-

ком дорогое. Поддерживать вещь в порядке куда дешевле, чем мастерить заново — эта немудрящая истина справедлива и для такой вещи, как собственное тело. За пяток мнемоннов Илья Ильич вернул себе сорокалетний возраст, а заодно и сексуальные способности, которые так ценила требовательная подруга. В охладевших было отношениях разгорелся новый огонь. «...И частенько составляли они животное о двух спинах и весело тёрлись друг о друга своими телесами», — всё-таки мудрый французский монах знал всё о человеческой природе.

Однако даже вечный огонь не может гореть вечно. Для него требуется пища более серьёзная, нежели добродетельный разврат Лилианы Браун. Находиться рядом становилось просто неинтересно, и к тому времени, когда пришла пора омолаживаться в третий раз, отношения сошли на нет. Илья Ильич подумал и, махнув рукой, не стал омолаживаться — сэкономил горстку денежек.

Удивительным образом во время последней встречи между ними проскользнуло что-то напоминающее человеческие чувства. Оба знали, что это последняя встреча, Лилиана была не так воспитана, чтобы оставить какую-то недоговорённость, и потому прямо сказала, что новых свиданий не будет.

— Психологи утверждают, что полового партнёра следует менять раз в семь лет, а мы вместе уже в три раза дольше. Так что не огорчайся, Илия. Ты мужчина заметный, хоть и русский, так что легко найдёшь себе подходящую пару.

— Была без радости любовь, разлука будет без печали, — процитировал Илья Ильич.

— Иногда ты выражаешься удивительно поэтично, — заметила Лилиан, неспешно одеваясь, — тебе следовало бы стать поэтом.

«Тогда и мнемоннов, глядишь, было бы больше», — кисло подумал Илья Ильич, стихи нежно любивший, но сам не умеющий сложить и пары строчек.

А Лилиана вдруг неожиданно и некстати произнесла:

— Дочка у меня скончалась. На той неделе.

— Сколько прожила? — участливо поинтересовался Илья Ильич.

— Семьдесят девять... Хорошая была девочка...

Илья Ильич кивнул. Семьдесят девять — даже для Америки неплохой возраст, хотя умирать, если к жизни ещё остался интерес, обидно в любом, самом преклонном возрасте. К тому же слышалась во фразе какая-то недоговорённость. «Хорошая девочка, но...» Может быть, осталась старой девой, и род пресёкся, некому стало разглядывать выцветшие фотографии, интересоваться: «А это кто? Прабабушка? А как её звали?» А быть может, просто не слишком часто хорошая девочка вспоминала свою маму, усадивши родительницу на голодный паёк. Чужая душа — потёмки, особенно если это американская душа, которую русскому въедливому взгляду порой не разглядеть и за двадцать лет совместного секса.

Казалось бы, и впрямь разлука должна быть без печали, однако последняя встреча оставила по себе каплю горечи. Разлука ты, разлука, чужая сторона, американский сектор Города, тихий, по большей части двухэтажный. Когда нечего стало рекламировать и нечем кичиться, оказалось, что американцы любят тишину и спокойствие маленьких городков, а развлекаются предпочитают в соседних секторах.

Больше Илья Ильич в этом секторе не бывал. На карте Города появилось ещё одно чёрное пятно — место знакомое, но куда не хочется заходить.

Как обычно, развеяться Илья Ильич отправился к уйгуру. Неунывающий и не задумывающийся о смысле жизни сыщик, сам того не подозревая, служил для Ильи Ильича прекрасным психотерапевтом. У него не было никаких проблем кроме разрешимых, а подобное отношение к жизни тонизирующе действует на прочих людей. К тому же у Афони была работа, доступная, казалось бы, любому, однако требующая особого сыщицкого таланта. Некоторые завидуют чужому таланту, а Илья Ильич, напротив, радовался, когда Афанасию шёл фарт.

На этот раз Афоне подфартило невиданно, хотя единственное, что можно было понять, это то, что в дрейфующем ресторанчике идут переговоры. За одним из столиков сидел Афанасий и двое господ в глухих чёрных костюмах. Они о чём-то разговаривали вполголоса, Илья Ильич, разглядев предосте-

регающий жест сыщика, не стал подходить и остановился рядом с хозяином заведения. Сам уйгур стоял за стойкой бара, демонстративно не глядя в сторону разговаривающих, но всем видом показывая, что во время бесед в его заведении не мешало бы что-нибудь заказать. Впрочем, двое в чёрном были непробиваемы и намёков не понимали. Они с каменными лицами слушали Афонину скороговорку, изредка вставляя краткие фразы. Наконец, сговорившись, оба кивнули и полезли за кошельками. О каких суммах идёт речь, узнать было невозможно, мнемона не требуют счёта, деньги пересыпались прямо из кошелька в кошель. Сколько захочет хозяин, столько и высыплется из назначенной суммы, если, конечно, она имеется в кошельке. А чтобы лишку заплатить — такого не бывает. Опять же, получатель тоже в эту минуту не спит, и пересыпанную сумму знает с точностью до последней лямишки. В любом случае, раз платят из кошелька в кошель, значит, деньги большие, в горсти не удержишь.

Пересыпав деньги, чёрные встали и, не обращая внимания на приглашения встрепенувшегося уйгура, канули в никуда, мгновенно скрывшись из глаз. Афоня, насколько можно было судить, ничего им не передавал.

Оставшись без собеседников, сыщик соблаговолил обратить внимание на Илью Ильича.

— Вот кстати! — вскричал он. — Сейчас по пельмешкам вдарим и сделку спрыснем, а то от этих не дождёшься...

— Насчёт пельмешек я — пас, — сказал Илья Ильич. — Времени нет, — добавил он, сделав пальцами характерный жест, у всех европейских народов означающий деньги.

— Time is money! — радостно подхватил Афоня. — Не бойсь, этого тайму у меня сегодня много! Пошли, я угощаю. Знаешь что, ну их, пельмешки! Глухаря жареного закажем под рябиновую настойку. Я сегодня на год красивой жизни заработал!

Уйгур уже волок к столику пряно розовеющую водку, пузатые стопки, берестянку с солью, ножи, блюдо с крепко замороженным чиром — всё то, что поможет приятно скоротать время, покуда неожиданно заказанный глухарь исходит соком в жару духовки. Квакер, окончательно обнищавший, был вы-

гнан недавно, и теперь уйгуру приходилось отдуваться одному. Впрочем, заказ есть заказ — заказные блюда вдесятеро дороже, и значит, вдесятеро выгоднее повару.

— И шампанского! — крикнул Афоня, располагаясь за столом и заранее расстёгивая жилетку.

— Что у тебя стряслось? — спросил Илья Ильич, принявшись к рябиновке. Водка ощутимо сладила, значит, была настояна по всем правилам, на вымороженной ягоде.

— Человечка нужного отыскал, — похвастался Афоня. — Вот у меня его сейчас и выкупали.

— Политик какой-нибудь?

— Не-е, за политиком или, там, артистом знаменитым бригадники бы пришли. А это — выше бери! Это клан.

— Как это?

— Есть такие кланы у некоторых народов, — охотно пустился объяснять сыщик. — Живут большими семьями, родством считаются. Посторонним от них всегда отлуп, а для своих — в лепёшку расшибутся. Короче, вроде наших староверов. У них в предание память глубоко уходит, родню умершую поминают часто, потому эти кланы и здесь — самая сила. Некоторые в Городе особые кварталы держат, и туда так просто не зайдёшь, только за деньги. Другие и вовсе отдельно от мира живут. У них там строго, что при жизни, что по смерти. Своих покойничков они встретить пытаются сами, заранее маяки ставят, частой сеткой на поиск выходят, когда кому из их братии помирать пора. А всё-таки, и у них промашки бывают. Тогда они своего выкупают у того, кто его отыщет. С ними даже бригадники не связываются — возьмут денежки и отдадут покойника свежаком.

— А где сам объект торга? — спросил Илья Ильич. Водка, выпитая на голодный желудок, действие оказала немедленное, строганина и пучок черемши закуской оказались не прочной, так что Илья Ильич слегка поплыл.

— Скрыт! — многозначительно произнёс Афанасий. — А то бы эти двое сказали: «Пошли, Джонни, домой», — и чем бы я его удержал? Запомни, земля держится обманом. Фокус-покус такой: вокруг своей оси вертится, а не падает. Ведь ясно же, что обман, но культурный... ловкость рук и никакого мошен-

ничества. Как только я понял, кого сыскал, так его припрягал как следует и только потом этих оповестил. Бригадники, конечно, слупили бы за парня побольше, но мне и так хватит. Тут, главное, меру знать, а то откусишь больше, чем проглотить можешь, да и подавишься.

— Так за что они тогда тебе деньги платили? Искали бы себе, глядишь — и нашли бы.

— Платили за информацию. Запомни, в нашем деле главное лицо — филер. Он сведения добывает, а в мире ничего дороже нет. Они мне денежку, я им — компасок. А дальше пусть сами своего Джонни вызволяют. А отказались бы платить — я бы его бригадникам продал. Это простого человечка можно при себе недельку подержать и слегка подоить; со знаменитостями, с членами кланов и мафией такие штучки не проходят. Их сразу или своим продаёшь, или бригадникам.

Илья Ильич слушал, кивая головой. Ему и прежде приходилось слышать рассказы о людях, живущих закрытыми общинами вне Города, но лишь сейчас он увидел их воочию. Люди как люди, ничего особенного. Хотя рассказывали о них всякие ужасы. Но ведь должны же и в царстве мёртвых существовать страшилки и легенды. Например, многие всерьёз верят, будто бы святой Антоний, один из богатейших людей загробного царства, до сих пор живёт отшельником, спит среди нишля и за полторы тысячи лет не потратил на собственные нужды ни единого поминальничка. Разумеется, не считая тех, что автоматом уходят за воздух. Тут уж ничего не поделаешь, обойтись без воздуха не способен самый аскетичный анахорет.

А вот поди ж ты, и впрямь, оказывается, существуют эти замкнутые общества. Вот только ужасы о них зря рассказывают. Дело такое, единственный человек, которого они захотят удерживать против его воли, способен разорить самое богатое и замкнутое общество. Со стороны, возможно, выглядит такая община скверно, но все обитатели, от главы и патриарха до самого ничтожного члена общины, находятся там добровольно. Как сказала когда-то тётя Саша, на том свете царит идеальная анархия, воплощённая мечта князя Кропоткина. Никто никого и ни к чему не может принудить силой.

В эту минуту Илья Ильич жестоко завидовал всевозможным сектантам, масонам и членам сицилийской мафии. Даже на том свете они держатся вместе. Именно в этой общности, в причастности к роду скрыто великолепное презрение к смерти, которое так удивляет современного человека при чтении Илиады и романов о благородных индейцах.

Афанасий хлопнул вторую стопку, зажевал балычком и крикнул уйгуру:

— Чен, как там мой глухарь?

— Жарится, — последовал ответ.

— Чёрт с тобой, — Афанасий рубанул воздух ладонью, — пока он там поспевает, тащи свои пельмешки. Гулять будем!

Калитка со скрипом отворилась (вместо колокольчика у неё, что ли, петли несмазанные?), во дворе объявились две странные фигуры. Невысокая девушка, японка или кореянка, в светлом платье до пят и корзинкой из рисовой соломки в руках, вела завёрнутую в простыню старушку. Вид у старушки был до нельзя испуганный, она судорожно сжимала простыню у горла, видимо опасаясь, что та упадёт и явит посторонним взглядам иссохшие старушкины мощи. Сразу было ясно, что азиаточка — вольный сыщик, которому повезло встретить в nihile новопредставившуюся душу.

Уйгур спешно метнулся наперерез, заранее сгибаясь в поклоне.

— С прибылью вас, уважаемая, — произнёс он почему-то по-португальски.

Впрочем, через секунду Илья Ильич и сам догадался, что кодовая фраза сказана в расчёте на новенькую. Хотя и непонятно, когда и как уйгур успел разузнать, что старушка разговаривает именно на этом языке?

— Чен, нам нужна помощь, — пропела азиаточка. — Прежде всего — комната, где можно спрятаться и переодеться...

— Много постояльцев, комнаты остались только дорогие, — бессовестно врал Чен.

— Я заплачú, — простонала старушка, видимо более всего страдающая от своего непристойного вида. — У меня есть деньги...

Илья Ильич вспомнил, что Афоня приодел его прямо в ни- хиле, и глянул на сыщика с запоздалой благодарностью. Хотя особой стеснительностью Илья Каровин не отличался и в слу- чае нужды щеголял бы и голышом. Мёртвому стесняться нече- го. А вот бабулька, похоже, попалась целомудренная, и сейчас двое азиатов безошибочно разыгрывали эту карту. Проще все- го разувать раздетого, это всякий подтвердит. Можно было бы вмешаться, но Илья Ильич вовремя вспомнил, что старушке и так повезло — она миновала бригадников. А корейнке тоже есть-пить надо, да и уйгур на что-то должен содержать свою таверну. А ведь это штука не дешёвая, недаром бывший ресто- ратор обходится без прислуги, делая всё сам.

Почему-то стеснительная старушка совершенно не обра- щала внимания на двух глазающих мужиков, и лишь некото- рое время спустя Илья Ильич сообразил, что столик, за кото- рым они сидят, неожиданно стал приватным, и посторонние просто не видят сидящих рядом клиентов. За чей счёт было создано это удобство, Илья Ильич гадать не стал. Во всяком случае, не за его.

— Как тебе девка? — спросил Афоня, кивнув на свою кол- легу и нимало не опасаясь, что его могут услышать. — При жизни уличной проституткой была в Сингапуре, клиентов от- лавливала с пол-оборота. А здесь сыщицким ремеслом зани- мается. Тоже ас — первый класс. На мужчин у неё нюх потря- сающий, но и баб, как видишь, отлавливает.

Уйгур увёл новых постояльцев наверх, но уже через мину- ту вернулся с блюдом горячих китайских пельменей. И когда только успевает? Вроде бы никуда особо не торопится, кла- няется по полчаса, а вот поди ж ты... Пельмени, положим, он прямо готовыми придумал, потому они и дешёвые, а вот с остальным — как управляется?

— Люблю повеселиться, особенно — пожрать! — возгла- сил Афоня, наваливая себе пельменей, обильно политых све- жерастопленным маслом и сбрызнутых соевым соусом. — На- летай, — предложил он и Илье Ильичу, — подешевело!

А ведь в те времена, когда Афанасий служил топтунком в ОГПУ, ни одной из этих неосознанно цитируемых фраз в языке ещё не бытовало. Здесь обучился всезнающий сы-

скарь. Видимо, умение схватывать на лету новые словечки тоже было частью сыщицкого таланта. Илья Ильич вздохнул и, оставив мысль напроситься Афоне в напарники, принял-ся за пельмени.

\*  
\* \*

Рассказывают, что чуть не всякий житель Города, оказавшись на мели, пытается заработать себе на воздух (прежде сказали бы: «на хлеб») сыщицким ремеслом. Но никто из случайных людей в этом деле не преуспел. Потому и бригадники снисходительно относятся к конкурентам, впрочем, называя их браконьерами. Проситься к Афоне Илья Ильич не стал, самостоятельно тоже никаких шагов не предпринимал. Одно время, правда, гулять пристрастился не по городским улицам, а в ни-хиле. Примерно так же, как ходила Аня, мечтая найти ребё-ночка или забрести ненароком на сказочную звериную полянку. Вероятность встретить новичка во время такой прогулки сродни надежде отыскать на берегу пригородной речушки ки-лограммовый самородок золота.

«Работы в Городе полно!» — слова эти порой можно было слышать в разговорах, а вот найти работу оказывалось делом невозможным, да и платили за работу сушие гроши, поскольку в затылок каждому счастливцу дышала очередь конкурентов. Актёры и официанты, дизайнеры и бригадники, отвечающие за благоустройство города — рабочих мест и впрямь было много, но ведь тот, кто работает, тот и не старится и, значит, на пенсию не уходит и места не освобождает. А из живого мира непрекращающимся потоком идёт пополнение: люди, желающие не только развлекаться на посмертном празднике, но и работать. И надо быть виртуозом своего дела, чтобы затмить предшественников и занять их место.

Илья Ильич сдался. Теперь он вёл ту жизнь, к которой при-вык за двадцать с гаком лет пенсионерства. Вставал, приби-рался дома, шёл на улицу, где, сидя на скамеечке, неторопли-во беседовал с такими же, как он, обывателями. Обсуждал городские события, но сам в них не участвовал, даже на гу-

ляния не ходил. Скоро состарившееся, но ничем не хворающее тело почти не досаждало ему, просто усталость приходила слишком быстро.

Дома оставался самый минимум вещей, всё ненужное Илья Ильич вынес вон. Стащил во двор лишнюю посуду, отдал библиотеке заведённые было книги. Завернув в простыню, унёс подальше от дома подаренную картину. Картину подарил сосед: художник и непризнанный гений, в реальной жизни спившийся, и здесь продолжающий прежнее существование. Ни в том, ни в этом мире его картин никто не покупал, и гений раздаривал их всякому, кто соглашался принять дар. Шедевр, доставшийся Илье Ильичу, назывался «Невеста в разрезе. Вид слева». Картина изображала девушку в подвенечном платье, стоящую перед алтарём, и впечатляла натуралистическим изображением внутренностей, особенно рассечённого сердца, срисованного с телячьего, какое можно купить во всяком ларьке. Рассечённое сердце (недаром же — вид слева!) должно было символизировать безнадежность одинокого чувства, но у Ильи Ильича оно стойко ассоциировалось с «Мясной лавкой» Снайдерса. Однако выбрасывать картину было неловко, и Илья Ильич делал это тайком.

Из ненужного на память о минувшем оставались только автоматный патрон, оброненный Илюшкой, когда он готовился к штурму Цитадели, и семь махоньких резных слоников, шествующих вдоль полочки орехового дерева. Тех самых слоников, что составляли суть первого его воспоминания и до последнего сопротивлялись всеистирающему времени в квартире позабытой тётки Саши. Пока слоники трубят — в жизни есть надежда и можно рассчитывать на лучшее. Настоящая слоновая кость — очень прочный материал.

Теперь Илья Ильич жил в основном за счёт родительских суббот. В начале июня беспамятный народ спохватывался, что об умерших тоже надо заботиться, и валом валил на кладбища. Приметный камень, на котором золотом была врезана анекдотичная фамилия — Каровин, — для многих служил ориентиром во время поисков родной могилки, а самому Каровину от каждого, кому он указал путь, доставалась серебристая лямишка. Горсть этих лямишек следовало растянуть на год. Как выглядит мнемон, Илья Ильич давно забыл.



В то утро он проснулся необычно рано. Полежал в постели, мысленно выпил кофе с молоком и съел бутерброд с ломтиком тамбовского окорока. На самом деле пить кофе или есть бутерброды ему не приходилось уже очень давно, поэтому Илья Ильич и приобрёл привычку представлять в воображении, что именно он съел бы на завтрак. Но даже фантазируя, Лукулловых пиров Илья Ильич не закатывал, стараясь по одежке протягивать ножки и ограничиваться бутербродиком с сыром или ветчиной.

Потом встал, застелил постель, шагнул было к окну, но остановился, проведя пальцем по полированной поверхности стола. Стол был густо припорошён пылью.

Что за невезение! Видно, на неделе притащил не подумавши с улицы какую-то привлекшую внимание ерундовину, а потом забыл про неё, и теперь, рассыпавшись, она загадила весь дом. Пылесоса нет, так что с пылью придётся бороться вручную.

Поворочав, Илья Ильич взялся за уборку. Протёр стол, подоконник, сервант, где хранилась немногая сохранившаяся посуда. Сделал ещё шаг и замер с поднятой ладонью, которой, за неимением тряпки, стирал пыль с мебели.

Ореховая полочка, висящая рядом с сервантом, была пуста. Вместо пожелтевших слоников, доставшихся ему от тёти Саши, остались только кучки меловой пыли. Комната, оказавшаяся слишком дорогой для его кошелька, начала умирать, и первым тление коснулось самых старых предметов, которые казались вечными, как сама жизнь.

Стараясь не обращать внимания на тягостное чувство, сдавившее грудь, Илья Ильич собрался и вышел из дома. Если бы он успел машинально перешагнуть порог, он бы наверняка споткнулся и упал, поскольку вместо привычной лестничной площадки прямо за дверью начиналась узкая улочка, словно ящиками обставленная бетонными блоками выломанных из домов квартир. Много лет Илья Ильич не бывал здесь, но сразу узнал это место, в котором ничего не меняется, лишь рассыпается пылью, когда приходит срок. Теперь пришёл срок Ильи Ильича; словно мешающую занозу, Город выдавил прочь обнищавшего, пережившего себя самого человека.

Вокруг расстилались унылые кварталы Отработки.

## ЭПИЛОГ

Книги не было. Вчера он, прежде чем улечься в постель, положил её на столик, намереваясь с утра дочитать оставшиеся полсотни страниц, а утром обнаружил горстку бесцветной отработки. Это было вдвойне неприятно, потому что книга была чужая, Илья Ильич взял её почитать у Лидии Михайловны, старенькой библиотекарши, у которой разживались книгами все обитатели Отработки, не успевшие потерять вкус если не к жизни, то хотя бы к хорошему чтению. Теперь история Дженни Герхардт останется недочитанной, ведь вторая такая книга в Отработку вряд ли попадёт. И неясно, как теперь оправдываться перед Лидией Михайловной, любившей книги страстно до самозабвения.

Старушка была человеком странным и для Отработки нетипичным. У неё была не комнатёнка, не жилой объём, траты в котором сведены до минимума, а двухкомнатная квартирка, где всё было прочным, словно в прежнем мире. Особенно это касалось книг. Двухкомнатная квартира была нужна Лидии Михайловне, потому что иначе книги было бы некуда ставить. Комнаты в Отработке всегда были припудрены пылью, то один, то другой предмет, поддерживая в порядке который уже не хватало денег, рассыпался, наполняя воздух пылью веков. У Лидии Михайловны в доме не было ни пылинки. Рассказывали, что по утрам она пьёт кофе со сливками и даже угощает ранних гостей. Илья Ильич не проверял этих слухов. Сам он ничего не ел уже года три, но нахлебничать у доброй женщины не мог. Зато частенько заходил под вечер, поговорить о прошлом и взять на пару дней одну из книг необъятной библиотеки. Книги от аккуратного прочтения не портятся, они лишь требуют одну ляминку в год, чтобы оставаться читаемыми и не рассыпаться ненароком. И вот теперь роман Теодора Драйзера не получил своей

лямишки, и случилось это в то время, когда томик лежал на столе у Ильи Ильича. Знал бы, что так будет, свои бы деньги потратил, лишь бы избежать тягостного объяснения с владелицей.

Делать нечего, Илья Ильич с кряхтением поднялся (удивительно быстро проходит молодость, что своя, что вторая, дарованная памятью близких людей!), натянул неизменный костюмчик и отправился объясняться с хозяйкой книги.

Обитатели Отработки вставали со светом и ложились, когда на улице стемнеет. Электрчества не жгла даже Лидия Михайловна, видать и её вспоминали не слишком часто.

В Отработке всякий жил на первом этаже. Лестницы да и стены поветшавших домов не выдержали бы собственного веса, а вот просторов в нихиле, обнимающем островок человеческой памяти, хватало с избытком. Мостовых тут тоже не полагалось, но белая пыль под ногами лежала так густо, что можно было вообразить, что идёшь по сельской дороге.

Почему-то Илье Ильичу вспомнилось, как возвращался он в хоспис, умирать. Тогда каждый шаг давался через боль не желавшего исчезать тела. Восемьдесят четыре года, что провёл он на земле, казались в ту пору непристойно коротким сроком. А теперь к ним добавились ещё девяносто пять, проведённых в царстве мёртвых, но всё равно исчезать не хочется. Говорят, последними словами какой-то долгожительницы, протянувшей без малого полтора века, были: «Я не хочу умирать, я ещё так мало пожила!» Конечно, когда измучен хворями и немощами полуразрушенного тела, поневоле возжаждешь вечно-го покоя, а если нигде ничего не болит... как сказал Станислав Ежи Лец, «значит, ты уже умер». Но и мёртвому умирать неохота, тем более что ничего не болит, просто ветхое тело всё хуже и хуже слушается. И всё-таки, даже в этом положении есть множество маленьких радостей. Проснуться с утра и лишнюю минуту поваляться в постели, слушая тишину — это уже радость. Выслушать сетования соседок, покивать и посочувствовать. Почему-то в Отработке прозябает впятеро больше женщин, чем мужчин, то ли женщины более экономны, то ли бабушек чаще вспоминают... Рассказать о чём-нибудь своём, заранее зная, что тебе посочувствуют, но помочь не смогут. Раз в год, если не совсем обнищал, когда в июне беспамятный

народ потянется на погосты отдавать долги ушедшим родителям, устраивать скудные чаепития для себя и пары приятелей. Всё-таки хорошо, что у него такая запоминающаяся фамилия и могила у самой дорожки. Жаль только, что участок этот теперь совсем заброшен и бронзовая позолота с плиты облезла, так что надпись больше не бросается в глаза. Но даже теперь на Троицу три-четыре десятка лямишек он получит. Одно беда, год протянуть на эту сумму никак не удастся.

Илья Ильич дошагал к знакомому перекрёстку и остановился в недоумении. Квартиры Лидии Михайловны не было, лишь огромная, по колено, куча отработки оплывала в окружающем безветрии. И нигде ни малейшего следа женщины, умудрявшейся даже тут жить по-человечески и до последнего дня помогавшей жить по-человечески всем окружающим. Можно было не спрашивать, что случилось — такое, пусть не слишком часто, но происходило именно в этом районе, где забвение было нормой. Человек устроен странным образом, в самый убогий район Города редко попадала бомжеватая дрянь, все пропойцы и никчemuшники истлевали гораздо раньше, не оставляя следа ни в том, ни в другом мире. А тут доживали вторую жизнь неприметные, но хорошие в массе своей люди, оставившие по себе не слишком прочную, но добрую память. Родные и друзья любили и часто вспоминали их, но обидным образом не передали память об ушедших своим правнукам. То ли человек изначально так устроен, то ли жестокий двадцатый век лишил людей памяти, но из детей двадцать первого века почти никто не может назвать имя собственно прадеда и уж тем более вспомнить девичью фамилию прабабки. Одни вовсе живут Иванами, родства не помнящими, другие по душевной лени избрали себе девизом *Deus conservat omnia*\* и тоже успокоили сговорчивую совесть, позабыв или не зная, что по-настоящему хранить может лишь людская память. Вот и ютятся в Отработке, рассыпаясь в пыль, прекрасные люди, виновные лишь в том, что оказались между Калликратом и Геростратом. Стать одним не хватило гения, не стать вторым достало совести.

---

\* *Deus conservat omnia* (лат.) — Господь хранит всех.

Некоторые, впрочем, и в Отработке не бывали, живут себе на полную катушку, не заглядывая в кошель и не размышляя о том, что ждёт их, когда кошма опустеет. Другие трясутся над каждый грошом и спят на полу, ровно собачонка. Илья Ильич поддерживал в доме минимальный порядок: сидел на стуле, спал на кровати. На такую жизнь требовалось в год пара мнемонеров. Но вот уже несколько лет, как эту сумму он не добирал. В кошеле оставалось тридцать две лямишки, а в живом мире холодеет февраль, так что до июня не дотянуть при всём желании. Впрочем, камень на Северном кладбище останется, так что быть ему призраком до тех пор, пока заботливые городские власти не сочтут нужным снести беспризорные могилы, превратив зелёный участок в зону отдыха счастливых горожан. Какие сейчас дома власти, чем народ живёт, Илья Ильич давно не интересовался. Иной раз соседи сообщали слухи о живых делах, и этого было довольно. Живут люди, а потом попадут сюда и будут жить здесь, принеся в загробный мир свои порядки. Иногда Илья Ильич подумывал, а не является ли безразличие, обычно не свойственное ему, следствием начавшегося превращения в призрак, и принимался расспрашивать знакомых о новостях, но сама мысль, что дома вот-вот грянет двадцать второй век, была неприятна. Илья Ильич не любил фантастики, предпочитая строить дороги. Если бы он продолжал жить в Петербурге, в своей квартире на проспекте Энгельса, то двадцать второй век подошёл бы незаметно и буднично, как это случилось с двухтысячным годом, не было бы в нём ничего сюрреального, и приход его не вызывал бы недовольства. А потом Илья Ильич предполагал, что впадает в мизантропию и недоволен живым миром оттого, что там у него не осталось ни единой родной души. Ведь другие жители Отработки интересуются, пусть не политикой и чудесами техники, а праправнуками и праправнучками, ведут счёт потомкам, которых не видели и которые не желают их помнить, тревожатся их бедами и радуются удачам. Как ни верти, древнейший культ предков был всё-таки самым человеческим. Люди знали, кто они и откуда.

Такие мысли, медлительные и бесконечные, словно абзац на полторы страницы, осаждали Илью Ильича в часы одино-

чества и составляли отныне суть его жизни. И ещё, конечно, разговоры и чтение книг, которые он брал у Лидии Михайловны. «Брал» — глагол в прошедшем времени; больше книг не будет.

Возле холма, который даже могильным языком не поворачивался назвать, стояла ещё одна местная богачка, Елена Ивановна. Была она когда-то учительницей младших классов, и до сих пор, семьдесят лет спустя, получала порой мнемонаы от бывших учеников, которых оставалось уже совсем немного и которые очень редко вспоминали свою первую учительницу. Ещё одна беда современного человека: сентиментально отхлюпав носом на выпускном вечере, всякий начинает считать себя взрослым, не думая, что вся его взрослость заключается в том, что он забыл себя самого и собственное детство. Памяти нашей едва хватает на пять минут, и в результате по десять раз на дню человек, полагающий себя мудрым, наступает на одни и те же грабли. А ведь для настоящей мудрости нужно так немного — остаться в глубине сердца прежним ребёнком. Этому тоже учит память.

Елена Ивановна плакала, хотя в Отработке люди плачут редко — нечем.

— Ведь я вчера у неё в гостях была... — горестно твердила она. — Лидочка меня кофе угощала, сказала, что у неё день рождения. А я, бессовестная, пила. У меня деньжищ — труба нетолчёная, а она, оказывается, последние минуточки на ветер пустила!

— Не надо так говорить, — строго произнёс Илья Ильич. — Так оно, может быть, и лучше. Жила человеком, и человеком умерла. Я сам иногда думаю, стоит ли последний мнемон на год растягивать?

— А ведь она, наверное, знала...

— Знала, — подтвердил Илья Ильич. — Я у неё вчера книгу брал, Драйзера, так она сказала, чтобы я постарался прочесть её за один день. Никогда она никого с книгами не торопила, а тут... Значит, знала, что не успею.

Они ещё долго стояли, обсуждая случившееся. Подходили другие жители Отработки, горестно качали головами. Здесь было не принято жалеть окончивших свой век, но Лидия Михайловна казалась вечной, и её скромная библиотека была

гордостью района. Какой-нибудь эфемер, свалившийся в Отработку, чтобы через месяц исчезнуть, успевал если не прочесть, то полистать книгу, и знал, что тут тоже всё как у людей. Так что жалели не библиотекаряшу, жалели себя самих.

— Вы-то как? — спросила Елена Ивановна, когда они отошли от медленно оплывающей погребальной кучи.

— Со мной всё в порядке, — привычно ответил Илья Ильич. — Там все будем, но пока — держусь.

— Если что, я могу помочь, — предложила Елена Ивановна. — Меня недавно Лёшенька Иванов вспоминал. Слабенький был ученик и хулиганистый, а вот поди ж ты, не забыл. Я его тоже хорошо помню. Бывало, спрашиваю: «Куда ж ты с такими знаниями?» А он отвечает: «Только в тюрьму!» Это в восемь-то лет. Он тоже часто это вспоминал, особенно когда его судили за хулиганство. Два года дали. Я иногда думаю, ведь учила — душу вкладывала, а дети выросли разные. Большинство — нормальные люди, а некоторые и в тюрьму попадали, и спивались, и наркоманом кое-кто стал. И что я не так делала — понять не могу. Они ведь маленькие — все хорошие, даже самые запущенные...

— Вы всё делали как надо, — успокоил Илья Ильич. — Видите, сколько лет прошло, а вспоминают вас. А я вот недавно лямишку получил обидную. Какой-то автолюбитель на старинной тойоте в выбоину колесом попал и помянул недобрым словом, кто, мол, эту дорогу строил. А я её и строил, в семьдесят седьмом, начальником колонны был. Новые-то машины этих колдобин не замечают, так дорогу никто и не ремонтирует. Лямишку я получил, а обиды на целый мнемон. Ведь дорога сто двадцать лет простояла, и ни разу полной замены покрытия не делали. Подмажут гудроном — и всё, дальше катать! А подложка-то расплывается! Амортизационных подушек там нет, какие подушки в семьдесят седьмом году? Давно пора эту шоссейку менять, а она служит. Вот только люди меня недобрым словом поминают, как будто это я виноват, что из могилы не вылез и покрытие не сменил.

— В России две беды, — согласилась Елена Ивановна, — но дураки — хуже.

— Когда эту дорогу строили, смешной случай приключился, — начал рассказывать Илья Ильич. — Дело на Вологодчи-

не было, на границе с Костромской областью, места глухие, деревеньки маленькие. И тут какой-то местный мужик говорит, что он в соседней деревне на асфальтовом заводе работает. Я обалдел. Спрашивается, из чего они там асфальт варят? Битум нужен, нефтяной пек — это всё отходы крупного производства, в деревне таких вещей не найдёшь. Мы для себя гудрон за четыреста километров возили, а тут асфальтовый завод под боком. Я, конечно, всё бросил, помчался выяснять. И знаете, что там оказалось? Ни за что не догадаетесь — углежогные печи!

— Простите, что?..

— Печи для сухой перегонки дерева, — пояснил Илья Ильич. — Это же старинный промысел — углежог.

— А, так это я знаю! У Некрасова: «Гнали безданно из пеньев смолу»...

— Вот-вот. У них там четыре сорокакубовых печи стояло, лесхоз сосну государству сдавал, а берёзовый подлесок шёл или на дрова, или на перегонку. Активированный уголь делали. Его в медицине применяют и для водоочистки. А кроме того, используют в противогазах. А раз противогазы, значит, завод военный и нужно его засекретить, хотя на нём народу всего ничего работает, человек десять. Вот и придумали, что это не угольный заводик, а асфальтовый. При перегонке берёзы кроме угля дёготь образуется. Прежде прямо дёгтем и торговали, тележные оси смазывать, сапоги, а в наше время кому он нужен?

— Мыло дегтярное было, — возразила учительница, — против педикулёза. И ещё — дегтярная мазь, от чесотки. В пионерских лагерях мы часто ею пользовались, а то дети встречаются такие запущенные...

— Это слёзы, сколько его нужно — на мыло да на мазь? А у них сотни килограммов. Вот и придумали из дёгтя гудрон делать. Его едва хватало подмазывать окрестные дороги, но название громкое — асфальтовый завод!

— Не всё ли равно, как его называть? Главное, что дороги чинили. И ваша дорога потому, может быть, и сохранилась, что её тем дёгтем мазали. Так что не смешная ваша история, а поучительная.

Илья Ильич не возражал. Своего он добился, старенькая учительница (которая, впрочем, была на тридцать лет его моложе) увлеклась новой мыслью и забыла о своём щедром предложении. И без того вокруг Елены Ивановны вертится слишком много попрошайек, на всех на них Алёшиного мнемона не хватит.

Поговорив ещё о чём-то, Илья Ильич вернулся домой, стряхнул со стола пыль, оставшуюся от «Дженни Герхардт», и достал кошель, чтобы в очередной раз убедиться, что денег в нём не прибыло. Он сам не мог сказать, зачем пересчитывает свои монетки. Иной раз думалось, что если бы можно было бы прекратить разом нищенское существование, то закатил бы праздник на все тридцать две лямишки, а там хоть трава не расти. Однако разом покончить не удастся, беда в том, что есть ещё одна ступень, на которую он не хочет спускаться ни в коем случае. Квартал призраков... Превратиться в бесплотное существо, в памяти которого, словно запись в анкете, сохранилась единственная строчка: «Каровин Илья Ильич (1918–2002). Похоронен на Северном кладбище». Базальтовый камень с полустёртой надписью не даст ему исчезнуть окончательно, как то случилось с Лидией Михайловной. Здесь, в нише Отработке, он всё-таки живёт, ибо память остаётся с ним. *Memento ergo sum*\*. Небытие не страшит, страшит призрачное беспомыслие. Знал бы, что так случится, завещал бы стащить себя в крематорий. Конечно, тогда рассыпался бы на несколько лет раньше, но зато не пришлось бы трястись скупым рыцарем над каждой копеечкой, ожидая долгой агонии выжившего из ума склеротика.

И живые тоже хороши — не умеют помнить, снесли бы к чёртовой матери ненужный погост и соорудили бы на этом месте танцплощадку. Доходней оно и прелестней...

Щепоть лямишек высыпалась на протёртый стол, а следом весомо брякнул новенький сияющий мнемон, самый вид которого Илья Ильич успел позабыть.

«Как это? От кого?..» — дрожащими пальцами Илья Ильич зажал сверкающую драгоценность. Монета долго не поддавалась артритным пальцам, так что Илью Ильича успела оше-

---

\* *Memento ergo sum* (лат.) — Помню, следовательно, существую.

## Эпилог

ломить мысль, что случившееся — просто нелепая галлюцинация. Хотя бывают ли логичные галлюцинации?

Наконец мнемон был зажат между ладонями. Долгое время ничего не происходило, очевидно, тот, вспомнивший, никому не сказал о мелькнувшем воспоминании и вообще никак не отреагировал на него. Илья Ильич терпеливо ждал. Сейчас должно проявиться само воспоминание...

...солнце, много солнца и жёлтые листья под ногами. И я иду по листьям... сам! Смотрите все, как я сам иду! Я иду, и смешной серый дедушка на скамейке послушно смотрит и улыбается.

Боже, ведь это тот годовалый малыш, что повстречался ему за пять минут до того, как он тормознул машину и отправился в Лахтинский хоспис. Последняя искренняя улыбка, виденная в той жизни. А ещё говорят, что годовалый ребёнок не способен надолго запомнить происходящее! Славный малыш... Хотя какой он малыш, ему уже давно за девяносто... как-то он там? В долгой жизни бывает всякое, но очень хочется, чтобы хорошего досталось больше. Будь счастлив, малыш, и, пожалуйста, не забывай меня.



## АВТОРСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

ЗАКЛИНАЮ ВАС, ПОМНИТЕ!

Людам не хочется умирать. Верующим и атеистам, и тем, кто никогда не задумывался о смысле жизни, одинаково противна мысль о смерти. Как это так, только что я был, и вдруг — раз! — и нету. Нигде. Совсем. Навсегда. Представить такое невозможно, смириться — нельзя, разве что в глубочайшей старости, когда и душа, и тело устали жить и хотят только покоя. На этом основаны все без исключения религии и стыдливые изыскания некоторых безбожников.

Автор этой книги атеист, но умирать мне не хочется даже сейчас, когда почти вся жизнь позади. И уж тем более не хотелось помирать сорок лет назад. Именно тогда я сотворил довольно беспомощное эссе «Никто не хотел умирать, или Третье решение основного вопроса философии». На том бы и успокоиться, но в дело вмешался Андрей Николаев, тот самый, которому посвящён роман «Многорукий бог далайна». Андрей был отчаянным любителем романов и почему-то считал, что я эти романы могу и должен писать. Чуть не всякий мой рассказ он предлагал расписать до романа, предлагал сюжетные ходы, приключения, вставные сцены. А я любил и по сей час люблю рассказы. Да, романы приносят деньги, но рассказы приносят счастье.

В ту пору мы работали над книгой, посвящённой идиоматическим выражениям в русском языке. Встречались, не скажу, что каждый день, но достаточно часто и говорили о вещах самых разных. В том числе я рассказал о своём видении посмертного существования. Не помню, просто рассказал или притащил и дал прочесть «Третье решение». Андрей пришёл в восторг, закричал, что это практически готовый роман. На

моё возражение, что здесь нет сюжета, Андрей выдал идею, что каждое воспоминание обращается в монету, и люди отчаянно копят деньги для реализации какой-то давней мечты: сразиться на турнире с Ричардом Львиное Сердце, переспать с Клеопатрой (а Клеопатра захочет?), отправиться в путешествие с Магелланом. А меня идея посмертных денег зацепила совершенно иначе.

Незадолго до того Ронка, моя собака, во время прогулки выкопала из подтаявшего сугроба полиэтиленовый пакет, в котором лежал труп новорожденной девочки. Я вызвал милицию, и не знаю, чем закончилась история, но жить она мне не давала. Но теперь у меня появилась возможность написать историю Анюты, девушки, у которой украли жизнь.

Андрей был рад, что я пишу роман, и недоволен, как я его пишу. Он даже спросил разрешение написать свой вариант книги о посмертной жизни. Разумеется, я разрешил, но Андрей так и не написал ничего. А моя книга, вот она, только что вами прочитана.

Роман был встречен читателями очень неоднозначно. Но все, и хулители, и хвалители, говорили, что долго не могли прийти в себя и, как заведённые, вспоминали ушедших друзей и близких. Значит, я не зря старался, значит, книга получилась.

Есть ещё одна претензия, которую в равной степени предъявляют как сторонники, так и противники романа. Многим не нравится, что мнемонам даются равно как за хорошие, так и за плохие воспоминания. Получается, что никакого воздаяния людям на том свете нет. Тут мы упираемся в вопрос, не имеющий ответа: «Что такое хорошо, и что такое плохо?» Легко маленьким детям и легко верующим людям, они перекладывают тяжесть решения на чужие плечи. А как быть тому, кто должен решать сам? Один считает поступок замечательным, другой — мерзким. Один хранит воспоминания о любимой бабушке, второй о злобной старушонке, которая жизни соседям не давала. А ведь это один и тот же человек. Или, скажем, миллионы людей считают Ленина гением, которому мы все обязаны нашей счастливой жизнью. А другие миллионы называют его преступником и негодяем. Мнемонув Ильичу уже не видать,

а какой поток лямишек посыплется на него от наших современников? Половина положительных, половина отрицательных?

Дело в том, что природа ничего о справедливости не знает. Хороших людей insult разбивает с той же частотой, что и негодяев. И всё же, поскольку мы люди, какая-то надежда есть. Вот, скажем, Герострат, так или иначе его помнят до сих пор. И какая радость ему с тех лямишек? В нынешней жизни он никому не интересен, как неинтересен был и две тысячи лет назад. Он один сидит на груди монеток, не нужный никому. Самое страшное мучение — пытка одиночеством. Конечно, Гитлер сидит в окружении единомышленников, и ежедневно из мира живых приходят к нему те, для кого он образец. А вот когда в мире живых нацисты переведутся, медленно и постепенно начнётся то самое воздаяние. Хотелось бы побыстрее? Что делать, жернова истории мелют неспешно.

## О РАССКАЗАХ И ПОВЕСТЯХ

Неоднократно говорил и повторяю ещё раз: я автор рассказов, люблю рассказы, пишу и буду их писать. Для этой книги я отобрал рассказы, которые не шли бы вразрез с романом. Конечно, у меня нет и никогда не будет сиквелов, приквелов и прочих бонусиков. Всё, что надо было сказать в романе, там сказано. А рассказы отобраны те, в которых действуют наши современники и поднимаются современные проблемы, как то было и в романе.

*С. Логинов,  
14 февраля 2018 г.*

РАССКАЗЫ  
И ПОВЕСТИ



## БАРСКАЯ ПУСТОШЬ

*Зайка серый,  
Куда бегал?  
В лес зелёный.  
Что там делал?  
Лыжи драл.  
Куда клал?  
Под кусток.  
Кто украл?  
Ларион!  
Поди вон!*

Напраслину клепал зайка на всех Ларионов скопом, и за эту вину многие зайки расплатились серыми шкурками. Дедушке Лариону куда как за восемьдесят было, а охоты он не бросал и почитай каждую неделю бил зайку, а то и двух. Ноги у старого уже не ходили, так он отправлялся на охоту, прихватив привезённый внуком складной стульчик. Выбирался на задворки, ставил стульчик поудобнее, не надеясь на хлипкую спинку, а так, чтобы прислониться к стене сенного сарая. Там и сидел, бывало, по нескольку часов кряду.

В ночи появлялись зайки. Бесшумные тени, неприметные в полумраке, прокрадывались на огороды или в сад, портить яблони. Но от дедушки Лариона не скроешься, у него глаз, что у совы, а в старости ещё и дальнозоркость объявилась. Так, со стульчика не вставая, и бабахнет. Ружьё — грох! Зайка — кувырк! Вот мы и с мясом.

Бабушка выстрел слышит и, кряхтя, поднимается с железной кровати с пружинным матрасом, таким же кряхчучим, как и хозяйка. Добрые люди спят, а ей охотника домой вести,

а то он, ноги за ночь отсидевши, поди, сам и не доберётся. Сначала зайку подобрать, потом — деда. В одной руке добыча и складной стул, за другую добытчик держится. Идёт, нога за ногу волочит, но ружьё за плечом, ружья бабе доверить никак нельзя.

Случалось дедушке и промазать. Тогда — беда! Только попробуй усмехнись или, пуще того, словцо насмешливое скажи, дед вспыхнет, зашумит, а то и кулаком сунуть может. А там ему от волнения сердце прихватит, будет лежать, сосать таблетку «нитросорбит». Нет уж, над чем другим посмеяться можно, а когда охота неудачна, иди да помалкивай.

После охоты складной стульчик возвращался законному владельцу. Внука тоже звали Ларионом, в честь дедушки. Так просто в наше время Лариона не встретишь — имя редкое. По редкому имени и профессия у внука не рядовая — художник. Это Кольки да Лёшки могут быть трактористами, а если выучатся, то простыми инженерами. А редкое имя обязывает, с ним хочешь не хочешь, а надо быть на особицу.

И Ларион-младший не подкачал. Одна выставка в Новгородском кремле чего сто́ит; вся деревня смотрела, как «нашего Ларьку по телеку показывают»... Бывало, что богатые иностранцы Ларионовы картины покупали и увозили к себе за границу. Платили втридорога, а на картине, смешно сказать, пруд в Гачках. Прежде мельница стояла, а теперь только валуны от плотины замшелые и ручей меж ними. Кто ж этого пруда не знает? Меж камней мальчишки от века вьюнов ловят голыми руками, в омуте купаются, обмениваясь впечатлениями, какая ледяная на глубине вода. И вот сыздетства знакомый пруд так поразил заезжего американоса, что тот за картину деньжищ отвалил — весь пруд того не стоит, вместе с мельницей, что на нём когда-то стояла.

Ещё Барскую пустошь рисовал. Место всем известное, ничего там нет хорошего. Прежде усадьба была, но её в восемнадцатом порушили, теперь и следа не вдруг найти. Берёзы старые вдоль ручья, саженные в ряд. Кусты сирени, задичавшие, сами собой растут. А усадьбы и фундамент заплыл. Прежде на горшке косили, а теперь бросили, земля пустует. Под берёзами, правда, лисичек тьма бывает, а их заготконтора принимает за

хорошие деньги. Так что кто первый придёт, тому и счастье. А так — место бросовое, не нужное. А Ларион туда как на посылки повадился. Картину сделал, называется — «Туман». Этого тумана в округе — хоть ложкой хлебай, а Лариону, вишь, на Барской пустоши понадобился. На картине тропку видать и берёзы — чуть, а дальше — всё бело, глаз блазнит, а чем — не разберёшь.

Мужики смотрели, хвалили: подходяще нарисовано, только бы ты, Ларик, прояснил маленько, а то уходи не видать. Там ухажа за ручьём, а на картине не разглядеть.

Один Вовка Замятин с народом не согласился. Ничего, говорит, прояснять не надо. На Барской пустоши туман сытый, глядеть сквозь него не обязательно, его пронюхивать надуть, так что всё Ларька правильно изобразил.

Скажет тоже, туман на картине пронюхивать!.. Вовка, он такой, и грибы нюхом ищет, нос, что у собаки. Опять же, пропойца, хлеба в доме неделями не бывает, тут и туман сытным покажется.

А ведь прав оказался Вовка! Нацело забеленную картину купил какой-то швед и увёз к себе... будто у него там, в Швеции, своего тумана нету.

С тех пор мужики картины смотрели, а мнения не навязывали; Ларион этому делу в академии учился и лучше знает, что рисовать и как.

Дедов портрет Ларион не продавал, дома на стену повесил, вместо фотографии. И добро бы в пиджак старика нарядил, пиджак костюмный у дедушки почти не надёванный... нет, как по дому ковылял в зайчиковой телогрее, так и на портрет попал. Теперь добрые люди станут думать, что у деда Лариона приличного и надеть нечего.

Свой художник не во всякой деревне есть. Приезжие, бывало, пугались, слыша, как деревенская тётка кричит соседке:

— Валюха! Я на пленэр пошла, коз пасти. Автолавка придёт, так ты мне шумни!

Вообще-то младший Ларион жил в городе, прописка у него была московская, и мастерская тоже в Москве. Только взрослому мужику при папе, при маме жить несподручно, а художественные студии бывают в таких скворечниках, куда

ни люди нормальные не вселятся, ни офис самый задрипанный не въедет. Может, потому Ларион и не измосквичился. Оно давно известно, кто с родных мест во что бы то ни стало в столицу перебраться хочет, тот, может, успеха и добьётся, но скурвится очень быстро. Москва на это дело беспощадная, ни талант не спасёт, ни умище, высосет столица приезжего, что паук муху, и наполнит пустую шкурку всякой бестолковщиной. Это и называется: измосквичиться.

Вот ведь странное дело, в московской квартире человеку не живётся, а в деловом доме — пожалуйста! В художественной мансарде, куда шесть этажей взбираться по засраной кошками лестнице, ему не работается. А в пронавоженном хлеву бабкину козу рисовать — в удовольствие. Коза в полутьме едва белеется, одни газа — жёлтые, безумные — на виду. И рога над ними изогнутые; не понять, то ли Мотрина коза, то ли чёрт рогатый. Любит Ларион нарисовать так, чтобы народ с прищуром глядел. А без прищура не сразу и дотумкаешь, что там на картине? Хотя всё рисовал по правде, натуру не искаживши. Живопись — штука мудрёная, к ней тоже талант нужен и обычка.

По весне вновь привадило Лариона ходить с мольбертом на Барскую пустошь, ту самую, где туман сытый. Проталины рисовал, лес в стьлой, словно бы стальной дымке. Потом дымка стала зелёной, а среди жухлой, теим летом не выкошенной травы зажглись звёздочки мать-и-мачехи. Картины не получалось: весной хватает времени и сил разве что на этюды, так быстро меняется мир вокруг. Мгновение — и серое прошлогоднее быльё скрылось под солнечным ковром одуванчиков, и только двухметровые стебли коровяка упрямо торчат к небу, напоминая, что ещё недавно всё было серо. Чтобы весну написать, нужна юоновская палитра, но не успеешь вжиться в солнечное ликование, как одуванчиковый косогор поседеет, а лес — напротив, сменит чуть заметную зеленцу на прочную листву. Мучайся, грызи от бессилия деревянный конец кисти, лови неуловимое...

За косогором вроде голоса слышались. Ларион обернулся. Так и есть, мужики идут: Володька Замятин и Генка Проглот. Проглот — не фамилия, а прозвище, бог весть когда

прилипшее. Обычно эти двое с утра картошку старухам содют, под борозду, а после обеда пропивают заработанное, а сегодня, никак, пустой день выпал, вот и пошли в лес за сморчками. Далековато ушли, ну да Вовка длинноногий и лес знает до последнего куста. С ним в паре ходить прибыльно.

— Ишь, он куда забравши!.. — пропел Генка, подходя. Глянул Лариону через плечо, похвалил: — Ничо, подходяще нарисовано, похоже. Почём продавать станешь?

— Сколько дадут, — привычно ответил Ларион.

— Я бы и копейки не дал, — изрёк приговор Генка.

Он ещё раз критически оглядел этюд, недоверчиво покачал головой.

— Одного я не пойму.. Чего тебя сюда потянуло? Ближе одуванчиков не нашёл? Лес везде одинаковый, одуванчики одинаковые — хрена ты сюда болотом три версты ноги топтал?

— Сам ты везде одинаковый, — прервал приятеля Володька. — У то́ва краю только зайца встретить можно, да ещё барсука на росчищах. А тута в ужоже медведица бродит с медвежонком. Есть разница, а?

— Так её ж, медведицы, на картине не видать!

— Это тебе не видать, а мне очень даже. Вона, лес какой сторожкий. Опять же, у деревни луг в стёжках, кто-нить, да прошёл, а тута цвет нетоптанный.

— Это мы сейчас исправим. Спускаться начнём — всё перетопчем.

— Я те перетопчу! Вон туда пошли! — Володька махнул рукой в сторону деревни.

— Ты же говорил, в берёзах у ручья сморчков много бывает.

— Ошибся. А вот на лесопосадках вдоль канавы строчки должны быть. Там доберём.

Глаза у Вовки раскосые, смотрят ласково. Так глядеть умеют только самые непутёвые мужики. Улыбка добрая, а зубы остались через один, чёрные от табака и палёной водки. Когда Вовка в запое бриться забывает, бородёнка растёт клочьями. И какой проезжий татарин подарил новгородскому мужику свою внешность? Этого и прабабушка не ответит. Вовкин бы портрет написать, да только позировать он не станет. Выцыганит на бутылку и пойдёт куролесить.

Ларион улыбнулся благодарно и вернулся к этюду. Приближалось то время, ради которого он приходил сюда.

У весенней быстротечности есть одно дивное исключение: бесконечно длинные, за полночь тянущиеся вечера.

Осеннее предвечерье исполнено тревоги. Солнце ещё порядком высоко, но лучи его напитаны грядущей тьмой. Чтобы такое написать, потребна не юоновская кисть, а Куинджи. Птицы примолкают, и лишь последний кузнечик отчаянно стрекочет. Что уж тут, всё равно пропадать! Солнце торопится упасть, и едва оно сплющивается о горизонт, как землю поспешно заливают чернота. Неважно, что ещё несколько минут край неба будет окрашен тяжёлой закатной кровью, внизу уже ночь, молчаливая, не обещающая ничего, кроме прихода зимы.

Весной всё не так. Даже самая полуночная тьма дрожит недремлющим светом. Ночь поёт, гремит, свищет, стрекочет... всякое дыхание спешит восславить свою любовь. И всё же, хотя никто в округе не спит, кроме разве что глухих человеческих существ, в мире царит ночь. Светло, да не видно; видать, да не разборчиво. Чудится, дразнится, кажется, мстится... Иной раз такое углядишь, что и сам не поймёшь: было — не было, видал или примечалось.

Подрамник с холстом, где «подходяще» изображены нетоптанные одуванчики, давно лежит в стороне, а на мольберте установлен другой, заранее подготовленный холст. Ларион едва ли не на ощупь смешивал краски, стараясь перенести на кусок холста то, чего сам толком не видел. Мерещится, чудится, блазнится, грезится...

Как краской передать непроницаемую прозрачность ночного воздуха? Для ремесленника тут нет вопроса: масло долой, берись за лак, пиши лессировками, и всё будет о'кей! Краска на лаке полупрозрачна и даст нужный эффект. Глубина будет настоящая — на полмиллиметра. А если нужно на полвселенной, тогда как? Моне лессировок не признавал.

Домой Ларион шёл утром, наблюдая, как от прикосновения солнечных лучей разжимаются крепкие кулачки одуванчиков и махонькие земные солнышки глядят на небесного брата.

Бабушка уже встала и обряжалась по хозяйству: запаривала комбикорм поросёнку и курам, козу выгнала побегать в заглохший сад. Дед ещё спал, его вообще последнее время кидало в сон: и днём, бывало, приляжет, да и не один раз. Бабушка не ругалась: чего на старого шуметь — не мешает, и ладно. А Лариона встретила воркотнёй: «Опять всю ночь гулял, непутёвый? Иди, там тебе молока оставила на столе, пей, пока тёплое».

Ларион прямо из банки выпил пол-литра парного козьего молока. Потом расставил мольберт и водрузил на него свою ночную работу. Отошёл на шаг, разглядывая, что получилось.

Нет большего испытания для ночного пейзажа, чем выставить его на яркий солнечный свет. В едином мазке соврёшь, и вся картина, которая в полумраке казалась ожившей сказкой, обратится в мазню, вместо тёмного света останутся умбра и сажа, нанесённые неверной рукой.

Ларион долго стоял, глядя на то, что просвечивало сквозь плывущую с картины ночь. Заскрипела дверь, бабушка, управившись с хозяйством, вышла в горницу, встала рядом с внуком, тоже пристроилась смотреть.

— На Барскую пустошь ходил?

Ларион молча кивнул.

— Оно и видно. Похоже нарисовал. Только крыша малость покруче была, на такую, как у тебя, зимами снега наваливать станет.

— Я думал, усадьба на холме стояла.

— Скажешь тоже... на юру дом ставить. Туточки она и стояла, в самый раз. Холмом её от гнилого угла прикрывало, а на юру ветром из дома тепло выдует, дров не напасёшься. Так что у тебя всё как надо, токо крыша кручей была.

— Погоди, — опомнился Ларион. — Ты-то откуда знаешь, как там и что? Ты родилась, усадьба уж сгоревши была.

— Мама рассказывала, прабабушка Клава. Она в девчонках туда часто бегала. Ольга Юрьевна там жила, добрая барыня. Она у мамы землянику покупала, малину лесную. Однажды попросила цветов нарвать, луговых. Мама-то расстаралась, цвет к цветку сложила плотно. А Ольга Юрьевна ей говорит: «Нет, милая, так только венки плетут». Цветочки все расшебуршила, чтобы каждый по себе красовался, и травок полевых,

кукушкиных слёзок добавила. У травы стебельки надо подлинше, чтобы цветам не мешало, а поверху было.

Ларион кивнул. Он и сам, собирая порой цветы, подбирал их в пёструю гамму и непременно добавлял в букет высокой луговой травы, чтобы овсец или кукушкины слёзки создавали над головками цветов прозрачное дрожащее облако. Сам бы и не припомнил, кто его научил этому.. кажется, искони так было. А оказывается, вот откуда идёт семейное искусство составлять букеты.

— И всё-таки, — напомнил Ларион, — что же, тебе прабабка Клава так подробно рассказывала: и крыша какая была, и всё остальное?

— А ты как думал? Ты на картинку-то свою глянь. Вроде как ночь на ей, а всё видать: и крышу разобрать можно, и наличнички. Думаешь, ты один такой в роду, умный? Токо ты кисточками своими рассказываешь, а мама — словами. Но тоже, если присмотреться, всё видать было.

— Мотря! — донёсся с улицы крик соседки. — Гляди, кудой твоя Беяна впёрлась!

Бабушка заполошно кинулась призывать к порядку Беяну, а Ларион ещё долго стоял перед мольбертом, с которого смотрело на него ночное видение. Размышлял об услышанном. Он-то полагал, что ему достался пронзительный дедов взгляд, а выходит, что к дедову взгляду ещё и прабабушкино умение.

Не гордись собой, гордись семьёй. Но помни, кому много дано, с того много и спросится. Вот и думай, куда влечёт предками выпестованный дар, гадай, что сумел увидеть этой ночью? Ещё вчера не было ничего, а сегодня, не страшась яркого солнца, красуется на мольберте полотно, и оттуда сквозь живую весеннюю ночь проступает порушенный едва ли не век назад барский дом, усадьба графов Отрадиных. И даже ночничок в одном из окон вроде бы мерцает. Кому там не спится? Неужели доброй барыне Ольге Юрьевне? И что за дело до былых страстей Лариону Фомину? У него в роду графёв не бывало, всё больше крепостные мужики, да и те не графские были, а чёрт знает чьи. Или это не даёт покою давний урок, преподанный босоногой девчонке: как должно собирать в букет полевые цветы.

\*  
\* \* \*

Козе Беляне и в голову рогатую не могло войти, что её диковатая морда в полумраке бабушкиного хлева на аукционе в манеже будет куплена за две с половиной тысячи зелёных. Зелень коза уважала, но совсем иного рода, американские доллары оставляли её равнодушной. А для Лариона успех на аукционе обернулся не только получением приятной суммы, но и крупным заказом, о каком другие художники только мечтать могут. Роспись конференц-зала в пятизвёздочном отеле — это тебе не персональная выставка хоть бы и в областном центре. Это деньги, причём по-настоящему серьёзные. Точные условия договора являются конфиденциальной информацией, так что незнающий — пусть гадает.

Сама роспись делалась кистью, а не с помощью аэрозольного баллончика, как сейчас многие любят. Стены украшались русскими пейзажами, без лубочных хороводов, безо всяких красных молодцев и добрых девицев. Работал не халтура, и получилось подходяще, как сказали бы на деревне. Стыдиться нечего. Гордиться тоже особо нечем. Зато — деньги. Большие.

В деревню Ларион вернулся уже осенью. Отдыхать. А вернее, навёрстывать упущенное за денежной работой. Бродил по окрестностям, вглядывался в пожухлую серость некошенных лугов и праздничные пятна отав, там, где кто-то прошёл с косой, готовя сено непроданной покуда Бурёнке. Ходил на лесосеку, писал раздолбанную лесовозами колею, грязь и древесный лом. С набиркой и этюдником бродил по брусничнику. Капа Фомина, двоюродная тётка, рассказывала: «Ларьку нашего сёдни в лесу повстречала. На пенёчке сидит, карандашиками цветными чиркает, ровно дитя. А ягод в набирке вот стоконько, на два пальца. Я старуха, и то какую корзинищу приволокла, а у него картиночки на уме. Картинки картинками, кто их ещё купит, а ягоду всегда продать можно. Да и самому пригодится, зима длинная, всё подберёт».

Дед тоже был недоволен. На зиму Ларион-младший берёзовых дров купил — две полных коляски, а колоть и окладывать подрядил Вовку с Генкой. Здоровый парень, мог бы и сам, так

нет, уселся на чурбачок и стал рисовать, как другие работают. И Мотря тоже хороша, защищает бездельника: ему, мол, руки беречь надо. Работа рук не портит, а бар у нас в роду вовек не бывало. Бары, вона, за Пашиной ухожей жили, да повывелись. Одна пустошь осталась.

На Барскую пустошь Ларион ходил частенько. Осенние дожди налили колеи водой, добираться приходилось в резиновых сапогах. Лесники и егеря, пробившие лесные колеи, теперь тоже въехать в лес не могли. Они оставляли машины по деревням под присмотром старух и, обратившись в охотников, топали в ухожу своим ходом. Берегись, боровая птица и заяц-горюн, грохают в осеннем воздухе меткие выстрелы...

*Зайка серый,  
Куда бегал?  
В лес зелёный.  
Что там делал?  
Помирал.  
Кто стрелял?  
Ларион?  
Нет, не он.*

Дедушка Ларион за гумнами сидит, караулит зайку воровского, что за капустой крадётся. А внучок Ларион — живописец, а не живобоец, от него никому вреда нет. Даже лиса-огнёвка, увидав, чем Ларион занимается, в лес не метнулась. Мышковать бросила, хвост трубой распушила, красуется: давай, рисуй как следует быть.

Призрачная усадьба на Ларионовых картинах больше не появлялась, но что-то он там видел, потому как ходил задумчивый, а однажды собрался и поехал в райцентр, знаменитый на всю Новгородчину мастерами, рубившими бани и колотившими дачные домики.

Местный предприниматель богатого заказчика выслушал, нимало не удивившись. Кто платит, тот и заказывает. Пощёлкал на куркуляторе, назвал сумму — не точную, а порядок величины. Точные суммы в прејскуранте на типовые изделия, а тут заказ персональный, на него цены отдельные, с кондачка

их не определишь. Вроде бы частности, но от них цена очень зависит. Вот, скажем, лес, из которого строить. Если брать первый попавшийся, то строительство выйдет по восемь тысяч за квадратный метр. А если брать лес просушенный, то дороже. А можно стены из клееного бруса класть, но это окажется дороже чуть не в десять раз. Зато и дому сноса не будет; так что некоторые заказывают. Но я рекомендую из обычного бруса — самая прогрессивная технология и цена та же, что и у кругляка. Итак, что решаем? Заранее просушенный кругляк... хорошо, записываем. А зачем непременно нужна тесовая крыша? Металлочерепица или, скажем, андулин практичнее и в конечном счёте выйдет дешевле. Нет? Хорошо, будет тесовая. Стены тоже тёсом обшивать? Вагонкой наряднее... вы на рисунок-то поглядите, на фотографии... Вот и отлично, значит, вагонкой обошьём. Резьбу: потолки, карнизы, балкон — это уже с мастерами договаривайтесь: работа тонкая, художественная... ну, конечно, вы это лучше меня понимаете. Мастеров предоставлю самолучших, такой заказ бывает не часто, а им тоже бытовки колотить скучно. Вот посмотрите, этот узор называется «ромб», а этот — «паутинка». На потолок в большом зале очень рекомендую. Наружные стены в какой цвет красить? Натуральное дерево оставить? Отлично. Но тогда нужна пропитка, чтобы не сгнило всё в первый же год. Мы используем «антижук». Нет, что вы, он не только против короеда, просто мы его так называем, а официальное название: «Антибиозащитный состав КСД». Ещё советую морилку. Дерево всё равно будет темнеть, а так цвет не серый, а приятнее. Хотите, можно специальным лаком покрыть для наружных работ... что вы, лаки бывают ненавязчивые... впрочем, это дело неспешное, потом попробуете на отдельной дощечке: понравится, так и сделаем... Ох, что ж вы так далеко строиться задумали? Могу местечко порекомендовать замечательное: у самого озера, и бор вокруг сосновый... нет, что вы, я не настаиваю, где скажете, там и построим. По зимнику материалы завезём, чтобы дорогу не портить, а к августу под крышу подведём. Тут вроде от Гусева просёлочек есть? Ага... и два километра по лугу. Я смотрю, тут на карте ручей обозначен, там как, проехать можно? Ну, если жигулёнок проходит, то наша

развозка тем более пройдёт. Всё-таки далековато вы решили строиться, зимами придётся сторожа держать, а то вам весь дом разграбят. Напьются местные пацаны и пойдут бомбить. Я понимаю, что там пять километров, а всё-таки побережью не мешает. С электричеством как будете обходиться? Линию за пять вёрст тянуть себе дороже станет. Я советую собственный генератор, на солярке. Вот тут, где службы, поставить. Это конюшня, я так понимаю, в ней гараж будет... это банька, а вот сюда впишем сарайчик бревенчатый, и в нём — генератор. Кабель незаметно проведём, чтобы внешний вид не портил. Кстати, как насчёт водопровода? Здесь у нас родник, насос поставим...

Услыхав прикидочную сумму, Ларион охнул внутренне, но не отступил. Прощай отдельная московская квартира и приличная иномарка взамен задрипанной семёрки. И с поездкой в Италию он тоже в пролёте. А впрочем, много ли в Италии корысти? Вон, Сильвестр Щедрин — какой талант был! — а уехал в Италию — и что осталось? Этих гаваней в Сорренто, что собак нерезаных. Нет уж, где родился, там и пригодился, обойдёмся без итальянского полдня.

Есть такой поганенький анекдотец: «Папа, а почему мы в говне живём? — Родина, сынок!»

Так вот, не хочешь жить в говне — бери лопату и разгребай. А если предпочитаешь сбежать в Сорренто и оттуда кривить мордашку на российское убожество, то — скатертью тебе дорога. Только тогда нечего корчить из себя русского. Продай первородство за гамбургер — ну и жри.

Восстановить пригрезившуюся усадьбу стало для Лариона неотвязной мечтой. На всю Россию сохранилось ныне десяток барских имений, прославленных некогда своими обитателями. Михайловское, Болдино, Спасское-Лутовиново... ещё пяток святых мест. Шахматово даже заново отстроили после революционного разгрома. А остальные места — кто их будет восстанавливать? Жили люди, не последние в отечестве, — а не стало, и памяти нет. А ведь их было много... Посреди серого армячного моря, промеж курных изб, пьянства и скучного мата поднимались дворянские усадьбы — островки настоящей красивой жизни. Там читали книги, звучала музыка, ходили

изящные женщины и нарядные дети. Тысячи, десятки тысяч усадеб — очаги культуры, просвещения, грамотности и гуманизма... Как же, держи карман шире! Из этого очага простому человеку разве углей калёных отсыплют. Культурные, тонкие, образованные обитатели усадеб — именно они разделили мир на себя любимых и на рабов. А потом удивлялись, что мир раскололся. В своей книжной учёности они наивно верили, что есть «миръ» и «миръ». А безграмотные рабы произносили два эти слова одинаково и разницы между ними не видели. И когда распался миръ, то и мира не стало. И в ответ на музыку, льющуюся сквозь иллюминированные барские окна, из тьмы полетел кирпич. Тот, у кого отняли право быть человеком, швыряя булыжник, не думает, что его камень кинут в человеческую жизнь. Скульптор Шадр показал это как никто другой.

Самое обидное, что снесло усадьбы с лица земли как раз в ту пору, когда они худо-бедно, но начали исполнять роль очагов культуры. Жаль, что худо-бедно, жаль, что поздно.

Есть в русском языке красивое слово: «интеллигенция». И сейчас в культурных кругах спорят, что бы могло значить это слово? Чем интеллигент отличается от образованца? И, главное, чем он отличается от культурного человека? Синонимы, говорите? В русском языке синонимов нет, хоть в малом, но схожие по смыслу слова различаются. Интеллигент — это тот культурный человек, который чувствует неразрывную связь с народом и ради народа трудится. Это не западник, что с высоты своей культуры презирает грубого мужика, но и не славянофил, готовый на алтарь возносить посконные рубахи и овсяный кисель, которого в жизни не пробовал. Это отчисленный за крамолу студент, пошедший в сельские учителя, барыня, пользующая детишек в земской больнице, отставной офицер, открывший личную библиотеку для всех желающих. Немного их было, мало они успели сделать к тому времени, когда вместе с толпой никчемушников были сметены долой. И теперь некому зажигать хотя бы и слабые огоньки культуры промежду тёмных деревень.

«Культура»: изначально — «земледелие», ведение сельского хозяйства. Помните об этом, господа, полагающие себя культурными.

Эти и многие иные правильные слова повторял в уме Ларион, не признаваясь даже себе самому, что затеял стройку потому лишь, что не мог её не затеять. Если не я, то кто? Ни в ком больше не осталось памяти о былой жизни на нынешней пустоши.

Как и обещано, к августу дом подвели под крышу. Местные работники были недовольны, наперебой доказывая, что они сделали бы дешевле и быстрее, но Ларион слишком хорошо знал односельчан, чтобы верить их рассказам. Кто по правде работать мог — давно в бригаде, что до остальных, они только на словах молодцы. А как до топора доходит, то с утра голова болит, и работа на ум нейдёт. Значит, надо с хозяина требовать на опохмелку. А как похмелился, тут работе и вовсе конец, потому как одной всегда мало. Так бутылочка за бутылочкой и пропьют весь дом, ничего не построив. Нет уж, предприниматель, конечно, мироед, зато и работа у него кипит.

Домина получился громадный: в центре — двусветный зал, украшенный камином; на втором этаже — восемь жилых комнат, которые отапливались четырьмя изразцовыми печами; одноэтажный кухонный флигель с русской печкой — там же и столовая в русском стиле со стругаными скамьями и сосновым столом. Второй флигель — холодный, для просторного летнего житья. Стены в зале и парадных комнатах убраны штофными обоями и резными деревянными панно, на потолках — фирменная паутинка, полы шашечками из дуба и чёрной ольхи. Не подвёл мироед, сыскал мастеров, которым искусство дороже заработка. Вместе с ними и Ларион сидел, слушал, вникал, не жалея рук, резал липу и чёрную ольху, которая имя получила за цвет коры, а древесину имеет розовую, какой и в индонезийских джунглях не сразу сыщешь.

Одному жить в таком доме незачем, да и невозможно, так что умные рассуждения о возрождении очагов культуры очень пригодились и должны были воплотиться в жизнь. Привезти концертный рояль, устроить в двусветном зале художественную выставку, для начала — свою, а там — как получится. Детишек из городской школы искусств привозить на зимние каникулы, а то и летом. Далековато до города, почти сорок километров, но ничего, пусть привыкают. Пригласить кое-кого

из художественной братии, но только тех, кто, очутившись на свежем воздухе, не станет напиваться в хлам и тушить хаба-рики о резные панели. Да мало ли как ещё можно использо-вать восстановленную помещичью усадьбу. Было бы желание, найдётся и дело.

А пока наступил первый вечер в отстроенном доме. Уехали резчики, обойщики, столяры. Грузчики, привозившие мебель в те две комнаты, что Ларион предназначил для себя, всё рас-ставили и укатали в своём фургоне, захватив по дороге Анну и Лизу — гусевских тёток, подрядившихся намыть полы во всех комнатах и развешать пошитые на заказ портьеры. Замолк в сараюшке генератор, наступила тишина, такая же чуткая, как и два года назад, когда дом чудился лишь воображению художника.

Ларион вышел на воздух, по дорожке, уже изрядно про-топанной, поднялся на склон, с которого писал когда-то картину. Дом стоял совершенно такой, как привиделось два года назад. Разве что крыша «малость покрутей», чтобы не наваливало зимами снежные холмы. Солнце уже село, но май-ская непотухающая заря весь мир заливала чудным обманном светом. Ночь пела на разные голоса, щёлкала, стрекотала, свиристела, звонко брекотала лягушками.

Дом стоял, прикрывшись от гнилого запада холмом, сбе-режённые берёзы вдоль ручья готовились одеться в листву. Со стороны голого склона усадьба огорожена штакетничком, и возле не запирающейся калитки наклонно вкопан огромный камень, живо напоминающий картину Васнецова. Направо пойдёшь... налево пойдёшь... Камень нашли, когда расчища-ли площадку для строительства. Бульдозерист из местных, занятый планировкой, прибежал с сообщением: «Там никак могила! Камень лежит, а на нём — буквы!» Камень перевер-нули, надпись расчистили, и Ларион вздохнул с облегчением: на розовой гранитной плите красовалось название усадьбы: «Отрадное». И хотя плита удачно ложилась в фундамент, на-ходку оттащили в сторону, а потом вкопали при въезде, как, должно быть, она и стояла сто лет назад.

А случись на этом месте могила? Не станешь же строить дом на чужих костях. Ларион не был суеверен, но тут уже не о суевериях речь, а о собственной душе.

Осенью вдоль ограды посадят жасмин и кусты белой сирени, а пока придорожный камень стоит одиноко, указуя путнику: «Прямо пойдёшь — будет тебе отрада».

В ночном лесу, перекрывая песнопения соловья и хор лягушек, что-то протяжно заскрипело, деревянно хрустнуло и громко рухнуло, так что ногам передался толчок: «Бум!» И следом — обиженное: «Э-э!..» — в котором воедино слились боль, жалоба и разочарование.

Ларион улыбнулся. Надо же, не ушла медведица! А он боялся, что перестук молотков, визг бензопилы и прочий строительный шум отпугнёт соседку. Ан нет, пришла тишина, и медведица вернулась на знакомые уголья. И сейчас, по всему слышать, её мохнатое дитяtko полезло на дерево, да сорвалось, грянув толстым задом о землю. Ничего, до свадьбы заживёт, если раньше не прикончат подросшего дитяtko понаехавшие охотники.

*Вдруг охотник выбегает  
И в кого-нибудь стреляет!  
Пиф-паф! Ой-ё-ёй!..*

Казалось бы, должно быть страшно: серьёзный зверь бродит в округе, да ещё и с детёнышем, а в душе никакой тревоги. Это в городе надо пугаться тёмных подворотен и затхлых лестниц, там водится опасное зверьё: грубо-материальное, с заточкой в рукаве, и призрачное, порождённое больными мыслями скученных людей. А в лесу всё просто: я тебя не трогаю, ты — меня. Главное, не сослеживай соседа, чтобы он не подумал на тебя дурного. Но тяжёлая звериная вонь у любого следопыта отобьёт охоту любопытствовать. А так с медведем можно в одном малиннике ягоду брать: здесь ты сквозь ветки ломишься, неподалёку он чавкает — чего нам делить? Ягод, что ли, не хватит?

Ларион перевёл взгляд с леса на дом и замер. В окне второго этажа, в одной из нежилых покуда комнат мерцал огонёк ночника.

Завороженно Ларион двинулся на свет. Холодно было в груди, но притягательная сила огонька превышала страх. Об

одном жалел: была бы сейчас в левой руке палитра, а в правой кисть, шёл бы бестрепетно, улыбаясь, словно воин при шите и мече. А ино не готов оказался ко встрече с неведомым, хотя и ждал его более двух лет.

На второй этаж вела деревянная лестница с баясинными перилами, и, ещё не поднявшись наверх, Ларион видел дрожащий свет в верхней прихожей. Три последних шага, и двое встретились лицом к лицу: художник Ларион Фомин и высокая женщина в тёмном платье, удивительно похожая на актрису Ермолову кисти Серова. Только правая рука видения была высоко поднята и сжимала бронзовый подсвечник, на котором горела одинокая свеча.

— Здравствуйте... сударыня... — Ларион, не зная, что делать и как говорить, отвесил неловкий поклон.

— Добрый вечер, Ларион Сергеевич, — дама величаво кивнула. — Не напугала вас? Вы проходите, что в прихожей стоять...

Ларион толкнул двери комнаты, которую прочил себе под кабинет, сделал приглашающий жест. Дама вновь благосклонно кивнула, первой прошла в комнату, поставила свечу на стол и, не дожидаясь нового приглашения, уселась в ротанговое кресло-качалку. Кресло колыхнулось, и это обыденное движение неожиданно успокоило Лариона.

— Простите, вы Ольга Юрьевна? — спросил он.

— Вы её помните? — оживилась дама.

— По рассказам.

— Это неважно. Здесь жило много разных женщин: красивых и не очень, добрых и не слишком. На раз вы помните её, то да, я — Ольга Юрьевна.

Не проглядывало в гостье — или то была хозяйка? — ничего потустороннего, невещественного. Красивое лицо с чуть намеченными морщинками; даме явно за тридцать, хотя в это трудно поверить. Смесь молодости и мудрого понимания, такое только в женщине встретить можно. Волосы, немного подвитые или вьющиеся от природы, уложены в причёску, которую легче нарисовать, чем описать. Руки покойно лежат на коленях. Невежда никогда не знает, куда девать руки, он будет шевелить пальцами, сцеплять их, прикрывать

рукой рот, как делают лжецы. Человек, знающий себе цену и умеющий себя вести, суетиться не станет. Посмотрите на гудоновского Вольтера, не на лицо, а на руки — они говорят не меньше, чем знаменитая усмешка.

Дама сидела молча, позволяя изучать себя, будто позировала для портрета. Тёмно-синее платье блестящего шифона ниспадало до пола. Белая горжетка — невинное ухищрение, чтобы скрыть морщинки на шее, первыми выдающие возраст. И ни единого украшения: ни броши, ни колье, ни даже булавки с неярким камушком. Но сквозь отсутствие пышности проглядывает истинный аристократизм, в повороте головы, в осанке. Не деревянная выучка пансионных дам, словно проглотивших аршинную линейку, а идеальная смесь природы и воспитания. Рядом с такой женщиной любая современница покажется рыночной торговкой, что ни ступить ни молвить не умеет.

— Простите, Ольга Юрьевна, — осторожно произнёс Ларион, — я могу вам чем-нибудь помочь?

Дама улыбнулась потаённой, от глаз идущей улыбкой.

— Вы мне уже очень помогли. Я была несчастна все эти годы, а теперь у меня снова есть дом. Нет, разумеется, дом ваш, но и без меня он стоять не будет. Во мне память обо всех Отрадиных, что жили здесь.

— Я не Отрадин.

— Это неважно. Соседство благородного человека не может быть в тягость.

— Вы знаете, с благородными кровями у меня тоже туговато. Насколько мне известно, все в роду мужики. Сами посудите, имя у меня — Ларион. Дворяне больше Илларионами пишутся, а Ларионы все из крестьян.

— Честь в душе, а не в летописце, — Ольга Юрьевна вскинула голову, улыбнувшись на этот раз совершенно открыто, и озорно предложила: — А хотите, я открою уж-жасную семейную тайну? Основателем нашего рода был стрелецкий голова Ларион Отрада. В шестьсот восьмидесятом году царь Фёдор Алексеевич произвёл его в дворяне московские. Так что имя Ларион меня совершенно не пугает.

— Постойте, Отрадины были графами.

— О, это уже в девятнадцатом веке! Полковник Пётр Отрадин отличился в боях с Наполеоном.

— И всё-таки, вам лично чем я могу помочь? Ведь из-за чего-то вы здесь бродите.

— Ларион Сергеевич, дорогой, мы с вами в России, а не в Англии! Неужели вы верите тому, что пишут в готических романах? Ужасные преступления, скелеты в шкафу, бряцание цепей... Ничего этого не было, и кровавые пятна на полу спальни вам не придётся выводить. Просто когда одна семья очень долго живёт под одной крышей, иногда случается такое. Возможно, если бы здесь творились ужасы и непотребства, я бродила бы сейчас, оглашая окрестности стенами и пятная стены кровью. Но мне повезло, за триста лет в этом доме не случилось ничего серьёзнее интрижек и адюльеров. А этого недостаточно для родового проклятия.

— Но как вы будете теперь? Насколько мне известно, род Отрадиных пресёкся.

— Да, к сожалению. Я не знаю, что будет потом, а пока я хотела бы просто жить. Не беспокойтесь, я вам не помешаю. Я не умею быть навязчивой, напротив, это вам придётся постараться, чтобы я пришла. Мне самой надо так немного: крыша, тепло, возможность послушать музыку и постоять перед картиной. У вас замечательный дар, ваши картины живут.

Ларион потупился, не зная, что сказать, а Ольга Юрьевна вдруг рассмеялась, словно услышала что-то забавное.

— Ларион Сергеевич, что вы стесняетесь, право? Берите карандаш, бумагу. Я ведь вижу, как вам хочется сделать хотя бы набросок. Ну так рисуйте. Помните, вы хозяин, не надо менять своих планов ради меня. Пусть здесь будет шум, голоса; Ольга Юрьевна, которую вы помните, любила заниматься с деревенскими детьми. Художественные выставки, музыка — это жизнь. Вы ведь не станете возражать, если во время концерта я войду и присяду на краешек стула? Ваши гости меня не заметят, а кто различит — тот умеет удивляться молча.

Карандашный грифель летал над белым листом. Призрачная свеча на столе горела, не сгорая, капли воска стекали на подсвечник, но свеча ничуть не убывала.

*Ты не жги, не жги свечу сальную,  
Свечу сальную, воску ярого...*

В жизни, если вдуматься, бывает и не такое. Главное, уметь удивляться молча.

\*  
\* \*

Первые шаги нового культурного центра прошли почти незамеченными; Ларион не умел и не желал пиарить своё начинание. Лишь районная газета опубликовала статью, в которой радостно объявила, что «история творится на наших глазах».

Призрачная Ольга Юрьевна и впрямь оказалась ненавязчива, за всё лето хозяин видел её дважды, причём один раз издали. Ольга Юрьевна прогуливалась вдоль ручья, собирая ромашки. На этот раз на ней было платье «принцесса», вошедшее в моду в конце десятих годов прошлого века. Гладкий муслин, собранный в буфы на рукавах, вместо шлейфа — воланы, горжетку заменил кружевной воротничок. Никаких ухищрений, подчёркивающих фигуру: ни турнюра, ни корсета на жёстком китовом усе. Всё просто и свободно — на радость педагогам натуральной школы. Лёгкая ярко-сиреневая материя гармонировала с жирной зеленью рогоза, с ромашками, пестрящими склон, с замшевыми туфельками, но всего более — с лицом, не девчоночьим юным, но удивительно молодым. И какие морщинки почудились художнику во время ночной беседы?

Завершающим штрихом летнего наряда была шокирующих размеров шляпа с лентами и искусственными цветами, исполненная в розовых и белых тонах. Попробуй кто в наше время нацепить на голову этакий зефирный торт, окружающие со смеху помрут. А тут сморишь, и видишь — иначе быть не должно. Гармония прекрасного диктует свои законы. Вот только, позвольте спросить, где молодое очаровательное привидение хранит свои туалеты?

Лариону Ольга Юрьевна кивнула приветливо, но, видя, что тот работает, подходить не стала. Не стала и нарочито позировать; подобные вещи хороши в интерьере, на возду-

хе надо просто гулять, а художник пусть ловит мгновение. Impression — значит впечатление от живой жизни, к позированию оно отношения не имеет. Блик на текучей воде и совсем иной отблеск струящейся материи, разница между лиловостью колокольчика и насыщенным сиреневым цветом платья — лови, замечай, останавливай мгновение.

Ольга Юрьевна ушла, когда эскиз ещё не был закончен, последние мазки пришлось накладывать по памяти.

В конце августа Лариону привезли давно ожидаемый рояль. Сам Ларион играть не умел, разве что собачий вальс и чардаш в два пальца. Но если хочешь всерьёз воссоздать поместье, рояль должен быть непременно.

В обычной квартире фортепиано кажется неоправданно большим, оно подчиняет себе всё, уничтожая обыденную жизнь. В одной квартире с таким инструментом может жить только музыкант, простому человеку будет неуютно, словно приживалке под взглядом властной хозяйки. А в парадном зале королевский инструмент оказался на месте. Ясно представлялся длинный зимний вечер при свечах... или летние сумерки, когда можно распахнуть двери на террасу, и музыка поплывёт над ручьём в сторону Пашиной ужожи, заставляя медведицу чутко прислушиваться к странным и привлекательным звукам.

Старик-настройщик долго обхаживал фортепиано, что-то подправлял, неразборчиво мурлыкал и бормотал сквозь усы. Брал аккорды и снова что-то подправлял. Потом с четверть часа играл, прислушиваясь к звучанию. Наконец, сказал:

— Хороший инструмент и прекрасная акустика. Ваша супруга будет довольна.

— Почему супруга? — удивился Ларион. — Я не женат.

— Пусть не супруга, но та, для которой вы купили рояль. Сами вы играть не умеете, но по тому, как вы следили за моей работой, видно, что для вас фортепиано не просто предмет обстановки. К тому же этот дом пропитан присутствием красивой женщины. Пусть не супруга... сестра, дочь, любимая... — всё равно вам очень повезло.

Мастер уехал, а Ларион долго сидел перед раскрытым роялем, беззвучно проводя пальцем по клавишам. Безумно хо-

телось заиграть, чтобы музыка наполнила резную хрупкость залы. Но не собачий же вальс тренькать в такую минуту.. Мучительное чувство, когда в душе звучит музыка, а пальцы способны извлечь лишь фальшивую дребедень. Такие же мучения, должно быть, испытывает человек, не умеющий рисовать, при взгляде на белый лист.

Ларион встал, распахнул дверь на террасу, впустив в помещение лиловый августовский вечер, а когда оглянулся, увидел Ольгу Юрьевну. Она только что вошла с улицы через другие двери и остановилась, стаскивая с тонкой руки перчатку. На этот раз на ней был строгий наряд, чем-то напоминающий «Курсистку» кисти Ярошенко. Оливковый жакет, табачного цвета юбка и котиковая шляпка пирожком. Впервые руки дамы жили своей нервной жизнью, стягивая лайковые перчатки, комкая их... Ларион поймал взгляд женщины и указал глазами на рояль.

Ольга Юрьевна порывисто шагнула, бросила перчатки на каминную полку, сняла шляпку.. Поражала уместность этого движения — нельзя же садиться за фортепиано с покрытой головой; то, что хорошо для вечерней прогулки, не годится в ином месте.

Тонкие пальцы коснулись клавиш, инструмент откликнулся, зазвучал. В музыке не было ничего бравурного, ничего от виртуозного мастерства или бездушной старательности. Немного грустная, но умиротворяющая, негромкая, но наполняющая собой зал, плывущая в вечерний сумрак, она изумительно подходила ко времени и месту. Всё было так, как представлялось в воображении, разве что медведицы в этот час не случилось поблизости, соседка убрела за Пахомово болото, отъедаться в черничнике, запастись жир на всю трудную зиму.

Растаял последний аккорд, но ещё долго никто не смел нарушить тишину. Наконец, Ларион спросил:

— Что это?

— Шопен. Ноктюрн Шопена.

Ноктюрн, ночная песня. Разумеется, иначе и быть не могло.

Ольга Юрьевна развернула круглый стул, оборотившись лицом к хозяину.

— Ларион Сергеевич, что за кустики посажены у вас вдоль дорожки? Я таких не знаю.

— Это японская айва. У неё есть какое-то специальное название, но я его опять забыл. Весной она цветёт большими оранжевыми цветами, а осенью на кустах появятся вот такие айвинки, ярко-жёлтые, кислые и замечательно ароматные.

— Чудесно! Не то, конечно, чудесно, что кислые, я всё равно не могла бы их попробовать, но зато аромат — это для меня. И цветы тоже. Раньше на том склоне, что ивой зарос, был сад. Яблони, сливы и очень много вишен. Вишни было столько, что собирать не успевали, половину воробьи расклёвывали.

— Вишнёвый сад...

— Ларион Сергеевич, что вы говорите? Вишнёвым бывает варенье, а сад — вишенный! Вишнёвый сад Антоша Чехонте придумал. Хотя, наверное, теперь все так говорят, ошибка гения становится нормой для будущих поколений. Но я человек старой выучки, для меня сад бывает только вишенный.

— Хорошо, — Ларион кивнул. — Когда-нибудь, на том склоне непременно появится вишенный сад.

На улице уже почти стемнело, проснувшийся юго-западный ветер тащил с гнилого угла первую тучу, обещавшую скорый приход осени, но в зале на бронзовых канделябрах вспыхнули призрачные свечи, и стало светло.

— Ольга Юрьевна, — попросил Ларион, — а вы не могли бы ещё сыграть? Хотя бы то же самое.

— Можно и другое. То был девятнадцатый ноктюрн ми минор, а это — семнадцатый, до-диез минор.

На этот раз звуки были глухо рокочущими, под стать идущей с запада туче. Чудилась скрытая тревога, боязнь приближающейся тьмы. И Ларион ничуть не удивился, когда сквозь аккорды различил натужный звук автомобильного мотора. Машина на самой малой скорости переезжала вброд ручей, отделявший усадьбу «Отрадное» от остального мира.

Музыка усилилась, словно хотела заглушить, оттолкнуть, прогнать чуждый звук, но двигатель взрывал всё отчётливее, ближе, наконец, внизу проскользил отблеск фар и, окончательно обкусив музыку, хлопнула автомобильная дверца.

— К вам гости, — произнесла Ольга Юрьевна, отступая в тень.

Внизу зашарил фонарь, должно быть гости искали звонок, потом в дверь застучали. Колотили громко, по-хозяйски, не оставляя ни малейшей надежды не расслышать стука. Ларион оставил, зажёл электричество и пошёл открывать.

Почему-то он был уверен, что приехала милиция, кто ещё может так властно стучать? Но четверо одетых в штатское мужчин явно не собирались предъявлять никаких документов. Один из них оттеснил Лариона в сторону, и все четверо прошли внутрь.

— С кем имею честь? — спросил Ларион. Бесцеремонные визитёры ему крайне не понравились, но с ходу сменить манеру разговора он не сумел, продолжая изъясняться, словно житель минувшей эпохи.

Лариону не ответили. На него обращали внимания не больше, чем на предмет мебели.

Один из незваных гостей: невысокий и полненький, с улыбочивой мордашкой, держал в руках отблескивающий никелированными замками дипломат. Трое других — явные мордороты — явились с пустыми руками, лишь у одного имелся мощный фонарь. В первую секунду могло показаться, что коротышка и есть главный, но Ларион быстро заметил, что один из мордоротов выглядит слишком сытым и беспечным и, значит, хозяин именно он.

— Кто вы такие, что вам от меня нужно? — повторил Ларион.

— Кто мы такие? — переспросил откормленный. — Не хорошо, начальство нужно знать в лицо. На первый раз ступай-ка, братец, на конюшню да скажи, чтобы выпороли!..

Гости хохотнули шутке, а толстячок счёл наконец нужным объясниться:

— Перед вами владелец усадьбы, его светлость граф Валерий Отрадьев.

Этого Ларион ожидал менее всего. Лишь после постыдно длинной паузы он выдал:

— Никаких Отрадьевых в природе не существовало. Здесь когда-то была усадьба графов Отрадиных, но её сожгли ещё в восемнадцатом году.

— Он будет меня просвещать по поводу моих предков, — процедил откормленный, усаживаясь в кресло-качалку, в котором любила сидеть Ольга Юрьевна. Весной Ларион стащил лёгкое кресло вниз, всё лето оно простояло на террасе и лишь недавно было перенесено сюда. Когда-то Ольга Юрьевна тоже уселась в кресло без приглашения, но это было правильно, естественно и само собой разумелось. Женщина и должна садиться, не ожидая особого приглашения. И вообще, каждое появление Ольги Юрьевны выглядело уместно и удивительно естественно, как ни странно выглядит это слово применительно к призраку. Во время их второй встречи, на террасе, когда они беседовали о лунном свете, Ольга Юрьевна тоже сидела в ротанговом кресле. А сейчас в нём развалился чужак и, не спросясь, задымил сигаретой.

— Здесь не курят, — сказал Ларион.

— Хамит, — заметил Отрадьев, выпустив в сторону Лариона струю дыма. — Он ещё ничего не понял. Борис Яковлевич, объясни ему популярно.

— Граф Валерий Андреевич Отрадьев, — проникновенно начал толстячок, — решил восстановить свои права на родовое имя. Заметьте, его сиятельство не стал требовать возмещения убытков, а попросту выкупил у государства и без того принадлежащие ему земли...

— Урочище «Барская пустошь» выкуплено мною три года назад! Все документы оформлены по закону и зарегистрированы в земельном кадастре!

— Сортир у тебя где? — подал голос его сиятельство.

— Удобства во дворе, — мстительно произнёс Ларион.

— Так вот, сходи во двор и подотришь своими документами.

— Возможные права третьих лиц на эти земли — аннулированы, — с готовностью подтвердил Борис Яковлевич. — Мы не захватчики, а действуем строго в рамках закона. Но даже просто в рамках обычной человеческой морали — сейчас восстанавливается историческая справедливость: граф Отрадьев возвращается в своё родовое поместье, дворянское гнездо, можно сказать!

— Какая историческая справедливость? Род Отрадиных давно пресёкся, а у вашего... клиента и фамилия другая! Здесь жили Отрадины, а он, как вы сказали — Отрадьев.

— Это вы не в материале, — с готовностью закивал Борис Яковлевич. — В древних летописях часто встречаются разные написания одного родового имени. Порой даже появляются двойные фамилии: Белосельские-Белозерские, Драко-Драковичи... и, скажем, Бонч-Бруевичи. Аналогичная история и здесь: Отрадьевы-Отрадины. Причём, прошу заметить, Отрадьевы — старшая ветвь древнего рода.

— Не было никаких Отрадьевых! — закричал Ларион. — Отрадины — не столбовые дворяне, их нет ни в Белой, ни в Бархатной книгах! Так что древние летописи можете не поминать.

— Видали, — саркастически заметил Отрадьев, — он и в моей родословной разбирается лучше геральдической комиссии. Не тебе, было, рассуждать о дворянских корнях. У меня в роду сорок поколений благородных предков, понял?

Ларион не успел ответить, потому что в эту минуту в зале объявилась Ольга Юрьевна. Она не вошла в двери, а возникла ниоткуда, шагнув к развалившемуся в кресле Отрадьеву.

— Милостивый государь, вы самозванец! Извольте выйти вон!

Отрадьев щелчком отправил окуроч в камин, прямо сквозь призрачную фигуру. Мордовороты у дверей остались неподвижны, и даже пронырливый Борис Яковлевич продолжал поглаживать свой дипломат. Ни один из незваных гостей не обратил на призрака ни малейшего внимания, они попросту его не видели.

— Прочь отсюда!

Отрадьев щёлкнул зажигалкой и закурил новую сигарету.

— Прочь! — Ольга Юрьевна попыталась дать пощёчину новоявленному родственничку, но рука прошла сквозь выбритую щеку, не коснувшись её.

Рассчитывать на действенную помощь Ольги Юрьевны не приходилось.

— Послушайте, — произнёс Ларион, — я не понимаю, чего вы добиваетесь. Всем известно, что усадьба была сожжена во время революции. В течение восьмидесяти лет здесь была пустошь. Бросовые земли, последние годы тут даже не косили. И усадьба восстановлена мною, строительство закончено в этом году. Это тоже известно всем, так что ваши претензии...

— Кто такие «все»? — поинтересовался Борис Яковлевич. — У них есть конкретные имена? Они придут свидетельствовать в суде? Предоставят какие-то документы?

— Есть и документы. Дом строила компания «Русский лес», они подтвердят мои слова.

— М-м?.. — Отрадьеv поворотил голову в сторону юриста.

— Совершенно верно, — вновь закивал толстячок. — Усадьбу восстанавливала фирма «Русский лес», владелец — господин Каштун. Я беседовал с ним на днях, и он заявил, что готов, если понадобится, свидетельствовать в нашу пользу. Документы у него в порядке: сметы, расходные ордера... я уже получил копии всех денежных документов для предоставления в налоговую инспекцию. Построить такой дом стоит довольно дорого, значит, и налоговые льготы окажутся значительными. Кстати, если господин... э-э... Фомин решит обратиться в суд, сумеет ли он объяснить, откуда у него такие средства?

Удар безжалостно точный! Информация о сумме гонорара недаром была приватной, поскольку большую часть денег за роспись конференц-зала Ларион Фомин получил чёрным налом. Собственно говоря, его даже не спрашивали, как оформлять выплату — просто выдали толстую пачку долларов, а в ведомости предложили расписаться за совсем иную сумму. И не в баксах, а в рублях. Деньги Ларион взял, и ничто в душе не дрогнуло. Оно, конечно, незаконно, но в нашей стране попробуй жить по закону — мигом и работодатель, и работник пойдут по миру. У русского человека сиздавна привычка закон нарушать, порой даже ни о чём таком не думая. И вот аукнулось.

Ларион потерянно молчал, машинально прокручивая последнюю пришедшую в голову мысль:

«Рейдеры... Этих людей называют рейдерами. Они приходят и делают так, что твоё имущество начинает принадлежать кому-то другому. И ничего не докажешь, у этих бандитов всё схвачено, у них всё по закону. Они не воры, они грабители в законе...»

Отрадьеv толчком раскачал кресло и, запрокинув голову, проговорил мечтательно:

— Здесь будет мой охотничий домик. Говорят, в этих местах прекрасная охота. Медведи, лоси, кабаны... Всю жизнь мечтал

застрелить медведя, причём не просто так, а в собственных охотничьих угодьях. Гостей буду приглашать, пусть посмотрят, как настоящие бары живут. Дом оформлен миленько, хотя, конечно, обстановкой придётся подзаняться. Чучело медведя поставлю, а в кабинете — вепрячью голову. На стенах портреты предков... Эй, мазилка, хочешь заказ на портреты? Не, где тебе, рылом не вышел. Так-то... Дом, конечно, обошёлся дороговато, так что ты, Борис, молодец, что о налоговых льготах подумал. Но главное не деньги, главное — честь предков! Ноблез, так сказать, облиз!

— Какой у вас ноблез? — обречённо произнёс Ларион. — Титулами вроде вашего в открытую торгуют. Десять тысяч баксов, и императорский геральдический комитет вместе с престолоблудителем, не помню, какой мошенник присвоил это звание, выведут ваш род хоть от самого Рюрика.

— Та-ак... — мрачно протянул Отрадьев. — Вот он как заговорил? А я ещё собирался этому козлу хороший откат предложить... Но теперь всё, кончилось моё терпение! Забирай свою пачкотню и мотай отсюда, чтобы я больше тебя не видел!

В зале висели две картины, написанные Ларионом. Пейзаж с усадьбой, самый первый, написанный, когда здесь не было ничего, кроме одуванчиков, и жанровая сцена, где возле горы переколотых, но покуда не окладенных дров курили Володька Замятин и Генка Проглот. Отрадьев задержался взглядом на пейзаже, буркнул: «Это сойдёт на первый случай», — а вторую картину сорвал с крюков и швырнул через весь зал под ноги задохнувшемуся от гнева и ужаса Лариону.

— Что ты делаешь, сволочь!

Ларион метнулся вперёд, охранники мгновенно сбросили сонное оцепенение, но увидав, что Ларион кинулся не на шефа, а к картине, вновь замерли, прилипнув к стенам.

Неизвестно, что сделал бы в следующую секунду Ларион, если бы не Ольга Юрьевна. Она бросилась на колени перед картиной, проверяя, цел ли холст, но выглядело это так, словно она на коленях упрашивает Лариона во что бы то ни стало прекратить мучительную сцену.

— Ларион Сергеевич, голубчик, умоляю, уйдём отсюда!

И хотя внутри всё кипело от ярости, Ларион сумел сдержаться. Он помог женщине встать, поднял чудом уцелевшую картину и молча направился к дверям.

— Дуй отсюда, говнюк! — напутствовал его Отрадьев. — И пеняй на себя, если снова мне попадётся!

Борис Яковлевич и один из охранников демонстративно прошли вслед за Ларионом в прихожую, где на вычурной корневой вешалке одиноко висел Ларионов зонтик.

— Ваш зонг, — напомнил адвокат. — Мы люди честные, нам чужого не надо.

Ларион выразительно посмотрел на него, адвокат приветливо улыбнулся в ответ.

На улице порывами бил ветер, с закатной стороны шла запоздавшая августовская гроза.

В одной руке Ларион нёс картину и зонтик, впихнутые ему на выходе, второй придерживал за локоть Ольгу Юрьевну. Стороннему наблюдателю, неспособному разглядеть призрачную даму, должно быть, представлялось забавное зрелище. Рука Ольги Юрьевны была холодной и напоминала касание ночного тумана. Но даже самый шквалистый ветер не мог унести этот туман.

— Хорошо, что вы ушли, — твердила Ольга Юрьевна. — Ужасные люди, они могли искалечить вас. Особенно парвеню, называвший себя графом. Я думаю, он просто безумен. Какой бред он нёс о своих якобы благородных предках! Он не только не имеет никакого отношения к нашему роду, он даже не Отрадьев. Я хорошо чувствую такие вещи. Его настоящая фамилия — Отродьин, но он сменил её уже давно, потому что она неблагозвучна. Чисто лакейский поступок... несчастный человек, но при этом его даже не жалко.

— С чего же это он несчастный? — не удержался от недоброго вопроса Ларион.

— Не может быть счастливым тот, у кого не осталось даже имени.

Первые крупные капли дождя шлёпнулись на землю. Ларион остановился в конце берёзовой аллеи, поставил картину на землю, прислонив к смутно белеющему стволу, раскрыл зонтик над головой Ольги Юрьевны.

— Ларион Сергеевич, экой вы, право, — тихо произнесла женщина. — Дождика я не боюсь, за девяносто бездомных лет сколько этих дождей сквозь меня пролилось — устанешь считать. А вот себя вам поберечь надо.

— Не сахарный, — коротко ответил Ларион.

Холодный дождь не остужал тлеющую в груди ярость. Струйки воды, стекавшие с волос за шиворот, вызывали озноб, но ничуть не успокаивали. Второй раз в жизни Лариона кинули так нагло и бесцеремонно. Первый раз такое случилось ещё в студенческие годы на излёте советской власти. Тогда Ларион подрядился оформлять территорию военного завода. На стенах заводских цехов нудно было намалевать лозунги: «На работу с радостью, с работы с гордостью!» — и прочее в том же духе. А под лозунгами изобразить вдохновенные пролетарские физиономии. Работать приходилось болтаясь на спущенной с крыши верёвке, что само по себе не облегчало задачи. А когда задание было выполнено, Лариона просто не пустили за завод. Ларион кинулся звонить директору, но услышал в ответ:

— У вас договор есть?

— Нет, но вы же обещали — оплата по выполнении...

— Я ничего не обещаю без договора, а кто вы такой, и вовсе не знаю. Всего хорошего.

С заводом Ларион расквитался радикально: вооружившись самодельной пращёй и кучей стеклянных банок с краской, залез на крышу дома, с которой просматривалась заводская территория, и заляпал безобразными зелёными пятнами всё своё художество. А один пузырёк умудрился положить ровно в окно директорского кабинета. На покупку зелёной краски ушла вся стипендия, так что вместо заработка получилось сплошное разорение, но о поступке своём Ларион никогда не жалел.

А как быть в данной ситуации? Чем художник, пусть даже и добившийся успеха, может досадить Валерию Отрадьеву? Руки коротки, и праща в данном случае не поможет. Всё как в считалочке: Ларион, пошёл вон — вот и весь сказ.

Дождь хлестал всё сильнее, обратившись в настоящий ливень, какие разве что в июне бывают. По строительной пло-

щадке, не успевшей порости муравой, бежали жёлтые от глины ручьи. Ларион измок до нитки, но упорно продолжал держать зонт над головой неуязвимой Ольги Юрьевны.

*Всю ночь сижу я и страдаю,  
Темно вокруг и грустно мне.  
А струйки мутные так медленно стекают  
За воротник и по спине...*

По какой ассоциации припомнилась старая туристская песня? Ах, да, студенческая месть заводу! А что делать теперь? Не отдавать же хладнокровному мерзавцу всё, ради чего жил последние годы? Жаль даже не денег, хотя строительство выпотрошило Ларионов бюджет вчистую. Но нестерпимо думать, что в любовно восстановленном доме будет хозяйничать тип, которого в былые годы и до людской не допустили бы. Граф Отрадьев, как язык-то поворачивается выговорить такое? А ведь ему поверят, деньги умеют уговаривать. Родовое гнездо — вот оно, пожалуйста! Портреты предков закажет у Ильи Глазунова. На охоту станет выезжать в Пашину ужоу, со сворою собак и егерей. И, конечно, исполнит давнюю мечту: сидя на вышке, в полной безопасности, застрелит живущую в ужоже медведицу. Плевать ему, что это запрещено законом, он граф — и значит, в своём праве.

Прямо хоть бери дедову двустволку и устраивай засидку на барской пустоши.

Ружьё — грох! Граф — кувырк! А не ходил бы ты, граф, за чужим добром!

Как же, так ему и позволят засидку устроить! Телохранителей видал? — профессионалы... По всему знать, не один Ларион мечтает поквитаться с обидчиком. Тьфу, даже не знаешь, как его величать: Отрадьев-Отродьев... Драко-Дракович.

Ольга Юрьевна поднялась с камушка, на который присела поначалу, встала так, чтобы и на Ларионову долю достался кусочек зонта. Они стояли недопустимо близко с точки зрения морали девятнадцатого века. Хотя, что может знать мораль? Моральные императивы неприменимы ни к призракам, ни к художникам.

— Ларион Сергеевич, — тихо произнесла Ольга Юрьевна, — я догадываюсь, о чём вы сейчас думаете. Не надо этого делать. Даже двести лет назад такое уже не помогало.

— Так что же, сдаться на милость победителя?

— Ни в коем случае! Этот выскочка думает, что купил наше имя. Он полагает, что захватил наш дом, и отныне ему принадлежит прошлое и будущее. Он ошибается, ему не принадлежит даже настоящее. Мы привыкли переделывать историю в угоду толстым кошелькам, но всему на свете должен быть предел. Продаётся всё, кроме чести, и сколько бы ни было денег у отродья, нашу фамилию он не купит.

— И тем не менее, — с горечью произнёс Ларион, — он сидит там, а мы мокнем здесь.

— Вот именно — мы. Я могла жить на развалинах, но оставаться рядом с этим нуворишем — выше моих сил. И я ушла с вами. У вас нет родословной, но есть благородство и честь, а это важнее. А без меня, я это говорила, дом стоять не будет. Смотрите... — Ольга Юрьевна подалась вперёд, указывая в дождливую темноту, — вон там, под берегом прежде били родники. Криница была обустроена, берег камушками цветными выложен. Потому и колодца при усадьбе не копали. Когда усадьба сгорела, обломки и часть фундамента обрушились в криницу и засыпали родники. Остался только тот, что ниже по течению. Девяносто лет источник был заперт под землёй, но сегодня его заточению придёт конец. Я ушла, да ещё и этот дождь... Смотрите...

Август, поздний вечер, дождь... что там можно разглядеть? Но недаром Лариону достались зоркие дедовы глаза. Нет родословной, но есть род. Ларион видел происходящее как на собственной ладони. Вздувшийся ручей, оплывающие пласты глины и песка... Бревенчатый сарайчик покосился и с медленным хрустом завалился набок. Движок генератора смолк, хотя его и прежде было не особо слышно, свет в доме погас, исчерченные дождём окна погрузились во тьму. Впрочем, почти сразу вновь замелькал свет, беспокойно мечущийся из стороны в сторону.

Точно, вспомнил Ларион, ведь рейдеры заявили к нему с мощным переносным фонарём. И сейчас ищут причину

поломки. Ни пробок, ни счётчика в доме нет — зачем при собственном генераторе? Значит, скоро они выйдут на улицу и увидят, что происходит.

Дождь продолжал хлестать, глина плыла вниз, новорожденный овраг подбирался к самому дому. Серебристый джип, оставленный на берегу, накренился и тоже поплыл под откос. По-милицейски завывла сигнализация.

Луч света, шаривший по террасе, немедля переместился на лужайку перед домом.

— Ну, если это мудро чего натворило, — донёсся рёв Отрадьева, — он у меня ответит! На запчасти пушу недоноска!

Тёмные фигуры заматались по двору, и в эту минуту качнулась и начала крениться стена холодного флигеля.

Ничего не скажешь, отрадьевские охранники показали себя настоящими профессионалами. Прежде всего они кинулись спасать хозяина. Если бы Ларион в своё время поддался на уговоры двурушника Каштуна и построил дом не из кругляка, а из бруса, телохранителям удалось бы выдернуть шефа из-под удара, но круглое бревно, подпрыгнув, ударило одного из мордovorотов по ногам, и он не сумел отшвырнуть Отрадьева достаточно далеко. Косая четырёхвершковая стропилина упруго сыграла о груды брёвен, в которую превратилась рухнувшая стена, и уже на излёте приложила к лысому черепу самозванного сиятельства.

Далее Ларион не смотрел. Оскальзываясь в мокрой траве, он бежал на выручку гибнущим людям.

Странно устроено интеллигентный человек. Только что мечтал об убийстве и на полном серьёзе был готов взяться за ружьё, а как сбылась кровожадная мечта, тут же помчал спасать мерзавца, которого минуту назад вполне обоснованно хотел убить.

Впрочем, спасать пришлось не Отрадьева, а самоотверженного телохранителя, ноги которого остались под завалом брёвен.

Второй охранник в критической ситуации проявил себя изрядным психологом. Ни на мгновение он не заподозрил Лариона в желании добить пострадавших и с ходу принял помощь.

— Лом у вас есть? — закричал он. — Лом нужен!

Лом и прочий инструмент, запретный для тонких пальцев художника, хранился в гараже, оформленном под конюшню. В две минуты часть брёвен была растащена, под остальные подведена вага, приспособленная из того самого бревна, что огрело по темени Отрадьева. Хрипя от натуги, охранник приподнял завал, а Ларион, ухватив под мышки, вытащил пострадавшего.

Всё это время Борис Яковлевич метался из стороны в сторону, нечленораздельно кудахтал и пытался нажимать кнопки мобильного телефона, бесполезного в этой глуши. Спутниковая мобила Отрадьева оказалась разбита в кашу и тоже бездействовала.

Освободив раненого, занялись машиной. Ларионовский жигулёнок оставался в деревне, так что пришлось ставить на колёса увязший в грязи «Порш-кайен». Положение усугублялось тем, что ещё одна стропилина с крыши рассыпавшегося флигеля вмазала торцом в серебристый борт.

В пустом гараже нашёл буксировочный трос и ручная лоббёдка. Трос зачалили вокруг ствола старой берёзы и постепенно выволокли джип на твёрдую землю. Затем при помощи всё той же ваги двухтонная машина была варварски перевернута и встала на колёса. Удар о землю разнёсся далеко окрест, как если бы очень большой медведь сорвался с осины, на которую вздумал сдуру залезть.

Удивительный образом мотор покалеченного «Порша» заработал, как ни в чём не бывало, доказав себе и остальному миру, что крутая тачка — это не хухры-мухры.

Лишь затем Ларион повернулся к сидящему на земле Валерию Отрадьеву.

Есть люди со столь грубой душевной организацией, что поневоле задумаешься, а умеют ли они чувствовать вообще? Но даже в самой тупой башке многое проясняется, если как следует приложить по ней четырёхвершковым бревном. Первые сиятельный нувориш видел то, чего прежде не мог разглядеть ни за какие деньги. Из дождливой тьмы один за другим выходили люди. Они останавливались и разглядывали его, словно отвратительное, полураздавленное насекомое. Бывшие владельцы усадьбы «Отрадное» — пехотные офицеры и

коллежские ассессоры, горные инженеры, экстраординарные профессора — служилые дворяне, они не могли и не хотели жуировать жизнью за крестьянским хребтом. Как и следует из их звания, они исполняли государственную службу, и в новгородское имение возвращались лишь на время вакаций или выслужив полный пенсион. Среди них не было прославленных деятелей, но титул свой они оплатили не мощной, а кровью.

Их взгляды жгли, презрение убивало.

— Высочка!.. Парвеню!.. Самозванец!

Чернявый мужчина в старинном стрелецком кафтане встал рядом с Ларионом, медленно потянул из ножен источенную в ратных делах саблю.

— Что с ним делать будем?

— Пусть уползает, — ответил Ларион.

Он наклонился к Отрадьеву и, глядя в белые глаза, спросил:

— Ты понял, что с тобой случится, если ты ещё раз появишься на моём пути?

— Б-б... ва... — согласно икнул несостоявшийся граф.

Ларион рывком поднял безвольное отрадьевское тело. Вдвоём с охранником они усадили Отрадьева на переднее сиденье джипа, сзади уложили второго охранника, у которого, кажется, были сломаны ноги. Оставшийся целым телохранитель действовал быстро, чётко и целеустремлённо. Никаких призраков он не видел, и те тоже не обращали на него внимания. Обустроив шефа и товарища, телохранитель уселся за баранку, прощально кивнул Лариону, и джип, вихляя повреждённым колесом, двинулся к броду.

— Эй, а меня?! — закричал забытый Борис Яковлевич.

— Там нет места, — пояснил Ларион. — У человека сломаны ноги, он не может сидеть.

— А как же я?

— А ты — сзади. Петушком, петушком...

Машина, взрывывая и подсвечивая себе единственной фарой, взбиралась на косогор по ту сторону ручья.

— Уехали! — плачущим голосом проблеял адвокат. — Меня кинули!

— Документы на дом где? — потребовал Ларион.

— Там, всё там! — Борис Яковлевич замахал ручонками в сторону усадьбы, всем видом показывая, что согласен скорее умереть, нежели хоть на минуту вернуться под готовую обрушиться кровлю.

— Значит, так, — сказал Ларион. — Через ручей перейдёшь по камушкам, смотри не оскользнься, они мокрые, а дальше дорога плотная, не собьёшься. До деревни пять километров. Оттуда автобус до райцентра ходит, два раза в неделю. Захочешь, доберёшься.

Адвокат нерешительно направился в сторону брода. Ларион нагнал его, протянул зонтик.

— На вот, возьми. А то вымокнешь дорогой.

Теперь, окончательно разобравшись с рейдерами, Ларион смог взглянуть на своих спасителей.

Отрадины уходили в ночь, в то небытие, что на недолгие минуты отпустило их. Хотя почему в небытие? Ведь они явились из прошлого, которое реально было, и потому непременно существует и днесь.

Допетровский стрелец задержался на шаг, остро улыбнулся сквозь клочковатую татарскую бороду:

— Что, тёзка, крутенько пришлось? Смотри, теперь твоя очередь дом ставить и род. Ну да ты справишься, Ларионы народ упорный.

Они ушли, оставив Лариона оценивать ущерб и приводить в порядок чувства.

Полуразваленная усадьба производила удручающее впечатление. Придётся укреплять берег, разбирать завалы на месте рухнувших флигеля и сарая. Генератор почти наверняка погиб. Весь дом накренился, врубленные в пазы брёвна, составлявшие боковые стены холодного флигеля, опасно висят, угрожая довершить разрушение. Всё это надо будет аккуратно снимать, и не когда-нибудь, а сейчас; зиму руина не простоят. Двухэтажную часть придётся поддомкрачивать, подводить в фундамент новые камни, заливать бетоном... А на какие шиши? Денег на счету не осталось, и серьёзных доходов впереди не предвидится.

Что творится внутри, лучше не представлять. Наборный паркет наверняка покоробился, фирменная паутинка излома-

лась или осыпалась, резные панно не держатся на покривившихся стенах. На второй этаж подниматься попросту опасно. Камин и печи растрескались, всё требует ремонта, срочного и дорогостоящего. По-настоящему уцелели только баня, гараж и кухонный флигель. Но если обрушится центральная часть, то и флигель не устоит.

В голове против воли мелькнула догадливая мысль — позвонить иудушке Каштуну и попенять: «Как же так, приехал наемни господин Отрадьев, родовым именем полюбоваться, а ваше строение ему прямо на голову рухнуло. Нехорошо получается...»

Каштун, конечно, примчится, и кое-что с него удастся сорвать. Скажем, работы по укреплению фундамента и разборку рухнувшего крыла. Конечно, он будет ныть: мол, гидрографию вы не заказывали, а без неё кто мог знать, что под берегом родники?.. Да, не заказывали, а ты предлагал? Кто из нас специалист — бедный художник или владелец фирмы «Русский лес»? Так что вполне можно кое-что исправить за счёт мироеда. Вот только противно это, аж мочи нет. Уж лучше как-нибудь самому.

Из темноты подошла Ольга Юрьевна. На ней по-прежнему был костюм курсистки, только шляпка и перчатки пропали, должно быть, забыты на каминной полке.

— Вы замечательно поступили, Ларион Сергеевич, когда побежали спасать этих людей. Нет, тут не было никакого испытания, один только ваш выбор. Останься вы на месте, эти четверо погибли бы. Но и дом тогда рухнул бы полностью, его было бы уже не восстановить. От вас зависело, наказать обидчиков такую ценой или простить.

— Вот уж прощать я их не собираюсь, — проворчал Ларион.

— Тем не менее, они уехали, а дом, хоть и пострадал, но остался цел. И не надо смотреть так безнадежно. Конечно, на починку потребуется время и силы, но вы справитесь. А с деньгами и вовсе проблемы не будет. Идите за мной, я должна вам кое-что показать.

Они спустились к ручью, обойдя оползень, и вышли туда, где освобождённый источник размывал себе дорогу среди старых и новых обломков. Вода уже очистилась от мути, было

видно, как кипит дно криницы. Вечный танец песчинок в родниковых струях... Несколько плоских камней лежало неглубоко под водой, должно быть, прежде они облицовывали берег, но потом сползли вниз, либо же, напротив, вода поднялась высоко.

— Ну вот, — виновато произнесла Ольга Юрьевна, — не подумала. Как говорил сегодняшний лакей: тут нужен лом.

Ларион притащил лом, забытый возле бревенчатого завала. Ольга Юрьевна ждала внизу, в руке горела вечная свеча. Дождь уже кончился, и хотя ветер никак не мог успокоиться, язычок пламени на фитиле стоял неподвижно. Да и что может задуть такую свечу?

— Вот этот камень, — указала Ольга Юрьевна.

По виду камень казался здоровенным валуном, какой трактором двигать впору, но когда Ларион, ступив кроссовками в ледяную воду, поддел ломом край гранитного великана, тот оказался неожиданно тонким, и после некоторых усилий его удалось перевернуть. Течение быстро унесло взвихрившуюся муть, и через минуту в воде обнаружилось что-то, покуда непонятное, затянутое илом и песком.

Ларион присел на корточки, опустил в воду сразу озябшие руки, стараясь промыть и разглядеть, что лежит под камнем. Кажется, это была полностью истлевшая укладка, сундучок, в каких прежде девушки копили приданое. Такие укладки и посейчас порой встречаются в старых деревенских домах. Крышка сундучка провалилась, внутрь натянуло песка, и что там лежит, было не разобрать.

— Это клад? — спросил Ларион.

Полночь, редкие звёзды в просветах рваных туч, полуразрушенный дом, истлевший сундук с неведомыми сокровищами и призрак, стоящий рядом со свечой в руке. О, сколько восклидательных знаков поставил бы, описывая эту сцену, автор готических романов! А Ларион спросил просто и буднично, словно каждый день добывал из земли нечто подобное.

— Можно сказать и так, — Ольга Юрьевна кивнула. — Отрадины были не слишком богаты, фамильных драгоценностей у нас не важивалось, но столовое серебро в те поры было в каждой приличной семье. Его успели спрятать дня за

два до того, как пришли... экспроприаторы. Они забрали всё, что только можно, рылись в подвале, искали, нет ли свежих копанок в саду. Но серебро не нашли, течение загладило следы. Так оно и пролежало в воде девяносто лет. Теперь я отдаю его вам. Не бог вещь какая ценность, но на починку дома должно хватить.

В течение получаса Ларион вытаскивал из жидкой грязи серебряную утварь, тут же споласкивал её в ручье и укладывал в корзину, принесённую из дома. Наконец, Ольга Юрьевна сказала, что больше в кринице нет ничего. Дрожа от холода, Ларион поволок тяжёлую корзину к дому. Ольга Юрьевна проводила его до входа во флигель, но когда Ларион распахнул перед ней двери, сказала:

— Простите, Ларион Сергеевич, но я пойду к себе. Я очень устала сегодня.

— Но завтра вы придёте? — испуганно спросил Ларион.

— Да, конечно, завтра я приду непременно. А за дом не беспокойтесь, он не рухнет. Хотя чинить надо не мешкая.

Оказавшись под крышей, иззябший Ларион первым делом затопил печь. Выгреб старую золу, сложил дрова большой клеткой, запалил бересту. Русские печи бывают такими же разными, как и русские люди. У новгородки колпак и труба выложены впереди чела, ровно над шестком. Считается, что такая печь капризна, без присмотра её не оставишь, того гляди, вылетит уголёк и подпалит весь дом. Зато нет в мире более завораживающего зрелища, чем топящаяся новгородка. Дым и языки пламени бьют, кажется, в самую избу, но, совсем немного не достигая лица сидящего, круто изгибаются и уходят под колпак. Ни в каком самом изысканном камине нет такого эффекта. Перед новгородкой можно греться, как перед камином, а в то время, когда топится безопасная псковка, в избе становится только холоднее.

В книгах, написанных незнающими людьми, сплошь и рядом можно прочесть, как в русскую печь подбрасывают дров. Чушь, бессмысленное и глупое занятие! Сколько ни кидай в печку поленьев, всё тепло уйдёт через широкую прямую трубу, а снаружи натянет стылого воздуха. В русской печи делают одну закладку, а когда дрова прогорят, разгребают угли

по загнёткам и кладут на дымоход стальной кружок вьюшки. И тут же вся изба наполняется ленивым сонным теплом.

Но хозяйке дремать некогда. Пока печь разогрета, начинается самая стряпня. Чугунок со шами для завтрашнего обеда ставится поближе к угольям, горшок с кашей — к дальней стенке, а на серёдку на двух кирпичинах устанавливают противень с пирогом, который будут есть вечером. Раньше и хлеб пекли в русской печи — искусство ныне почти забытое.

Когда в доме нет хозяйки, стряпнёй занимается бобыль. И неважно, что всего пару часов назад пришлось сцепляться с рейдерами, а потом выкапывать клад. Кушать хочется каждый день, и в этом есть непреложная правда жизни. Вот только пирогов бобыли не пекут, обходятся шами и кашей. Так спорей получается.

Ларион сидел, ожидая, пока прогорит угар, и чистил золой фамильное серебро графов Отрадиных. Ложки, ножи — столовые и с зубчиками по краю — для рыбы, половник с изогнутой ручкой, солонку, литую супницу. Дюжину чеканных стопок для водки, шесть кубков... Серебро было тяжёлым, на вилках и ложках — вензели, на половнике и супнице — графские короны и дата: 1818. Трудно сказать, сколько можно выручить за подобный столовый прибор в антикварном магазине. Всяко дело много... на ремонт хватит с избытком.

Забавно, Ольга Юрьевна говорила: «починка». Для неё ремонт — термин кавалерийский.

Впрочем, ремонт или починка — денег хватит на всё. Вот только купит семейную реликвию какой-нибудь нувориш, граф Отродьев. От этой мысли становится мёртво на душе.

И ещё одна убийственная мысль... Когда-то он спросил Ольгу Юрьевну: «Ведь из-за чего-то вы бродите здесь...» Полученный ответ полностью удовлетворил его, но теперь из родника вынырнул клад, и в сердце поселилось сомнение. Не окажется ли это серебро вещественным воплощением семейной памяти? Ольга Юрьевна сказала, что непременно придёт завтра... то есть уже сегодня. А послезавтра? Кто гарантирует, что она не уйдёт навсегда, если продать эту посуду? В таком деле рисковать нельзя, лучше сразу пойти и закопать начиненное серебро в песчаном дне родника... и Ольга Юрьевна

не исчезнет, она по-прежнему будет неприкаянно бродить округ, охраняя полпуда столовых ложек. Как ни поверни, всё получается худо.

Оставить старинное серебро у себя, создать нечто вроде музея помещицкого быта? Оно, конечно, звучит красиво: Музей-усадьба «Отрадное», но чем вещи, похороненные в витрине, отличаются от похороненных в земле? Есть в экономической науке такое понятие: «сокровище». Это мёртвые, лежащие без движения ценности. И не важно, где они лежат: в земле, сундуке или витрине. Важно, что они мертвы.

Ларион горько рассмеялся. Экие страсти — и из-за чего? Добро бы нашлись драгоценности древних царей, заклятые языческие святыни, бриллиант с кровавой историей, тянущейся сквозь века!.. Но ложки, супница, солонка? Они-то какое отношение имеют к судьбам людей? Ложкой надо есть суп, на роль жупела она не годится.

Ларион протёр полотенцем надраенную солонку, всыпал в неё полпригоршни крупной серой соли. Покачал головой, поставил солонку на стол и повернулся к печи. Дрова прогорели, пора закрывать трубу.



Ольгу Юрьевну Ларион нашёл на лужайке перед домом. На этот раз видение было одето в шёлковую амазонку, переливающуюся на солнце всеми оттенками бирюзового. В руках, как напоминание о ночной грозе, красовался почти игрушечный кружевной зонтик.

— Доброе утро, — сказал Ларион, подходя. — Вы знаете, я долго думал, как поступить с вашим подарком и, кажется, нашёл выход. Идёмте, я хотел бы вам показать...

Они прошли в столовую, и Ольга Юрьевна замерла в недоумении. Струганый стол был застелен скатертью, посредине возвышалась серебряная супница, над которой поднимался густой сытный пар. Рядом ожидали две глубоких фаянсовых тарелки, принесённых когда-то из бабушкиного дома, и ложки с вензелями графов Отрадиных.

— Что это? — прошептала Ольга Юрьевна.

— Серые щи. Кушанье самое простонародное, но у меня не было других продуктов. Солонина, крошево из капустного листа, немножко крупы. Всё-таки это лучше, чем ничего. Прошу к столу!

— Но я не умею есть! — испуганно воскликнула Ольга Юрьевна.

— А вы пробовали?

— Нет. Мне просто в голову не приходило. И потом, где я могла попробовать? Меня никто никогда не угощал.

— Ну так попробуйте. Ваше серебро должно быть при деле, а для ложек другого дела не придумано.

Ларион влил в старую тарелку половник наваристых, так что не продуешь, щей, придвинул Ольге Юрьевне. Та села, осторожно взялась за ложку.

— Боже, как вкусно! Вы уверены, что дворяне этого не ели?

— Не знаю. Говорят, Александр Третий любил зелёные щи с крапивой. Тоже мужицкая еда. Впрочем, не всё ли равно? Вы ешьте...

Он осторожно коснулся тёплой женской руки и добавил:

— А дом мы с вами вместе всё равно восстановим.

## ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ

Яблока сырые прияты вредительны  
суть телу паче всех овощей.

*«Вертоград прохладный»*

— А что, дорога вполне приличная, — произнёс Путило, резко крутанув руль.

Автомобиль накренился и начал заваливаться в колею, густо наполненную серой жижей, больше всего напоминающей шламовые отстойники абразивного завода. Ефим Круглов судорожно ухватился за ручку дверцы, словно собираясь выпрыгивать сквозь ремни безопасности, но машина всего лишь ухнула в колдобину и, натужно взрѣывая, принялась расплѣскивать тракторного замеса грязь. Струйки глинистой суспензии стекали по заднему стеклу, превратив мир в серый абстрактный витраж. Сквозь лобовое, почти чистое стекло Круглов видел грязевые разливы: глубокие, податливые и цепкие. Самый их облик однозначно предсказывал, что случится через минуту: звук мотора изменится, колѣса забуксуют, не находя опоры в полужидкой среде. С минуту Путило помучается, переключая скорости и пытаясь раскатать завязшую «ниву», потом шѣлкнет дверцей и скажет:

— Приехали. Придѣтся тебе меня подтолкнуть.

Ефим опустил взгляд на свои ноги. Три часа назад, в городе, он опрометчиво полагал, что надел резиновые сапоги. Теперь стало ясно, что по здешним меркам его обувька в лучшем случае может сойти за тапочки. Голенища сапожек едва доставали до

щиколоток, и значит, лучше было сразу снимать их и шагать в холодную октябрьскую грязь босиком.

Круглов осторожно, выискивая ногой опору, ступил в грязь и сразу же провалился выше сапог. Казавшаяся густой каша мгновенно хлынула внутрь. Загустевая в глубине масса покорно раздалась под ногой. Ефим попытался сохранить равновесие, немедленно черпанул вторым сапожком и, не удержавшись, плавно, как в замедленном фильме, повалился набок. В самый миг падения отчётливо представилось жуткое бурое пятно в полплаща и вспомнилось красивое слово: «бежевый». Больше плащу бежевым не быть.

Он ещё старался вскочить быстрее, как будто грязь может не успеть прилипнуть к чистой ткани, но ноги, так и не встретив опоры, проскользили в разные стороны, и он снова упал, на этот раз на живот, до локтей погрузив оба рукава в пованивающее навозом и соляркой месиво.

«Гнила, — мелькнула неуместная мысль. — Деревенские называют глину гнилой».

После этого его опять повалило на сторону, и он понял, что тонет.

«Нива», смердя сиреневым выхлопом и швыряясь из-под колёс грязью, медленно уплывала по разбитой дороге.

— Сергей Лукич! — крикнул он, уже зная, что машина не остановится. — Путило! Помоги!.. Сто-ой!!!

Шматок грязи хлёстко залепил в лицо, мгновенно ослепив и наполнив открытый рот пресной горечью разведённого глинозёма. С натугой Круглов выдрал наружу одну руку, но лишь сильнее замазал глаза. Когда он проморгался, легковушки уже не было, а успокоившаяся колея плотно зажала ноги и туловище, словно не земля была вокруг, а мгновенно твердеющий алебастр. И не за что было схватиться, чтобы вытащить себя, и не оставалось сил держать запрокинутую голову над поверхностью жижи, терпеливо ждущей, чтобы засосать и уложить его на дно колеи под гусеницы запоздалому трактору.

Почему-то даже сейчас он не мог заставить себя крикнуть: «Спасите!» Стыдно было, что ли? Он набрал воздуха, сколько вошло в сдавленную грудь, и попытался звать на помощь, но сумел издать лишь сиплый писк. Зато липучка, в которой он

барахтался, словно проснулась и потянула его вниз. Ефим хлебнул холодной грязи, забился, понимая, что топит себя окончательно, и, булькая, закричал:

— А-а-а!..

— Ты чего? — спросил Путило.

Круглов попытался вскочить, но ремни удержали, заставив вновь откинуться на сиденье.

— Приснилось, — выдавил он.

— Бывает, — согласился Путило. — Здесь в два счёта может укачать. Но, заметь, дорога отличная. Сверху жижа, а внизу плотный грунт. Тут прежде тракт проходил, так до сих пор путь держится.

— Понял, — сказал Круглов, вытирая лицо. На зубах скрипело, во рту был вкус глины.

— А вот и деревня, — сообщил Путило. — Называется Горки. Хотели её переименовать, чтобы не путали, да руки не дошли. Так и осталось Горки.

Букву «г» Путило произносил мягко, на хохляцкий манер, так что получалось «Хорки».

«Хорки так Хорки, — подумал Ефим. — Главное, чтобы сухо было».

— Нам ещё версты полторы, — сказал Путило. — Склады там.

— Чего так далеко?

— Укрепрайон. Где немцы доты строили, там и склады.

Автомобиль наконец доплыл к первым домам. Здесь Путило не рисковал опрокидывать «ниву» в переполненные колдобины, он слишком хорошо знал, как деревенские бутят ямы под окнами битой стеклотарой и прочими составляющими культурного слоя. Путило старался держаться тропки, протоптанной вдоль палисадничков, огороженных пряслами в одну жидкую жердинку. Обвислые розетки счерневших от мороза георгинов уныло размазывали грязь на дверцах раскачивающейся машины. Пару раз автомобильный бок шкрябнул по жердям, кажется даже сломал одну, но и после этого в деревне ничто не проснулось, она оставалась такой же молчаливой, серой и придавленной к земле, как и молчаливое, серое, придавленное к земле небо над ней.

Деревня была длинная, всяко дело больше километра, а домов Ефим насчитал десятка два. Между одинокими постройками, словно провалы в хорошо прореженной челюсти, пустели заросшие бурьяном фундаменты, кучи деревянной трухи, уголья. Казалось, здесь много лет кряду не утихала война, и теперь уцелевшие людишки нарочно живут победнее, зная, что всё равно налетят и ограбят. Не одни, так другие. Так что не стоит и наживать.

Возле одного дома у калитки Круглов заметил человеческую фигуру. Существо, кажется женского пола и очень неопределённого возраста, сухо смотрело на телепающийся в грязи экипаж. На существе была затёртая, пыльного цвета телогрейка, из-под которой свисал выцветший подол подозрительного покроя, а уж из-под него торчали преогромнейшие кирзовые сапоги. То был не человек даже, а как бы природное явление, такое же вечное и обязательное, как заросли пожухлой лебеды или покосившийся столб, неведомо кем и когда вкопанный в стороне от дороги. Мимо сквозили века, народы, завоеватели какие-то, а существо стояло, опершись о плетень, строго глядя на разболтанную колею и не видя, кого несёт по этой колее мимо тихой деревни Хорки.

Оккупанты спрыгивали с танковой брони и храпящих степных лошадей, бежали по избам, волокли кур, граммофоны и голосащих девок, с отяжкой рубили кривым булатом непокорных, жгли дома и сараюшки, но не обращали внимания ни на бурьян, ни на кривоватый столб, ни на безликую кирзовую фигуру. А зря, потому что проходило малое время, и следа не оставалось от захватчиков, самая память о них истиралась, а бурые стебли, подгнивший столб и согнутая фигура продолжали стоять.

Щёлкнув дверцей «оппеля», Ефим выскочил наружу. Настроение у него было прекрасное. Да и в самом деле, чего опасаться? Глубокий тыл, земля, можно сказать, своя. Смешная деревня, забавные люди, осень, яблоки... Хорошо! Автомат остался висеть на плече дулом вниз: всё кругом зер гут, яблоки не стреляют. Пропечатывая на скользких размывах глины рубчатые шрамы следов, Ефим приблизился к стоящему у плетня существу. Сдвинув на затылок пилотку, оглядел аборигена. Пожалуй, это всё-таки женщина. Затем спросил:

— Шпрехен зи дойч?

— Ich verstehe nicht, — непонятно ответило существо, глядя насквозь прозрачными выцветшими глазами.

Ефим недоумённо пожал плечами, чётко, словно на плацу, развернулся. О чём говорить, с кем не о чем говорить? Нога, уютно упрятанная в сапог, проскользнула, словно под каблук попал небрежно брошенный огрызок яблока. Ефим изогнулся, стараясь удержаться растопыренными руками за воздух. Брошенный шмайсер ударил дулом в поясницу, и Ефим всем телом грохнулся на дорогу, смертельно скользкую, но всё ещё твёрдую под тонким слоем жижи.

Коротко в три толчка ударила очередь.

«Совсем не больно... — успел удивиться Ефим. — Сейчас...»

— Опять что-то приснилось? — вопросительно произнёс Путило. — Здоров ты спать.

— Недосып, — севшим голосом выговорил Ефим. — Сессия. Экзамены сдавал.

— Какие же экзамены в сентябре? — недоверчиво поинтересовался Путило. — Сессия вроде весной бывает и зимой.

— Так получилось, — уклончиво ответил Круглов.

— Ага, — согласился Путило. — А что сдавал?

— Помологию. Профессор Рытов — зверь. Душу вынимает.

— Ага, — повторил Путило, не отрывая взгляда от дороги.

«Нива», натужно завывая, ползла в гору. Деревня уже осталась позади, дорога оврагом вгрызалась в холм или, может быть, изначально была проложена по впадине. Время от времени по сторонам над обрывами являлись невысокие деревья, корячившиеся пустые ветви в провисшее небо.

— Яблони, — сказал Путило, мотнув головой. — Раньше тут сплошняком сады росли, торговля шла крупная, на ярмарке плодоводства в девятьсот одиннадцатом году отдельный павильон был — «Псковские яблоки», в Берлине — фирменный магазин, не помню чей. Потом, конечно, всё хизнуло, повалилось, при Хрущёве яблони порубили — ничего не осталось.

— Как это ничего? Откуда тогда склады?

— Ну, кое-что, конечно, осталось. В основном — по заброшенным деревням, где рубить было некому. Работаем по-

леньку, но фирменного магазина на Seestrasse мне ещё долго не открыть.

— Ого! Ты глянь, Сергей Лукич! — перебил Круглов.

Влево от дороги, где холм приминался пологой ложбинкой, неприкрыто распласталось серое военное сооружение. На десяток метров в окружности земля была заменена замшелым от старости цементом. Его грубая фактура, выветренная и потемневшая, казалась камнем, искони росшим тут, забытым рассеянным ледником в далёкий мамонтовый период. Но сквозь эту твердь в свою очередь пробивалось иное творение чужеземных рук: стальной колпак неведомой толщины, столь мощный, что даже ржавчина не осмеливалась пятнать его. Раскосая прорезь амбразуры сторожила танкоопасное направление, неприязненно глядя на гражданский экипаж, вздумавший прошмыгнуть мимо.

— Это и есть укрепрайон? — с тихим восторгом спросил Ефим.

— Он самый.

— А где вход?

— Нам к нему ещё пилить и пилить. Он на той стороне холма, за бугром.

— Не слабо сказано, — оценил фразу Ефим.

Легковушка перевалила водораздел и юзом сползла вниз, где в сторону от дороги отходила ещё одна раздолбанная колея. С виду она была точь-в-точь как та, по которой они только что плыли, но, видимо, качество этой хляби было иным, потому что Путило вывел машину на обочину и заглушил мотор.

— Дальше — ножками, — произнёс он, распахивая дверцу. — Дальше только трактор пройдёт.

Вход в бункер открылся неожиданно: путники обогнули отрог холма и увидели, что часть склона словно срезана долой и на этом месте темнеет заложенная кирпичом арка. Когда-то, должно быть, она была замаскирована и страшна гордой неприступностью, но сейчас, выставив напоказ обшарпанное уродство, сооружение походило на брошенный за ненадобностью туннель, а никак не на крепость минувшей войны. Расколотые остатки бетонных туюфяков, некогда прикрывавших

горжевую часть, теперь были свалены вниз и густо зеленели лишайником.

— Ну как? — спросил Путило, опуская тяжёлый рюкзак на треснувшую плиту.

— Впечатляет, — согласился Круглов. — А что, тут никого нет?

— Да уж, — с неожиданной злобой произнёс Путило. — Был тут у меня один — сторож. И смотал. Объект бросил, даже вот смены не дождался. Хрена он у меня получит солёного, а не зарплату. Почему, думаешь, тебя сюда так спешно везти пришлось? Тут яблок лежит немеряно и оборудование завезено. А охраны — никакой. Всё для добрых людей. Во, гляди!

Путило подошёл к двустворчатой железной двери, украсившей центр кирпичной кладки, пошарил под порогом и вытащил ключ. Тяжёлый амбарный замок со скрипом распался, открывая проход.

— Это тоже немецкое? — с сомнением спросил Круглов, кивнув на сварную дверь.

— Не, это потом. Тут всё было замуровано году в пятидесятком, чтобы не шастали, кто ни попадя. Мы только проход пробили и дверь навесили. Ну, и, конечно, вычистили оттуда гору дерьма.

Ворота завизжали на петлях и открыли вторую дверь из плотных деревянных плах.

— Это уже для тепла, — пояснил Путило, снимая крошечный контрольный замочек.

Жёлтые лампы под потолком осветили уходящую вглубь горы штольню. Она была широка, больше трёх метров в свету, как говорят строители, и до половины заставлена заколоченными ящиками. Сделанные по трафарету надписи навесали мысли о чём-то техническом.

— Оборудование, — предупредил вопрос Путило. — Консервный цех, мармеладное производство... и всё стоит без дела, распутица строить не позволяет. А яблоки — в рокадной галерее и казематах. Там глубина метров двенадцать, температура всегда комфортная, ни мороз там не страшен, ни жара.

— А боевая линия? — щегольнул знаниями Ефим.

— Это далеко. К тому же там постройки котлованного типа, они для фруктохранилища хуже приспособлены, — видно было, что Сергей Лукич отлично изучил своё хозяйство и разговор поддержать может. — Там до сих пор пусто, только один из орудийных дотов оборудовали тебе под жильё.

— А почему не наблюдательный пункт? Он сторожу больше подходит.

— Да, конечно. Ты как-нибудь туда сходи, полюбопытствуй. А понравится, так и переезжай.

— Разрушен? — догадался Круглов.

— Не, что ты. Просто там потолки семьдесят сантиметров высотой. Очень удобно.

Они спустились вниз, засветив следующую цепочку сиروتливо болтающихся лампочек. Проходы здесь были не так широки, но всё равно почудилось, будто стены раздвинулись, и вольный простор дохнул в лицо.

Пахло яблоками. Сладостный винно-пряный аромат в недвижимом воздухе, казалось, стоял стеной, тонкие оттенки запаха слились, дух был так силён, что уже не имел отношения к чему-то съедобному — пахло как на кинофабрике: эссенциями и растворителями. Флюиды пропитывали старый бетон, возвращая ему призрак жизни, душистая сытость висела в воздухе, дыхание участилось, кровь прилила к щекам, жар охватил пальцы рук.

— Ишь, как сладко, — пробормотал Путило. — Вентиляцию надо включить, а то как бы не заткнулись.

Он повернул рубильник. Где-то наверху заворчал вентилятор.

Яблоки были повсюду. Поддоны с розовкой наполняли галерею, ящики боровинки расписной в четыре ряда громоздились в тесных казематах, тускло зеленели грубой кожей рамбуры, желтела титовка, собранная в разорённых остатках некогда образцовой мызы господина Парамонова. Крошечные китайки, бруснички, сливки наполняли плетёные короба, очаровательная гвоздичная хорошавка аела в решётчатых барабанах. Болгарские щепные ящички, привычные к безвкусному джонатану, не могли вместить ребристые плоды снежного кальвиля — светло-жёлтые, лишь слегка затуманенные неяр-

ким румянцем, который, впрочем, берёт своё в глубине, так что на срезе яблоко заманчиво розовеет, исходя приятной кислотой. Стаканчатые гремушки королевского флейнера, бархатный анис, осенняя белая путивка, зимний золотой пармен, облитый багряными полосами черногуз... Артиллерийские погреба заполняла антоновка: жёлто-зелёная полуторафунтовка; каменичка — кислая, но стойкая в лёжке и бесподобная пользой хворым и слабым; румяный сорт, носящий нелепое прозвание «серая антоновка». Но всего больше собралось в подземелье короля и чемпиона окрестных садов — бесподобного, великолепнейшего штрифеля. Крупные четырёхдюймовые яблоки, с нежной кожей, которую не смеет тронуть ни парша, ни загар; словно облитые растушёванным румянцем, с эффектно кинутыми пестринками более густого оттенка, и всё это радостное великолепие не режет глаз, а словно светится изнутри притягательным матовым светом. Нет чудесней яблока, и просто диву даёшься, как скучно называют его в деревнях: «обрез», «старостино», «осеннее полосатое». Нет, пусть уж будет дразнящее слово «штрифель», в котором слышится шорох осенней листвы и ожидание праздника.

Ефим взял одно яблоко, повертел в пальцах, понюхал. Даже в перенасыщенной ароматами атмосфере от яблока тонко и сладостно пахло. Пахло хорошим вином и жизнью.

— Той же яблочный дух, — медленно произнёс Ефим, — особна есть лечба тем, кои одержимы суть сухотноу, тако же и тем, кои страждут меланколиевою болестию, понеже от того духу вредительное естество переминается.

Он осторожно вернул яблоко на место.

— Да ты ешь! — щедро предложил Путило. — Это коричное полосатое. Где ещё таких попробуешь?.. Кушай!

— Боязно что-то, — признался Ефим. — Смотри, сколько их тут. Аппетит отбивает.

— Ну, как знаешь, — Путило выбрал яблоко покрупнее и хрустко вонзил в него зубы. — Сочное, — сообщил он.

В следующую секунду лицо его искривилось, он судорожно заперхал, стараясь сдерживать кашель, но не справившись, согнулся, надрывно закашлял, размахивая руками и ударяя себя в грудь. Разжёванные куски яблока веером полетели изо

рта. Ефим, не зная, чем помочь, беспомощно суетился вокруг, что-то спрашивал, хлопал ладонью по спине.

— А... а... н-не-е... А-ак-х!.. — пытался выговорить Путило и снова бился в кашле, переходящем в хрип.

— Я сейчас... водички! — крикнул Ефим.

Он прогрохотал по пандусам и ступеням, влетел в скупое освещённый тамбур, где они оставили вещи, дёрнул молнию на сумке. Там должен быть термос, вместе с завтраком. Мать, когда собирала его в дорогу, приготовила завтрак. И термос с горячим чаем.

Под руку попало что-то круглое. О чёрт — яблоко! Где же термос? А, вот он!

С термосом в руках Ефим кинулся вниз. Там было тихо, и это пугало сильнее самых душераздирающих хрипов. Отчётливо представлялось бездыханное тело Сергея Лукича, его искажённое лицо в пятнах гематом от лопнувших вен. Что делать, как помочь?

Путило сидел на перевёрнутом ящике среди раскатившихся яблок и осторожно, боясь вызвать новый припадок кашля, втягивал в грудь воздух.

— Вот, — сказал Ефим, наливая в колпачок дымящийся чай. — Выпей.

Путило глотнул немного, кашлянул словно на пробу, потом сипло произнёс:

— Сладкий. Зря... Я соком захлебнулся, в дыхательное горло сок попал. А он тоже сладкий- знаешь, как тяжело, если сладким захлебнуться? Я думал — не откашляюсь.

Путило допил чай, кашлянул ещё раз, окончательно освобождая грудь от едкого сока, поднялся и начал собирать раскатившиеся яблоки.

— Вот так живёшь, — сообщил он, — а потом скушал яблочко неосторожно — и конец. Пошли, лучше я тебе твоё хозяйство покажу.

По наклонной штольне они двинулись к боевой линии. По дороге Путило остановился возле одной из ниш.

— Тут вода, — сказал он. — Хорошая, вкусная.

Из заржавелой трубы в ванну беззвучно падала прозрачная струя. Путило наклонился, поймав воду губами, гулко глотнул.

Ефим напрягся в нехорошем предчувствии, но всё обошлось. Тогда Ефим наклонился и тоже попробовал. Вода была очень холодная.

— Чего крана нет? — заметил Ефим. — Течёт без дела.

— Какой кран, чудик? Это же ключ. Его перекроешь, так он снизу всё к чертям собачьим размочит.

Ефим наклонился к пленному роднику и ещё отпил воды, от которой ломило зубы и начинало болеть где-то над глазами.

— Там ещё нортонский колодец был, — продолжал экскурсию Путило, — но местные колонку свинтили считай сразу после войны. Можно было бы восстановить, обсадная труба цела, но как туда штангу опустить — ума не приложу. Потолок мешает. — Путило стукнул кулаком по чёрным плахам обноски, уцелевшей в этом месте. — Ведь как строили, гады, а? Полста лет прошло, а всё цело, всё действует. Вот у кого поучиться... Хотя, если вдуматься — на кой-ляд они это мастерили? Чтобы я тут сегодня конверсией занимался? Сделали бы нормальный склад, куда как было бы лучше.

Минуя погреба, наполненные щедрым урожаем, они поднялись наверх и очутились в доте, возможно том самом, что попался на глаза по дороге сюда. Тесный объём укрепления позволял разместить кровать с пружинной сеткой, шкафчик, в котором хранился запас продуктов, и столик, вплотную придвинутый к кровати. На оружейной площадке стояла новенькая электрическая плита с духовкой.

Ефим выглянул наружу.

— Дот, да не тот, — сказал он после некоторого раздумья.

Пейзаж, открывшийся в бойнице, оказался незнакомым. Дороги видно не было, склон полого упирался в ржавое болотце. На середине склона корявилась старая яблоня. Поломанные сучья почти лишены листьев, вид у дерева был сиротливый. Станным казалось, как уцелело древнее растение, разве что действительно никто не атаковал неприступные доты в лоб, а обошли их и брали с горжи — другой, не так защищённой стороны. Но всё равно крови в этих местах, должно быть, лилось презрительно, потому и яблоня до сих пор жива. Яблоки, говорят, хорошо на крови роятся.

На секунду Ефиму померещилось, будто в одном месте земля среди бурой опавшей листвы мазнута кармином. Ефим потряс головой — почудилось. А если и нет — мало ли что может краснеть под яблоней?

Он спрыгнул вниз. Путило деловито перегружал из своего мешка в шкафчик пакеты с провизией. Шкаф и без того был забит до половины. Что там есть, Круглов не знал, видел лишь жёлтые пачки «Геркулеса» да несколько картонных клеток с яйцами.

— А чего предыдущий сторож ушёл? — спросил Ефим. — Тут вроде хорошо. Тишина, воздух.

— А ляд его знает, — отмахнулся Путило. — Умом тронулся от воздуха. Позвонил, сказал, что ключ под дверью, а он здесь больше ни минуты не останется. Хоть дверь запер, и то хорошо.

— Понял! — сказал Круглов. — Это привидения. Где им ещё быть, как не тут? Забрёл мой предшественник куда-нибудь, где ещё свет не проведён, и наткнулся на светящийся скелет. В каске и с железным крестом.

— Ага, — сказал Путило. — Ты больше языком чеши — тоже рехнёшься. Только учти, мы, когда это дело размуровывали, милицию приглашали и сапёров. Тут каждая щель осмотрена — ничего нет, одна труха. А труху вычистили даже в пустых помещениях. Мне гниль ни к чему.

— Скучный ты человек, Сергей Лукич, — сказал Круглов. — Я, можно сказать, только из-за привидений сюда и приехал.

— Ты сюда отсыпаться приехал, — оборвал Путило, — за казённый счёт. Вот и отсыпайся — месяц-полтора, пока зимник не станет. А привидения оставь в покое. Как путь установится, начнём товар вывозить, там уж без тебя обойдёмся. А пока — спи на рабочем месте.

Путило отдал последние инструкции, загрузил в багажник несколько ящиков затесавшихся летних сортов и укатил.

Ефим остался один. Он постоял на обочине, глядя вслед уплывающей «ниве». Легковушка удалялась совершенно как во сне, то и дело заваливаясь в сторону и плюясь из-под колёс жидкой грязью.

Потом пришла тишина — пронзительная, какая только осенью бывает. Вроде и солнце на минуту высунулось из просевших туч, и стайка птиц пролетела с дробным щебетом, и день тёплый, а всё одно — не светло, глухо, мозгло. В такие дни нарочно ждёшь вечера, чтобы сидеть у печки, подкладывая тонкие полешки и слушая песнь закипающего чайника. Под открытым небом неуютно, всё время чудится, что сейчас упадёт темнота и холод и некуда будет податься.

Ефим поднялся на гребень холма, пошёл вниз, выискивая среди ложбин шапку дота. Ничего не попадалось — склон как склон, перерезанный оплывшими остатками траншей. Не верится, что внизу ледниковая морена изрыта бетонированными ходами.

Потом Ефим увидел знакомую яблоню и болотину, на поверку оказавшуюся жалкой лужей. Сориентировавшись по знакомым приметам, увидел и капонир. Он удачно прятался на местности: так просто и не углядишь. Застеклённая бойница светилась изнутри непогашенным электричеством. Сразу захотелось туда — домой. До чего же быстро человек привыкает к новому месту! Вот уже и бетонный склеп, в котором предстоит провести месяц, для него стал домом. Обидно, что до входа почти километр по крутому склону — сначала вверх, потом вниз, а затем обратный путь, но уже под землёй.

Но прежде всего Ефим пошёл к яблоне. Он догадывался, что вернувшись домой будет глядеть через амбразуру на недоступное дерево и мучиться, что же это краснеет неподалёку?

Среди счерневшей листвы открыто на виду у всего мира лежало большущее яблоко. Не верилось, как его могли пропустить и не заметить. Но ещё удивительней была мысль, что такие красавцы могут вызревать на искалеченном ветеране, каким представлялась старая яблоня.

Ефим поднял прохладный плод. Всё-таки хорошо, что это именно яблоко, краснобокий штрифель, а не выцветшая кумачовая тряпка, размокшая пачка из-под сигарет или полусъеденная ржой консервная банка.

Яблоко удобно лежало в ладони, восковый налёт придавал кожице особую приятность, хотелось погладить яблоко, словно доверчивого зверька. Светлые точки, проглядывавшие

сквозь румянец, делали находку удивительно живой и настоящей.

Ефим понюхал яблоко. В осеннем профильтрованном воздухе лёгкая душистость штрифеля показалась ошеломляющей. Ефим только теперь понял, как он хочет есть. Плотная желтоватая мякоть с лёгким хрустом подалась зубам. Рот наполнился винной сладостью с лёгким привкусом не то земляники, не то ананаса. Казалось, от яблока можно кусать бесконечно, и его не убудет. Но внезапно Ефим вспомнил, как пострадал час назад Путило, и тоже едва не поперхнулся соком. Он аккуратно доел яблоко, расшелушил огрызок, вытащив тёмно-коричневые семечки, и, зажав их пальцами, быстро расстрелял в разные стороны.

— Прорастайте, — великодушно напутствовал он разлетевшиеся семена.

Больше делать на улице было нечего. Круглов вернулся ко входу, заложил дверь изнутри на тяжёлый засов, поднял оставленные в тамбуре рюкзак и сумку и двинулся через скупо освещённое подземелье.

Теперь, когда он шёл один, путешествие доставляло куда меньше удовольствия, чем раньше. Шаги отдавались в переходах, всё время чудилось, что кто-то перебежками следует сзади. Шуточки о привидениях почему-то стали не смешны, и мысль, что наверху ещё день — не слишком помогала. День, он наверху, а тут — ночь.

— Да-а!.. — нарочито громко произнёс Ефим. — Сейчас как выскочит фриц в каске и с железным крестом, как гаркнет: «Хенде хох!» А я ему в ответ: «Штрифель зи дойч? Нонненапфель суислеп!» Он и отпадёт. Так-то, знай наших.

На внутренней бронированной двери капонира Ефим не без удовольствия обнаружил ещё один засов, задвинул его; за неимением настоящей печи врубил электрическую и уселся разбирать вещи. Прежде всего вытащил заботливо приготовленный матерью пакет с завтраком: четыре бутерброда с рассечённой вдоль сосиской, помятая помидорина и пара яблок сомнительной помологической принадлежности.

Ефим досадливо поморщился: ведь мама знала, куда он едет, могла бы догадаться, что яблок с собой брать не стоит. Вот куда их теперь девать?

Аромата у привезённого фрукта не было никакого, вкус травянистый, мякоть рыхлая. И вообще, не мякоть это, а хорошо развитый мезокарп. И кутикула жёсткая, как подмётка, из такой только урсоловую кислоту добывать. И семенная камера поражена фузариозом.

Ефим запихнул надкушенных уродцев обратно в полиэтиленовый пакет, крепко завязал. Завтра надо будет отнести их подальше и выкинуть. Не хватало ещё занести сюда какую-нибудь заразу. Вот станет Путило миллионером, выстроит настоящий склад, повесит под потолком кварцевые лампы, и не будут страшны собранному урожаю ни фомоз, ни глесириозная гниль, ни трихотециоз. А я у него стану главным помологом. Путило хороший мужик, ему плевать, что Рытов опять зарезал меня на экзамене.

Ефим вздохнул. Нестерпимо хотелось яблока. Настоящего. Но ещё сильнее не хотелось отодвигать засов. Ничего там нет, но всё равно, тяжко одному в склепе. И чай в термосе остыл. Можно бы разогреть, да не в чем — посуда в кухонном углу грязная, покрыта засохшими малоаппетитными остатками. Завтра надо будет устроить могучую уборку, всё перемыть, вычистить. А пока — спать.

Как всегда на новом месте, спалось странно. Ефим бесщётное число раз не то просыпался, не то просто осознал себя спящим. Снилось воспоминание о двух старинных, вручную кованных задвижках, это успокаивало, и Ефим, не проснувшись, засыпал вновь. Снилось, будто он встаёт и идёт за яблоками, чтобы принести их к себе и не бегать вниз каждый раз, когда захочется вкусного. Пол в катакомбах, словно листвою, засыпан хрусткими железными крестами, а сверху катаются яблоки, прогуливаются парами: гольден с белым наливом, грушевка с кандиль-синапом — беседуют о чём-то своём.

«Здесь не растёт кандиль-синап», — подумал Ефим и проснулся окончательно.

В бронированном проёме густела темень. Ефим попробовал закрыть глаза, но понял, что больше не уснёт. Улежавшееся в мягкой пружинной люльке тело требовало движений. Ефим зажёл свет, посмотрел на часы. Часы стояли, показывая полпервого.

Казалось бы, что за дело? Он не связан ничем, ему куда не надо спешить, можно есть, когда проголодаешься, спать, когда сморит сон. Под землёй всегда ночь, а щёлкнув выключателем, всегда можно сделать день. Проснулся — так вставай; плевать, что снаружи темно, октябрь на дворе, скоро вовсе дня не будет.

И всё-таки, остановившиеся часы словно отрезали его от жизни. Ефим чувствовал, что отныне не он хозяин всего, что творится вокруг, а окружающее ведёт его, куда хочет, диктует свою волю. Ощущение времени — одно из новых чувств, подаренных человеку прогрессом. Потерять часы — то же самое, что лишиться зрения. Придётся, когда рассветёт, идти в деревню, узнавать, который час.

А пока — нечего валяться. Работа — лучшее лекарство от меланхолии. Она действует даже вернее, чем «той же яблочный дух».

Ефим поднялся, разобрал свои вещи, сходил с ведром к источнику, нагрел воды и перемыл посуду. Разболтал в кастрюльке сухое молоко, поставил вариться овсянку.

Настроение понемногу возвращалось.

— Не торопись! Приободришься! Мы застрахуем твою жисть! — громко запел Ефим.

Овсянка традиционно считается мерзким блюдом, но если приготовить её как надо, то получится что надо. Например — овсяная каша с обжаренными в масле яблоками.

Ефим схватил полиэтиленовый пакет и, продолжая распевать, побежал вниз. Путило вчера наврал, но где-то внизу действительно есть коричневые яблоки. Господин Изивинский ещё сто лет назад утверждал, что никакое другое яблоко не даёт столь вкусного варенья, как это. Старые знатоки понимали толк в яблоках, хоть и придумывали иной раз несусветные названия. Чего стоит хотя бы аппетитное словечко «свинцовка». Или — серинка. Мерси боку, сами ешьте вашу серинку. Коричное кликали «коричневым», различая «зелёное коричневое», «жёлтое коричневое», «коричневое красное» и «ропсисное коричневое». Но зато они и яблонь не рубили, чтобы избежать налога на каждый привитый ствол.

Ага, вот они, ящички из хлипкой фанерки, армированные мягкой проволокой и облепленные цветастыми этикетками

марокканских апельсинов. Такие ящички сотнями горели на задних дворах любого универсама, а у Путило и они приспособлены к делу. Так, посмотрим: плод средней величины, форма репчатая, уплощённая, без рёбер, блюдце просторное, воронка глубокая, чистая. Плодоножка толстая, но без расширения на конце. Ну-ка, теперь поближе к лампе — нет, не наливное. Потрясти — семечки не шуршат — значит, не гремушка. Так и должно быть, всё как учили. И за что Рытов меня с экзамена выпер? Ещё должен быть слабый ананасный привкус, за который яблоко и прозвано коричневым.

Ефим набрал в мешочек десятка полтора яблок, прикрутил на место крышку, и в этот момент безо всякого предупреждения цепочка пыльных ламп под потолком погасла. Немедленно установилась тьма, столь плотная, какая только под землёй бывает.

— Так, — произнёс Ефим, стараясь успокоить себя. — Ничего страшного, выберемся. Главное — не паниковать.

Он протянул руку, нащупал горячую лампу, осторожно потряс. Никакого эффекта. Значит, придётся выбираться вслепую. Ефим двинулся вперёд, постепенно перебирая рукой стопки ящиков. Через минуту рука провалилась, не встретив опоры — вбок отходила какая-то галерея, которой тут не должно быть. Во всяком случае, Ефим не помнил, чтобы в этом месте были развилки. Ефим свернул было направо, потом вернулся и пошёл прямо. Теперь, когда темнота поглотила его, ему уже не чудились шаги и сдержанное дыхание за ближайшим поворотом. В том больше не было нужды, он попался, бездумно вляпался в ловушку, его больше не надо пугать, а можно подходить и делать с ним что угодно.

Неожиданно Ефим почувствовал, что в полушаге перед ним ждёт распахнутый в полу люк. Ну конечно, люк, не замеченный сапёрами, а внизу новая система ходов ещё сложней и запутанней, чем эта, и, главное, никем не проверенная, не изученная... там может прятаться всё, что угодно...

Ефим ухватился руками за ящики, выставив ногу, начал поспешно ощупывать дорогу перед собой. Простукал пол, сделал робкий шаг, снова принялся шарить ногой в темноте. В памяти всплыло воспоминание об оставленном на столе

фонарике. Идиот! Ну что стоило захватить его с собой? Вот и мучайся теперь, жди, когда пол кончится, и ты кувырком полетишь в нижний подвал. И даже если там не подвал, а вульгарный поглотительный колодец, выгребная яма, не чищенная с сорок четвёртого года...

Ефим вспомнил свой сон, как он тонул в грязи, и его переёрнуло. Ну каким местом думал Путило, когда устраивал склад в подземных казармах? Тут ничьи нервы не выдержат, здесь самые стены убийством пропитаны, никаких призраков не надо, достаточно знать, что творилось вокруг во время войны. А потом полвека могильной тишины. И тьма. И подземный холод. И тлеющие останки, которые Путило, должно быть, велел сбросить вниз вместе с осколками разбитых надобов.

Что-то невесомое коснулось затылка, не прикосновение даже, а лишь намёк, словно мягкая лапа воздух огладила вокруг вставших дыбом волос. Ефим вскрикнул и, забыв о ждущих под ногами провалах, кинулся бежать. Задетая плечом стопка ящичков с треском повалилась в проход, какое-то не в меру ретивое яблоко, чмокнув, распалось под ногой. Ефим поскользнулся и упал, не успев даже выставить вперёд руки. Мрачный дорожный сон сбывался наяву, но был ещё страшнее. Сон милосерден, он всегда позволяет взглянуть в лицо гибели, а здесь безликая темнота скрывала всё, не любопытствуя знать, что происходит с жертвой.

Лицо и тело ожгло, словно на них плеснули жидким огнём, ощущение было как от удара, поразившего разом все чувства. Ефим отчаянно забился и лишь тогда понял, что никто его не держит, а вокруг не пламя, а вода — ледяная до боли, до ломоты в суставах вода подземного родника.

Дрожа всем телом, Ефим выбрался из неглубокой ванны. Купание отрезвило его, и он уже не мог понять, чего испугался минуту назад. Ну да, колодец здесь неподалёку, но закрыт чугунной решёткой, и вообще, провалиться в него невозможно — просвет меньше полуметра. В крайнем случае — ногу ломаешь, и всё. Теперь осталось сориентироваться, в какую сторону идти. Впереди одна развилка на боевой линии и поворот к доту. У развилки сворачивать направо... или налево?

Ефим почувствовал, как дрожь от холода вновь начинает сменяться нервным тремором.

— Ну, хватит, — сказал Ефим, — хватит. Сейчас соображу.

Он чувствовал, что вокруг что-то изменилось, появилось новое ощущение. Дело не в сырости и холоде, к ним он уже притерпелся, а тут что-то совсем новое. Ефим потёр ладонью лоб и засмеялся. Несомненно, то был нервный смех, но в нём звучало нескрываемое облегчение.

Ефим нашёл дорогу.

В воздух, напоенный дыханием зреющих яблок, вплевалась иная, резко отличная нота. Пахло пригорелым молоком. Каша, оставленная на плите, сгорела, и струйка чада, коснувшись носа, верно указывала нужное направление. Принюхиваясь, расширив ноздри, Ефим двинулся в путь. Вот и развилка. И глупый поймёт, что сейчас надо сворачивать направо. Теперь главное не прозевать свой поворот. Если наверху рассвело, а дверь открыта — его можно просто заметить.

Едва он переступил порог, свет послушно вспыхнул. Ефим выругался и принялся стаскивать мокрую одежду. К тому времени, когда он переоделся, происшествие предстало перед ним в юмористическом ключе, тем более что и каша, как выяснилось, уцелела. Просто молоко частью сбежало и подгорело на конфорке. А потом, когда пропал свет, вырубилась и плита.

Ефим помешал вновь начавшую булькать овсянку и, захватив фонарик, побежал за брошенными в панике яблоками. Разумеется, на этот раз фонарь не понадобился.

В амбразуре медленно серело. Обозначилась кривая яблоня и заросли рогоза внизу склона. Пожалуй, можно сходить в деревню, узнать, который час, и вообще, провести рекогносцировку на местности.

Ефим плеснул в выскобленную ложкой кастрюльку воды — ему совершенно не улыбалось вновь отдирать от стенок засохшие остатки — надел бежевый плащ и пустился в путь. По дороге задержался ненадолго, чтобы прибрать учинённый внизу разгром. Собрал яблоки, сложил ящики стопкой. Конечно, сортность у плодов будет не та — помяты, побиты, поцарапаны. Теперь это то, что называется подручной падалицей.

Хранить такой товар нельзя — сгниёт. Ну да ладно, как-нибудь. Пусть об этом у Путило голова болит, в следующий раз будет почеловечески свет проводить. А то бросил времянку на соплях и ещё чего-то хочет.

Неподалёку от выхода из катакомб, опираясь на причудливую можжевелевую палку, стоял старик. Он молча смотрел, как Ефим возится с замками, потом подошёл ближе и спросил:

— Стораж тутэйшы?

— Сторож, — признался Круглов.

— А я — Захарыч, — старику явно хотелось поговорить.

— Не скажете, который час? — решил воспользоваться случаем Ефим.

— У мяне няма гадзініку, — огорчённо сказал Захарыч.

«Откуда он такой взялся?» — подумал Ефим, разглядывая колоритного дедка.

Тот приблизился и, ухватив Ефима за пуговицу, наставительно произнёс:

— Ты слухай. Я цябе навучу, якіы спосабы ховання яблык лепшы. Найлепше хаваць яблыкы у тарфяным парашку. Там працент псавання пладоу меншы чым пры хаванні у стружцы. Яблыкы лепшы дробныя. Буйнейшыя даюць меншы выхад. Адсюль можна зрабіць вывад: неабходна захоуваць плады дробнага калібру, а буйныя уживаць у першую чаргу...

— Дедуль, а ты сам, часом, не буйный? — спросил Ефим.

— Якога д'ябла? Я яму о торфы, а ён... У торфы лепшы хаваць.

— Дед, ты пойми, я сторож, — проникновенно сказал Ефим. — У меня торфа нет.

— Ну, рабі як хочаш, — недовольно произнёс Захарыч и отпустил пуговицу. — Пажывём — пабачым.

— До побаченья! — крикнул Ефим и быстро пошёл к дороге.

Деревня оказалась гораздо дальше, чем можно было подумать, глядя из машины. Ругаясь про себя, Ефим брёл по обочине. Потом догадался завести часы, поставив их вслепую на двенадцать, и шёл ещё четверть часа. Наконец, показались серые, обросшие завалинками избы. Ещё издали Ефим заметил приросшую к плетню фигуру, пристально всматривающуюся поверх его головы.

— Здравствуйте, — сказал Ефим, памятуя, что в деревне нужно первым делом здороваться. — Не скажете, сколько времени, а то у меня часы встали?

Для ясности он задрал рукав и постучал ногтем по стеклу часов.

В прозрачных глазах ничего не отразилось. Бабец отлепилась от забора и шагнула в сторону, пробормотав на прощанье:

— I verstah nuut.

— Чево? — спросил Ефим в удаляющуюся спину.

Заскрипела низкая дверь, он остался на улице один.

— Психичка, — пробормотал он. — Умом тронутая.

Однако от дома отходил осторожно, болезненно ожидая боком короткой автоматной очереди.

Большая часть домов в деревне стояла запертая, не то хозяева куда-то уехали, не то и не было этих хозяев. Но в одном из домов между окнами на расстеленной газете лежало два преогромных семенных огурца, а сквозь двойные, к зиме приготовленные рамы слышался говор радиоприёмника. О чём он там талдычит, было не разобрать, но сам звук, интонация дикторской речи показались такими родными, что Ефим решился и постучал в окно. Радио мгновенно смолкло, белая занавеска сдвинулась в сторону, и за стеклом замаячило старушечье лицо. Платок, повязанный в скобку, и рельефные морщины придавали ему совершенно иконописный вид.

— Yoboseyo... — донёсся дребезжащий голос. — Muosul wopohashimnikka?

— Простите, который час? У меня часы остановились, — по инерции произнёс Ефим заранее приготовленную фразу.

Слова старуха произносила врасстяжку, словно пела, и ударения делала, кажется, на все гласные подряд. Ефим не мог разобрать ни единого слова.

— Kamapsumnida... — протянула старуха. — Annyonghi kashipshiyu.

Занавеска вернулась на место. Очевидно, разговор был окончен.

Во дворе исходил злобой полкан. Громыхал лаем, громыхал цепью. Соватья туда, стучать, настаивать не имело смысла. Ефим покорно отошёл.

«Может — чухонка? — гадал он. — Старая, по-русски не понимает. Прежде они здесь жили: чудь белоглазая, ижора...»

Не решаясь больше стучать, он прошёл посёлок из конца в конец. Избы, не пригородные дачные домики, а кондовые хаты, исконное порождение этой земли, безрадостно смотрели из-под надвинутых на скрыню кровель. Они старались отодвинуться от чужака, отгораживались плетнями, укрывались за поветями и одринами, словно надолбы выставляли вперёд сложенные кострами поленицы позалетних дров. Повисшие на стенах драбины превращали их в подобие осаждённых крепостей, и цегловые трубы возвышались над крышами словно неприступный донжон. Клямки, зачепки и иные приспособления охраняли плашковые, крепко ошпугованные двери со скрипучими дубовыми журавелями. Весь дом от подрубы до вильчика, до самого конька на нём ясно показывал, что незваному гостю лучше сразу уходить. Ничего он тут не поймёт, не узнает, не получит.

«Может, староверы? — продолжал мучиться Ефим. — Они пришлых не любят, у них, говорят, даже кружка есть специальная для чужих — так и называется: поганая. Да нет, ерунда, чего тогда говорят по-тарабарски?»

Возле колонки — должно быть, той самой, что свинчена в его подземелье — Ефим заметил ещё одну фигуру. Опять женщина — не иначе у них тут матриархат, — но на этот раз помоложе, не совсем старуха. Женщина, расплёскивая серебристые капли, сняла с крана ведро, поставила его рядом с другим, уже полным. Зацепила дужку ведра крюком коромысла, затем, изогнувшись странным, невысказанным для человека образом, подхватила вторым крюком другое ведро, а коромысло при этом как бы само очутилось на плече. Неведомое, сверхъестественное умение, ещё одна тайна здешней жизни. Не оглянувшись на Ефима, женщина пошла по протоптанной вдоль обочины стёжке. Капли срывались с покачивающихся вёдер.

— Сударыня! Гражданочка! — крикнул Ефим и припустил бегом. — Я сторож тут со складов. У меня часы встали. Где можно время узнать?

— Neка nesarprotu, — сказала женщина то ли Ефиму, то ли самой себе.

— Вы что, с ума посходили все? — Ефим загородил дорогу. — Я вас по-человечески спрашиваю: который час?

— Tu, maita, mani neaztiec! — теперь местная Венера точно обращалась к нему. — Rokas nost!

Ефим по-прежнему ничего не понимал, но движение, которым сопровождалась странная речь, недвусмысленно показывало, что сейчас одно, а возможно, и оба ведра будут выплеснуты ему на голову. Вода даже на вид была холодной, ничуть не хуже, чем в роднике. Кроме того, у дамы есть ещё коромысло.

Ефим отступил в сторону.

— Дура! — истово сказал он.

— E! tu dirst! — отпарировала собеседница, не оборачиваясь.

Походка у неё была не по возрасту лёгкая, коромысло приучает красиво ходить.

Ефим сам не помнил, как вышел из деревни и направился в обратный путь. Шёл, стараясь понять или хотя бы просто уловить в голове происшедшее. Думалось трудно.

Может, у них свой говор? Вроде мазовецкого языка? Какой-нибудь разбойный язык. Прежде в этих краях целые деревни жили разбойным промыслом, на большую дорогу ходили. Стоит на карту взглянуть — как сёла называются? Большие Воры, Малые Воры, Сокольники, Лихославль, Люта... Только как они уцелели, такие дремучие? Хотя, может, потому и уцелели. А всё, что получше — погибло. Путило говорил, тут прежде сады были. Где они? Торчат местами на крутизне останцы от яблоневых массивов. Старые, бесплодные. Редко какое из этих деревьев выхолит и уронит дивный плод — напоминание о том, что не просто абы что растёт здесь, а лучшие из лучших сортов.

Сад здешний был, конечно, не торговый, а скорее всего — обычный крестьянский, для своих нужд. На склонах, где ни пахать нельзя, ни с косой пройти, располагались, как правило, мужицкие сады. Но какие, однако, нужды были у тогдашних мужиков! А может — господский сад был. Места вокруг красивые. Стояла на холме усадьба, от которой ныне и камней не сыскать, вокруг зеленел сад, скакали по аллеям всадницы в ярких амазонках, вечерами из комнат доносились звуки фортепиано.

А возможно, и скорее всего, всё было не так. Слишком уж эта картина отдаёт литературщиной, Толстым да Тургеневым. «Все врут календари», люди жили иначе, чем можно себе представить, но одно держим за верное: поля тогда не вырождались под сорной ивой, и никто не пилил яблонь. Просто было чуть больше людей с живою душой.

Куда они делись, знатоки и ревнители садоводства, патриоты русского яблока, прославившие отечественные сорта? Где вы, братья Гозер, пастор Авенариус и Иван Николаевич Гангардт? Вернитесь, граф Клейнмихель — без вас не растёт на Руси белое свечковое яблоко и пипка лимонная. Ольга Александровна Кох, где ваши карликовые ренетки, прозванные медуничкой за вкус и цвет? Госпожа Янихен, Вера Козьминична, хутор Сергеевка снесён с лица земли, нет больше сада на двухстах десятинах, и ничего нет. Куда делись псковские садоводы: Бельский, Гартциус, Мальм и господин со странной фамилией Иванов, год за годом поставлявший миру лучшие образцы антоновки обыкновенной? Все забыты, одного Ивана Владимировича Мичурина из города Козлова Тамбовской губернии помнят, и то в основном по анекдотам.

Ветер дует над пожухлой травой на месте бывших образцовых мыз и торговых садов, топорщат в небо безлистные сучья случайно уцелевшие корявины. Осень. Начало октября. Яблочная пора. Она теперь яблочная больше по названию. Ушли славные люди и умерла русская слава. Один нувориш Путило хоронит в бетонном склепе остатки того, что было. Воистину «то, что ты сеешь, не оживёт, если не умрёт».

Ефим вышел на склон, свернул к доту. Сквозь амбразуру не было видно ничего. Интересно было бы отыскать эту точку изнутри. Скорее всего, там пусто, но всё равно интересно посмотреть. И ведь что замечательно: как они парами стоят — дот, а напротив яблоня. Может, и вправду дерево добра и зла лучше всего растёт на крови? Прежде считали, чтобы плодое дерево скорей принесло урожай, надо при посадке закопать под него селёдку. Ну, а чтобы дольше плодоносило — кровушкой землю спрыскивать.

Проскальзывая в полегшей траве, Ефим спустился к яблоне. Немного не доходя, остановился. На земле лежало тяжё-

лое, жёлто-зелёное в красноватых пестринах яблоко. Позёмковое — старинный польский сорт, вкусом напоминающий садовую землянику.

Медленным заученным движением Ефим поднял яблоко, обтёр рукавом плаща, надкусил. Нежная рассыпчатая мякоть таяла во рту. Ефим не чувствовал вкуса.

Психологи называют это состояние «ложная память», а если хотят выглядеть особо умными, говорят: *deja vu*. Хотя ничего ложного в его состоянии нет — вчера он точно так же стоял на склоне и ел яблоко. Странного в его находках тоже нет, не под берёзой же он поднял это яблоко. Яблоко от яблоньки, как говорится, недалеко катится. Оно и есть недалеко — правда, вверх по склону. Но это уже какая-то флюктуация. Нечего голову по пустякам ломать, домой пора, обед варить.

Подземелье встретило его привычным холодом и затаившейся тишиной. Ефим набрал внизу сетку штрифелей, вернулся в дот и заложил засов. Поковырялся в шкафу, выбрал пакетик куриного супа с макаронными изделиями и кашу московскую с мясом — тоже из пакетика. Пока закипала вода, сидел, жевал яблоки. Яблоки перед обедом не портят аппетит. Скорее — наоборот.

Обидно, что так получилось с часами. Странно и непонятно. Может, они нарочно — поиздеваться решили? Злобствуют, что Путило своего человека привёз, а не кого-нибудь из местных нанял. Ну и пусть. Чем скорее он забудет о сегодняшнем походе, тем больше нервных клеток сохранит.

Суп кипел. Каша загустела и уже не булькала, а сыто пыхала на плите. Ефим добавил в кашу кусочек маргарина и перемешал. Вкусно пахло глутаматом натрия и сублимированным мясом.

Ефим вытащил из сумки стопку привезённых с собой книг, сложил их под кровать, чтобы под рукой были. Хватит бегать, пора начинать размеренную жизнь. Завтра он напечёт блинов и сделает налистники. Когда ещё в наше время удастся попробовать налистники? А чужеземные деревни, склепы, привидения пусть живут сами по себе. Он приехал сюда ради яблок.

Во второй половине дня облака разошлись, солнце на недолгие пять минут заглянуло в стальную амбразуру. Мир оза-

рился. Свет лучом упал на стол, заставил померкнуть усталую лампу. Ефим выглянул на улицу. Как всегда, когда смотришь с поверхности земли, самыми важными кажутся те предметы, что всего ближе к тебе. Отцветшие травинки с развешенными на них паутинками, круто падающий склон, идеально простреливаемый, без единой мёртвой зоны. И только потом — замшелое дерево, болотце, жидкий кустарник. Под яблоней, в серо-зелёной осенней траве что-то краснело, словно нечаянный живописец выкрасил землю охрой.

Ефим поспешно отвёл взгляд. Померещилось. А если и нет — мало ли что может краснеть под яблоней? Обрывок кумачовой тряпки, смятая пачка из-под сигарет, изъеденная рыжей ржавчиной консервная банка... Что же — из-за каждой мусорины под окном двухкилометровые пробежки устраивать?

Ефим отключил плиту, снял суп, отхлебнул немного, обжёгся, а потом как-то вдруг обнаружил, что уже спешит по проходу, сжимая в кулаке инстинктивно прихваченный фонарь.

Под деревом лежало яблоко. Мелба — новый сорт, районированный в Ленинградской, Псковской, Новгородской и, кажется, Костромской областях. Добротный кухонный сорт, вполне обыкновенный в пригородных садоводствах. Порой встречается и по деревням. Но не здесь же! Это же штрифель, он точно помнит!

Ефим поднял яблоко, отёр рукавом. Нет, никакого обмана, настоящее яблоко: зелёная кожица с ярким румянцем, на боку — след зажившей градобоины, а больше никаких дефектов. Непохоже, что это яблоко прибыло издалека, слишком уж оно свежее и чистое, сразу видно, что оно с этого дерева, здесь выросло, созрело, упало в мягкую траву и откатилось немного. Вверх по склону.

Пересиливая себя, Ефим поднёс яблоко ко рту. И вдруг опустил руку, поражённый простой до очевидности мыслью. Крысы! На этом дереве вообще ничего не растёт, яблоки, которые он тут находит, — с его склада. Крысы воруют их и укатывают в норы. Крыса — зверь умный, отбирает только самые лучшие плоды. Одна ложится на спину, другие вкатывают яблоко ей на брюхо, а потом тащат за хвост, как на салазках.

Вот яблоко и остаётся целёхоньким. А он, кретин, ел их не вымыв! Какая пакость, не хватает ещё желтуху подцепить!

Ефим размахнулся и зафигачил яблоко подальше в болото.

Теперь чуткая тишина подземелья не удивляла. Шаги? Конечно шаги! Дыхание? Сколько угодно! Крысы, всюду крысы. Пробираются между бочками, ползают под ящиками, точат, грызут. Не повезло Сергею Лукичу, не продумал, не предусмотрел. Испортят ему грызуны товар.

Но сторожа это не касается, он бережёт добро только от людей. И вообще, пора об ужине думать. В нижней галерее стоит несколько ящиков с овощами, значит, можно приготовить фальшивое рагу. И ещё хотелось бы попробовать винегрет с яблочным уксусом, надо будет завтра озаботиться этим вопросом. И вообще, довольно жрать концентраты. Времени у него много — да здравствует праздник живота!

Ефим вернулся в дот, вытащил из-под койки сочинение Констанции Буожите-Брундзене «Всё из яблок» и погрузился в чтение. О своих планах он вспомнил поздно вечером, когда заниматься готовкой уже не имело смысла. Пришлось ограничиться варёной картошкой и открыть баночку сетков с овощами.

Спалось плохо. Снились полчища крыс в касках и с железными крестами. Они подбирались к его кухонным припасам, а Ефим стрелял по крысам яблоками из 203-миллиметрового орудия.

Боевые действия не помешали ему замечательно хорошо выспаться, Ефим проснулся бодрым и свежим. За окном густела ночь, часы стояли, показывая полпервого. Настроение сразу испортилось, но всё же Ефим поднялся и затворил тесто для налистников.

Печь блины — вообще занятие исключительно мужское. Женщины психологически не могут ни сделать пресное тесто без комков, ни испечь тонкий до прозрачности блин на сухой сковороде. Стихия женщины — оладьи, пончики, пышки, в крайнем случае — блинчики, но не блины. Настоящий блин кругл и плотен, величиной во всю сковороду. Маслом его смазывают, когда он уже испечён. Попробуйте бросить масло на сковороду, и блин просквозит миллионом крошечных отвер-

стей. А это уже не блин — мясо, завёрнутое в него — засохнет, яблоки — растекутся, хорошо приготовленный творог — полезет наружу, словно куча белых червячков. Попробуйте сказать самой опытной поварихе, что нельзя сыпать муку в воду или молоко, а надо делать наоборот — она вас просто не поймёт. Да что там говорить, поджарить мясо и испечь блин по силам только мужчине.

Ефим умел и любил готовить, но сегодня дело шло туго. Отвлекала тьма в оконной щели. То и дело Ефим вглядывался в неё, пытаясь разглядеть полузасохший ствол, а под ним неясную красноту, словно жидкий сурик пролился из банки. Один раз даже бросил сковороду и, выставив окошко и погасив под потолком лампу, долго светил вдаль фонариком. Яблоня была на месте, а больше ничего разобрать не удалось.

Наконец на сковороде, теперь уже в масле, зашипели налистники. Дразнящий запах отвлек Ефима от созерцания темноты. Обильная еда хорошо помогает от дурных предчувствий. Ефим позавтракал, пожалуй излишне плотно, и его снова сморил сон. Размышляя, что прежде надо бы сходить за каменичкой для уксуса, Ефим улёгся в неубранную постель. Проснулся, когда сквозь амбразуру уже сочился свет. Ефим припал к холодному металлу. Снаружи всё было спокойно, осенний пейзаж изабеллина цвета не разнообразила ни единая яркая искра.

— То-то, — произнёс Ефим. — Не спорьте со мной. Слушайте, яблочки, деда Мазая.

Он хотел спуститься вниз, получше осмотреть подземное хозяйство, разобраться, что где лежит, чтобы потом не искать нужное яблоко вслепую, но потом решил, что грешно сидеть под землёй короткий световой день. Инвентаризацию он проведёт вечером, а сейчас отправится гулять. Не в деревню, боже упаси, туда он больше не ходок, а просто по полю или в лес. Может быть, там ещё грибы есть. А нет, так просто пойдёт, куда глаза глядят.

Перевалив вершину холма, Ефим понял, что глаза глядят в сторону яблонь. Этак он скоро туда настоящую тропу проложит. Впрочем, не всё ли равно? Главное, что дурным совпадениям пришёл конец. Под яблоней ничего нет, совсем ничего...

кроме вот этого яблока... Желтобокая антоновка прекрасно маскировалась среди пожухлой травы. Неудивительно, что он не разглядел её сквозь амбразуру.

Ефим подобрал находку, отёр рукавом, положил в карман. Неспешно прошёлся ко второму дереву, поднял там небольшое яблоко сорта осеннее бергамотное. Повернул обратно.

«По косогору ходить — сапоги косо стопчу», — мелькнула глупая мысль.

Возле входа в подвал сидел, дымя беломориной, Захарыч. Меж колен он держал выдавшую виды складную линнемановскую лопату.

— Гэй, сторож! На вот. Тут балота поруч. Торфу льга богата накапаць!

— Сам копай, — невежливо ответил Ефим и канул под землю.

С фонарём в одной руке и планом подземелья в другой он облазил все доступные человеку ходы. Путило говорил правду: от прошлого здесь не осталось ничего, кроме старых стен. Отыскал все шесть дотов, два из них оказались наглухо замурованы, а два центральных капонира так и просто обрушены, скорее всего — взорваны; потерны, ведущие к ним — завалены обломками. Обзор сохранился только из тех двух дотов, возле которых росли яблони. Поднялся на наблюдательный пункт, посидел в колодце для перископической трубы, на брюхе слазал в точку прямого обзора, покрытую старой корабельной бронёй и залитую цементным раствором. Вид оттуда был хорош, а вот крысы там пробраться явно не могли. Туда, в подземелье — сколько угодно, а обратно — увы. Не умеют пока что крысы по потолку бегать.

Амбразуру второго дота Ефим накрепко заколотил старыми досками.

Окончив это полезное дело, он вернулся в своё убежище. Если верить ксерокопии, снятой с плана военных времён, жил Ефим в правом крональном полукапонире. Два подошвенных полукапонира оказались сырыми и к жилью непригодными. С большим интересом Ефим обнаружил, что заиленная ручьевина у подножия холма представляет собой остатки противотанкового рва. Особенно порадовала его неразборчивая

надпись: «контрэскарп разминир». А эскарп, значит, «не разминир»? Чудесно!

Ефим сам понимал, что и его интерес, и восторг, и занятость — неестественны, излишне аффективированы. Он нарочно убеждает себя в благополучии, распяляет хорошее настроение, чтобы не думать о главном. Здесь мёртвая, могильная тишина, тёмные ходы, запах зла и смерти, замаскированный садовым ароматом. Но и на воле ничуть не лучше. И больше всего не хочется представлять безнадёжно открытый сквозной простор и избитое ветрами дерево, под которым опять, наверное, лежит неведомо откуда взявшееся яблоко. Агарофобия — родная сестра клаустрофобии, но для горожанина она куда страшней.

— А мне всё это совершенно всё равно!.. — пел Ефим полузабытую песню.

Он натухил полную латку фальшивого рагу и наварил на два дня борща со свиной тушёнкой. Сметаны у него не было, поэтому незадолго до того, как снять кастрюлю с плиты, Ефим покрошил туда кислое яблоко. Получилось вкусно. И настроение замечательное, и вокруг никого нет — можно петь во всё горло, не ожидая недоумённых взглядов:

— Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю!..

Хорошо.

С определителем в руках (помологию всё-таки придётся пересдавать), Ефим спустился в подвал и устроил себе небольшой практикум. Сорты обнаруживались самые неожиданные, видать не перевелись на свете «спортсмены садоводства», желающие во что бы то ни стало выращивать челеби в Архангельске и антоновку в Крыму. Встретилась даже коротконожка королевская, что ещё пятьсот лет назад была известна во Франции под именем «карпендю». Считалось, что если съесть это яблоко перед сном, то сон будет вещим. Вот и славно, может, хоть сегодня ночь обойдётся без железных крестов.

День падал к вечеру, солнечный луч пролез в бойницу, прямоугольником лёг на стальную, с войны сохранившуюся дверь. Ефим не хотел выглядывать наружу, но свет был слишком ярким и не предвещал плохого.

Под яблоней что-то алело, будто киноварью тронули блёклый холст.

— А мне всё это совершенно всё равно! — запел Ефим.

Нехорошо запел, фальшиво.

Не одеваясь, Ефим вышел наружу, под одним деревом поднял солнечный экземпляр костикивки сладкой, под другим — коштеля, вновь польский сорт. Должно быть, здешние крысы равнодушны к польским яблокам. Но каковы зверюги, а? Успели-таки, пока он бродил по переходам, выкатить пару яблок! Но теперь с этим покончено. Ефим подошёл к доту, проверил: отверстие было заделано на совесть. Всё, лапушки, больше не поворуете, придётся на месте есть. Странно, почему он не видел внизу ни одного погрызенного яблока?

Дома Ефим, не глядя, сунул беглянок в первый попавшийся ящик и замуровался в жилом склепе. Перед сном он покорно сжевал яблоко карпендю, и ему ничего не снилось.

Проснулся Ефим, как всегда, в темноте, но на часы смотреть не стал, и без того догадывался, что там увидит. Зажёг свет и лежал с книжкой, прикидывая, что бы этакое соорудить на завтрак. Остановился на штруделе. Печь пироги вообще-то дело женское, но плох тот мужчина, который с этим делом не справится. Ефим поставил тесто и вышел на улицу. Просто подышать свежим воздухом, очистить лёгкие от яблочных миазмов. А есть ли что под деревом или нет — его не волнует.

Он стоял, вдыхая холодный, очищенный туманом воздух. Вокруг потихоньку светало, где-то далеко, на болотах кипели клики журавлей. Потом, заглушив их, возник иной, знакомый и родной звук. По дороге шла машина.

Ефим поднялся на гребень и увидел ползущий в гору фургон. На его стене красовалась чёткая надпись: «Автолавка». Ну, конечно, Путило же говорил, что по средам в Горках хлебный день, приходит машина. Пожалуй, стоит сходить. Не может же быть, что там и продавец такой же дурной.

Ефим сбежал вниз, взял деньги, сетку для продуктов и стоящие часы и поспешил в деревню. Пospел он вовремя: автофургон с распахнутой задней дверью стоял неподалёку от колонки, а вокруг толпились, видимо, все обитательницы выморочной деревни. Некоторые уже отоварились, но не уходили, поддерживая светскую беседу. На продажу был выставлен чёрный хлеб, мятные пряники каменного свойства

и яблоки крымского сорта козу-баш, от долгого и нерадивого хранения и впрямь ставшие похожими на козью морду. Кроме того, была ещё пара импортных туфель производства местного кооператива. Каждая бабка брала их, осматривала и, оценив, возвращала обратно.

— Добрый день, — сказал Ефим, подходя.

Покрытые платками головы на мгновение повернулись к нему, затем вновь возобновился прерванный было разговор. Бабки говорили быстро со странными жалобно-вопросительными интонациями, обрывая фразы, казалось, на середине слова. Понять нельзя было ничегошеньки. Не ясно даже, по-русски они говорят или опять на своём мазовецком.

— Кто-нибудь может сказать, сколько сейчас времени? — громко, ни к кому в особенности не обращаясь, спросил Ефим.

Беседа вновь прервалась, потом одна бабка, наклонившись к товарке и указывая на Ефима зажатой в тёмной руке неощуренной рябиновой палкой, отчётливо произнесла:

— Гэвэр музар. Мэдабэр ло барур, кэ'илу ну ло руси. Канир'э — йеһудон.

Всё было ясно. Ефим послушно умолк. Потом, решившись, прошёл мимо очереди, протянув деньги, сказал:

— Две буханки, пожалуйста, — и неожиданно получил и хлеб, и сдачу.

Старухи неодобрительно смотрели на нарушителя, но ни одна не вмешалась. Очевидно, вымершие мужчины пользовались в деревне льготами и преимуществами.

— У вас часов тоже нет? — обратился Ефим к продавщице.

Спросил, как в прорубь прыгнул.

— Nesaprotu, — ответила та, приветливо пододвигая буханский ящик с отходами крымского производства. — Vai tu abolus negrili?

Ефим попятился. Он узнал местную диву, с которой повздорил намедни.

Из деревни Ефим вышел в полном раздрае чувств. Шагал, размахивая авоськой, и пел на прежний мотив:

— А хле-еба-а чёрного я-а всё-таки купи-ил!..

Навстречу по дороге плелись ещё две старухи. Должно быть, спешили на большую распродажу из какой-то совсем

уж затруханной деревни, куда и ворон костей не заносит, и автолавка не заезжает.

— Привет, бабуленьки! — крикнул Ефим. — Кумарет шал-травух!

— Мен тусінбеймін, — ответила одна, а вторая добавила:

— Би олгох гуй.

— Ну конечно, — улыбнулся Ефим. — Чего ещё от вас ожидать?

Старухи засмеялись визгливо, и первая не без кокетства сказала:

— Келе алмайтынма катты экинмін.

— Я так и знал, — подтвердил Ефим.

Хорошо поговорили, содержательно.

Поднявшись до половины склона, Ефим свернул к ближней яблоне. Там лежал штрифель.

— Повторяетес-сь... — прошипел Ефим и со сладострастным наслаждением растоптал яблоко.

Потом он проверил баррикаду на амбразуре. Доски были сбиты и валялись в глубине дота.

— Ну я вас! — угрожающе проскрипел Ефим и помчался ко входу.

Захарыч ожидал его возле дверей. На этот раз он оставил где-то сапёрную лопатку, зато приволок небольшой рогожный мешок.

— Гэй, сторож! — позвал Захарыч. — Глядзі, які торф добры. У торфы трэба ховаць.

Ефим раскрыл протянутый мешок. Там была какая-то сероватая пакость. Может, и в самом деле — торф. Ефим поднял мешок и высыпал торфяную муку на голову деду.

— Вон отсюда, — отдельно произнёс он. — Ещё раз тебя тут увижу — убью. Усёк?

Он с грохотом захлопнул стальную дверь, следом деревянную. Пробежал подземными ходами к жилому доту, припал к бойнице. Под яблоней ничего не было видно. Должно быть, опять зелёный сорт попался — не иначе ренет Симиренко. Ненавижу! Но дед-то, а? Каков шутник? Ничего, я ему устрою добры торф. Забудет, как шутки шутить. Дай срок, я тебя поймаю...

Ефим сбросил плащ, подошёл к столу. Тесто в деревянной дежке уже поднялось. Ефим примял его и вывалил на присыпанный мукой стол. Он месил это тесто так, словно перед ним был виновник всех последних событий. Хотя, собственно говоря, что такого произошло за эти дни? Да ничего! И психовать незачем. С Захарычем он разберётся потом, а сейчас предстоит печь штрудель. Настоящий верхненемецкий штрудель с настоящим тирольским розмарином.

Спокойная размеренная работа вернула Ефиму благодушное настроение. Он готовил начинку: резал тонкими ломтиками восково-жёлтые с золотистым отсветом яблоки и рассуждал вслух:

— Ну и что такого? Главное — не нервничать. Я сюда одышать приехал. У меня всё в порядке. Просто края кругом дикие. И люди, которые остались — тоже. Никто надо мною не издевался, они меня всего лишь не понимали. Мы чужие. Тут уже не разобрать, кто настоящий — я или они, мы просто разные. Нам договориться сложнее, чем элоям и морлокам. Я легче с немцем договорюсь, в каске и с железным крестом...

Лёгкий шорох заставил его оглянуться. Возле запертой двери стоял немец. Совершенно такой, как представлялось. В каске. С крестом. Курносое рыльце автомата смотрело в живот Ефиму.

— Штрудель зи дойч? — гортанно спросил фриц.

— Скрыжапель, — ответил Ефим. — Сюислеппер.

— Зер гут, — согласился немец и немедленно растворился.

— Всё ясно, — сказал Ефим. — Я сошёл с ума.

Как всё просто! Можно было догадаться сразу. Сначала — переутомление и огорчение от несданных экзаменов, потом могильная тишина, темнота, жизнь в склепе. И яблоки, что «мозг главной укрепляют, благовония ради своего». В малых дозах, может, и укрепляют, а в больших, если верить гомеопатам, действие будет обратным. Вот они, яблоки, за стеной. Сотни тысяч, миллионы яблок. Скороспелые, прошедшие климактерическую фазу, и зимние, ещё не улежавшиеся, кислые. Но все они живы, они не просто лежат, а дышат, забирают кислород, выдыхают углекислоту и этилен. А этилен, между прочим, наркотик, и не слабый. Действует, правда, лишь

в очень большой концентрации, но кто знает, сколько они его тут надышали, все вместе-то? А запах? Он хорош, пока почти незаметен, но когда он в избытке... Если вдуматься, из какой пакости он состоит... Теперь Ефим чётко различал в пропитавшем всё яблочном духе отдельные компоненты: смердело бутилбутиратом, несло изобутанолом, пованивало ацетоном и этилацетатом. А ещё в яблочном аромате обнаружен метанол. Это уже полный конец. Недаром древние считали, что сырые яблоки есть вредно.

Ефим выставил стекло, приник пылающими щеками к стальным щекам амбразуры и долго старательно дышал. Потом как следует собрался, надел телогрейку и ватные непромокаемые штаны, в которых зимами ездил на рыбалку, и отправился в дозор. Запирая двери, вставил в контрольку листочек с самым вычурным из своих факсимиле — кто знает, вдруг у Захарыча есть дубликат ключей и в отсутствие хозяина он шастает по складу.

В сумерках Ефим вышел к дереву, без труда отыскал ожидаемый зелёный плод — крупнину антоновскую, невкусное яблоко, годное в мочку, а также на мармелад и пастилу. Топтать яблоко Ефим не стал — зачем? Так поступают душевнобольные, а он собирается выздороветь. Есть тоже не стал — мало ли какой гадостью мог начинить его Захарыч. Ефим отнёс яблоко под горку и утопил во рву. Потом вернулся к дереву, выбрал кочку поудобнее, уселся и стал ждать.

Темнота быстро сгустилась, лишь размывы туч над головой продолжали сереть на чёрном фоне. Ночи ещё не было, где-то в безудержной дали заунывно выл вакуумный насос, вытягивающий у колхозных бурёнок последние капли жидкого молока. Шла дойка. Потом и этот звук смолк. Пала ночь.

Ефим сидел недвижно, чутко вслушиваясь в мир. Летом и весной ночная природа непрерывно гомонит: щёлкает соловьями, трещит коростелём, орёт лягушками, звенит зелёной кобылкой и просто шуршит, пробираясь в траве и по ветвям. Осенью жизнь спит, осенью тихо. В такой тишине невозможно потерять бдительности, Ефим невольно вслушивался, хотя и понимал, что Захарыч, ежели придёт, будет с фонариком. Впрочем, вряд ли это шутка Захарыча — слишком уж она

сложна, громоздка и, главное, бесцельна. И всё-таки, лучше грешить на Захарыча, чем на собственный психоз.

Смотреть в глубокой ночи было некуда, но Ефим регулярно обшаривал взглядом окрестности: не мелькнёт ли где затаённый луч. По ассоциации вспомнился ломтик солнечного света, проникший сквозь амбразуру, и лицо Ефима вытянулось от неожиданной и дикой мысли. Ведь если вечером в доте солнце, значит, амбразура направлена на запад! Что же это за укрепрайон такой? От кого собирались отбиваться засевшие под землёй фрицы? Может, это вовсе и не фашистские укрепления, а наши? Скажем, остатки линии Сталина. На Псковщине линия Сталина вроде не проходила, хотя кто знает? Всё было засекречено, да и сейчас об этом не слишком охотно пишут.

А с другой стороны, его дот — правый фланкирующий полукапонир и, значит, должен смотреть почти точно на юг. Это если взорванные центральные капониры ориентированы строго на восток. А если удар ожидался с юго-востока, от Москвы? И вообще, с чего он решил, что солнце показывается по вечерам? Часы у него стоят, всякое представление о времени — потеряно. Конечно, солнце, когда смотрит в его окно, стоит низко, но в октябре оно высоко и не поднимается.

Ефим криво усмехнулся. Вот так — три минуты логических заключений, и запад с востоком поменялись местами. Самого себя можно убедить в чём угодно, было бы желание.

Чуть слышный шорох коснулся слуха. Ефим замер, мгновенно подобравшись. Палец напрягся на кнопке фонаря, словно на спусковом крючке. По-прежнему вокруг было темно, но в этой темноте кто-то двигался. Тихо, слишком тихо для человека.

Ефим направил фонарь на звук и судорожно вдавил кнопку. Яркий луч рассёк ночь, вырвал из небытия кусок склона, примятую потоптанную траву и яблоко, катящееся вниз с холма.

— Стой! — заорал Ефим, вскочив и описывая фонарём дугу вокруг того места, где двигалось яблоко.

Потом он сам не мог понять, кому кричал в ту минуту: мерзавцу, подпустившему живой бильярдный шар, или самому яблоку.

Вокруг никого не было, не только людей, но даже трава не шелохнулась, потревоженная каким-нибудь мелким существом, на которого можно было бы списать происходящее. Яблоко лениво прокатилось ещё немного и замерло неподалёку от стоящего под яблоней Ефима.

Луч фонаря скачками шарил по окрестностям, стараясь высветить хоть кого-нибудь, хоть что-то, на что можно выплеснуть злобу и растущий страх, на кого можно закричать, облепив душу, кого можно ударить или хотя бы просто обвинить в творящемся вокруг молчаливом и спокойном безумии. Но не было абсолютно никого и ничего, кроме яблока, которое лежало, полупровалившись в случайную ямку. Взглянув на него, можно было смело утверждать, что оно выросло здесь, созрело, упало с ветки в мягкую траву и откатилось вверх по склону. На пару шагов, не больше. Давно замечено, что яблочко от яблоньки не далеко катится.

— Вот, значит, как... — произнёс Ефим, нагибаясь. — Значит, прогуляться захотелось. Дубовый листок оторвался от ветки родимой... Нет уж, пойдём-ка домой.

Ефим обтёр яблоко рукавом ватника, спрятал в карман. Подошёл к доту, осветил фонариком в амбразуру. Окно открыто, правильно, он сам открыл его перед уходом. Дверь тоже распахнута, снаружи она не запирается. Вот только кто мог притащить яблоко из нижних галерей, пропихнуть через амбразуру и так точно направить под ноги сидящему сторожу?

Замок на внешних дверях был не тронут, листочек в контролке — цел. Ефим заперся изнутри, перевесив контрольный замок на дужку засова. Пройдя, как сквозь строй, мимо рядов ящиков, вышел в дот, закрылся и заставил дверь кроватью. Извлёк пойманное яблоко, положил на свет. Долго и пристально разглядывал его, потом предложил:

— Признавайся.

Ответа не было. Совершенно обычное яблоко лежало на столе. Когда-то этот сорт был очень популярен на Московском и Петербургском рынках. Назывался он «чёрное дерево», поскольку кора яблонь, на которых он рос, отличалась тёмно-бурым, почти чёрным цветом. Яблоко непритязательное на вид: мелкое, одноцветное, лишь чуть подкрашенное

тусклым румянцем, кожица исчерчена тонкой, ржавого цвета сеткой. Зато аромат выше всех ожиданий — с лёгкой пряностью свежей малины. И хранятся яблоки до середины зимы, и путешествия переносят с лёгкостью, и даже, как видим, сами порой путешествуют.

Ефим достал широкий кухонный нож, протёр лезвие полотенцем. Яблоко безучастно лежало на столе.

— Ну, как знаешь, — произнёс Ефим и рассёк яблоко пополам.

Яблоко распалось на две половинки, и больше ничего не произошло.

Скрыв разочарование, Ефим продолжил исследование. Внимательно осмотрел срез: плоть белая, мелкозернистая, семенные гнёзда узкие, глубоко уходящие в тело плода. В каждой камере помещается по одному толстому, хорошо сформировавшемуся семечку. Ефим срезал тончайший до прозрачности ломтик, осторожно, словно яд брал в рот, попробовал. Вкус, пожалуй, излишне островат, не улежалось ещё яблоко, в пору войдёт недели через две. Вот, кажется, и всё. А что, собственно, он собирался найти?

Ефим изрезал яблоко на мелкие кусочки и выбросил в ведро с картофельными очистками и прочим кухонным мусором.

Он проснулся, когда в секторе обстрела начало светлеть. Оставленное со вчерашнего дня тестокисло в деревянной лоханке, присыпанные сахаром ломтики розмарина потемнели и дали сок. Тесто Ефим выкинул, неудавшуюся начинку отправил в посудину, где бродил яблочный уксус. Обидно, но больше такого не повторится. Пусть хоть бомбёжка, хоть прямое попадание в бронеколпак, но завтрак, обед и ужин состоятся вовремя. Штрудель он испечёт потом, а сегодня сделает яблочно-картофельные галушки. Жаль, к ним нет кровяной колбасы. Но можно открыть баночку колбасного фарша.

Прежде чем взяться за готовку, Ефим выглянул наружу. Отблескивающее пурпуром пятно под яблоней было видно издали, и не стоило гадать, что это там режет глаз.

На этот раз, чтобы выяснить принадлежность найденных яблок, пришлось перерыть весь определитель. Первым плодом

оказался брейтлинг, известный также под названием «красный кардинал». Под дальним деревом отыскалось красно-оранжевое гранатное яблоко, оно же — зимняя титовка. Справочник утверждал, что брейтлинг особенно вкусен в печёном виде, и Ефим понял, что надо делать.

Казнь! Причём не просто казнь, а децимация! Весь виновенный сорт должен быть наказан. Конечно, ему не управиться даже с каждым десятым, но всё равно, за бегство одного яблока должны отвечать все.

Где лежит гранатное, Ефим не знал, зато отыскал пяток картонных коробок с брейтлингами и, не выбирая, отсчитал десять штук яблок.

— Так будет с каждым! — заявил он громко.

Настроение было праздничным. Он наконец нашёл противника и теперь занимался делом.

— Яблочко, яблочко, — пел Ефим, — соку спелого полно! ...жестяной трубкой извлечь из целых яблок семечки, разложить подготовленные плоды на противне...

— Так свежо и так душисто,

Так румяно-золотисто...

...присыпать отверстия сахарным песком по половинке чайной ложки на каждое...

— Будто мёдом налилось!

Видны семечки насквозь...

...и в духовку, в самый жар, пока не подрумянятся, не примут насыщенный карамельный цвет.

Так будет с каждым! Он не позволит смеяться над собой!

Отправившись восстанавливать снесённую преграду в пустом доте, Ефим нашёл среди досок яблоко тульской духовой антоновки. Что ж, тем лучше. Всё равно слаболёжкая антоновка в этих условиях не сохранится до зимы. А я проверю, зря мне читали пищевую технологию или всё-таки нет.

Кучу пустых бочек Ефим отыскал в рокадной галерее, вытащил несколько штук наверх, разжёл неподалёку от входа костёр, вскипятил три ведра воды и, как мог, ошпарил бочки. У него не было ни ржаной, ни пшеничной соломы, чтобы застелить дно, ни солода, ни горчичного порошка; нельзя и надеяться получить в таких условиях качественный продукт,

но Ефим всё же засыпал в бочки яблоки, потом, истратив половину запасов сахара и соли, приготовил маринад и залил подготовленные яблоки. Он неверно рассчитал диаметр бочек в пучке, заливки не хватило, и её пришлось дополнительно готовить. Ещё сложнее оказалось укупорить бочки. Сначала Ефим мучился, пытаясь установить дно, не сняв уторный обрuch, потом не мог вернуть уторный обруч на место, потому что не догадывался осадить шейный обруч, а драгоценный рассол тем временем утекал сквозь щели.

И всё же он совладал с этой работой, набил на головки ригеля, разложил подготовленные шпунты вдоль бродильных отверстий и, нянча избитые в садинах руки, неведомо в каком часу ночи отправился домой. Жалел только об одном, что поблизости нет подходящего водоёма и нельзя, заколов бочки в паки, утопить их для подводного зимнего хранения.

Утром под яблоней привычно кровавилось пятно. Фрекен красный — французский сидровый сорт. Кто знает, как в условиях могильного хранения готовить сидр? А потом, что, и до кальвадоса дело дойдёт?

Ефим метался по подземелью, кричал, грозил. Яблоки молчали. Большие и мелкие, румяные и зелёные, с плотной, рыхлой, зернистой и мармеладной мякотью, кислые и приторные, сочные и суховатые, с привкусом ананаса, крыжовника, бергамотной груши, клубники, монпасье, шампанского вина и вяземских пряников. Они были покорны, но не покорялись, позволяли делать с собой что угодно, но жили своей независимой жизнью.

Даже та партия антоновки, что была им замочена, оставалась как бы сама собой. Яблоки меняли свой состав, мацерировалась клетчатка, происходил солевой осмос и гидролиз фруктозы, уменьшалось содержание яблочной и лимонной кислот, а взамен накапливались кислота молочная, янтарная и альфакетоглутаровая. Но всё это происходило само собой, по закону яблока, а не по закону людей.

Ефим испёк штрудель, а вечером — американскую мечту: яблочный пирог со взбитыми белками. На утро нового дня поставил тушиться яблоки со свёклой, а выйдя на улицу, принёс два новых плода, которые было уже поздно резать в кастрюлю.

Одержимый приступом трудолюбия, Ефим распаковал завезённое Путилой оборудование. Агрегаты грозно мерцали нержавеющей сталью, но оказались в данной ситуации вполне бесполезны. Шпарочной установке требовался острый пар под давлением в пять атмосфер, протирачной машине — силовой кабель. Сверх того, в поставке обнаружился некомплект: не доставало лужёного котла для повторной варки вытерок, не было и окорят из светлой чинаровой древесины. Пару часов Ефим читал найденную в ящиках документацию, изучал график зависимости скорости желирования от температуры и содержания пектина в мармеладной массе, потом убрал технические описания на место и всё своё внимание сосредоточил на кухне. Наварил кастрюлю компота и нажарил пряженцев с яблоками.

Ночью ему снились яблочные бенъеты, миротон и фруктовые тортелеты, которые суть маленькие торты, подаваемые вместо десерта и в качестве сахарного антреме.

Утром он обнаружил, что щит в пустом доте разбит в щепу, и всё ради двух ничтожных ренеток, обнаруженных в законном месте неподалёку от яблонь.

Преступниц Ефим изрезал и испёк с ними шарлотку. Два десятка отобранных в подвале ренетов Ефим пустил на рисовую запеканку с яблоками и острый соус из поджаренной муки, моркови и красного перца. Плита в доте не выключалась ни на минуту, над конфорками сохли длинные вязки изрезанных кружочками яблок.

Ефима мучили изжога и понос, но он продолжал изощённо уничтожать яблоки. Никто ему не мешал, в хранилище царили тишина и порядок. Ждущая, живая, могильная тишина. И порядок.

Ефим понимал, что если ещё не сошёл с ума, то сойдёт в самое ближайшее время, если не остановит странные блуждания яблок. Помощи в этом деле ждать было неоткуда. Не идти же в деревню, где опять скажут не на том языке, а в лучшем случае сообщат, «як краще зберігати яблука». Бросить всё и бежать в город, как сделал его предшественник, он тоже не может. Надо разбираться самому, а на это не хватает сил.

Ночь Ефим с топором в руках провёл в пустом доте. Ждал. Никого не было, ничто не шелохнулось в темноте, не потре-

вожило чуткого ожидания. Вот только стекло в жилом мотельнике оказалось выдавлено, да под яблонями виднелись багряные пятна яблок.

Ефим вернул их на место — рдеющее уэлси и многосемянковый мэкс-интош, выведенный в Канаде, но районированный почему-то в Ставрополе. Теперь надо придумать, что с ними делать. А что можно сделать? Кончается мука, кончился сахар, болит живот.

Тошнит от яблок.

Вот они — истинные виновники, покорные, сладкие, душистые. Подходи и делай с ними что угодно, они согласны. Нездешне красивые, безучастные ко всему. Затаившиеся. Что им надо? Кто они такие? Род *Malus*, откуда он взялся на нашу голову? Палеоботаники ничего не говорят об этом, словно не было никакого *Malus*'а в древние времена, будто появился он на свете вместе с людьми, кинут мстительным богом вслед изгнанному из рая Адаму. И с тех пор никакое волшебство — злое ли, доброе — не может обойтись без этого плода. Таинственный Аваллон — Яблочный остров — владения феи Морганы; наливное яблочко Бабы-яги, с помощью которого она наблюдает мир; отравленное яблоко пушкинской царицы; волшебные молодильные яблоки и хитроумный фрукт, от которого у дегустатора вырастают развесистые рога. Золотые яблоки — неодолимый искус для царственного вора и приманка на жар-птицу. Ради яблок обманут Атлант, яблоком обманута Кидиппа. Из-за яблок скандинавские боги-асы убивали великанов-ётунов. И самое главное, самое знаменитое среди зловещих плодов познания зла — яблоко раздора, несущее беды всем, кто его коснётся. Яблоко — враг, проклятие рода человеческого. Недаром солдаты всех времён мишень называли яблочком. Они знали, куда надо стрелять.

А он, глупый, грешил на одичавших, забывших человеческую речь старух, обидел тронутого умом Захарыча, даже мёртвых немцев подозревал в замогильном коварстве. Да самый их дух выветрился отсюда, надёжно заглушён яблочной вонью.

Фигура в каске и с крестом возникла у двери. Чёрный автоматный зрачок уставился в живот Ефиму.

— Ты честное привидение, — сказал Ефим. — Тебе, должно быть, тоже невоготу среди яблук.

— Йа, — гортанно произнёс немец. — Wo chemmo ye bu minbai.

— Спасибо, друг, — с благодарностью произнёс Ефим.

Он спустился в рокадную галерею, в самый ад, остановился среди ящиков и коробок.

Штрифеля вздымались над его головой, кучилась антоновка, бутрились кальвилы, громоздились штрейфлинги. Плотно алел румянец, подкожные точки миллионом фасеточных глаз уставились на него.

Невыносимо пахло яблоками.

Ефим взял из ящика огромный царственный штрифель, пересиливая отвращение, откусил кусок. Следы зубов чётко отпечатались в желтоватом мясе.

— Ну что? — спросил Ефим. — Тебе безразлично, когда тебя едят? А мне — нет.

Яблоко невозмутимо смотрело на него. Укус на румяном боку казался нелепо разинутым ртом с ярко накрашенными губами.

— Я знаю, что делать, — сказал Ефим. — Я сегодня же пойду и срублю эти ваши деревья. Всё равно они никому не нужны. Я выкорчую всё до последнего корешка, землю выжгу..

Яблоко дёрнулось в руке. Вмятины зубов на укусе с сочным чмоканьем клацнули у самых глаз.

С нечленораздельным воплем Ефим отшвырнул яблоко, прыгнул в сторону, задел плечом стопку ящиков. Сверху, ударя по плечам и голове, посыпались яблоки. Ефим отпрянул в сторону и едва не угодил под рушащуюся башню списанной тары. Яблоки хлынули под ноги.

Ефим бежал, прыгал, уворачивался, а навстречу из боковых коридоров, казарм, артиллерийских погребов, лазарета выкатывались яблочные валы. Круглые, продолговатые, гладкие, ребристые яблоки падали отовсюду, грозя засыпать его с головой. Это было бессмысленное тупое нашествие, если бы в их движении оказалось хоть немного разума, Ефим не сделал бы и десяти шагов. Но даже сейчас взбесившимся яблокам не было до него дела. Они катились в разные стороны, рассы-

паясь и перемешиваясь, сталкиваясь друг с другом, а Ефим бежал, давно потеряв цель и смысл бегства. Так, попав в слишком сильный прибой, избитый волнами пловец ещё борется, рвётся куда-то и остатками угасающего сознания видит злую волю в том явлении, что равнодушно топит его.

Впереди забрезжил тусклый свет, Ефим ворвался в пустой левофланговый дот, захлопнул дверь, вцепился в ручку, ожидая рывка. Вместо этого на дверь обрушился тяжёлый удар. Покрытая заклёпками сталь прогнулась, но выдержала.

Наступила тишина.

Ефим спешно собирал разбросанные по помещению доски, стараясь соорудить из них хоть какое-то препятствие. Потом остановился, поражённый простой мыслью.

А ведь он в ловушке. Там, за дверью, потерна до потолка забита ждущими яблоками, а другого выхода отсюда нет. Он не яблоко, ему не протиснуться в узкую амбразуру, а они, если захотят, могут обойти его и взять дот в лоб. Яблокам это не сложно.

Горбылина выпала из рук Ефима. Он понял, что никто не будет его убивать. Он не нужен. Не вредит — и ладно. Это было страшнее всего.

Ефим вскочил, подбежал к амбразуре, приник к холодному металлу. Нет, не пролезть. Почему-то даже сейчас он не мог заставить себя крикнуть: «Спасите!» Стыдно было, что ли? Да и кто услышит его здесь? Даже если и появятся на дороге ковыляющие бабульки, взывать к ним бесполезно, они побредут дальше, пробормотав на прощание: «Non capisco», — или, например: «Jo no comprendo».

— Спасите... — прошептал Ефим.

Ответа не было.

Ефим беспомощно закружил по доту. Как выйти отсюда? Ведь он погибнет здесь, умрёт от голода и жажды рядом с бессчётной громадой яблок. Путило появится не раньше чем через шесть недель, а то и позже. Столько ему без воды не прожить.

Ефим потолкал намертво заклиненную дверь, поднял и уронил несколько досок.

Бесполезно. Прочный свод не сломать.

В дальнем углу Ефим поднял смятый клочок бумаги. Должно быть, он валялся на полу с самого сорок четвёртого года, с тех пор, как взвод сапёров разминировал под горой контрэскарп. Зря они это делали. Если бы дот был заминирован, его можно было бы взорвать. Замечательная вещь — минное дело, с ним не страшны никакие преграды. А ещё на свете есть минирующая моль. Она портит яблоки. Умница.

Ефим разгладил хрупкий листок, поднёс его к свету, начал читать:

«Разрушение бетонных оболочек при взрыве происходит в соответствии с формулой Сен-Венана:

$$q = 12,3 \frac{pt}{(2a)^3} \sqrt{\frac{EI}{m}}$$

где  $q$  — критическое давление;  $t$  — время действия взрыва;  $a$  — пролёт выработки;  $E$  — модуль упругости материала крепи;  $I$  — момент инерции поперечного сечения крепи;  $m$  — вес элемента кре...» — дальше страница была оборвана.

Ефим просиял лицом. Как всё просто! Взорвать дот можно, мудрый Сен-Венан давно решил для него эту задачу. Пусть пленник не властен над модулем упругости и весом крепи, но чтобы разрушить стену, надо всего лишь увеличить время взрыва. Надо взрываться подольше.

— А-а-а!!! — завопил Ефим и забарабанил кулаками по бетонной плите.

Тяжёлые своды легко погасили крик. Слишком велик момент инерции и малы вес и плотность заряда. Он останется здесь.

Ефим расстегнул плащ, вытащил из брюк ремень. Сложил его двойной петлёй, как учили на гражданской обороне. Так накладывают на раненую конечность ремённый жгут. Если как следует потянуть за свободный конец ремня, то жгут можно будет снять только с помощью плоскогубцев или ножа.

Ножа у него нет. Плоскогубцев тоже.

Ефим осторожно просунул голову в петлю, потрогал свисающий конец ремня, сел на край оружейного стола и начал смотреть наружу.

Голый склон, полузасохшая яблоня, пустая дорога, брошенное поле, заросшее цеплючей ивой. Весь мир ужался до размеров сектора обстрела. И нечем стрелять. Бодливой корове бог рог не даёт. А как хотелось бы сейчас иметь если не пулемёт, то хотя бы винтовку. Уж тогда он не стал бы беспомощно смотреть, как по склону среди бела дня катится яблоко — огромный, праздничной окраски штрифель. Катится вниз, конечно, куда же ему ещё катиться?

Неприметная ложбинка увела его мимо цели, вбок. Штрифель остановился и так же мерно направился в гору. Неподалёку от древней бесплодной яблони он выбрал место и замер, уютно устроившись в мёртвой осенней траве.

Ефим закрыл глаза, чтобы не видеть.

Эх, яблочко, куды котишься?

## СПОНСОР

Свято место пусто не бывает  
*Народная мудрость*

Почти минуту Тимолев, словно не узнавая, вглядывался в лицо посетителя. Потом произнёс:

— Здравствуйте, господин министр.

— Здравствуй, Сергей, — откликнулся министр и уселся на стул, на котором недавно маялся сдающий коллоквиум студент.

— Чем могу быть полезен? — дипломатично поинтересовался Тимолев.

— Инна заболела. Полезла куда не надо, и вот... лейкемия.

На этот раз действительно пришлось сделать усилие, чтобы понять, кто такая Инна. Лишь потом дошло — да это же его дочь! Первый ребёнок на курсе, они ещё отмечали её рождение всем общежитием. Шекастая девчонка, безвольно висящая в кенгурушке на груди у счастливого отца — такой она и запомнилась. А ведь сейчас ей сколько?.. Двадцать пять... нет, двадцать семь! Чужие дети быстро растут. И порой лезут куда не следует...

— Я поспрашиваю кой-кого, — начал Тимолев, — думаю, удастся организовать консультацию... — Тимолев осёкся, сообразив вдруг, что у бывшего однокурсника связи должны быть куда покруче, чем у него самого. И следом волной ожгла догадка: неужели знает?

— Была она на консультациях, — устало сказал министр. — Все светила её освечивали, и наши, и зарубежные. Пересадку костного мозга делать надо.

— Так делайте. Операция давным-давно отработана, риск минимальнейший.

— Как делать? Вот, смотри... — министр протянул совершенно ординарную с виду историю болезни.

Тимолев пролистал, вглядываясь в малоразборчивую врачебную письменность. Присвистнул.

— Н-нда... С такой группой крови и набором аллергических реакций о пересадке лучше и не думать. Предусмотрительные западные миллионеры в таких случаях заранее создавали банки собственной крови... ну, и прочего, что можно запасти.

— А я вот оказался непредусмотрительным, — министр потёр переносицу, — да и миллионов у меня не нажито.

«Говори, как же... — по инерции подумал Тимолев, затем вновь все мысли заполнила одна: — Знает?.. Или просто пришёл в безумной надежде, потому что больше некуда?»

Смертельно хотелось напомнить давний разговор, сказать: «Ну я же тебя предупреждал!» — но этого было нельзя, просто потому, что сейчас перед ним не министр, а отчаявшийся отец, и умирает та самая крутощёкая Инка — дитя биолого-почвенного факультета. И ещё о том, пятилетней давности разговоре нельзя напоминать, потому что это может поставить под удар не только самого Тимолева, но и всех сотрудников подпольной, в обход закона созданной лаборатории, а в первую очередь — спонсора, который вопреки законодательному запрету продолжает финансировать его исследования.

— Тут неясно даже, с какого конца подступаться, — сказал Тимолев просто, чтобы что-нибудь сказать и ненужными словами рассеять наползающую из углов могильную тишину.

— Сергей, — произнёс министр, глядя себе в колени, — помнишь наш разговор, тот, пять лет назад, когда ты ко мне на приём прорвался? Так вот, ты был прав.

— И что с того теперь? Закон вы приняли, финансирование прекратили, лаборатория растащена, сотрудники разбрелись.

— Остался ты.

— А что я?

— Ты говорил, что не бросишь работу. Я знаю, ты можешь. Ты ведь из всех нас был самым талантливым...

«Ни хрена ты не знаешь, — мстительно подумал Тимолев. — Иначе бы ты не так разговаривал сейчас».

— Что я могу? — произнёс он вслух. — Ведь по всему миру запреты прошли. Ещё бы! На божье величие посягнуть, будь оно неладно! Так что даже за литературой не последуешь, нет её. Если кто и работает, то тайно.

«Ох, не надо этого говорить», — кольнула мысль, но остановиться Тимолев уже не мог.

— Вы пошли на поводу у попов, так чего удивляться, что вернулись в средневековье? Вспомни, впервые в истории все — все! — религии мира от папы римского до далай-ламы объединились в едином вопле: «Запретить!» И вы послушно запретили. Ну, так теперь получайте, что хотели!

— Не было этого, — упрямо сказал министр. — Мы проводили опросы. Свыше восьмидесяти процентов высказались за запрет клонирования человека.

— Ай... — Тимолев махнул рукой, словно отгоняя досадливую муху. — Ты не хуже меня знаешь, что такое общественное мнение. Неделя грамотной рекламной кампании, и те же восемьдесят процентов будут за клонирование. Манипуляции общественным сознанием — штучка посильнее, чем «Фауст» Гёте. А вы этим только и кормитесь. Просто вы сочли, что вам выгоднее не обострять отношений с церковью. А то, что люди умирают, так сколько их? Десятка два в год по всей стране. За эти пять лет едва полроты наберётся. В любом локальном конфликте за месяц гибнет больше. Просто ты тогда не думал, что это коснётся тебя лично.

Министр молчал. Невыносимо хотелось встать и уйти, останавливала мысль, что уходить некуда. И ещё одна мысль, холодная и профессиональная: слишком уж легко Тимолев сдался тогда. Сначала шумел, писал в газеты и вышестоящие инстанции и вдруг замолк. Не похоже это на упрямого однокурсника, которого он по долгу службы знал как облупленного. А это значит, что есть надежда.

— В начале шестидесятых, — говорил Тимолев, — когда на Кубе Кастро победил, у нас мода пошла на кукол-негрятят. Интернационализм у кого-то взыграл. А потом, лет через двадцать, удивлялись, что это русские девчонки на негров липнут.

Вот так же точно большевики семьдесят лет кряду неумно воспитывали в народе веру в бога. В результате вы теперь прогибаетесь перед церковью. Науку, как и полагается, принесли в жертву, думали, что бескровную — ан нет.

— Хватит тебе сильные слова говорить, — поморщился министр. — Какая, к чёрту, жертва? Финансирование фундаментальных исследований уже который год растёт. А что твоё направление прикрыли, так ты не в дворники подался... завкафедрой.

— Ага. Цитологию преподаю студентам. Студент, спасибо школьной реформе, пошёл грамотный — аж жуть, — Тимолев указующе провёл ладонью над столом. Поперёк стола корячилась надпись: «Я здал зачет по французкому! Yes!» — а чуть ниже: «Ненавижу, козлы!» — Вот под этими последними словами я бы с удовольствием подписался. Приходит к нам недавно один аспирант, кандидатский экзамен сдавать по специальности. И первым делом заявляет: я, мол, православный христианин. Да плевать мне, какой он там христианин, ты покажи, какой ты специалист. А этот, православный, выдаёт: «Гипотеза Опарина о естественном происхождении жизни не выдерживает критики, поскольку коацерваты, даже если они и возникнут, будут немедленно разрушены кислородом воздуха». И он потом ещё обижался, когда я неуд ему влепил. Это же вроде в школе проходят... или теперь нет?

— Не знаю, — отозвался министр. — Только ты зря злишься, в наше время дураков тоже хватало, в том числе и со степенью. Ты лучше скажи, вот если сейчас деньги появятся, оборудование, что там ещё надо... то сколько времени уйдёт, чтобы результат был? Не надо полного клонирования, только препарат костного мозга, для пересадки.

— А вот сейчас ты глупость сморозил, — Тимолев стал академически холоден. — Полное клонирование на порядок проще осуществить, чем вырастить отдельный орган или даже культуру ткани.

Так оно и было. Начинали они ещё в официальный период со специфических полипептидов, гормональных жидкостей, затем собирались переходить к клонированию. На животных опыты уже ставились, но даже этого власти не позволили

продолжать. Но когда чёрный от ненависти Тимолев отбирал сотрудников для тайной лаборатории, среди избранных оказалась и Светлана Семёнова. Эксперимент, запрещённый всеми богами и законами, оставался для этой женщины последней надеждой иметь собственного ребёнка. И сейчас дочь у неё есть, непоседа Юлька, ничего не знающая о тайне своего рождения. В этом году девочка пойдёт в детский сад. «Я всегда была тихоней, — смеётся Светлана, — а это такая макитра звонкая, в кого только уродилась?» Психологи, небось, душу бы отдали, чтобы поизучать этот феномен. А Юлина бабушка, тоже ничего не знающая о подробностях рождения внучки и в каждом встречном мужчине выискивающая признаки потенциального папаша, однажды, никого не спросив, отнесла младенца в церковь и быстренько окрестила. Удивительным образом гром небесный не поразил святотатцев, вздумавших крестить существо, не имеющее бессмертной души, и уж тем более не отсохла поповская рука, берущая деньги за нечестивую потребу.

Смех смехом, но ведь девочку действительно могли признать не человеком. Из-за этой девчонки и её мамы приходится молчать, обрекая на смерть полужнакомую Инну. Нужно молчать из-за Бориса Анатольевича — близорукого, иногда, в минуты волнения, чуть запинаящегося человека, который чёрт знает сколько законов нарушил ради того, чтобы помочь им всем...

Борис Анатольевич пришёл к нему в самую безнадёжную и отчаянную минуту. Отрекомендовался бизнесменом — буржуем, по его словам — владельцем сети магазинов в Москве и некоторых других городах.

— Я всегда преклонялся перед учёными, — говорил он, — но сам умею только зарабатывать деньги. А куда их... деньги? На Гавай ездить? Я съездил один раз. Торговую империю создавать? Деньги к деньгам — надоело уже, мне моего маленького королевства хватает. А вам — нужно. Я же знаю, вы правы, прогресс не остановить; они потом хватятся, да поздно будет. Поэтому я и хотел бы, если можно, спонсировать ваши работы. Конечно, это не... государственное финансирование, но кое-что я могу.

Это и впрямь оказалось не государственное финансирование. Это было значительно больше. В двухэтажном здании со скромной вывеской «Биостанция» за несколько недель была создана первоклассная лаборатория. Именно туда стащили «расташенное» оборудование прежнего центра, туда перешли тщательно отобранные Тимолевым сотрудники. В трёх комнатах у самого входа действительно располагалась биостанция; девицы-лаборантки, презрительно кривя напомаженные рты, делали там под присмотром толстого завлаба какие-то анализы. Сей научный коллектив да бритоголовый охранник у входа были единственными посторонними людьми в центре. Одышливый завлаб явился было налаживать контакты, но поскольку научные его интересы не распространялись дальше манипуляций со спиртом-ректификатом, то и контакты оборвались, не начавшись.

Борис Анатольевич появлялся редко (дела, знаете, деньги-то надо зарабатывать!), а появившись, говорил восторженные глупости, шараялся от ультрацентрифуги и, судя по всему, был чрезвычайно счастлив. Впрочем, распечатки отчётов он уносил с собой и, видимо, даже прочитывал, потому что однажды спросил Тимолева:

— Я правильно понял, что вы подошли к стадии клинических испытаний? Ну, это... к пересадке искусственно выращенных органов? У меня есть знакомые хирурги в одной из лучших клиник...

У Тимолева тоже были знакомые хирурги в лучших клиниках страны, но он не знал, как подступиться к ним с подобным предложением, а исполненный энтузиазма Борис Анатольевич снял эту проблему.

Одна из лучших клиник оказалась опрятным особнячком на окраине города со скромной вывеской «Котлонадзор» и скучающим охранником у входа. Командовал в «Котлонадзоре» Гарлов — блестящий хирург, прогремевший некогда операциями на печени и бесследно сгинувший лет восемь назад. Говорили, что он уехал в ЮАР, где ему будто бы предложили клинику.

— Рад видеть! — твердил Гарлов, сжимая руку Тимолеву стальными, хирурга изобличающими пальцами. — Значит,

вас тоже загнали в гетто? Этого следовало ожидать. А я ваших работ жаждался, можно сказать, с томленьем упования. Надоела рентгенотерапия хуже горькой редьки, с этой пушкой не знаешь, то ли лечишь, то ли калечишь. Опять же, проблема донорства... одно дело, когда пересаживаешь парный орган, а если печень или сердце? Это же практически из двух людей делаешь одного. По документам всё выходит гладко — несчастный случай, обычно автомобильная катастрофа. А кто может гарантировать, что реципиент, наскучив ожиданием, не помог потенциальному донору перейти в мир иной? Вот то-то и оно. А с клонированными органами всё чисто и никакой несовместимости. Хотя и здесь какой-нибудь правозащитник объявит, что не было получено согласия клонированного препарата на пересадку...

Подобно тому, как Тимолев начинал шипеть при слове «религия», Гарлов терял самообладание при всяком воспоминании о правозащитниках. В своё время группа не в меру ретивых идиотов добилась запрета на пересадку жизненно важных органов, поскольку покойник, у которого эти органы берутся, разрешения на пересадку не давал. Именно тогда Гарлов и уехал в свою гипотетическую Южно-Африканскую республику. Эти же «правозащитники» вели атаку и на Тимолева, но тот почему-то относился к этому спокойно, понимая, что дураков хватает во всяком движении, а к настоящим правозащитникам подобные деятели не имеют никакого отношения. Так, с жиру бесятся.

После этой встречи на «биостанцию» начали наведываться сотрудники «котлонадзора», командированные для обмена опытом. Пришла пора практического использования научных работ. Первым пациентом был пожилой и полностью отчаявшийся ликвидатор, получивший дозу в Чернобыле и с тех пор кочующий из одной клиники в другую. Операция прошла гладко, никаких следов несовместимости обнаружить не удалось. Гарлов сказал, что лет пять нормальной жизни они мужику подарили. А хоть бы и не пять, а год или полгода... кто возьмётся измерять цену человеческой жизни?..

Всего за каких-то полгода (а кто-то твердит, что это мало!) были разработаны методы выращивания тканей, а затем и

отдельных органов, пригодных для трансплантации. Одна за другой проведены несколько операций, о каких в официальной медицине могли только мечтать. В центре появились сотрудники, найденные не то Гарловым, не то самим Борисом Анатольевичем, эти старательные молодые люди по уже готовым методикам выращивали трансплантаты для будущих операций. В особнячке становилось тесновато, настоящая биостанция со своим зевающим завлабом теснилась теперь в одной комнате, две другие уступив Тимолеву.

Борис Анатольевич появлялся нечасто, но всегда с деньгами и задушевными разговорами.

— А ведь я заправским теневином стал, — как-то между прочим сказал он, прихлёбывая чай из тонкого химического стакана. Чай, по древней традиции всех лабораторий, заваривался в фарфоровой эрлиховской кружке и пился из стаканов богемского стекла, никогда не употреблявшихся в работе. Общительный спонсор мгновенно усвоил этот нехитрый обычай и без чая из лаборатории не уходил.

Фраза о теневином озадачила Тимолеву.

— Это в какой смысле? — спросил он, вежливо приподняв бровь.

— А в самом прямом, — благодушно отвечивал меценат. — Я, конечно, слыхал, что фундаментальная наука рано или поздно начинает приносить прибыль, но чтобы вот так... Вы знаете, сколько, оказывается, люди готовы платить за пересадку поджелудочной железы?

— Представления не имею, — честно ответил Тимолев. — И вообще, кому это нужно? Тут же нет жизненных показаний.

— Зато это верный способ избавиться от сахарного диабета. Представляете, хирургическое лечение диабета? И мы вынуждены хранить это в тайне. Операции делаем подпольно, деньги получаем незаконно. Типичный пример теневой экономики. — Борис Анатольевич криво усмехнулся и добавил: — Причём господа пациенты, а их уже трое, искренне уверены, что трансплантат был взят у живого человека.

— А как же несовместимость? — не выдержал Тимолев. — Курс лучевой терапии — это покруче любого диабета.

— Им сказали, что курс лучевой терапии прошёл донор перед операцией, так что им ничего проходить не нужно.

— Бред! Срабатывает иммунная система реципиента! Причём здесь донор?

— Правда? А они поверили. И я тоже думал, что тут всё в порядке. Всё наша темнота... — Борис Анатольевич опустил в чай три кусочка сахара, с интересом наблюдая, как белые кубики истаявают, на глазах разрушаясь.

— Кроме того, — сказал Тимолев, — кто согласится быть донором на таких условиях? Даже если этот человек выживет, он инвалид на весь остаток своих недолгих дней.

— Тут всё не так просто, — Борис Анатольевич решительно размешал чай, окончательно разрушив оплывшую сахарную постройку. — Обычно мнение донора никто не спрашивает. Видите ли, занявшись этим бизнесом, я прежде всего изучил рынок. Не удивляйтесь, раз есть спрос на органы для пересадки, то будет и предложение. Как правило, донорами оказываются люди, запутавшиеся в долгах и оказавшиеся на счётчике у бандитов. Их просто-напросто продают на запчасти. Неужели не читали? Об этом много писалось.

— Я не читаю перед обедом советских газет, — процитировал Тимолев.

— Тем не менее, рынок существует, суммы вращаются небольшие, а мы с вами, своими «этически неоправданными методами» уже слегка подпортили торговлю живым товаром. Не потому что мы дешевле — мы значительно дороже, — а просто после наших операций отторжения тканей не наступает. Чистый прагматизм: у нас выше качество. А так рабов резать выгоднее, чем большинство подпольных клиник и занимается.

Тимолев судорожно глотнул горячего чая, заперхал, обжегшись, неловко принялся вытирать выступившие слёзы.

— Так-то, — нравоучительно произнёс Борис Анатольевич. — Этика-с... Между прочим, наши пациенты деликатно не интересуются происхождением трансплантатов. А меня считают крутым русским мафиози, который по ночам отстреливает запоздалых прохожих и ворует детей. А я своих клиентов тоже, между прочим, не разубеждаю. Пусть боятся и уважают. Опять же, помалкивать будут.

Вид у Тимолева был совершенно потерянный, оставалось только помалкивать и слушать монолог спонсора.

— У вас, Сергей Владимирович, чистая наука, башня из слоновой кости, этическая стерильность, можно сказать, так и то вас достали. А вообще, медицина дело кровавое. Ваш приятель Гарлов много может порассказать на эту тему. Да и я могу. Давно, ещё в бытность мою студентом, попали мне в руки архивы Русского венерологического и сифилидологического общества имени Тарновского. Их в макулатуру сдали, а я вытащил. Два толстенных тома, а в них подшиты подлинные документы. Прелюбопытнейшее чтение, осмелюсь доложить! Сначала всё благопристойно: сбор средств на памятник этому самому Тарновскому, не знаю, кто такой, наблюдения за больными, статистика всякая: сколько в России сифилитиков приходилось на душу населения... А вот второй том, где советские времена пошли — это нечто! Вот где наука-то разбушевалась! Брали сифилитика, заражали кандидомикозом. Или брали кандидомикозного больного и прививали ему сифилис. А потом изучали развитие смешанной инфекции. Какие-то очень поучительные выводы делали. И это не где-нибудь в гитлеровских концлагерях, а в Ленинграде, в больнице у Калинкина моста, что Саша Чёрный воспел. Потом всё засекретили, но не думали, что рукописные отчёты сохранятся. Меня это чтение сильно избавило от юношеских иллюзий. В тридцатом году все научные общества к общему знаменателю привели, согнали в один колхоз — Научно-техническое общество. Тридцатым годом архивы и заканчивались. А знаете, какой самый последний доклад был прочитан в обществе Тарновского? Ни в жизнь не догадаетесь! «Борьба с правым и левым уклонами и правильная марксистско-ленинская позиция в лечении венерических заболеваний»!

— Как это? — промолвил Тимолев, возвращаясь к жизни.

— Очень просто. Вот если к врачу приходит больной и врач принимается его лечить, то это правый, мелкобуржуазный уклон. А требование лечить классы: пролетариат — стационарно, трудовое крестьянство — амбулаторно, а прочих — не лечить вовсе, — это уже левацкий загиб.

— А правильная марксистско-ленинская позиция?

— О! Она заключается в лечении трудовых коллективов. Скажем, труженикам морского порта всем без исключения — курс неосальварсана. Работницам ткацких и табачных фабрик — обязательное спринцевание перманганатом, и так далее...

— Неужто всё это правда? — тихо спросил Тимолев.

— Правда. Я сам читал этот доклад.

— Да нет, я не о том. Вернее, не только о том. Торговля людьми... человеческими органами для пересадки?

— И это правда, — жёстко сказал Борис Анатольевич. — Особенно активно этим делом львовская криминальная группировка занимается. А поскольку мы с вами по их бизнесу нанесли чувствительный удар, то следует ожидать вульгарных бандитских разборок. Так что не удивляйтесь, что охрана будет усилена, и постарайтесь, чтобы информация о вашей работе никуда не просачивалась. У наших конкурентов длинные руки и очень большие уши.

Разговор этот произошёл два дня назад. А вот сейчас в университетской аудитории на месте нерадивого студента сидит господин силовой министр и требует... ничего он не требует, у него просто умирает дочь. И если бы это был всего лишь бывший однокашник, можно было бы попытаться помочь. Но ввязывать в игру министра никак нельзя.

Когда, лет десять тому, фамилия сокурсника замелькала среди руководителей компетентного ведомства, кто-то из общих знакомых обмолвился в невесёлую минуту:

— А ведь получается, что он уже и тогда работал в органах. Опекал нас, обормотов. А мы при нём разговоры разговаривали.

— Так ведь никого не посадили, — возразил Тимолев, — хотя на нашей болтовне прекрасный процесс можно было сварганить. Значит, совесть у него живой оставалась.

— Или его начальству всё уже было пофигу, — возразил оппонент.

Вот так вот... сиди и гадай.

— Открою тебе служебную тайну, — медленно произнёс министр. — По каналам Интерпола мы получили информацию, что здесь у нас, в России, делаются незаконные операции по пересадке внутренних органов с каким-то предваритель-

ным облучением организма донора. Якобы это впоследствии снижает иммунный ответ реципиента.

— Реникса... — непослушными губами произнёс Тимолев. — Лысенковщина чистойшей воды.

— Это я понимаю, но ведь дыма без огня не бывает. Значит, ведутся какие-то работы.

— Вот моя работа! — Тимолев отбросив всякие сомнения, хлопнул ладонью по врезанному в стол лозунгу: «Ненавижу, козлы!»

В дверь постучали.

— Я занят! — крикнул Тимолев, забывший, что он не у себя в кабинете, а в аудитории, куда всякий и без стука войти может.

Дверь открылась, и на пороге появился смущённый Борис Анатольевич.

— Я не помешал? — спросил он. — Дело в том, что вы так громко разговаривали, что я невольно слышал часть вашей беседы...

Разговор вёлся вполголоса, но сейчас это несоответствие прошло мимо Тимолева. Чёрт, так бездарно вляпаться!

— ...я думаю, — говорил Борис Анатольевич, — что мы могли бы помочь вашему другу. В виде исключения... ведь это же ваш друг, да?

— Одногруппник...

Тимолев не мог оторвать взгляда от лица своего одногруппника. Лишь однажды видел он такое выражение, какое появилось сейчас на этом лице. Тогда их, всех парней курса, во время занятий на военной кафедре привели в тир. Именно с таким выражением лица будущий господин силовой министр лупил из «макарова» по грудной мишени. И единственный из всего курса выбил зачётные очки.

— Вот видите, одногруппник, — ничего не замечая, тараторил Борис Анатольевич. — Пять лет вместе. Конечно, надо помочь. Давайте сделаем так: вы сейчас поезжайте в центр, подготовьтесь к приёму образцов ткани, а я пока обсужу с вашим другом кое-какие детали. Думаю, выращивание клонированной культуры можно будет начать уже завтра. А недели через четыре, если всё сложится удачно, проведём подсадку...

Тимолев поднялся и молча вышел. Он не знал, что думать и на что надеяться.

Министр и Борис Анатольевич остались одни. Оба молчали, лишь с лица министра сползал прицельный прищур. Потом министр произнёс:

— Вот, значит, как... Всё уже существует и находится в ваших руках. И зачем вам это нужно? Это же не ввоз контрабанды, не поставка русских девчонок в китайские бордели, не наркотики даже. С чего бы вам этим заниматься?

— Помилуйте, — прежним, ничуть не изменившимся тоном ответил тот, что называл себя Борисом Анатольевичем. — Какие наркотики? У меня вполне официальный бизнес... я просто отказываюсь понимать.

— Понимаете, — отмахнулся министр. — Просто взять я вас покуда не могу. И это вы тоже понимаете.

— А если вы настолько обо мне осведомлены, то должны бы знать, что есть у меня слабость — подбирать то, что плохо лежит, простите великодушно за дурной каламбур. Вы вышвырнули на свалку лучших учёных, я их подобрал. Дал им лаборатории, средства, возможность в свою очередь подбирать сотрудников. Что в этом плохого?.. Даже не по понятиям, а просто по совести? Кстати, за нарушение вашего запрета на клонирование не полагается ничего... Удивительно глупо — принять закон и не назначить наказание за его нарушение. Такой закон только ленивый не станет нарушать. А я, между прочим, трудолюбив, этого вы отрицать не сможете. Так что никакого обвинения вы мне не предъявите, даже за уклонение от налогов — в эту программу я покуда вложил денег много больше, чем получил. Зато в руках у меня действительно уникальные вещи. Отнять их можно, но трудно. К тому же в случае конфликта многое может попросту погибнуть. Люди смертны, а все данные и отчёты — у меня. В единственном экземпляре, как те архивы.

— Какие архивы?

— Ай, не берите в голову, это личное.

— И что же вы хотите за ваши уникальные вещи? Легализации исследований и вашего бизнеса?

— Зачем? — Борис Анатольевич мудро усмехнулся. — Дело уже налажено, а тут лишние хлопоты. Обработка обществен-

ного мнения, другие страны начнут недовольство высказывать, опять же, трения с церковью. А так — всем хорошо, все довольны. Кстати, церковь в курсе наших работ, во всяком случае — некоторые иерархи. Одному из них мы делали недавно пересадку желёз.

— Половых? — не удержавшись, спросил министр.

— Не охальничайте, — строго прервал теневик. — Что за люди? Как перед телекамерами лоб крестить, так они в очередь стоят, а чуть речь о попах заходит, так сразу воображать начинают, как те в исповедальне прихожанок тискают. Ничего там такого не было. Возраст, обычные человеческие хвори. А вообще, я не медик, так что ничего определённого сказать не могу. Кстати, учитывая нелюбовь нашего общего друга к долгогривой породе, содрали мы со святого отца по полной программе. Вообще, учитывая некоторые обстоятельства, наши услуги стоят чрезвычайно дорого, но для вас, учитывая, что вы друг Сергея Владимировича, мы всё сделаем бесплатно на самом высшем уровне.

Министр слушал молча, а криминальный король вдруг вспомнил, сколько неприятностей доставлял ему этот человек. Дошло до того, что Борис Анатольевич начал лелеять мысль обвинить недруга в зверском изнасиловании грудного младенца. Даже при нынешней разнузданной свободе самое трудное — придать такому делу широкую огласку. А уж потом... любая, самая объективная и независимая экспертиза подтвердит, что преступление совершил господин министр. Анализ генетического материала для следствия такая же улика, как и отпечатки пальцев. К сожалению или к счастью, но в ту пору идеалист Тимолев ещё не умел клонировать человеческую сперму. А теперь надобность в столь сложной интриге отпала, всё складывается самым замечательным образом. По возможности дело всегда следует заканчивать миром. Всё-таки хорошо, когда у высокопоставленных чиновников есть не слишком здоровые дети, которые любят соваться в такие места, где очень легко организовать подходящий несчастный случай. Мир в этом случае приходит сам собой.

— Насколько мне известно, — проникновенно произнёс Борис Анатольевич, — через два года операцию нужно будет

повторять. Можете быть уверены, мы и тогда безвозмездно сделаем всё возможное. В свою очередь мы надеемся на понимание с вашей стороны. Я не стану предлагать ничего, что противоречило бы вашим убеждениям или шло вразрез со служебными обязанностями. Скорее — наоборот. Вот, скажем, львовская группировка... им давно пора почувствовать силу закона.

— Да, я понимаю, — согласился министр, глядя в лицо новому хозяину.

## ОДИНОЧКА

Комната, большая, светлая... Распахнутое окно прикрыто занавесками. Это хорошо, что в окне ничего не видно, только солнечный свет просачивается сквозь белый тюль. Вряд ли оттуда следует ожидать нападения. В комнате порядок, совсем как при ознакомительном визите. Только на столе стоит тарелка с недоеденным супом.

Во время ознакомительного визита Игнат представлялся санитаром, что, в принципе, недалеко от истины. Стоял с чемоданчиком в руках, рассеянно оглядывал комнату. Подал пальто старенькой докторше Рине Иосифовне, попытался поухаживать и за хозяйкой, но та шарахнулась, как от зачумлённого. Игнат тогда решил, что прокололся, но нет, в больнице, освоившись в палате и беседуя с Риной Иосифовной, пациентка не вспомнила подозрительного санитаря. Значит, она шарахается таким манером от каждого встречного. Случай запущенный, но не безнадёжный.

Неприятно, что Игнат попал именно сюда; значит — бытовуха. Такие дела распутываются либо всего проще, либо не распутываются вовсе. И до последней минуты не знаешь — пустышка тебе выпала или глухарь.

Игнат осторожно понюхал тарелку. Нормально пахнет, картофельный суп с фрикадельками. На поверхности пятнышки жира, на дне морковные кругляшки, аккуратно нарезанная картошечка, пара фрикаделек, явно самодельных — в фарш добавлен мелко порезанный укроп. По всему видно, хозяйка повараха превосходная. У таких суп безопасен.

А вот это уже серьёзно! У самой двери на полу валяется немело выстроганная деревянная сабля. Такие вещи случайными

не бывают, особенно у немолодых, одиноких, бездетных женщин. Честное слово, лучше бы там лежал настоящий клинок, отбалансированный и убийственно острый.

Игнат вскинул самострел и шагнул в коридор. Обои в жёлтый цветочек, под ногами половая доска, выкрашенная багрово-коричневой масляной краской. Ох, как давно не приходилось видеть таких примет! Собственно говоря, подобный интерьер ушёл в прошлое лет пятьдесят назад и сохраняется разве что в провинции, где люди до сих пор прозябают в барачных общежитиях коридорного типа.

Как и полагается, в коридоре царил смутный полумрак, лишь отдельные предметы бросались в глаза ярко и отчётливо. Обшарпанный велосипед, висящий на вбитых под самым потолком штырях — весной его снимут, а место под потолком займут лыжи, которые сейчас, небось, стоят возле входной двери. Интерьерчик конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, а возможно, и более ранний. Сегодня такое только в кино встретишь... И, конечно, Игнату частенько приходилось бывать в подобных коммуналках. Ему ещё и не в таких местах бывать приходилось.

Куда теперь? Пройтись по соседям или сразу во двор? А там? Подвалы, чердаки, тёмные закоулки между гаражей, воняющие кислотной помойки... Всё это не столь опасно, сколь противно. Хотя и опасно тоже.

Игнат резко обернулся, вскинул самострел... Никого. А на какое-то мгновение почудилось, будто по коридору несётся серый комок — не то хищный обитатель подозрительно пустой квартиры, а быть может, этим комком кто-то пульнул из-за угла. И неважно, что минуту назад никакого угла не было, коридор кончался, словно обрезанный ножом. Минуту назад не было, а сейчас вполне может быть.

Коридор был пуст, только в торце, где прежде не удалось ничего рассмотреть, обозначилась дверь и латунный выключатель на стене. В самых первых электрифицированных домах висели на стенах подобные механизмы. Гетинакс ещё не был изобретён, и корпуса выключателей делали из латуни. Как ни странно, это был очень надёжный механизм, хотя, казалось бы, всякого, желающего включить свет, он должен бить током. Интересно, ловушка или нет?

Подошёл, концом самострела повернул выключатель. Разряда не было, механизм работал как новенький.

За дверью, как и следовало ожидать, оказался туалет, такой же древний, как и вся квартира, с бачком, вознесённым под самый потолок.

Игнат покачал головой. Ему не нравилась тщательная проработка деталей, фактура стен и дверей, велосипедный руль, обмотанный бечёвкой, чётко означенный колер пола. Куда как проще было бы, если бы вокруг была серая невнятица, обрывки сцен и разговоров вперемишку с чудовищами и гадами, лезущими неизвестно откуда. А тут видны потёки старой краски на стене, и пятно в виде тигриной головы, и даже слышен чуть заметный запах хлорки (не было в продаже во времена подобных квартир ни дезодорантов с цветочным запахом, ни даже хлорамина!). Ай да хозяйюшка, этакий заповедник хранить!.. Киношники бы за такое двумя руками ухватились, если бы здесь можно было безопасно снимать.

А сортир всего подробнее проработан — дедушка Фрейд был бы доволен. Фиксация на анальной стадии... Эх, если бы всё было так просто, как полагал дедушка Фрейд!

Вокруг что-то ошутимо изменилось. Не было ни шороха, ни подозрительного сквознячка, вообще ничего, но Игнат ясно понял, что события начались, и оно, скорей всего, уже здесь. Теперь главное — не вспугнуть и не спровоцировать нападение. Хороший боец не тот, кто первым стреляет, а кто побеждает без пальбы.

Медленно, словно нехотя Игнат повернулся. Сзади стоял мальчик. Белобрысый парнишка, стриженный под чёлочку. Сейчас такой причёски никто и не помнит: вся башка оболвана под машинку, лишь надо лбом оставлен короткий чубчик. И одет мальчишка по моде пятидесятых: рубашка в полоску, широкие штаны чуть ниже колена, держатся на помочах... на ногах — сандалики и гольфы. А ведь верно, носили гольфы в ту далёкую эпоху! И загадка была: «У мальчиков и у девочек наблюдается, на „г“ начинается». Ответ: «гольфы». Дедушка Фрейд был бы доволен.

— Здравствуй, — сказал Игнат.

— Здравствуйте, — отозвался мальчишка.

— Тебя как зовут?

Обычно с такого рода явлениями можно разговаривать до бесконечности, задавая стандартные, ничего не значащие вопросы и получая столь же содержательные ответы, из которых, тем не менее, можно вычлениить полезную информацию. Впрочем, расслабляться во время разговора не стоит: нечаянно заденешь болевую точку, и реакция окажется столь неадекватной, что только голову пригибай. Но на этот раз ответа не последовало, мальчишка бочком протиснулся мимо Игната и притворил за собой дверь уборной.

Тоже стандартный ход — дети очень быстро выясняют, что в туалет за ними никто не пойдёт, и значит, там они в безопасности. Инстинкт этот сохраняется даже у взрослых; следователи знают, что когда вооружённый маньяк врывается в квартиру, жертва ищет спасения, как правило, в туалете, хотя и понимает, что хлипкая защёлка не задержит убийцу ни на секунду. Интересно, что сказал бы по этому поводу дедушка Фрейд?

Мальчишка, значит, не монстр, а фантом. Или это сама хозяйка? Тогда он влип основательно — если старушка идентифицирует себя с семилетним пацаном, то все реакции будут нестандартными, и дело, скорей всего, окажется безнадежно глухим.

Впрочем, сабля на полу была деревянной. Если бы хозяйка была мальчишкой, саблю бы она сделала стальной.

А хорош бы он был, если бы, не разобравшись, пальнул в ребёнка! После такого можно сразу уходить с работы и оформлять инвалидность. Или вешаться, что не сильно отличается от пенсии по инвалидности.

Стоять возле запертой двери можно было до бесконечности. Игнат пожал плечами и двинулся назад по коридору. Пройдя несколько шагов, остановился.

А вот тут прокол... мальчишка одет по-летнему: сандалии, короткие штаны, а велосипед висит на стене, хотя что ему там делать летом? Игнат оглядел стену: велосипеда не было, на вбитых штырях умещались две пары лыж. Вот так, теперь всё правильно... А хозяйюшка где-то поблизости, мелькнула придуманная мысль, корректирует окружающее по мере выявления

несостыковок. Очень плохо... лучше бы она была полностью беспомощна и воспринимала меня как спасителя. А то ведь незванный гость хуже родного монстра.

Двери городской квартиры выходили не на лестницу, а сразу во двор: наполовину городской, наполовину деревенский, нечто вроде того, что изображён на картине Поленова. Это хорошо, а то лестничные площадки всегда самое скверное место, именно там тебя могут взять в оборот. Но с другой стороны, лучше бы уже начались какие ни на есть события, а то хожу почти десять минут, а про окружающее так ничего и не выяснил, кроме самоочевидной вещи, что детство хозяйки приходилось на середину пятидесятых. И ещё... солнце, яркие краски, ни намёка на угрозу. Может быть — ошибка? Ну как это благолепие может держать в страхе несколько тысяч человек? Злые миры тоже бывают солнечными, но опытный взгляд не обманешь, свет там всегда внешний, сквозь разливы золотистых лучей непременно проступает изнаночная чернильная тьма. Если уж взялся за живописные сравнения, то можно вспомнить картину Куинджи «Берёзовая роща». Белые стволы, солнце, воздух, напоённый светом — и чернота, проступающая сквозь этот свет. Говорят, прежде картина такой не была, просто художник пользовался битумными красками, которые темнеют со временем. Вот и этому миру, законсервированному на полвека, пора бы темнеть, наливаясь незримой угрозой, а он сияет себе, как ни в чём не бывало.

Посреди двора — песочница, сколоченная из крашенных досок. На краешке сидит мальчишка, тот самый, которого Игнат оставил в туалете. Не по возрасту парню куличи лепить, впрочем, он и не играет, просто сидит на краю песочницы. В руках деревянная сабля. А куличиков — полная песочница, кто только налепил... не иначе — дедушка Фрейд.

— Здравствуй, — сказал Игнат.

— Здравствуйте, — отозвался мальчишка в точности как в первый раз.

— Тебя как зовут?

Игнат ждал, что ответа не будет, однако мальчик, не подняв взгляда, ответил:

— Шурка.

Любопытно... Шурка — имя равно мужское и женское. Как же зовут хозяйку?.. Но не Шурка, это точно. Лидой её зовут! Лидия Андреевна...

— А Лидия где?

Мальчишка посмотрел пристально и ничего не ответил.

Игнат осторожно, стараясь не поломать аккуратный кучки куличиков, присел на край песочницы.

— Ты почему, не пообедав, гулять убежал? Суп остынет.

Молчание.

Игнат покосил глазом. Мальчишки не было. Только деревянная сабля торчит посреди песочной кучи. Самый большой кулич развален надвое.

Чёрт, и где же здесь опасность? Похоже, что самая большая беда на этом дворе — появление Игната Шомняка с его самострелом. Но ведь не может быть, чтобы он ошибся; тёмная жуть гнездится именно здесь, посреди солнечного полудня.

Игнат придиричиво осмотрел двор. Где тут может скрыться опасность? Дом, из которого он вышел — городской, до второго этажа облицован серыми осколками гранита, а выше — обычная старая штукатурка. Единственная парадная — там он только что был и не видел ничего нехорошего. Может быть — проблема возвращения? Выбежала Лида из светлой безопасной комнаты на солнечную улицу, в поленовский дворик, а назад — хода нет, объявилась тёмная лестница со всеми прелестями, что водятся в таких местах... Но тогда что-то должно гнать домой, а вокруг ни малейшего признака беды. Впрочем, от поленовского дворика осталась только трава и дорожка, ведущая к двухэтажным деревянным сараям.

Как там в анекдоте?.. «Явный псих! — Но какая память!» Тем, кому меньше пятидесяти, подобные штучки не представить, а в первой половине двадцатого века деревянные сараи в центре большого города были самым обычным делом. Многоэтажный дом, полсотни коммунальных квартир, в каждой живёт от четырёх до шести семей. Отопление печное, газ — то ли проведён, то ли ещё нет. Скорей всего — нет. А это значит, на кухне кроме огромной деревянной плиты ещё и несколько керогазов, керосинок или шумящих медных примусов.

*Портит людям аппетит  
Гарь от керосина.  
Если примус твой коптит,  
Значит, ты скотина!*

Поэт хорошо знал, о чём пишет. А вот Игнат, пожалуй, зря не заглянул на кухню, прежде чем выходить на улицу. Не исключено, что улица олицетворяет свободу, место, где тебя никто не догонит, а ужас как раз обитает на кухне.

Хорошо, когда квартира дружная. Тогда перед праздниками топится плита, на которой варится студень, а в огромной духовке пекутся пироги разом на всех соседей. А если это не квартира, а недоброй памяти Воронья Слободка? Тогда каждый ковыряется на своей керосинке, а с печами положение и вовсе безвыходное. Три круглых голландки на шесть комнат и коридор. Печь топится со стороны одной из комнат, а обогревает ещё и соседнюю комнату и кусочек коридора. Кто её должен топить и как часто? Проблема... Но главное, где хранить дрова и керосин? На чердаке сушится бельё, в сыром подвале дрова хранить не станешь, да и места там не хватит. Значит, нужен сарай, а вернее, полсотни сараев, которые надо разместить во дворе.

Сараи в два яруса лепятся вдоль глухой стены и вдоль дощатого забора, отгораживающего дом от переулка. В каждом сарае шесть полениц колотых дров, шесть бидонов с керосином, ещё какой-то скарб. Ох и раздолье для склок и выяснения отношений! Кто у кого керосина отлил, кто спёр у соседа полено?... А уж с точки зрения пожарной безопасности... удивительно, что город так редко горел. Хотя люди понимали, где живут, и даже местные гопники собирались тайком покурить где угодно, но не в закоулках возле сараев.

Сидеть на краю песочницы можно было долго и при этом не дожидаться ничего. Ясно, что его высчитали, видят, опасаются и просто так, нахрапом не полезут. Самый неприятный вариант, если беда разумна. С нерассуждающим монстром, который бросается при первой же возможности, гораздо проще. Или он тебя схарчит, или ты выпустишь ему кишки. А тут — нечто разумное, значит, стрелять, не взглянув ему

в лицо, никоим образом нельзя. Может быть, оно гробит людей просто оттого, что ему никто не догадался помочь... не людей гробить, конечно, а просто помочь, по-человечески.

Игнат поднялся и направился туда, где сараи, выстроенные вдоль забора, почти смыкались с сараями вдоль брандмауэра. Проехать в эту щель могла разве что инвалидская машинка, на какой в фильме Гайдая раскатывали Вицин, Никулин и Моргунов. Грузовик, на котором привозили дрова, втиснуться туда не мог, так что дрова выгружали посреди двора, а потом перетаскивали в сарай на руках.

На дворе — трава, на траве — дрова...

В дальнем закоулке стоял Шурка и, приспустив штаны, писал на стенку сарая.

— Другого места не нашёл? — спросил Игнат.

Понимал, что не стоит этого говорить, но патовую ситуацию нужно было обострять, и Игнат рискнул.

Мальчишка странно изогнулся, оборотился, открыв рот, тихонько взвизгнул и бросился под ноги Игнату, собираясь проскочить низом. Из спущенных штанов мечтой Буратино упруго торчала деревянная, дурно выстроганная сабля.

Можно было не загадывать, что случится, когда самодельный клинок ткнётся Игнату в живот или ноги. Деревянные сабли ранят страшнее стальных, и уж во всяком случае занозистей. Рука сама нажала на спуск самострела.

Недаром говорится: «Мастерство за плечами не носят, а оно всегда при себе», — он и сейчас выстрелил не в мальчишку, а в деревьяху, что угрожала его жизни. Тонкая серебряная стрелка расщепила сосновую древесину, что-то хрустнуло, мальчик слабо замычал, опрокинулся набок.

Пошатнувшись, Игнат схватился рукой за стену сарая, наклонился, уже понимая, что убил ребёнка. Мальчик лежал, выбросив одну руку вперёд, он как бы незаметно подползал к Игнату, и вытянутая рука его была неестественно, страшно длинна. Хотя, возможно, так просто казалось оттого, что ног у Шурки не было. Короткие, обычно не достающие колен штанины пусто обвисали, пластаясь по земле. Рядом валялись какие-то щепки, стружки... их становилось всё больше, казалось, сейчас стружечная пена полностью поглотит лежащее тело.

В далёкие пятидесятые, когда ещё не были изобретены ячеистые клетки из макулатурного картона, яйца в магазины привозили в ящиках, наполненных сосновой стружкой. Эту стружку потом жгли на задних дворах продуктовых магазинов, местные мальчишки разгребали прутиками золу, выискивая печёные яйца, которые были гораздо вкуснее сваренных матерью. Порой ненужную стружку отдавали людям на растопку или для набивки матрацев. Так что здесь всё в русле времени, ничего удивительного, что возле сарая лежат покуда не прибранные стружки... и когда они скроют мёртвое тело, оно обратится там в случайно забытое яйцо, из которого вылупится безногий ужас.

Игнат ухватил Шурку под мышки, потащил в сторону от множющихся стружек, прочь из узкого грязного прохода, на солнечный двор. На дворе трава, там всё должно быть кенно...

— ...правильно... — одёрнул себя Игнат.

— Кенно, — возразило помрачённое подсознание, — или нарно.

«Как же это она меня так уела? Откуда знает?»

Мальчишка открыл мёртвые глаза и внятно произнёс:

— Катись колбаской по Малой Спасской!

Игнат покачнулся, упал, больно ударившись головой, и впрямь откатился немного, причём не кубарем, а именно колбасой, как и приказал безногий мертвец. Провода натянулись, электроды соскользнули с висков, так что программа аварийного возвращения немедленно вышвырнула Игната в затенённую комнату лаборатории.

С полминуты Игнат царапал ногтями пол, будучи не в силах не только подняться, но и вообще сделать хоть что-нибудь. По счастью, на контроле ничего не заметили, никто не прибежал помогать. Трудно сказать, что Игнат ненавидел больше: состояние полной беспомощности в первые минуты по возвращении или услужливую готовность дежурной смены помочь. Ведь того и гляди на руках понесут. А некоторым нравится, когда с ними вот так возятся. Зиновий, говорят, по возвращении долго лежит в прострации, а дежурная смена бегают, только что горшок ночной не приносят... Хотя на то он и есть Зиновий, наша гордость и маяк.

Удивительно другое — Игнат, Зиновий — имена редкие, и такие в их профессии почти у всех. Нет, встречаются, конечно, и Александры с Николаями, но тогда фамилия у коллеги окажется такая, что не сразу выговоришь: Зацепиани или Соловей-Залётный. Шомняк, впрочем, тоже звучит как надо. Один Алёшка Иванов простец, но это исключение, которое подтверждает правило.

Игнат размышлял, лёжа на полу, прижавшись щекой к холодному линолеуму. Потом собрался, подтянулся на руках и вташил себя на топчан. Надо бы встать, выйти к дежурной смене, но сегодня, похоже, это не получится, так что пусть укол глюкозы делают здесь.

Нажал кнопку вызова, закрыл глаза. Чувствовал, как ему закатывают рукав, колют глюкозу. Доктор — по прикосновениям ясно, что на смене Рина Иосифовна — быстро нащупала пульс, коснулась лба тыльной стороной ладони, проверяя, нет ли жара. Хотя откуда взяться жару? А пульс в таких случаях всегда за сотню.

— Всё в порядке?

— Думаю, — ответил Игнат, не открывая глаз.

Думать — это тоже часть работы. Он туда не за приключениями ходил, и если сейчас не проанализировать увиденное, то весь поход пойдёт прахом.

Что в конечном счёте произошло? Фиаско он потерпел полнейшее, сама Лидия Андреевна так и не появилась, но инициатива всё время была в её руках. Причём ударила она лишь однажды, но чуть не насмерть. Вероятно, так же она действует и с остальными людьми, неподготовленными. Он искал надвигающуюся угрозу, копящийся страх, а их попросту не было. Был свет, радость, ностальгия далёкого детства... а потом — один внезапный удар, способный убить или свести с ума. Хороша старушка, ничего не скажешь. И всё-таки, как она это делает? Ясно, что делает неосознанно, характер у бабушки параноидальный, но сознательно мучить незнакомых людей она не станет.

Отправной точкой была комната, очень похожая на ту, в которой он побывал во время ознакомительного визита. Теперь ищем разницу... Понятно, что в настоящей комнате не

было сабли. Впрочем, саблю даже расшифровывать не надо, обычный фаллический символ. А уж в последней сцене, когда она у Шурки из штанов торчала... кстати, именно тогда мальчишка стал агрессивен. Какую роль сыграл этот Шурка в юные годы Лидии Андреевны? Может быть, затащил малолетку в проход между сараями и надругался над ней. А мы теперь разгребаем последствия.

Нет, это было бы слишком просто, и, главное, сюжет развивался бы не так. В поддержку гипотезы о давнем изнасиловании говорит только разрубленный саблей песчаный кулич. Мальчишка не стал бы запирается в туалете, не избегал бы разговоров, а хитро зазывал бы Игната туда, где можно пустить в ход саблю. Но главное, откуда хозяйка знает, как именно можно расправиться с пришельцем, причём самым жестоким и эффективным способом? Можно подумать, что это не её кошмар, а мой.

Игнат сосредоточился и вызвал в памяти виденную лишь однажды комнату. Подобной техникой владели немногие, называлась она ментальной галлюцинацией. Игнат снова, ссутулившись, стоял посреди комнаты и мог внимательнейшим образом разглядывать вещи, на которые в реальности не обращал внимания. И всё-таки, они были замечены, отложились в памяти, и теперь их можно перевести в разряд осознанного.

Картинка на стене, не новомодный постер, а раскрашенная фотолитография. «Маленькая кошечка охотно играет с мальчиком» — апофеоз пошлости, современные коллекционеры за такое бешеные деньги платят. Литографированный мальчик лет трёх даже отдалённо не напоминает Шурку. Котов во дворе и вовсе не замечалось, так что картинка безвредна, если не считать вопиющего дурновкусия.

Тарелки с супом на столе нет, да и какой может быть суп, когда хозяйка собирается ложиться в больницу? Ох как неохота было Лидии Андреевне ложиться в стационар, пусть даже для рядового обследования! Рина Иосифовна еле уболтала подозрительную старуху. Обещала после обследования вторую степень инвалидности, а это льготы и прибавка к пенсии. Вот и думай: в больницу неохота, а на инвалидность — так очень даже.

И всё-таки, супом в комнате пахнет, тем самым, фрикадельковым. Пообедала хозяйка ещё до приезда врачей, посуду помыла и поставила в буфет. Но запах остался, и значит, появление тарелки с супом объясняется по Фрейду как небывалая комбинация привычных впечатлений. В кошмаре непременно должно быть что-то из впечатлений минувшего дня. К сожалению, впечатления старушкины, а кошмар — родной, Игнатов. И у каждого из пострадавших кошмар тоже родной, а Лидия Андреевна как бы и вовсе ни при чём.

На столе лежит книга, вместо закладки торчит кончик рекламного объявления. Игнат прищурился, прочёл название на коленкоровой обложке. Всё-таки хорошо, что одинокие старушки предпочитают перечитывать классику. Оказалось бы на столе что-то глянцевое — и гадай, имеет ли оно отношение к последним событиям. А так, вызвал в памяти давно прочитанный текст, и всё понял. Ай да бабка! Значит, это не герой романа мальчика убил, а злобный Игнат Шомняк... ловко придумано, дедушка Фрейд был бы доволен. Неужто на совести Лидии Андреевны — кровь неведомого Шурки? Нет, вряд ли... маленькие девочки редко убивают мальчишек. И потом... как там в подлиннике: «Мальчик лежал, выбросив одну руку вперёд, другую придавив коленом, одна нога его казалась немного короче другой...» — тут явно творческая переработка, чтобы побольнее ущучить незваного гостя.

— Дело ясное, что дело тёмное, — произнёс вслух Игнат и, стряхнув остатки сосредоточенности, встал. Его ещё покачивало слегка, но в целом состояние было нормальным.

Теперь предстояло наводить справки, в первую очередь, кто такой Шурка, и какую роль он сыграл больше полувека назад в жизни нынешней старушки Лидии Андреевны.

Легко сказать — наводить справки, а закон о неприкосновенности личной жизни — куда девать? И без того вся контора работает полуплегално. Это ж подумать страшно — соваться не просто в личную жизнь, а в подсознательное, куда и сам человек не осмеливается заглянуть. По закону подобные эксперименты можно осуществлять только с согласия пациента. А Лидия Андреевна никаких разрешений не давала и давать не собирается. Она со своими кошмарами сжилась, а что

полгорода из-за неё пребывает в глубокой депрессии — вещь практически недоказуемая, особенно для самой виновницы. И чуть выползет история за пределы лаборатории, как немедленно объявится какой-нибудь правозащитник и громогласно заявит:

— По какому праву вы лезете во внутренний мир пожилой женщины? Нарушение закона налицо, а оснований для вмешательства — никаких. Статистика самоубийств по району?.. Частота обращений к психиатрам?.. Количество несчастных случаев? Но причём здесь Лидия Андреевна? Вот и засуньте свою статистику сами знаете куда. За подходящую цену мы вам ещё и не такую статистику сварганим.

В результате получается, что работающие в центре — не то благодетели рода человеческого, не то — убийцы в белых халатах. Во всяком случае, со времени последнего прокола всякая деятельность центра была прекращена прокуратурой, и то, чем занимался только что Игнат Шомняк, иначе как преступлением против личности назвать нельзя. Причём преступление совершается с особым цинизмом, под самым носом у работающих следователей.

За день своим людям не удалось выяснить ничего. В таких случаях обычно клиента оставляли на несколько дней в покое, но Игнат понимал, что ещё раз заполучить Лидию Андреевну в больницу вряд ли удастся, да и неизвестно, что с ними будет завтра — может быть, всех арестуют. Поэтому он решил ближайшей ночью повторить вылазку, а там — хоть трава на дворе не расти.

\*  
\* \* \*

Комната, большая, светлая... — это понятно, теперь так всегда будет. Люди незнающие, слышавшие что-то, но не понявшие ничего, полагают, что такие, как Игнат, шастают по чужим снам. Оно, конечно, случается, что разные сны начинаются с одного зачина, а потом расходятся, словно тропинки от камня с надписью: «Направо пойдёшь...» — но очень немногие видят такие сны и даже помнят, что уже бывали в этой ситуации, знают, какого коня потеряют, если пойдут направо.

А при путешествии в подсознание отправная, базисная точка встречается непременно. Конечно, меняться будет и эта комната, символ устойчивости переменчивого мира, но меняется она медленно, за годы. У дедушки Фрейда о таком слова нет, то ли не знал, то ли ему неинтересно было.

А вот мелочи в комнате меняются непременно. Тарелки с супом нет, книги тоже... хотя книга была в реальности, а здесь засветилась жутковатой инсценировкой. На столе лежит неровно отрезанная скибка хлеба и большой, пыльный огурец. Дедушка Фрейд немедля сделал бы вывод, и на этот раз ошибся бы; как там, в анекдоте... бывает ведь и просто сон. Хлеб и огурец имеют двоякий, но совершенно не сексуальный смысл: прежде всего они означают, что Лидия Андреевна дочитала-таки книгу, а во-вторых, ей, искусной поварихе, решительно не понравился больничный обед. И это правильно, нравиться больничный обед не может по определению.

А вот и фаллический символ: на том месте, где валялась увиденная в первый раз сабля, лежит игрушечная жестяная дудка. Ох как давно отечественная промышленность выпускала подобные игрушки, теперь такое только на картинках Пахомова увидеть можно!

*Левой-правой! Левой-правой!  
На парад идёт отряд!*

Значит, не удалось взять чужака саблей, и Лидия Андреевна перевооружается. Очень мило, посмотрим, чего можно ждать от дудки. Поднять, что ли, трубу и задудеть? Нет, в комнате нельзя, в базисной точке вообще не следует совершать недуманных действий. Ты нашумишь не подумавши, а старушка умом повернётся. Страшное дело, если в центре мира, где всё должно быть неизменно и безопасно, прозвучит жестяной сигнал тревоги. Реакция в таких случаях непредсказуема. Чужая душа — потёмки, даже если в ней царит солнечный день.

Игнат вышел в коридор... нет, прямо во двор. И это был сразу городской двор, безо всякой зеленеющей травки. Хотя солнышко блестит, без этого Лидия Андреевна, видимо, не умеет. И тесный проход между сараями — на месте, приглаша-

ет зайти. Просто и навязчиво: в коридоре тебе делать нечего, на лестницу, где, несомненно, обитают мелкие страхи, даже в прошлый раз не пустили, а сюда — милости просим.

На земле, перед самым проходом свалена куча дров, причём не поленьев, а старых шпал. Их ещё пилить предстоит и колоть. Не позавидуешь тому, кто, позарившись на дешевизну, купил списанные шпалы. Намучается он с ними и пилу заездит вусмерть. Зато горит пропитанная креозотом древесина жарко и дымно.

На одной из шпал, не глядя в сторону Игната, сидит Шурка. Ноги на месте, нормальные мальчишеские ноги, на правой коленке — царапина. В руках у Шурки, конечно же, жестяная дудка. Что и требовалось доказать.

Сейчас от Игната ждут, что он заговорит с парнем, например, сделает замечание, что сидеть на плахе не следует, штаны будут испорчены, смоляное пятно никакая стирка не возьмёт. Не исключён и другой вариант, что Игнат сразу зайдёт в промежуток между сараями и окажется в ловушке. Вряд ли удастся выйти назад через шпалы, как бы деревянные плахи не стали плахой в ином смысле слова.

На дворе — дрова, на дровах — братва, у братвы — трава... Нет, у братвы — труба. Ему, Игнату, труба.

А вот мы сейчас сделаем иначе и подыгрывать бабушке не станем. Не я за тобой буду бегать, а ты за мной побегай!

Игнат развернулся и, пройдя через подворотню, вышел на улицу.

Обычная улочка старого Петербурга, они и сейчас почти не изменились. Даже район угадывается: Петроградская сторона. Если напечатать это название на компьютере, то глупый «Ворд» не поймёт написанного и предложит замену: «Ретроградская сторона». И, между прочим, будет прав.

У стены сидит нищий — безногий калека. Игнат внутренне напрягся: «Начинаются дни золотые...»

Обычный, неприметный дядька... Серое, давно не бритое лицо, в которое навеки впечаталось покорное безразличие. Обрубок тела усажен на тележке, махонькой, только поместиться. Вместо колёсиков — четыре подшипника, вынесенных с завода. Рядом ручками вверх стоят подбитые резиной

калабахи, с их помощью инвалид передвигается: отталкивается от мостовой и едет, куда сила в руках есть. Но сейчас он просто ждёт, когда мимо пройдёт сердобольный прохожий. Перед ним на тротуаре мятая алюминиевая миска, должно быть, в неё прохожие кидают копейки. А ведь, судя по эпохе, ноги он потерял на войне. Это в наше недоброе время любой пропойца, по пьянке ставший инвалидом, облачается в камуфлю и корчит из себя раненого афганца, в пятидесятых, попробуй искалеченный солдат выползти за милостыней не то что при медалях, но просто в старой гимнастёрке — мигом заметут в участок, а следом — в специнтернат, ничем по сути от тюрьмы не отличающийся. И не посмотрят, что был ты героем, а стал калекой. Изувеченный воин не должен смущать граждан победившей страны.

Игнат шёл, стараясь не глядеть. Руку в карман не сунул, и без того ясно, что там пусто и подать милостыню давно умершему, живущему лишь в памяти Лидии Андреевны инвалиду не удастся.

Проходя мимо, покосил глазом. В миске у нищего вместо копеек лежали варёные макароны. В последнее время такие снова появились в продаже: толстые, серые... Но прежние макароны ещё и разваривались, а остывнув, слипались в неопрятный клейстерный комок. Клейстерный или клистирный?.. Тьфу, пропасть, опять всё не просто так, всё с подтекстом самого неаппетитного свойства.

Нищий ел, отлавливая толстыми невымытыми пальцами по одной макаронине.

Мимо Игната протиснулся невесть откуда объявившийся Шурка, приспустил штаны и принялся писать прямо в миску, на макароны.

Нищий ел.

Подавив рвотный позыв, Игнат быстро пошёл прочь. Шагов через пять оглянулся. Шурка продолжал своё занятие. Жестяная дудка была зажата под мышкой.

— Ничего личного, — пробормотал Игнат.

В самом деле, происходящее, скорей всего, не направлено против пришельца. Скажем, Лидочка в детстве страдала ноктоэнурезом. Не опасная, но стыдная для пятилетнего ребёнка

болезнь. Не было среди маленьких детей большего оскорбления, чем сказать другому, что он ночами рыбу в постели ловит. А дальше абсолютно по Фрейдю происходит перенос: вовсе и не я писаю где попало, а Шурка. Знать бы ещё, кто таков этот Шурка, совсем хорошо было бы.

Хуже всего, если никакого Шурки в природе не существовало, а просто Лидия Андреевна компенсированная трансвеститка. В таком случае Шурка — это она и есть... Впрочем, трансвестит бы непременно обустроил свой быт по-мужски, а комнаты, что реальная, что отправная точка подсознания, явно носят следы женской руки. Занавесочки, шкатулочки, картиночки... маленькая кошечка охотно играет с мальчиком. Так что этот вариант можно отбросить.

Оставив позади безногого нищего, Игнат свернул за угол и очутился на шумной улице.

Удивительная вещь — шумная улица! Подобное образование можно встретить в сознании почти любого человека, хотя иногда это не улица, а, скажем, шумная комната. Её глубокий смысл — одиночество в толпе и взаимное непонимание. Идёшь по дороге или сидишь на диване, кругом куча народу, но никого не видно, сфокусировать взгляд на окружающих не удаётся. Звучат голоса, крики, смех, плач, но ничто не касается сознания, всё проходит мимо, всё на уровне белого шума. Лишь иногда какой-либо образ впечатывается в память, и потом человек сам не может понять, откуда вылезли, неопознаваемые, но отчаянно знакомые запахи, незнакомое, но родное лицо, безумные, но непременно многозначительные слова:

*Ходил монах, стремясь от мира непоседицы,  
Скрывался он в глуши на дальних берегах,  
Хранил монах, хранил червонные медведицы,  
Златых медведей где-то там хранил монах.*

Зачем тебе это, если ты не поэт, и откуда эта бредятина выползла? А она именно оттуда, с шумной улицы.

Никто из коллег Игната в таких местах бывать не любил. Беспокойства много, а толку — чуть. Но иногда и там можно

подслушать или подглядеть нечто важное. В практике Игната один подобный случай был.

Молодой человек, с которым работал Игнат, не был индуктором, не проецировал свои страхи на окружающих. В таких случаях помощь осуществляется только по личной просьбе, но молодой человек и помощи не просил. Он с некоторой гордостью позволил заглянуть в свой внутренний мир, заранее ожидая посрамления психокорректировщика. Игнат не стал его разочаровывать, молодой человек и сейчас верит, что всех посрамил. Вообще-то пациент представлял собой редкий тип — глубоко верующего человека. Как и полагается христианину, был он дуалистом, ставящим дьявола если не на одну ступеньку с богом, то лишь немногим ниже. Везде и всюду видел он происки дьявола, а в подсознании страдальца нечистый царил бесконтрольно, прямо хоть экзорцистов вызывай. В борьбе с внутренним бесом юный подвижник проводил едва ли не всё своё время и видел в том смысл жизни. Игнату он позволил вмешаться лишь для того, чтобы лишний раз убедиться, что молитва ему помогает, а психокоррекция — нет.

Дьявол, царивший в душе христианина, вид имел почти канонический: двухметровое монстрило, состоящее из смоляных потёков чёрного вара. Монстр оказался напрочь неуязвимым, он срастался даже будучи разорванным на куски или сожжённым в пламени пожара. Игнат проклял создателей «Терминатора-2», с которого явно было срисовано смолистое чудовище. Оно неторопливо гоняло Игната по всем закоулкам бессознательного, никакие ухищрения не могли сбить его со следа.

Тем более не действовал против дьявола самострел с серебряными иглами; любой поп подтвердит, что подобные вещи проходят по части бесовщины, и толку от них ноль. Истиной в данном случае является то, что если имеешь дело с верующим человеком, нужно действовать верой.

В отчаянии Игнат попытался закрестить нечистую силу, но и тут не преуспел. Зато впервые овеществлённый комплекс вступил с ним в контакт. Прямо под черепом, неслышно для окружающих зазвучал насмешливый голос: «Не старайся, всё равно не поможет. Я же знаю, что ты безбожник».

Игнат бежал по шумной улице, дьявол шагал следом. Если свернуть за угол, противник немедленно выходил из-за этого же угла, сокращая весь отрыв, так что Игнат предпочитал уходить по прямой, наблюдая за черной фигурой, рассекавшей толпу. Будь это собственный бред Игната, можно было бы пойти навстречу опасности и погибнуть в борьбе. Именно таким образом удаётся избавиться от застарелого комплекса. Увы, дьявол был порождением чужих страхов, поэтому прямое столкновение не могло дать ничего. Сработает система аварийного возвращения, и Игната попросту выкинет из чужого подсознания.

Улица была полна пешеходов. Они проходили мимо дьявола, ничего не замечая, не делая даже попытки посторониться. Дьявол тоже не обращал внимания на людей; удивительно, как при таком скоплении народа они умудрялись избегать столкновений.

И тут произошло нечто, заставившее Игната замереть. В безликой толпе образовалась пара, обладающая индивидуальностью. Мама и дочка, девочка лет трёх. Вернее, в глаза бросалась только девчужка, мама шла подобно прочим сомнамбулическим фигурам, не видя посланца ада. А вот девочка... Игнат отчётливо почувствовал, как напряглась малышка, разглядывая идущего навстречу монстра. А когда они поравнялись, девочка протянула руку и пальчиком коснулась чёрной смолы.

Ух, как исказились смоляные потёки, заменявшие дьяволу лицо! Но он не выдал себя ни единым движением, лишь проводил уходящих долгим запоминающим взглядом. Бес не посмел тронуть ребёнка, который держится за руку матери, и отложил свою месть на потом.

Этого было довольно, чтобы Игнат нашёл выход из ситуации, казавшейся неразрешимой. Он сходил в церковь, которую посещал пациент, заплатил священнику и попросил подарить усердному прихожанину образ Богородицы, чтобы тот мог молиться пресвятой деве о ниспослании душевного покоя. Игнат уже не помнил всего, что наплёл доброму пастырю, но тот просьбу выполнил, и в душе молодого человека установился мир. Когда Игнат в последний раз заглянул в подсознание пациенту, он обнаружил, что тот ни на секунду

не выпускает ладонь женщины, в которой воедино слились Богородица и воспоминание о родной матери. А в особо критических ситуациях он попросту лежал на руках, прикинув к кормящей груди.

Кому-то подобная картина может показаться нелепой и даже похабной, но честное слово, она куда менее кощунственна, нежели одобренное церковью выражение: «Возлежать на лоне Христовом».

— Вот видишь, — сказал на прощание молодой человек. — Ты не помог, а молитва помогла.

— Неважно, что именно помогло, главное, что помогло, — ответил Игнат.

Ничего больше говорить он не стал, зачем огорчать великовозрастного младенца?

Теперь, оказавшись на шумной улице, рождённой полузабытыми воспоминаниями Лидии Андреевны, Игнат шёл, высматривая среди теней нечто живое. И конечно же, упустил, не заметил вовремя.

В какую-то минуту он сошёл с тротуара, или тот сам выскользнул из-под ног, так что Игнат очутился на мостовой. И тут же грянул сигнал дурацкой жестяной дудки. Прямо на Игната мчал дребезжащий трамвай. За стеклом смутным пятном белело лицо вагонновожатого.

Игнат попятился, но, споткнувшись о поребрик, упал, отчётливо понимая, что ноги остались на мостовой, как раз там, куда накатывал сошедший с ума и рельсов трамвай. Старые трамваи не умели гудеть, они дребезжали пронзительным электрическим звонком, так похожим на школьный, но этот гудел по-автомобильному, словно кто-то нажимал на грушу, прикрученную к жестяной трубе: «Би-бип!.. Би-бип!..»

«Труба архангела...» — успел подумать Игнат.

Он не помнил, сам включил срочное возвращение, или его вышвырнуло, как в прошлый раз. Очнулся уже в лаборатории. Линолеум охлаждал щёку, тело не желало слушаться. Игнат лежал, чувствуя, как неохотно отпускает его леденящий ужас. В памяти раз за разом возникала наезжающая громада трамвая, пятно лица за лобовым стеклом, цифра шесть в обрамлении сапфировых огней.

Каждый маршрут ленинградского трамвая отмечался своей комбинацией разноцветных сигналов. Двадцать шестой — красный и оранжевый, сороковой — два зелёных огня, а шестёрка — два синих. Даже в этой малости чужая память не соврала.

Крутая бабушка, однако. Ещё раз его так шандарахнет, и он, пожалуй, больше не осмелится заглянуть в чужую душу. Но откуда она знает, чем надо бить незваного гостя? Неужто тоже смотрит вглубь подсознания, выискивая погребённые страхи? А потом бьёт точно и безжалостно. Этак и помереть можно... не старушке, конечно, а Игнату Шомняку.

*Шёл трамвай четвёртый номер,  
На площадке кто-то помер,  
Не доехал до конца.  
Ламца-дрица гоп ца-ца!*

В Петрограде в годы нэпа, когда ещё и Лидии Андреевны на свете не было, существовало всего четыре трамвайных маршрута. Самый длинный был четвёртый. Четвёрка ходила от острова Голодай до речки Волковки, или как утверждали остряки, «...по Голодаю, поголодаю и на Волково кладбище!» Об этом маршруте и сложена песенка, пережившая четыре поколения пассажиров.

Интересно, какие огни были у четвёртого номера?

Добрейшей Рины Иосифовны, проводившей ночь на сестринском посту, сегодня нет, на отделении дежурит Леночка, а значит, и она, и сёстры спят, каждая в своём закутке. На помощь можно и не звать.

Отлежавшись, Игнат с трудом поднялся, отключил приборы и, держась за стенку, поплёлся на пост за глюкозой. Сами себе в вену колют только наркоманы, так что сестёр всё равно придётся будить. Никто не ждёт, что его вторую ночь кряду вышибет из чужого подсознания в три часа ночи.

За дверь его встретил неожиданно яркий свет и милиционер, сидящий рядом с дежурной сестрой. Совершенно нелепая пара: менту явно хотелось полюбезничать с миленькой сестричкой, тем более что среди мужиков ходят слюноточивые

рассказы о сексуальной доступности ночных сиделок. Бедняга не знал, что Людочка относится к той разновидности сексапильных девочек, которые смысл жизни видят в том, чтобы поломать кайф распалённому самцу. Они с большой охотой занимаются рискованным флиртом, но умудряются ускользнуть от жадных объятий в ту секунду, когда, казалось бы, постели не миновать. Так что и Людочка была не прочь поиграть в турусы на колёсах, но оба сейчас находились при исполнении, причём по разные стороны баррикады.

— Людочка, — сказал Игнат. — Мне бы глюкозы. Инъекцию делать пора.

Последнее он добавил специально для бдительного стража, мол, никакого ЧП не произошло, во всех делах привычная рутина. Однако обдурить милицейского сержанта не удалось.

— Нуте-ка, что у вас там?.. — потребовал он, увидав, что на свет появились ампулы и одноразовый шприц.

— Глюкоза, — простодушно объяснила Людочка, демонстрируя коробку.

— Ага, можно подумать, я не знаю, какую именно наркоту глюкозой зовут! Давайте-ка к начальству. И вы тоже, — повернулся он к Игнату.

В кабинете дежурного врача сидело ещё двое милиционеров и непременный в таких случаях человек в штатском. Милиция расположилась на диване, штатский за письменным столом, а Леночка... Елена Михайловна — на стуле посреди комнаты.

— Вот, — доложил конвоир, — задержал. Что-то она ему колоть собиралась.

— Елена Михайловна, — взмолился Игнат, нарочито не обращая внимания на посторонних. — Глюкоза нужна, ноги не держат...

Леночка резко поднялась, усадила Игната на своё место, закатала рукав, не глядя, словно с полки, забрала лекарство из рук милиционера, сама сделала инъекцию.

— Люда, идите на пост.

— А вы — оставайтесь, — сказал штатский, глядя на Шомняка. Коробочку с ампулами он внимательно осмотрел и оставил лежать на столе.

— Тогда эти пусть встанут, — потребовал Игнат. — Мне прилечь надо.

Подчиняясь кивку штатского, милиционеры встали и заняли позицию у дверей.

— И кто вы тут, пациент или сотрудник? — поинтересовался следователь.

— Санитар, — ответил Игнат, прикрыв глаза и откинувшись на кожаный валик.

— Любопытные у вас санитары, которым среди ночи требуются инъекции глюкозы, — очевидно, это было сказано дежурному врачу.

— А вы к нам пойдёте работать? — задала контрольный вопрос Леночка. — Давайте, мы с удовольствием примем санитарями вас и всех ваших сотрудников. А пока вы ещё не согласились, у нас будет работать Игнат Кузьмич, даже если по ночам ему придётся колоть глюкозу.

— И где же вы, Игнат Кузьмич, прятались?

— Я не прятался, я спал. В лаборатории возле сестринского поста топчан есть, ну, я и прикемарил малость, пока тихо.

— Так прикемарил, что глюкоза понадобилась... Замечательно. Давайте посмотрим, что в вашей лаборатории творится.

— Туда без сотрудников нельзя, — быстро сказала Леночка. — Туда даже врачи не заходят.

— А он там спит. Замечательно!

— Я там лаборант на полставки, — пояснил Игнат, — поэтому у меня ключ есть. И потом, я ничего не трогаю, просто сплю.

— Мы тоже ничего трогать не будем. А опечатать вашу лабораторию нужно, чтобы там, не дай бог, ещё кто-нибудь спать не улёгся. Вы, как, идти сможете, или без вас опечатывать?

— Смогу.

Все пятеро прошли через отделение и остановились у дверей лаборатории. Дверь была не заперта и открылась, едва следователь потянул за ручку. Игнат включил свет.

Милиционеры в помещение не вошли, остановились в дверях, уважительно оглядывая забитое приборами помещение.

— Впечатляет, — признал следователь. — И чем вы тут занимаетесь?

— Будто сами не знаете, — буркнул Игнат. — Психокоррекцией.

— А вам известно, что несанкционированное проникновение в чужую психику запрещено?

— Так то несанкционированное. У нас всё по закону.

— И как вы эту психокоррекцию осуществляете?

— Я откуда знаю? Моё дело — электроды налеплять.

— Красиво врёшь, — заметил один из милиционеров. — Одного не учёл, пострадавшие твой фоторобот нарисовали и на очной ставке тебя признают, можешь не сомневаться.

— Где это они меня могли видеть? — возмутился Игнат. — Во сне, что ли? Так ментальные образы со снами практически не коррелируют.

— Во, как заговорил, лаборант, — заметил следователь. — Профессору так говорить впору. А пострадавшие тебя именно во сне видели.

Игнат добавил в голос злоумышленно-уголовных интонаций и хрипло произнёс:

— На пушку берёшь, начальник. Каждый лох знает, что, проникнув в подсознание, врач может принять там любой облик, хоть родной мамы, хоть огнедышащего дракона. И вообще, во сне меня видели, во сне и ловите.

— Поймаем, не беспокойтесь.

— А как же несанкционированное проникновение?

— А мы с санкции прокурора.

— Боюсь, прокурор не может дать такого разрешения. А то вы влезете в чужую душу в милицейских сапогах и такого там наворотите, что после вас только под тяжёлую психиатрию.

— А после тебя?

— Я в чужую душу не лезу. Моё дело — электроды налеплять.

— Это я уже слышал. И про изменение облика я знаю, хотя и не лох. А ещё я знаю, что ваш брат старается пользоваться собственным обликом, но малость подкорректированным, покрасивше да посупременистей. Опять же физические недостатки исчезают. Поэтому на психокоррекцию идут в основном люди убогие, которым не чужие недостатки исправлять, а со своими бы разобраться. В чужом сознании этот специа-

лист прыгает как кузнечик, а наяву без глюкозы ног не волочит. Я понятно излагаю?

— Ничего удивительного, — заметил Игнат, — подобное было всегда, и, думаю, впредь будет так же. Классический пример — Сабина Шпильрейн, из пациенток доктора Юнга она прямиком попала в светила психоанализа.

— Понятно. Кто сам ничего не может, тот идёт учить и лечить других. Возможно, так было всегда, но впредь так не будет. Закон как раз и охраняет нормальных людей от лечения такими, как вы.

— Послушайте, — сказал Игнат. — Вы меня, кажется, ещё не арестовали и даже не предъявили никакого обвинения. Поэтому давайте всю вашу ругань отложим на потом. А пока объясните, на каком основании вы сюда вторглись.

— Объясняться я буду с вашим начальством, а вам, как вы верно заметили, буду предъявлять обвинения.

— Прямо сейчас, в четвёртом часу утра?

— Почему бы и нет? Вы не дома, а на работе. Простите за каламбур, у вас сейчас рабочая ночь. Опять же, взяты с поличным, в лаборатории...

— Я здесь спал. Так что инкриминировать мне можно только нарушение правил внутреннего распорядка.

— Это вы на суде объяснять будете.

— Тогда отметьте в протоколе, — зло сказал Шомняк, — что в лаборатории меня никто не видал, поскольку ваш сотрудник не за коридором следил, а, пользуясь служебным положением, вёл фривольные разговоры с дежурной медсестрой. И не забудьте отметить, что вся аппаратура в лаборатории выключена.

— Не вся, — следователь вытащил приборчик, более всего похожий на обычный наладонник, и указал на светящийся зелёный огонёк. — Видите, индикатор говорит, что здесь и сейчас что-то включено. И я, кажется, знаю, что именно.

— Можете выбросить ваш индикатор на помойку. Я лично всё здесь обесточил ещё с вечера.

— С вашего позволения, я пока обожду это делать. А вы, в свою очередь, подумайте, не желаете ли вы в чём-либо признаться? Чистосердечное признание... в общем, не мне вам объяснять.

— Чистосердечно признаюсь, — с невинной улыбкой, ответил Игнат, — что проснувшись я не успел сходить в туалет, и если я не сделаю этого сейчас, то могу описаться.

В памяти невольно возникла алюминиевая миска с макаронами и струйка мочи... Путешествие в чужое подсознание долго не отпускает исследователя, так что неподготовленный человек порой не может отличить, где его собственные мысли, а где наведённые образы. Не только врач действует на пациента, но и пациент действует на врача; в психологии и психиатрии это особенно заметно.

— Сейчас сходите. И всё же, повторяю, не хотите ли в чем-либо признаться?

— Кто повторяет, — произнёс Игнат поговорку времён детства Лидии Андреевны, — тот в уборную ныряет.

Опять фиксация на анальной стадии. Психологи, особенно молодые и энергичные, любят твердить, как далеко продвинулся психоанализ со времён Фрейда, но всё же истины, открытые патриархом, то и дело напоминают о себе. Недаром любимая прибаутка Игната Шомняка: «Дедушка Фрейд был бы доволен».

— Замечательно... — дребезжащим голосом произнёсследователь. — Сейчас сдадите вашу технику, подпишете протокол и можете отправляться нырять, куда захотите.

— Техника не моя, а казённая. Угодно — печатайте помещение, а утром беседуйте с руководством больницы. А меня оставьте в покое.

— Нет, господин лаборант, технику вы всё-таки сдадите, — следователь шагнул вперёд и резко дёрнул Игната за борт пиджака. — Это у вас что за португеза? Ну-ка быстро, снимайте пиджачок... Я-то вздыхаю, ах бедняжка, ходит горбатый, потому, наверное, и в психокорректировщики подался, а у него на спине целый арсенал...

— Какой арсенал? Это усилитель биотоков...

— Вот его-то нам и надо. А говорил, всё обесточено. Смирнов, сними молодого человека крупным планом. Потом оформим изъятие, и боюсь, что в туалет вам придётся нырять уже под конвоем.

Только теперь Игнат обратил внимание, что один из милиционеров держит в руках кинокамеру.

— Это мой личный прибор, к психокоррекции он не имеет никакого отношения.

— Вы это суду говорить будете. А пока попрошу сдать всю электронику.

— От жук, — проговорил любвеобильный страж порядка, прежде карауливший медсестру. — Знаем мы, как он тут спал.

Спорить, ругаться, доказывать не имело смысла. Игнат присел на край топчана, распустил ремни португеи, потом начал расстёгивать штаны. Следователь с усмешкой следил за представлением. Милиционер продолжал киносъёмку до той самой секунды, когда Игнат окончательно избавился от ремней и обе ноги, больше ничем не закреплённые, с грохотом упали на пол.

— А... это чего?.. — растерянно пробормотал следователь, глядя на огрызок человека, сидящий на топчане.

— Это протезы, — любезно объяснил Игнат. — Как видите, у меня нет ног. Вы потребовали, чтобы я сдал всю технику. Вот, пожалуйста, можете вносить в опись.

— Протезы я не требовал... — следователь чувствовал себя крайне неудобно, — только прибор.

— Без усилителя протезы работать не будут, так что забейте всё. Я теперь могу идти, или вы всё же собираетесь взять меня под стражу?

Не дожидаясь ответа, Игнат скатился на пол, подтянулся на руках и, ухватившись за край двери, выволок себя в коридор. Сейчас ему очень не хватало тележки на подшипниках и обшитых кожей чурбачков, что заменяли ноги нищему, сохранившемуся в воспоминаниях Лидии Андреевны. Крайне удачно добрая старушка продемонстрировала незваному гостю, что его ждёт.

— Игнат Кузьмич! — всполошилась медсестра. — Я сейчас коляску..

— Спасибо, Людочка, — сказал Игнат.

Игната устроили на койке в коридоре. Елена Михайловна хотела поместить его в одну из палат, но Игнат воспротивился. В конце концов, он не больной, а лёжа в коридоре он мог хоть как-то быть в курсе событий.

Милиция опечатала помещение лаборатории и отбыла. К Игнату следователь не подошёл, никаких документов не предъявил, ничего подписывать не заставил, так что у Игната пропала прекрасная заготовка: «подписка о невыползе». Оно, впрочем, и лучше — нечего дразнить красным словом власть имущих.

Зато днём Игнат несколько раз видел Лидию Андреевну. Рина Иосифовна, выполняя обещание, таскала старушку ко всем специалистам подряд. Окулист и иридодиагност, хирург и травматолог, психолог и психиатр, геронтолог и... разве что педиатру Лидию Андреевну не показывали. Были сделаны кардиограмма и энцефалограмма, томограмма и... один главврач знает, что ещё. На массаж Лидия Андреевна согласилась только узнав, что массажист женщина, зато на физиотерапию (ей назначили электрофорез коленных суставов) пошла с готовностью.

*Сейчас в любой из поликлиник  
Лучи лечебные Франклина,  
Озокерит и Д'Арсонваль —  
Опять загадочный словарь...*

Как и подавляющее большинство пожилых женщин, Лидия Андреевна страсть любила лечиться, а пуще того — обследоваться, так что сейчас она была более чем довольна и на время оставила свою подозрительность. Однако долго держать её в больнице было нельзя, ещё одну ночь, максимум — две. А лаборатория опечатана, и начальство, вместо того чтобы заниматься делом, бегает по служебным кабинетам, выбивая справки о непринадлежности к семейству верблужьих.

Значит, оставалось действовать на свой страх и риск, причём безо всякого технического обеспечения. А это значит, что, проникнув в чужое подсознание, Игнат будет не вооружён, да и покрасивше ему не быть, и посуперменистей. Хотя если вдуматься, то ни арбалет с серебряными иглами, ни сверхреакция в прошлые разы ему не помогли. Зато будет полезно посмотреть, что попытается сделать с ним Лидия Андреевна, увидав, что незванный гость уже без ног. Все беды и опасности,

таящиеся в подсознании, заключены в комплексах. Безногого не напугаешь видом нищего калеки. Значит, Лидии Андреевне придётся демонстрировать ещё что-то из своего арсенала.

Смешно, он рассуждает так, словно старушка — исчадь ада и нарочно мучает жителей окрестных домов, проецируя на них свои ночные страхи, а с явившимся психологом сражается не на жизнь, а на смерть. На самом деле она даже не понимает, что происходит, чувствует лишь, что кто-то оказывает на неё давление, и готова обвинять в этом весь мир. Прежде такие бабушки верили в сглаз и порчу, потом в козни инопланетян, сегодня, благодаря болтливости журналистов, модным стало обвинять психотехников. Послушаешь разговоры в городском транспорте, непременно услышишь расхожую фразу: «Он меня зомбифицирует». Или напротив: «Он комплексы на меня проецирует». Проецируют такие, как Лидия Андреевна. Зомбифицирует Игнат. А закон, как всегда, коряв. Запрещается вторгаться в чужое подсознание — и всё тут. Так Лидия Андреевна и не вторгается, она его издала грязью забрасывает, причём не только без злого умысла, но и вовсе неосознанно. А Игнат — с умыслом. Значит, его надо хватать, не пушать, а если упорствовать станет, то и в кутузку волочить.

Живо представилось, как двое ментов, ухватив Игната под руки, волочат его по асфальту в направлении пресловутой кутузки.

Разнузданная фантазия — общая беда всех психокорректоров. Ничего не поделаешь: сапожник без сапог, или, говоря по-умному, профдеформация.

Проторенной дорожкой в чужую голову лазать не сложно. Лидия Андреевна, размякшая от массажа и электрофореза, уснула сладко и быстро, так что вскоре Игнат уже находился в отправной точке подсознания.

А ведь хороший человек Лидия Андреевна. Очень немногие могут похвалиться, что в душе у них уютно и солнечно. Ей бы не страхи проецировать на окружающих, а эту доброту. Наверняка есть и такие люди. Любая мама даже во сне защищает своего ребёнка, так что никакой дьявол не смеет тронуть того, кто держится за мамину руку. Значит, обязаны быть и те, кто дарит мир и спокойствие не только родным, но и всем окру-

жающим, иначе род людской очень быстро изведёт сам себя. Проще всего было бы сказать, что у таких людей нет комплексов или они сумели их изжить. Саентологи именно на этом и паразитируют. Врут, конечно, не бывает живого человека без шрамов на душе. А люди, дарящие добро — бывают. И очень жаль, что Лидия Андреевна не из таких.

На этот раз комната показалась очень высокой, потолок с лепным штукатурным бордюриком царил на непредставимой высоте, и лишь через пару секунд Игнат сообразил, что это кажется ему оттого, что он смотрит почти от самого пола. Игнат сидел на квадратной тележке, а рядом стояли два подшитые кожей чурбачка с деревянными ручками, точь-в-точь такие, что видел он у безногого нищего, и о каких вспомнилось, когда он под растерянными взглядами милиции выползал в больничный коридор. Что ж, ты этого хотел, Жорж Дантен, вот и получи замену ног, соответствующую времени и месту.

Ухватил калабахи, взвесил на руке. Вроде и не оружие, а всё поспокойней, не с пустыми руками. Такой по лбу огрешь — глаза в разные стороны выскочат. Жаль, что серьёзному противнику он сейчас до лба не дотянется.

Ну, поехали... к деду по репу...

А милиция, небось, следит, не встал ли Игнат Шомняк со своего одра, не прокрался ли в лабораторию. Эх, пинкертоны, вам меня ещё ловить и ловить. Игнат Шомняк лежит на койке и не шелохнётся. Будить и не пытайтесь, всё равно не добудитесь. Всё тело, даже отсутствующие ноги, свело как при каталепсии. Утром опять глюкоза понадобится. Любопытно, какой наркотик на жаргоне называется глюкозой? Надо было у сержанта спросить, жаль, не догадался...

В коридоре темновато, доски пола крашены коричневой краской, у стен совсем новенькой, а в центре уже подвытопанной. Надо же, какие вещи замечаются, когда едешь в инвалидской тележке, отталкиваясь кожаными подбойками калабах от крашеного пола.

Дверь наружу. Поторкал... Заперто. А как же он в прошлые-то разы выходил? Хотя в прошлые разы попробовали бы его не выпустить — он бы эту дверь с полтолчка высадил. Замочная скважина под большой ключ с одной бородкой. Массивная

вещь, спасает от честного человека и пьяного дебошира. Домушник такой замок в полминуты откроет с помощью куска гнутой проволоки. А вон и ключ, висит на гвоздике. Был такой обычай в коммунальных квартирах: вешать общий ключ около двери. А то позвонит кто в дверь, так что, рыться в карманах пальто, выискивая связку ключей? За это время гость всю квартиру звонками взбудоражит.

Ключ висит метрах в двух от пола, чтобы шаловливые детские ручонки не достали. К сожалению, сейчас его ручонки тоже на такую высоту не дотягиваются.

Прикатил обратно в комнату. Так и есть, сабля валяется на старом месте. По-пиратски зажал деревянный клинок в зубах, вернулся ко входной двери. Приподнялся на культияпках, зацепил кончиком сабли ключ. С третьей попытки ключ упал на пол. То-то, знай наших!

А Лидочка с ним играет... препятствия всякие готовит, а потом подглядывает, как он с трудностями справляться будет. То есть не сама Лидочка, а её подсознание, та пятилетняя девочка, что сидит в непомерно подозрительной пенсионерке. Эх, Лида, что же с тобой приключилось в пять лет, во времена солнечного детства, что до сих пор из светлой комнаты растекается окрест непроглядный ужас, которого с лихвой хватает на несколько тысяч человек?

Проще всего было бы собрать воедино все фаллические символы, которых тут предостаточно, вспомнить, что замуж Лидия Андреевна так и не вышла, отбывши жизнь в одиночестве, и сделать вывод, что в пять лет Лида, как теперь принято говорить, стала жертвой сексуальной агрессии. Проще говоря, кто-то её изнасиловал среди дворовых сараев. Скорей всего, тот самый Шурка... жаль, не удалось узнать, кто это такой. В этом случае надо вызывать детского психолога, который выводит из шока изнасилованных девочек. И что этот специалист будет делать со старухой?

К тому же в гладких стандартных построениях видна некая неправда. Сейчас у Игната в руках тот самый фаллический символ, что торчал промеж ног у Шурки, а Лида на это никак не реагирует, демонстрируя обычное переключивание вины. Мама не велела ключ трогать и дверь открывать, так это и

не я вовсе, а страшный безногий дядька на тележке приехал, ключ взял и дверь открывает. Нет, милая, тут все двери твои, не позволишь, чёрта с два я эту дверь открою без применения агрессивных методик.

Вставил ключ в замочную скважину, повернул... Тьфу, чёрт, дедушка Фрейд, отвернись хоть на минуту! Должны же быть на свете обычные действия безо всякого сексуального подтекста... Хотя когда бродишь по подсознанию старой девы, будь готов к тому, что там всё с подтекстом.

Отворил дверь.

Лестница. Тёмная. Один пролёт уводит вниз, второй — наверх. Ступени из серого пудожского известняка. Таких уже семьдесят лет не делают, с тех пор как пудожские каменоломни были полностью выработаны во время строительства Волховской ГЭС. А в старых домах такие лестницы и сейчас стоят, стоптанные тысячами ног.

Ловушка. Наверх не подняться, вниз спускаться — тоже невелико удовольствие, задницу о каменные ступени отбивать. Значит, сегодня бродим по квартире. И ищем хоть что-нибудь способное пролить свет на причины происходящего. Должно же среди этой идиллии быть нечто, доводящее окружающих до сумасшествия и петли. Как было бы хорошо встретиться с овеществлённым комплексом, принявшим облик отвратительного чудовища, этакой ехидны. Вступить с ним в бой и победить, принеся освобождение в первую очередь тому человеку, чьё подсознание породило монстра. Дёшево и сердито, не надо даже быть психологом, нужно просто уметь отличить монстра от сформированных в подсознании концептов, которые тоже порой принимают причудливые и угрожающие формы. Чужая душа не полигон, стрелять во всё, что движется, нельзя.

Впрочем, те люди, чей сонный разум порождает чудовищ, обычно соглашаются на сотрудничество. Им невыносимо жить, таская в душе ад, созданный собственными фантазиями. У Лидии Андреевны ничего подобного нет, неудивительно, что она столь решительно отказалась от психокоррекции. И милицию наверняка вызвала она сама.

Моя милиция бережёт мой душевный покой от посягательств безногого Шомняка.

Игнат запер входную дверь и даже умудрился повесить на место ключ. Поехал по коридору, внимательно вглядываясь в двери. Было в дверях нечто неуловимо ненастоящее, они словно ускользали от взгляда. Если пол и противоположная стена с обшарпанными обоями были грубо вещественны, то на дверях взгляд сфокусировать не удавалось. Дело знакомое: квартира коммунальная, и потому наличествует ряд дверей. Но соседи и тем более их жилплощадь не оставили в памяти неизгладимого следа, и потому дверей как бы и нет. Значит, и ждать оттуда нечего и некого.

Подъехал к туалету. Уже издали было заметно, что там горит свет. Узкая полоска под дверью и крошечная искра у края филёнки. Очень удобно проковыряно, сидя на горшке можно рассматривать коридор, а можно и наоборот, подкравшись к двери, кинуть нескромный взгляд на то, что происходит в туалете. И главное, взрослые дырочку не заметят, разве что встанут на четвереньки.

Иногда всё-таки полезно переменить точку зрения и глянуть на мир снизу вверх.

Игнат подъехал, осторожно потянул дверь.

Заперто.

— Шурка! — раздался из-за тонкой двери детский голосок. — Не смей подглядывать без разрешения!

Вот и нашлась добрая старушка Лидия Андреевна. Чудовище, правда, покуда не объявилось, но это уже полдела. Но до чего хорошо Лидочка сформулировала фразу: «Не смей подглядывать без разрешения!» А с разрешения, значит, подглядывать можно. Тут уже был бы доволен не только дедушка Фрейд, но и все школы, занимающиеся детской сексуальностью.

И ещё, можно сразу отбрасывать гипотезу об изнасиловании Лиды. Случись такое в её детстве, реакция была бы совершенно иная. А что касается Шуркиной сабли и его же привычки мочиться в самых неподходящих местах, то тут всё понятно. Шурке лет семь, Лиде — чуть меньше. В этом возрасте в детях бушует неизбывное любопытство к собственным половым органам, но того более к противоположному полу. В детских садах среди воспитанников старших групп непре-

менно существует особый ритуал взаимной демонстрации своих тел. Возмущённые воспитательницы, застав детишек за этим интересным занятием, гневно восклицали: «Что ещё за глупости?» — но преуспели только в одном: ритуал, да и сами половые органы стали называться «глупостями». Мамы и бабушки такие вещи называют письками, но дети знают, что на самом деле это — глупости. И, бывало, детсадовский ябеда кричал: «Вера Степановна, а Серёжка глупости показывает!»

Так что ничего страшного он не обнаружил, удивительно только, как Лидия Андреевна умудрилась застрять в наивном пятилетнем возрасте. И что делать дальше? Без разрешения в туалет не сунешься, а если и сунешься, то скорей всего, там никого не окажется. Дело самоочевидное, можно и к Юнгу не ходить. Значит, будем обследовать кухню. Хорошо бы найти варенье или сгущенное молоко, тогда Лида точно вылезет. Наверняка варенье брать не разрешается, но если кто-то другой первым начал, то Лидиной вины тут нет.

Сам Игнат рос в те времена, когда варенье уже не считалось чем-то удивительным. Початая банка всегда стояла в буфете. Однажды мама услышала подозрительную возню на кухне и, не отрываясь от телевизора, крикнула:

— Игнат, не трогай варенья!

— Я его не трогаю, — ответил четырёхлетний Игнат басом. — Я его ем.

Вот и сейчас бы найти перевязанную бечёвкой баночку клубничного варенья и подманить на клубничку пятилетнюю Лиду. Тьфу, чёрт, причём тут клубничка? Вишнёвое варенье или черничное!

Варенья на кухне не нашлось. То ли вовсе не было, то ли спрятали его слишком высоко. Вот недотёпы, спички надо прятать в недоступных для детей местах, спички, а не варенье!

А так, кухня как кухня. Шесть маленьких столиков, по числу семей. На каждом примус и бутылка с голубоватым денатуратом. Канистрочки с керосином стоят в дальнем углу, там же, где лежит десяток поленьев и стоит общее мусорное ведро. Дровяная плита, которую топят только перед календарными праздниками, в остальное время она застелена старой клеёнкой и используется как стол равно всеми жильцами. Напротив плиты — раковина с

медным краном. Никаких смесителей нет, горячую воду покуда не провели. Посреди кухни — ещё один общий стол, за которым в праздничные дни собираются гости. В комнате гостей не примешь, туда, если семья большая, и хозяева с трудом втискиваются, поэтому все дни рождения празднуются на кухне, и соседи — первые среди приглашённых. И уж конечно нет никаких холодильников или тем паче микроволновок. Фанерный ящик, приделанный к стене за окном, и авоська с продуктами, вывешенная в форточку — вот и вся бытовая техника.

Игнат окинул взглядом отдельные столики, потом подехал к общему большому столу и заглянул под свисающую клеёнку.

— Это нечестно, — сказала Лида. — Я тут в домике.

— Ну и сиди в своём домике, раз ты такая трусиха. Трусы-трусы-трусики — продаём задаром по штукам и парам!

— Ничего я не трусиха! — Лида показала на свет и замерла, уставившись на Игната.

Игнат ждал, боясь всё испортить одним неправильным словом.

— Это что с тобой?.. — произнесла Лида чуть слышным шёпотом.

Игнат пожал плечами, словно признаваясь в застарелой вине.

— Это тебя трамваем так?

Игнат кивнул.

— А мама сказала, что тебя трамваем совсем задавило! — вдруг закричала Лида пронзительным, дрожащим голосом. — Насмерть задавило! А я знала, что не насмерть! Ну, может, ноги отрезало. Так подумаешь — ноги! У дяди Феди, который на улице сидит, тоже ног нету, немцы ему ноги оторвали — и ничего! Ты не бойся, я тебя всё равно не брошу.. — Лида замерла, пытаясь сообразить, откуда выплыли эти слова, но ничего не вспомнив, быстро, взахлёб договорила: — Ты только больше никуда не пропадай, а то я тебя ищущу-ищущу, а тебя нету.

— Не буду пропадать, — сказал Игнат.

— Я тебя возить везде буду на тележке. Вот и получится, будто ноги у тебя немножечко есть. А если мальчишки начнут дразниться, я буду им мстить. Ты знаешь, какая я вредная!

— Да уж знаю.

— Шура, а ты взаправду на меня не сердисься?

— Нет, конечно. Чего мне сердиться?

— Честное слово?

— Честное-пречестное!

— Тогда повторяй за мной: «Честное слово, Красная Звезда, Сталина и Ленина обманывать нельзя!»

— Кто повторяет, — отчеканил Игнат, — тот в уборную ныряет!

— Нырнула бы я, — радостно отпарировала Лида, — да очередь твоя!

Это было как пароль, кодовая фраза, по которой осуществляется взаимное узнавание: «Ты свой?» — «Да, я свой!»

Они переглянулись и расхохотались так, что будь квартира и впрямь коммунальной, все соседи сбежали бы, желая выяснить, что случилось.

\*  
\* \* \*

В эту ночь никуда Игната не вышвыривало, так что обошлось без глюкозы. Распростившись с Лидой, Игнат повозился немного, привыкая к настоящему телу, и крепко заснул, отложив осмысление похода на завтра. Знал только одно: он всё сделал правильно, хотя что именно он сделал, ещё предстояло понять. А заснуть удалось легко и спокойно, потому как к настоящему телу и привыкать особо не пришлось. Вот и ответ, почему психокорректировщики предпочитают свой облик любому дракону и супермену. Дракон, конечно, крут, но потом нужно возвращаться, втискиваясь в собственное тело, а это после драконовой туши бывает очень нелегко.

Утром, ещё до завтрака и обхода, к Игнату подседа санитарка Клавдия Ивановна — сотрудник незаменимый в смысле ссыска. Была у неё замечательная особенность — знать всё и обо всех. За глаза Клавдию Ивановну звали Первый Отдел, и к её помощи прибегали, когда кто-то из корректировщиков не мог сразу разобраться с тем, что встретилось ему в работе. Тогда обращались в Клавдии Ивановне, и та в скором времени приносила наивернейшие сведения о самых интимных

сторонах жизни пациента. Занималась она этим из любви к искусству, а деньги получала за то, что меняла на постелях бельё, относила с поста в лабораторию корзинку с анализами, а заодно и полы мыла, поскольку уборщицы на отделении не было.

— Ну что, узнала я про твоего Шурку, — жарким шёпотом начала она доклад, — район старый, есть у кого спросить. Эта самая Лидия, она ещё молодая, сорок восьмого, никак, года. Тоже стыдоба, здоровые бабы, им бы работать и работать, а они инвалидность оформлять! Я вот блокадница, а работаю. А Шурка, про которого ты спрашивал, это ейный брат. На год, что ли, старше самой Лиды. Да ты знаешь, после войны народ, соскучившись, плодиться начал, что зайцы по весне, вот и шли дети погодками. Только Шурке не повезло в жизни, помер он ещё мальцом, трамваем его зарезало. Место поганое на Максима Горького, там железная ограда вдоль самых путей, и, случись что, в сторону не отпрыгнешь...

— Знаю это место, — подтвердил Игнат. — Там ещё шестой трамвай ходит.

— Во-во! А Шурку, — Клавдия наклонилась к самому уху, — говорят, родная сестра убила. Разбаловались на переходе, начали толкаться, и она брата прямо под колёса и пихнула. А мать не уследила. Во как бывает!

— Понятно, — проговорил Игнат, ожидавший чего-то подобного. — То есть мальчика прямо на Лидиных глазах убило.

— А как же! Сама она и угробила мальчика, а теперь с другими счёты сводит.

— Спасибо, Клавдия Ивановна! Вы мне очень помогли. Теперь я понимаю, что происходит, и знаю, как надо действовать.

— Лечить небось начнёшь...

— Непременно.

— А будь моя воля, я бы её не в больницу, а в тюрьму!

— Что вы, Клавдия Ивановна, ей же пять лет было! Маленьких не судят.

— Было пять, а теперь уже шестьдесят!

— А срок давности?

— Это у вас, добреньких, срок давности. Перед богом срока давности нет. Убила — пожалте к ответу.

— Вот она и отвечает. Думаете, с чего она к нам попала?..

— А я бы такую ещё и в тюрьму! — Клавдия Ивановна поднялась, протёрла шваброй пол под Игнатовой кроватью и добавила уже иным тоном: — А, что обо мне говорить!.. Бодлива корова без рогов ходит.

Ещё одна загадка души человеческой. На словах Клавдия Ивановна всех бы поубивала, а на деле — мухи не обидит. Вот бы посмотреть, что у неё в подсознании скопилось за семь десятков лет? Одно можно сказать наверное: солнечной комнаты там нет, детство Клавдии Ивановны пришлось на войну и блокаду.

Игнат полусидел-полулежал, приподняв изголовье на максимально возможную высоту. Читал книгу, которую принесла Рина Иосифовна. А что ещё делать, если лишился ног и без посторонней помощи не можешь даже пересесть с кровати на каталку? Больной — тот же заключённый, подписку о невыползе с него можно не брать, он и так под арестом.

Несколько раз Игнат видел Лидию Андреевну, которая бегала между палатой и ординаторской, получая нужные справки и собираясь домой. А ведь энергичная пенсионерка по сути дела заперта ещё надёжнее, чем безногий доктор. Пожизненное заключение в одиночной камере — наказание страшней, чем смертная казнь. Внешним взором видим стервозную старуху, а внутри неприкаянно бродит пятилетняя девочка, кружит по солнечной комнате, по коридору, где на стене висят лыжи и велосипед, по кухне, где все спички от детей спрятаны, по двору с дровяными сараями, по пустой шумной улице... Заглядывает в самые недозволенные маленьким девочкам закоулки, ищет, но находит только пустоту. Всюду следы Шурки: вот его сабля, вот его дудка, вот раздавленный сандаликом песочный кулич... — но самого Шурки нет. Напрасно подглядывать в потайную дырочку — что там делается в туалете?.. Бесполезно часами сидеть, затаившись под столом. Никого нет в туалете, лишь журчит только что спущенная вода; никто, забывшись, не зайдёт на кухню, хотя варенье опять съедено.

Потому и не сложилась собственная жизнь Лидии Андреевны. Какая может быть личная жизнь, если всякая мысль о мужском начале заглушена оглушающим трамвайным звонком.

Нет, нет, нет!.. Глупости всё это!

Ну что, дедушка Фрейд, ты доволен?

Пятилетняя Лида не верит в непоправимость случившегося пятьдесят пять лет назад. Уже одиннадцать пожизненных сроков она отбыла в светлой одиночке, но всё ещё не верит. Лишь по ночам, когда разум засыпает, на одно мгновение приходит... не мысль, не воспоминание, а отчётливое ощущение, как железные колёса кромсают её общее с Шуркой тело. Тогда Лида бежит и прячется под стол, а люди, живущие по соседству с брэнной Лидиной оболочкой, корчатся от расползающейся солнечной жути, впадают в депрессии, режут вены, неосознанно умножая зло.

Показать бы всё это строгой Клавдии Ивановне — какие ещё тюремные сроки назначит она давней преступнице?

Игнат отложил книгу, подтянул к кровати кресло-каталку. Надо бы как-то пересесть и съездить до туалета. Мисочку с нишенскими макаронами сюда никто не принесёт.

Пересесть не удалось, коляска норовила отъехать в сторону, а то и вовсе перевернуться.

— Вам помочь?

Поднял взгляд. Так и есть, рядом стоит Лидия Андреевна.

— Если не трудно, придержите немного коляску, чтобы она не отъезжала.

Ухватился руками за поручни — оп! — перекинул тело на коляску. Теперь развернуться — и всё в полном порядке.

— Зачем вы так! Я бы позвала кого-нибудь, перенесли бы вас.

— Ничего, силушка в руках куда есть!

*Мне мама в детстве выколола глазки,  
Чтоб я в шкафу варенье не нашёл.  
Я не смотрю кино, я не читаю сказки,  
Зато я нюхаю и слышу хорошо!*

Бисмарк сказал, что из каждого свинства можно извлечь ломтик ветчины. Даже из отсутствия ног.

— Вас куда отвезти?

— Собственно говоря — никуда. Просто в постели лежать — сил больше нет. Надоело, хуже горькой редьки.

— Это вас в Афганистане покалечило?

— Нет, — честно ответил Игнат. — Авария. Но всё равно — больно.

Ноги Игнат потерял в экспедиции. Надо было суметь — захватить в края, где кроме их «Урала» на сто километров ни единой машины, и попасть под собственный «Урал»! Они только приехали и разбивали лагерь, наощупь, почти в полной темноте. Водитель решил передвинуть машину, чтобы фарами подсвечивать работающим, и, не заметив, наехал на Игната. Наехал на скорости три километра в час. Запомнился толчок и неспешно наваливающаяся на ноги тяжесть. Боли не было, боль появилась потом, когда Игната всё на том же «Урале» везли в больницу. Боялся остаться на всю жизнь хромым, а остался вовсе без ног. До сих пор его бросает в дрожь, когда он слышит безнадёжный диагноз: «синдром раздавливания».

— Знаете, — сказала Лидия Андреевна, — вы очень напоминаете моего брата. У меня брат был, старший, он умер уже давно, так вы на него похожи.

Игнат молча кивал, вздыхал сочувственно. В таких случаях слова не нужны.

— Вы тут тоже обследуетесь?

— Вообще, я тут работал, ещё вчера. В центре психокоррекции. Но теперь нас закрывают, помещение, вон, опечатали, даже протезы не позволили взять. Вот и лежу без ног, не то пациент, не то сотрудник, не то — подследственный.

— Да что ж они, звери? Протезы-то за что отняли?

— Работа такая. А протезы вернут, зачем они им?

— И куда вы теперь?

— Не знаю. Пристроюсь где-нибудь, через общество инвалидов.

Они ещё долго говорили о всяких незначачих вещах, потом Лидии Андреевне принесли выписку, и она уехала, оставив Игнату на прощание большое яблоко.

Вечером приехал следователь, а вместе с ним руководитель центра профессор Гушин. Опечатанное помещение открыли, Игнат на своей коляске въехал туда сразу за Гушиным. Хмурый следователь вручил ему протезы, которые так и лежали на топчане, где оставил их хозяин.

— Вам извиниться передо мной не хочется? — спросил Игнат.

— Если честно, то совершенно не хочется. Не знаю, как вы добились, что единственный неоспоримый свидетель... да какой свидетель — пострадавший! — забрал назад своё заявление и теперь отказывается от собственных показаний. Но вы-то знаете, что преступление имело место! И будьте уверены, рано или поздно я вас поймаю!

— Понятно. Пэрэат мундус, фиат юстициа.

— Что?

— Это по-латыни. Я думал, латыни учат не только медиков, но и юристов. Фраза по вашей части: «Погибни мир, но свершись правосудие». Так вот, я не юрист, я врач. На юстицию мне плевать, а миру погибнуть я не дам. Работа у меня такая — людей спасать.

Они расстались недовольные друг другом.

Гушин нервно ходил по лаборатории, бесцельно щёлкая тумблерами обесточенных приборов.

— Вот какие дела, Игнат Кузьмич. Пронесло нас, можно сказать, по самой кромочке. Придётся хотя бы на некоторое время несанкционированные корректировки оставить. Я всё понимаю, и что такие люди всего опаснее для окружающих, и случаи их — самые интересные, но видите, что творится. Пересажаят нас всех, кому от этого хорошо будет?

— А вы знаете что сделайте? — предложил Игнат. — Издайте приказ, запрещающий сотрудникам нарушать закон о неприкосновенности личной жизни. И если что, ни вы, ни весь центр окажетесь ни при чём.

— Вы думаете, у меня такого приказа не издано? Я его ещё год назад подписал. У меня за вас душа болит. Посадят в тюрьму, что тогда?

— А тогда ничего, — Игнат придвинул протезы и начал прилаживать их к культяпкам ног. — Я и без того всю жизнь в тюрьме, в одиночной камере. Санкционированные исследования как прогулка по тюремному двору, а там — настоящее. Ну, вроде как сбежал я из своей одиночки. А что закон нарушен, так побег из тюрьмы — всегда противозаконен. Так что не переживайте за меня.

— Легко сказать... меня же совесть заест, самому после такого психокорректировка потребуется. Впрочем, об этом мы потом побеседуем, а сейчас идите домой, отдохайте после нервотрёпки...

— Погодите! — возмутился Игнат. — У меня вчера был выходной, вот я и провалялся весь день на койке, на неделю вперёд выспался. А сегодня у меня дежурство.

Он мог бы сказать, что ему нечего делать в замусоренной холостяцкой берлоге, которая называется его квартирой, куда не заглядывает солнце, и где никогда не пахнет картофельным супом, но Гушин всё понял и без объяснений.

— Хорошо, — сказал он, — оставайтесь. Но случай вам сегодня достанется простой и совершенно легальный. Можно сказать, прогуляетесь по тюремному дворику.

\*  
\* \* \*

Подвал или катакомбы, серая мгла, под ногами хрусткая пыль, с низкого потолка свисают лохмотья паутины. Очень много паутины, по всему видать, пациент страдает арахнофобией. Случай простой, достаточно показать пациенту, что жуткий паук уязвим, с ним можно биться и в конце концов расправиться, и кошмары больше не вернуться. Хотя паук может — и даже должен! — быть ядовит. Так что чепчиками его не закидаешь, и шапки в воздух бросать рано.

— Меня подожди!

Игнат обернулся и увидел Лиду. Девочка подбежала и остановилась рядом с Игнатом, отдыхиваясь и часто шмыгая носом. В руке была знакомая деревянная сабля.

— Думал, я тебя не найду, да?

— Зачем ты здесь? Тут опасно. Я сейчас на работе, а потом приду к тебе.

— Я с тобой, — твёрдо заявила Лида. Она оглядела тёмный подвал и добавила: — Ничего себе работа у тебя! Тут знаешь сколько мыть нужно, пока чисто станет? Вот погоди, я ведро принесу и половую тряпку. Думаешь, я пол мыть не умею? А паутину веником обмету.

— Тихо! — шикнул Игнат, вскинув самострел.

Прямо перед ними стена взбугрилась воспалённым фурункулом, и оттуда полез огромный, Игнату по плечо, паук. Тварь замерла, выбирая добычу, и, как обычно, мгновение безудержного страха растянулось, заливая душу липким холодом. Немногие бойцы способны противостоять первобытному ужасу. И если хоть тень сомнения окажется в душе, победа будет за монстром.

Игнат навёл самострел, но прежде чем серебряная игла сорвалась в полёт, между охотником и зверем возникла Лида.

— Не тронь Шурку! — крикнула она и ткнула деревянной саблей, распоров паучье брюхо.

## РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ...

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре... — первые два десятка на вдохе, глубоко, с задержкой дыхания, вторые два десятка на выдохе, — пять, шесть, семь, восемь, девять, десять... раз, два, три... — Ещё один вдох-выдох, словно рефреном повторешь куплет, и на левой руке можно загнуть мизинец. — Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два... — губы в счёте не участвуют, лишь голосовые связки беззвучно вибрируют, структурируя воздушный поток. Окажись кто рядом — ничего не разберёт, разве что подивится странной одышливости и решит, что гражданин йогой увлекается, делает особую дыхательную гимнастику. — Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... — все пять пальцев на левой руке загнуты, и теперь их можно разгибать на каждом восьмом десятке, — восемь, девять, десять... — Десять пальцев левой руки — один палец на правой: наука несложная. Десять пальцев правой (пять сгибаний, пять разгибаний) это уже восемь тысяч, цифра вполне солидная, её можно и запомнить. С утренней прогулки следует приносить тридцать две тысячи. Такова норма, установленная самим собой для себя самого.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

Идёт человек, не торопясь, прогулочным шагом, глубоко, с присвистом дышит, проветривая лёгкие, а в уме галопирующая спешка: раз, два, три, четыре, пять... — без прогулки тоже не обойтись, иначе не выдержишь даже отпущенного

срока... — шесть, семь, восемь, девять... Сегодня принесу с прогулки сорок тысяч. Как это мало!

— Раз, два, три, четыре, пять...

\*  
\* \* \*

— Какой умный малыш! А считать ты умеешь?

— Умею.

— Ну-ка, посчитай!

— Раз, два, три, четыре!

— А дальше?

— Пять, шесть, семь!

— А ещё дальше?

— Девятнадцать!

Уголком разума понимаю, что произнёс что-то не то, но магия красивого слова заставляет произнести именно его.

— Нет, после семи будет восемь.

— Восемь!

— А потом?..

— Девятнадцать!

Чудесный возраст, три года — каждый день экзамен, и это ничуть не кажется мучительным. Большинство людей эту пору забыли и лишь теоретически предполагают, что когда-то им было три года. А я — помню. Мысли, ощущения, чувства — всё сохранилось в памяти. Я и сейчас тот же самый, трёхлетний, просто поверх изначального меня, словно слои вокруг луковичной сердцевинки, наслоились прожитые годы. Всяких умений и привычек стало больше, уровень информированности вырос, но я остался прежним. Никогда не сознаюсь в этом, кажется стыдным объявить, что внутри немолодого вальяжного дядьки прячется трёхлетний мальчуган, не умеющий считать до десяти.

Отлично помню: тихий час в детском саду, за окном яркий солнечный день. Я лежу на раскладной кровати, гляжу в потолок. Спать совершенно не хочется. Медленно считаю про себя: «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь...» — и вдруг понимаю, не вспоминаю, а именно осознаю, что после семи действительно идёт восемь! Я умею считать до восьми! Теперь

повзрослевший я понимаю — это был великий шаг в душевном развитии. До трёх и курица считать умеет, а до восьми не может сосчитать ни одно животное. Все числа более семи требуют абстрактного мышления, недаром именно семёрка так часто встречается в пословицах и поговорках.

Магия цифр — эти слова стали чуть ли не языковым штампом, а ведь никакой магии цифр нет и быть не может. Открытие позднего времени: цифр не бывает, как не бывает Бабы-яги, Деда Мороза и Господа Бога! Что такое четыре? Может быть четыре яблока, и некто может попытаться взять у вас два яблока из этих четырёх. Но просто «четыре»? Как это взять? Нонсенс! Но тогда, в пору золотого детства верилось, что есть «один», и «два», и «четыре». Именно вот так: «четыре» безо всего. Недаром математика так схожа с богословием; обе науки оперируют чистыми абстракциями, которых на самом деле не существует.

В Деда Мороза я перестал верить в очень нежном возрасте, а вот в цифры веровал долго, поскольку в арифметике виделась некая завораживающая стройность.

— Сначала говорили «один-на-десять», — поучал старший брат, — а потом само собой получилось «одиннадцать»... После двадцати — двадцать один, двадцать два... после тридцати — тридцать один, тридцать два...

Только еретическое число «сорок» чуть-чуть портило идеальную картину натурального ряда. Да, по совести говоря, и не портило оно ничего, как не портит юную девушку родинка над губой. Вот когда девушка станет старухой, а родинка превратится в волосатую бородавку... Но до этого ещё так далеко! А пока наслаждение счётом затмевает всё остальное.

К нам приходят гости, и, разумеется, происходит неизбежное:

— Какой умный мальчик! А считать ты умеешь?

— Умею.

— И до сколько?

— До сколько угодно!

— Ну-ка сосчитай до тысячи!

— Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать...

На исходе третьего десятка гость говорит:

— Молодец, спасибо, хватит!

— ...двадцать девять, тридцать, тридцать один, — считаю я.

— Всё, всё, больше не надо!

— ...сорок один, сорок два, сорок три...

Гость встаёт и выходит на кухню. Я иду следом.

— ...шестьдесят два, шестьдесят три...

Родители приказывают мне замолчать. «Заставь дурака богу молиться», — произносит отец любимую поговорку.

Возвращаюсь в комнату, залезаю под стол, чуть слышно шепчу:

— ...сто двадцать пять, сто двадцать шесть, сто двадцать семь...

До тысячи я досчитал лишь на следующий день, когда никаких гостей уже не было. Но всё равно досчитал, вспомнил, на чём остановился с вечера, и упорно продолжил счёт. Я умею считать до сколько угодно; гостю было угодно до тысячи — нате вам тысячу! И впрямь, заставь дурака богу молиться, он себе лоб разобьёт.

\*  
\* \* \*

За завтраком не посчитаешь: жевать и твердить цифры совершенно невозможно. Лучше побыстрее проглотить яичницу, залпом выпить тёплый чай и приступить к счёту, ни на что не отвлекаясь.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

Дома не нужно загибать никаких пальцев, на столе лежат старые конторские счёты с чудом сохранившейся наклейкой: «Моссовнархоз. Назарьевская фабрика кульговаров. Счёты торговые 11-прутковые. Артикул МО-105 31. Сорт 1. Цена 2 руб. 50 коп.» И подпись упаковщицы: «Хи...» — а дальше неразборчиво. Теперь достаточно досчитать до десяти и откинуть на счётах костяшку на втором снизу прутке.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

Слова сливаются, слышны уже не звуки, а сплошной шелест:

— Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять...

Прогулочные сорок тысяч на счётах не отложены, а записаны на отдельной бумажке, сберегаются на сладкое.

Сегодня суббота, вторая из четырёх суббот, оставшихся в жизни. Значит, пора выходить из дому. Заранее решено — выходные посвящены выбору. В будний день люди едут на работу, лица у всех серые и ничего кроме отвращения не вызывают. К тому же будний день сепарирует людей по социальному положению. Сначала на работу едет пролетариат, потом совслужащие, которые остались совслужащими, несмотря на пятнадцать лет торжества капиталистической идеи. Потом ещё кто-то, и ещё... волнами. И неважно, хороший ты человек или дурной, пьянь голимая или звучишь гордо, но если работаешь на заводе, то едешь в общей толпе, из которой ничей взгляд тебя не вычленит. Выходные делят людей по их привычкам и душевным качествам. Кто-то дрыхнет до полудня, их я просто не увижу, кто-то киряет с пятничного вечера, их опухшие физиономии определяются с полувзгляда, так что ничего им от меня не отломится. А есть те, кто рано встаёт, вот им-то и подаёт... не бог, конечно, а я.

— Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять...

Еду в трамвае, дышу по-йоговски. Счёт — это святое, он с выходными не считается. Единственная разница с прогулкой — каждые восемь тысяч отмечаются мелкой монеткой, которую я сую в ботинок. Старая, ещё советских времён привычка. В прошлое воскресенье натёр ногу, столько копеек оказалось в ботинке. Хорошо...

В вагон входят трое: он, она и оно — дитя, сидящее в кенгурушке на папиной груди. У родителей за спиной чудовищного вида рюкзаки. Всё ясно, собрались на пленэр, куда-нибудь под Выборг, на скалы. Раньше, небось, ездили налегке, а с ребяёнком приходится волочить кучу всего. Папаша худой, нескладный, физиономия, как говорится, чуть краше чёрта. В другое время в толпе на него бы и глазом не покосил, а сейчас парень во всей красе! Мама, ещё не избавившись от рюкзака, заглядывает — как там любимое чадо? А парень с гордой снис-

ходительностью любитесь своими дамами (почему-то я уверен, что в кенгурушке сидит девочка).

Век бы радовался на эту семью, но всё же сначала, без движения губ выдыхаю: «Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять...» — и лишь затем чётко произношу в уме: «Да! Все трое, вот эти!» — а затем отворачиваюсь, чтобы картина чужого спокойного счастья не отвлекала, не сбивала со счёта.

— Раз, два, три, четыре...

Интересно, что бы сказали эти ребята, если бы узнали? И вообще, спас я их только что или всего лишь обрёл на горшие муки, нежели предстоят остальным, на ком не остановился мой взгляд? Восемь тысяч счастливых или, напротив — бедолаг. Кажется, я не успею отобрать их. Пока ещё и тысячи нет, а осталось всего две недели.

Вылезаю на Удельной, покупаю ненужный мне билет, прохожу на платформу. Ехать я никуда не собираюсь, но без билета теперь на платформу не пройдёшь. Такая специализированная борьба с зайцами. Ну и пусть их, всё равно денег на оставшиеся две недели хватит с лихвой, да и тратить их некогда, всё время занято.

— Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять...

Время летнее, самое что ни на есть курортно-туристическое. Платформа полна народа. В этом направлении почти нет садоводств, едут либо богатые дачники и курортники — этих отбраковываю беспощадно, — либо туристы и игровики под Выборг и в сосновые леса Кирилловского. Без особого восторга отбираю несколько десятков человек, исключительно молодые пары. Простой расчёт: у таких больше шанс выжить и оставить потомство. Не знаю почему, но для меня это важно.

— Раз-два-три-четыре...

Вот и уже отобранная троица, встреченная в трамвае. Улыбаюсь им как старым знакомым. Они-то меня не запомнили, но мама улыбается в ответ, кося взглядом на дитя в кенгурушке, привыкла, что незнакомые люди, бабушки в основном, улыбаются при виде малышки.

Полностью обойти платформу не успеваю; приходит электричка и увозит всех — забракованных, отобранных и тех, до кого не успел дойти. На платформе остаются лишь продавцы журналов и мороженого, старуха-нищенка да несколько алкоголизованных личностей бомжеватой внешности. Вот на последних я бы с удовольствием сказал «нет», чтобы не оставить им ни единого шанса. Хорошо, что у меня право только спасать, а то сначала скажешь «нет» — с удовольствием! — а потом с ума сойдёшь, мучаясь, не совершил ли ошибки. С ума сойдёшь... м-да...

— Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять... Раз-два-три-четыре-пять...

Сажусь на освободившуюся скамейку, прикрываю глаза, подставив лицо солнцу. Быстро считаю, стараясь наверстать упущенное. Губы всё равно немножко шевелятся. Постороннему взгляду может показаться, что человек молится, творит, так сказать, умную молитву. Раньше я боялся, что это дрожание губ будет заметно, а теперь — всё равно.

— Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять...

Через десять пальцев левой руки встаю, обхожу платформу, постепенно заполняющуюся народом. Электрички в субботний день идут через каждые пятнадцать минут. Отбираю ещё несколько десятков человек. Неожиданно наваливается усталость и безразличие. Да пропади они все пропадом! И чего я, спрашивается, мучаюсь со своим счётом? Ведь никто и спасибо не скажет... А уж отбирать людей и вовсе дурь беспросветная. Бессмысленно всё это.

Ухожу, едва ли не убегаю с платформы. Иду домой пешком, это почти полчаса. Натужно, вдвое медленнее, чем обычно, твержу бессмысленные слова:

— Раз. Два. Три...

Навстречу идёт девушка. Хотя в моём возрасте такую называть девушкой язык не поворачивается: девчонка — лет четырнадцать, на крайний случай пятнадцать. Туфельки на невысоком каблучке вытанцовывают дробный перестук, заставляющий сбиться со счёта.

«Наркоманка, наверное, — брюзжит непогасшее раздражение, — шлюха, трахается в подвале за дозу героина...»

«Да не может быть! — сердится другая часть сознания. — Хорошая девчушка, личико живое, умное. И в пластиковом мешке просвечивает книга».

«Как же, книга! Наверняка какая-нибудь Дарья Донцова».

«А хоть бы и Донцова! Всё равно потом ей будет не до книжек. А вот разум живой, чувство непогасшее — ой как понадобятся!»

«Какой разум у пятнадцатилетней сопливки? Когда всё начнётся, она завизжит и окачурится со страху...»

— Да! — произношу едва ли не вслух, назло самому себе. Никогда не был ловеласом, но пройти мимо такой девушки просто невозможно. И как награда за правильный поступок сразу улучшается настроение, в голове прояснело, цифры летят сплошным потоком, накручиваясь в бесконечный ряд.

— Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять-раз-два...

Засунутые в ботинок гривенники ошутимо давят на ногу. Сколько их там? За утро, пожалуй, никто кроме меня не смог бы сделать столько. Хотя, даже если бы ботинок был полон до краёв, это всё равно безнадежно мало.

— Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять...

\*  
\* \* \*

Досчитать до миллиона — каждый второй ребёнок когда-то ставил перед собой эту задачу. Пару раз я даже встречал людей, которые утверждали, что им это удалось. Слово «миллион» дразнит своей недоступностью, неисчислимой громадностью. Миллионер — не просто богач, а богач сверхъестественный, не он владеет своими деньгами, а они им. Тысячу человек можно собрать на площади и окинуть одним взглядом, миллион даже представить невозможно. В популярных книгах Перельмана миллиону посвящены целые главы. Ничего не поделаешь — гипноз большой цифры.

Не помню, когда я первый раз попытался досчитать до миллиона, брался за эту задачу много раз и ломался где-то в пределах первого десятка тысяч. Просто-напросто забывал, до

сколько успел досчитать. Положение радикально переменялось, когда я пошёл в школу и познакомился с удивительным прибором — счётами.

В классе стояли огромные напольные счёты с костяшками величиной с кулак первоклассника, а в портфеле я носил крошечные счётики с микроскопическими костяшечками из голубой и чёрной пластмассы. Но на любых счётах было одинаково удобно считать. Единственный в моей жизни прибор, который я освоил с ходу и без малейших затруднений. Сам понял, зачем нужны две чёрных костяшки посреди прутка, а вот остальные хитрости пришлось выспрашивать.

Многие ли сегодня знают, почему четвёртый пруток на счётах усечённый и несёт всего четыре костяшки? Ладно уж, не стану томить: при денежных расчётах на нижних прутках откладывались копейки, а на верхних — рубли. Неполный пруток разделяет их, чтобы ненароком не прокинуться. И само слово «прокинуться», одно из значений которого — сделать арифметическую ошибку, родилось благодаря всё тому же конторскому инструменту: считал, перекидывая костяшки слева-направо, да и прокинулся!

— Почему же тогда для копеек три разряда? Должно быть два: копейки и гривенники.

— Это потому, — снисходительно объяснила бабушка, — что в старину были монетки меньше копейки. Полкопейки назывались денежкой, вот они-то и откладывались на самом нижнем пруточке, по пять костяшек на денежку. А ещё была монета в полденежки, она называлась — полушка. Их, когда случалось, откладывали на разделительном прутке. В одной копейке — четыре полушки, потому на разделительном прутке именно четыре косточки, а не две и не пять.

В бабушкиной коробке с пуговицами нашлась медная монетка с полуразборчиком надписью: «Денга». Это ж какая древность должна быть, если люди ещё не знали, что слово «деньги» пишется через мягкий знак! А счёты уже тогда были счётами и сохранились в неизменности, не потеряв даже наклею с артикулом и подписью фасофшицы.

И ещё одно недоумение: седьмой разряд имеет не только две черных костяшки посередине, но и начинается с чёрной косточки.

— А эта почему чёрная? — спрашиваю, уже догадываясь, что здесь откладываются тысячи рублей, но в ответ слышу:

— Это миллион.

Так мы и свиделись впервые — я и чёрная костяшка на обычных конторских счётах.

Уж теперь-то я до неё достану!

Итак, сажусь перед счётами и начинаю считать до миллиона, как следует быть:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять! — и откладываю девять косточек на самом нижнем, денежном прутке. Слово «десять» не произношу, иначе автоматически перееду во второй разряд.

А вот теперь можно идти десятками:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять... — сколько таких периодов ещё предстоит. В прошлом их тоже было немало, но сейчас они забыты, жизнь начинается сначала.

Очень быстро на втором прутке тоже оказываются отложены девять костяшек. Гордо произношу: «Раз!» — эффектно щёлкаю, перебрасывая костяшки сначала направо, затем налево, и на счётах появляется первая сотня. Вторая и третья сотни идут походом, без остановок. И вот на трёх разрядах отложены девятки. Это уже много, миллион кажется совсем близким.

«Раз!» — щёлк-щёлк-щёлк... Первая косточка уходит за разделительный пруток в область больших чисел.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

Тысячи не желают поддаваться. На вторую уходит даже больше времени, чем на первую. Вязну в упрямых числах, но не сдаюсь. Они упрямы, но я упрямее. Во всяком случае, я упрямее тысяч.

На второй день я перешагнул в пятый разряд. Заветная чёрная костяшка кажется совсем близкой. Если бы ещё не надо было ходить в школу и делать уроки — да я бы уже давно досчитал до миллиона!

Хорошо помню, как я преодолел сто тысяч. Из ста значимых костяшек сорок пять — почти половина! — уже на моей стороне. Потом произносится «Раз!» — сухой перестук сбра-

сываемых деревяшек (и почему они называются костяшками? никогда не видел костяных счётов), и на левой стороне остаётся всего одна косточка. И тяжёлое осознание, что до миллиона надо ещё девять раз столько. Вздыхаю и упорно отсчитываю:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.  
Словно сама жизнь начинается сначала.

\*  
\* \* \*

Дома выгребаю из ботинка семь монет, спешно делаю ещё четыре тысячи, доводя уличный счёт до круглого числа. Сто тысяч — это половина дневной нормы. Так сказать, программа минимум. До сих пор удавалось насчитывать по двести тысяч в день. Это возможно, если ничем другим не заниматься, посвящая цифровому бормотанию по шестнадцать часов в день. Обычный человек через неделю такого существования сойдёт с ума. А я держусь уже две недели и намерен продержаться весь месяц.

Варю обед. Кислые щи в самой большой кастрюле, что есть дома. Первое время обходился всухомятку, и вот — не выдержал. Горячего охота до одурения. Шмат грудинки, картошка, квашеная капуста, купленная на рынке. В жизни не было у меня таких наваристых щей; как говорится, не продуеть. А чего экономить? Так вот весь век проэкономил, жался, копил, неясно на что, а теперь куда? С собой не заберёшь, да и тут никому не оставишь. Был бы свободным человеком, поехал бы в Монте-Карло, жаль, что меня держит необходимость считать. Но зато на еде — не экономлю. Экономить приходится только на времени, а то я питался бы по ресторанам. А так, варю щи (самое бездумное занятие) и неустанно твержу:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь...

Налопавшись, валюсь на диван. Счёты рядом, лежат на полу. Опущенная рука перебрасывает костяшки:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...

В голове путается, я незаметно засыпаю. Во сне меня преследует всё тот же счёт, снится, будто я заканчиваю восьмой миллиард. Вздрагиваю и просыпаюсь. Привидится же такое?

Восемь миллиардов! Тысячу жизней надо потратить, чтобы дойти до подобных величин.

Протираю лицо рукой, смотрю на часы: двадцать минут прокемарил — это не страшно, иногда можно себе позволить.

Придвигаю счёты поудобнее и вновь бормочу под стук костяшек:

— Раз, два, три, четыре...

\* \* \*

Брат приносит удивительную новость. Числам конца нет, считать можно до бесконечности.

Но ведь должно быть где-то самое большое число? Я даже знаю его название: додекальон.

Оказывается, можно считать и дальше. И даже додекальон додекальонов не предел.

— Смотри, — объясняет брат, — пусть где-то есть самое большое число. Мы прибавим к нему единицу и получим число больше самого большого.

Логично. Простенькое доказательство не оставляет мне никакого шанса. Мой миллион, которого я скоро достигну, не значит вообще ничего.

Ненавижу логику.

Думаю несколько дней и обнаруживаю в логике дырку.

Беру счёты и иду к отцу, отстаивать конечность натурального ряда.

— Дурак, — отвечает отец, не дослушав.

Последний и неопровержимый аргумент всякого научного спора.

А ведь он сам рассказывал, что наша вселенная безгранична, но конечна, вроде поверхности мячика. Рассказывал не мне, а брату, но я был рядом и всё слышал. А теперь представим, что вселенная это не мячик, а счёты. Перекинем все костяшки на левую сторону и получим самое большое число. Никакой единицы к нему уже не прибавить, потому что её попросту нет. Все единицы и так уже заключены в этом числе.

Значит, для моих счётов самое большое из возможных чисел — одиннадцать миллиардов сто одиннадцать миллионов сто одиннадцать тысяч сто десять. Ряд единиц и ноль в конце. Ещё одну единицу, которую так хочется видеть, прибавлять неоткуда.

Но как убедить в своей правоте других? Слушать меня никто не станет, значит, нужно поставить эксперимент. Факт — вещь упрямая, он заставит обратить на себя внимание. Достаточно досчитать до самого большого числа, и вселенная, перенасытившись числами... что станет со вселенной, я не знаю, но с удвоенным упорством берусь за счёт.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

В этой гонке почти незаметно преодолеваю заветный миллион и с ходу начинаю следующий.

Иногда я сетую, что вселенная мне досталась такая большая. Будь на ней прутка на три поменьше, человеческой жизни вполне хватило бы, чтобы досчитать до самого большого числа. Но моя вселенная имеет артикул МО-105 31 и одиннадцать прутков. Когда я думаю об этом, мне кажется, что подпись фасовщицы хихикает надо мной.

К восьмому классу я добрался до шести миллионов. Полагаю, ни один человек из тех, что пытались в юности досчитать до миллиона или миллиарда, не сделали и вполовину столько. Шестой миллион я досчитывал уже безо всякого интереса, на одном упрямстве, чтобы не останавливаться на нецелом числе.

Именно тогда, валяясь в grippe и мучимый вынужденным бездельем, я решил прохронометрировать целый день, чтобы, пусть приблизительно, но оценить объём предстоящей работы. За шестнадцать часов непрерывного бормотания мне удалось догнать до двухсот тысяч. На следующий день болела голова, и вообще, мне стало так худо, что вместо выписки родителям пришлось заново вызывать врача. Но цифру я теперь знал: за день можно сделать двести тысяч! Когда-то на первые двести тысяч у меня ушёл почти год.

И если теперь я каждый день без отпуска и выходных буду делать по двести тысяч, то самого большого числа достигну за каких-то сто пятьдесят три года.

Выздоровливая, я добил шестой миллион, а вот за седьмой так и не взялся. Оказалось вдруг, что жить интереснее, чем бороться с бесконечностью. Неведомо откуда появились любимые книги, не поганый Лев Толстой, которым пичкали в школе, а Диккенс, Гюго, Мамин-Сибиряк, Лесков... В школе началась химия, учиться стало интересно.

Нет, я по-прежнему не бросал намерения досчитать до самого большого числа, но отложил это благородное занятие на неопределённое будущее. Иногда, в ожидании трамвая или сидя на скамеечке во время урока физкультуры, принимался шептать: «раз-два-три...» — и откладывать отсчитанное на пальцах, но ни разу не добивался серьёзного результата, который бы запомнился и мог быть приплюсован к сделанным шести миллионам.

Если бы знать, чем всё кончится! Хотя что бы это изменило?

\*  
\* \* \*

Болит голова. Хочется выпить чего-нибудь успокаивающего, закрыть глаза и полежать в темноте, чтобы не прыгали перед воспалённым взором бессмысленные десятки. Но останавливаться нельзя, до двухсот тысяч ещё очень далеко. И вместо отдыха я вновь надеваю плащик и иду на улицу, хотя знаю, что никакой свежий воздух головную боль не снимет.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

Иду, стараясь не акцентировать внимание на счёте, думать о чём-нибудь отвлечённом, а цифры бормотать механически. Когда-то этот приём был освоен очень неплохо. Вот и теперь, бреду по дорожке Сосновского лесопарка, старательно люблюсь верхушками берёз, а язык выговаривает сам по себе:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...

Сворачиваю с тропки, делаю вид, будто ишу грибы. В детстве нас с братом возили сюда на дачу. Деревянный дом на Ольгинском переулке. Севернее Муринского ручья, там, где сегодня стоит моя многоэтажка, колхозники сажали капусту. Забавно, дача моего детства находится ближе к центру города,

чем нынешний городской дом. Тогда в Сосновке на самом деле можно было насобирать грибов. Одинокие старушки и сегодня что-то находят, хотя кушать собранные в городе грибы остро не рекомендуется. Не исключено, что помрётся, не дождавшись срока, который наступит через две недели.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть...

Нет, бездорожье слишком отвлекает, начинаешь действительно высматривать заблудший подберёзовик или пару свинушек. Официальная микология ныне считает свинушки поганками, и сколько их было съедено за прошедшие-то годы! Впрочем, говорят, в Западной Европе свинушки и впрямь ядовиты, и мы покорно ползём за западной модой. Ну вот, опять отвлёкся...

— Раз! два! три! четыре! — так я и нормы не выполню.

Выбираюсь на тропу, настраиваюсь на привычный ритм.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

Навстречу два неразличимых мальчугана лет четырёх катят широкую двухместную коляску. Неужели свою? Заглядываю под приподнятый верх. Нет, в коляске ещё пара двойняшек, совсем малышата, перевязанные розовыми лентами. Мама, ещё не сбросившая послеродовой полноты, идёт на шаг сзади. На меня она внимания не обращает, давно привыкла, что каждый встречный заглядывает в коляску. Гуляючи с четырьмя детьми, от дурного глаза не убережёшься, тут уж все суеверия надо попросту забыть. «Не верьте в дурные приметы, и не будут сбываться», — кажется, это Серафим Саровский. Подумать только, святой, а сказал умную вещь! Бывает и такое.

— Раз, два, три, четыре, пять...

А у меня глаз дурной или добрый?.. Как узнать?

— Да! — приостановившись на секунду, шепчу я. — Все пятеро, и их папа — тоже! Не может быть плохим человеком отец двух пар таких близнецов!

Старушка, выгуливающая по лесопарку стриженного пуделя, тоже заглядывает в коляску и расцветает улыбкой. Очень хочется сказать «да!» и старушке, но я отвожу глаза и ускоряю шаг.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

Каждого хорошего человека хочется спасти, жаль, что я могу так мало. Там старушка точно пропадёт, да и вообще, она уже свои годы прожила; выберешь её — станет заедать чужое в самом что ни на есть непереносном смысле.

— Раз, два, три, четыре...

Иду по направлению к дому. Уже вечер, болит голова. Ночью опять будет сниться бешеный, сводящий с ума счёт. Себе самому «да» я не говорил — кому я там буду нужен?

— Раз, два, три, четыре, пять...

Сколько монеток в ботинке? Вряд ли слишком много, жмёт не сильно. И всё-таки иду к дому; не хватает попасть на глаза подвыпившей компании, чьё время вот-вот настанет. Жаль всё-таки, что я могу говорить только «да»...

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

\*  
\* \* \*

Невозможно поверить, но я таки вернулся к счёту, причём в самое, казалось бы, неподходящее время — будучи студентом университета.

Студенческая пора — это не только лекции, молодость, любовь, экспедиции... Это ещё и военная кафедра, а летом, между четвёртым и пятым курсами — лагерь. Двадцать четыре дня в рядах советской армии! Больше двух миллионов секунд... Чтобы скоротать эти миллионы, я вспомнил про свой миллион.

Стою на плацу, морда уставно-тупая, а сам считаю:

— Раз-два-три-четыре-пять...

— Напра-а... во! — все поворачиваются, а я, конечно, прозевал команду: повернулся с запозданием или не в ту сторону. Вообще-то я скрытый левша, правую руку от левой отличаю с трудом. Чтобы определить, где правая сторона, нужно вспомнить, в какой руке держал ложку мальчик, сидевший во время обеда в детском саду напротив меня. Так вот, правая рука — другая. Поэтому я и говорю, что остался тем, прежним, трёхлетним. Без него я не мог бы делать множества самых обыденных вещей. Поворачиваться по команде трёхлетний я не умел, так и двадцатилетний не научился.

Неизбежно следует наряд вне очереди. Вечером чищу на солдатской кухне картошку и бормочу:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

За два миллиона армейских секунд досчитал до ста тысяч, которые так и болтаются на моём балансе. До миллиона, разумеется, добивать не стал, нашлись дела поинтереснее. Хотя почему «разумеется»? С меня бы сталось.

Сгнули в прошлом студенческие денёчки, молодой специалист был кинут во взрослую жизнь. И не то чтобы она оказалась очень трудной или жестокой, но нудной до чрезвычайности. Дурное распределение, вредная работа не по специальности, секретность и дисциплина хуже армейской. И это уже не два миллиона секунд, а три года.

Прежде всего я научился, не имея увольнительного листка, уходить в рабочее время с родного предприятия. Для этого нужно было, предъявив пропуск, пройти в медсанчасть, а там имелся выход на волю, который охраняли не сотрудники КГБ, а обычная вохровская бабушка, выпускавшая всех по предъявлении больничного листка. Старый больничный на имя Алексеевой Анны Матвеевны я отыскал среди какого-то мусора и с этих пор удираю со службы при всяком удобном случае. Разумеется, и начальство относилось ко мне соответствующим образом, но никакой управы на молодого специалиста у них не было. Даже депремировать меня не могли, ведь по правилам за нарушения, допущенные молодым специалистом, отвечал начальник, так что депремировать должны были и его тоже.

Подобная, с позволения сказать, работа чрезвычайно быстро развращает вчерашнего студента. Из военной конторы нужно было уходить немедленно. Но как это сделать?

И тогда под наслоениями прожитых годов зашевелился детсадовец, научившийся считать до сколько угодно.

«Сделай ещё один миллион, и выход найдётся, — шептал нездоровый смысл, — а если даже и не найдётся, то уж время убьёшь наверняка!»

Началась странная жизнь. В свободное от службы время я был нормальным человеком, занимавшимся нормальными, взрослыми вещами, но на семь служебных часов становил-

ся полным идиотом, бормочущим: «Раз, два, три, четыре...» Именно тогда я привык на каждые восемь тысяч класть в ботинок копейку. Листок с результатами счёта хранился в лаборатории, и вообще, дома мне в голову не приходило чего-то там считать.

Кончилось тем, что руководительница группы обнаружила листок с моей цифирью, заподозрила в ней шифр и вздумала передать компетентным органам. Листочек я отнял, пользуясь преимуществом в физической силе. Обозлённая начальница, уже не думая о собственной премии, накатала на меня докладную записку. Назревал скандал, но к этому времени миллион был закончен, и оказалось, что внутренний голос меня не подвёл: выход нашёлся сам собой.

Движимый нездоровым вдохновением, я написал на себя донос в первый отдел, и через неделю был уволен как несоответствующий режиму заведения. Люди знающие говорят, что я сильно рисковал: меня могли не уволить, а отправить в места не столь отдалённые, где у меня была бы прекрасная возможность в течение пяти лет считать до одиннадцати миллиардов ста одиннадцати миллионов. Однако законченный седьмой миллион спас меня от подобной перспективы.

Единственное, от чего он не мог спасти — за два года вынужденного безделья на режимном предприятии я полностью разучился работать. Напичканная вкладышами трудовая книжка — молчаливый свидетель этому печальному факту. Впрочем, считать до миллиона мне пришлось ещё только один раз, когда я уходил с завода, где занимал высокую должность начальника бюро. Высокая должность была чистейшей синекурой, на которой можно было бы сидеть до самой пенсии, получая приличную зарплату, но я не мог больше маяться дурью. За месяц я сделал восьмой миллион, после чего с лёгким сердцем уволился, не имея никаких планов будущего трудоустройства. И миллион не подвёл — через неделю я уже работал грузчиком в ближайшем универсаме, и это было самое счастливое время в моей жизни.

Устный счёт остался в прошлом. Я, конечно, гордился невиданной цифрой, до которой сумел добраться: восемь миллионов сто тысяч (восемь миллионов сто тысяч чего? —

как спросил бы Маленький принц), но продолжать бессмысленное занятие совершенно не хотелось. Иногда, шагая куда-нибудь, я обнаруживал, что привычно накручиваю десятки, и не только на левой, но и на правой руке уже загнуты пальцы, но вместо того чтобы класть в ботинок монетку, я тряс головой, отгоняя наваждение, и начинал думать о чём-то толковом.

А потом случилась беда.

\*  
\* \*

— ...шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Вот и закончены сегодняшние двести тысяч. Теперь можно отдыхать.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

Нестерпимо болит голова, но всё-таки, пока ещё нет двенадцати часов, пока не наступил завтрашний день, нужно сделать ещё чуть-чуть. Хотя бы пару тысячёнок...

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

\*  
\* \*

Мне они не посчитали нужным показаться, а быть может, у них просто нет облика. Я не знаю, существа это или некое осознавшее себя явление. В одном я твёрдо уверен — это не бог. И не потому, что я никогда не верил, да и сейчас не верю в бога, просто человеческий бог, созданный по нашему образу и подобию, не может быть настолько внечеловечен. Я говорю «они», словно речь идёт о каких-то пришельцах из космоса, будущего или иных вселенных, но на самом деле ничего о них не знаю. Они не собираются нас захватывать или поработать. Они просто хотят привести размеры человеческой популяции к разумной по их мнению величине. Почему-то мне кажется, что это мыслящие муравьи, которым ужасно надоела наша хозяйственная деятельность.

Они сообщили мне, что почти все люди должны погибнуть. В живых останется лишь восемь миллионов сто тысяч человек. Вполне достаточно, чтобы сохранить популяцию, но снять с биосферы непосильную нагрузку. Именно поэтому я и грешу на муравьёв.

Поначалу я не поверил, но они предоставили веские доказательства серьёзности своих намерений, а заодно убедили меня, что их планы с лёгкостью будут претворены в жизнь. Как они это сделали? Убедительно. Сомнений у меня не осталось ни малейших.

— Зачем вы сообщаете это мне? — спросил я, поняв, что упрашивать бесполезно.

— Потому что именно ты сумел досчитать до такого числа. Никто из людей никогда не считал так много.

— Это я догадываюсь. Но зачем мне знать о ваших планах? Гораздо проще было бы умереть вместе со всеми, не зная ни о чём и полагая, что завтрашний день будет такой же, как и вчерашний.

— Погибнут не все. Восемь миллионов сто тысяч человек останется жить. А тебе, тому, кто их спас, даётся право выбрать некоторых, которые останутся живы наверняка. Ты можешь отобрать каждого тысячного: восемь тысяч сто человек по своему усмотрению. Просто скажи «да», и выбранный будет жить, когда остальные рассыплются в пыль. Ещё восемь миллионов девяносто одну тысячу девятьсот человек определит жребий.

— Постойте, но ведь, чтобы отобрать восемь тысяч человек, требуется время! Так просто это не сделать!

— Хорошо. У тебя будет месяц. Тридцать дней — срок вполне достаточный.

— Тридцать один! Сейчас июль, в июле — тридцать один день.

— Хорошо, пусть тридцать один.

Так я сумел отодвинуть конец света на тридцать один день. И тут же в голову пришла блестящая идея.

— А если эти дни я тоже буду считать?

— Считай.

— Это число будет засчитано?

— Конечно. Жить остаётся не фиксированное количество человек, а столько, до сколько ты досчитал. Совершенно неважно, восемь или десять миллионов человек будет на Земле.

— Тогда, может быть, просто увеличить число, хотя бы вдвое?..

— Нет. Никто из людей не считал больше чем до восьми миллионов ста тысяч, значит, для людей большего числа нет.

Вот так и определилось самое большое число натурального ряда. И как я ни упрашивал, что ни предлагал, ответ был один:

— Нет.

И вот теперь я сижу и считаю, торопливо, на износ:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

Я позвонил на работу и попросил месяц за свой счёт. Начальство мне отказало, но я всё равно никуда не пошёл на следующий день. Мне некогда, я считаю...

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

Две недели я уже выдержал, причём каждый день делал чуть больше двухсот тысяч. Сегодня я перевалил за одиннадцать миллионов. К концу месяца, если голова не треснет раньше, у меня будет четырнадцать миллионов... Говорят, на Земле живёт почти шесть с половиной миллиардов человек. Значит, жить останется каждый пятисотый.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

Легко сказать — каждый пятисотый. Это я отбираю людей, которые мне понравились: молодых, с хорошими человеческими лицами, стараясь спасти целыми семьями. Но ведь это единицы, для остальных решать будет случай. Где-то жребий падёт на неизлечимо больного, прикованного к реанимационному блоку, и он умрёт всего лишь на полчаса позже своих врачей. В ином месте от целой деревни останется грудной младенец — кто его будет искать? Счастливый случай будет выпадать психопатам, наркоманам, убийцам... среди них выживет тоже каждый пятисотый. Судьба слепа, а я могу говорить только «да». И ещё, пока не кончилось время, я могу считать.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

Интересно, если люди выживут и сохранят память о случившемся, заметит ли кто-нибудь, что в Петербурге выжило не десять тысяч человек, полагающихся по статистике, а в полтора раза больше? И догадается ли хоть кто-то, в чём тут дело? Себе я не говорил «да», а если нелепая удача выберет меня пятисотым, я никому не признаюсь, как именно происходил выбор.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

Двенадцатый час. Хочется спать, болит голова... нужно выдержать ещё две недели...

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

И ещё мне не избавиться от одной соблазнительной мысли. А что если ничего этого не было? Пересчитавшись в детстве, я к пятидесяти годам тихо сошёл с ума, и грядущий апокалипсис — всего лишь плод расстроенного воображения... Как это было бы чудесно! Шесть миллиардов, триста семьдесят девять миллионов человек живы, и лишь один сошёл с ума...

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

Кого просить? Судьбу, которая не слышит, бога, которого нет, мироздание, сыгравшее с людьми злую шутку? Ну, пожалуйста, пусть окажется, что я просто сошёл с ума! Ведь это вполне возможно, все доказательства, которые представили они, прекрасно укладываются в гипотезу моего сумасшествия. Типичный случай сверхценной идеи...

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...

Я сошёл с ума, дальше можно не считать, не терзать бедный мозг, который, по уверениям врачей, не чувствует боли, но так отчаянно болит.

— Раз, два, три, четыре, пять...

Можно отдохнуть.

— Раз, два, три, четыре...

Вот только если окажется, что всё было правдой, прощения мне не будет, потому что каждая прошепченная цифирька — это живой человек.

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ...

— Раз, два, три, четыре, пять...

Поэтому я буду считать до самого конца, до последней отпущенной мне секунды.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...

И боюсь, что не сумею остановиться и потом.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...

## ТЕНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

(ЭКСКУРСИЯ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ)

«Послушивай!..» — эхо прозвучавшего двести лет назад крика мечется в подворотнях, ударяется о глухие стены, стоячей волной дрожит в дворах-колодцах. Кто умеет, услышит его не только сейчас, но и через сто лет. Город полон голосов, главное — отделять умерший звук от живого. Но даже умелец с чутким ухом не различит звука шагов бегущего Авалса. Кьяновские кроссовки касаются тротуара совершенно бесшумно. Бежишь и сам себя не слышишь.

«Посматривай!..» — а кому посматривать? Хоть все глаза прогляди в ночную ясность — а его не разглядишь. Увидать — дело не хитрое, а ты разгляди, когда всё кругом тает в обманном свете, смущает чувства и блазнит беспомощный разум. Человек ходит по городу, распахнув очарованные глаза, смотрит, видит и не осознаёт. Вот мелькнуло что-то — и нет ничего, да и как могло мелькнуть, если света кругом — хоть газету читай, хоть подбирай иголки? Неподвижность царит, живая, спящая. Недолгие полчаса ночи — его время. Над головой не заря, не зарево, а просто свет, пока ещё жемчужный. Жемчуг — прекрасный камень невинного обмана. Пронзительно светлый и непроницаемый для взгляда. Красивее всего блестит жемчуг в обманном пламени свечей, когда он не даёт тени. А во время белой ночи жемчуг не виден, кажется простым окатышем, внучатым племянником гранитных монолитов, одевающих Неву.

Теперь Авалс бежал по набережной, скользя кроссовкой по слизи камня. Гранит безучастно терпел прикосновения.

Сколько грубых человеческих касаний должно пройти по нему, чтобы на камне остался след... И что должно стрястись, чтобы битый ногами камень мостовой оказался потрясён до глубины души... Это гранитный постамент может вечно помнить удар вражеского железа, мостовые не хранят даже следы бомб. Отремонтировать — и забыть. Хотя рассказывают, что где-то под многослойным асфальтовым пирогом до сих пор можно найти следы копыт, каких не бывает у живых лошадей. Тётки с совковыми лопатами и мужики в оранжевых дорожно-ремонтных жилетах видели этот след, но среди бела дня не смогли рассмотреть. Что могут совковые тётки? Окажись рядом поэт или художник — он бы разглядел, но художники берегут руки, а поэты слишком субтильны, они не способны взламывать асфальт даже ради единого слова правды. Прозаики исполнены прозы жизни, им не интересен след копыта на камне. Вот и спрашивается, кто мог видеть фантастический след, да ещё и рассказать о нём во всеуслышание? Веры такому фантасту нет, да и прежде не больно бывало.

А об Авалсе даже легенды не сохранятся. Вот бросится он сейчас в Неву с пролёта сведённого моста — ряби на воде не появится, так и будет река струить свои гексаметры.

Авалс остановился на мгновение, беспомощно огляделся. Место знакомое, они шли здесь не больше получаса назад. Дружно шли, в ногу, всё было привычно и знакомо. Так нет, захотелось дураку самостоятельности, белая ночь в голову ударила, и помчался дурак куда глаза глядят. Теперь кружи бестолково, ищи потерявшегося хозяина. Спрашивается, где его черти носят? Ведь не только Авалс без хозяина пропадёт, хозяину тоже сладко не будет, говорят, от такого и помереть можно. Вот только хозяин пропажи не заметит и искать не станет. И никто не заметит до самого восхода солнца. А уж от солнца не скроешься, оно всё видит. И хозяина, каков он есть, хуже голого, и Авалса, как он без хозяина по улице разгуливает. После этого разговор с преступником будет коротким, а вернее, вовсе никакого разговора не будет. Не останется от Авалса даже пятнышка.

Заметался бестолково, предвидя близкую гибель, вздел руки мелодраматическим жестом. И вдруг, удара в лоб рукою,

охнул от ослепительной догадки, которая не должна была являться в тёмную от природы голову: ну с чего он решил, что хозяин станет кружить по старым местам, будто потерялся или потерял что-то важное?.. Ясно ведь, дождался, пока мост сведут, тормознул праздную ночную машину и давно уже дома чай пьёт, а то и без чая, уснул, умаявшись ночными красотами. Домой надо было бежать, там и ждать хозяина!

Помчался что есть сил, прикидывая в уме, сколько времени бежать до дома... через мост, по Литейному, Невский пересечь, что даже ночью небезопасно, по Владимирскому, Загородному проспектам... полчаса бежать, не меньше, а ночи осталось едва пять минут. Раньше, рассказывают, можно было к трамваю прицепиться, проехаться на колбасе, а у нынешних трамваев держаться не за что...

Кретин, какой трамвай в начале четвёртого? Беги давай.

А бежать больше никаких сил нет, набегался за ночь выше всякой возможности, метался, кидался, кружил, как бездомная собака. И вот пожалуйста, нужно бежать, а ноги как приколоченные. Это в книжках пишут «скользит легко, как тень», а у Авалса сбито дыхание... и хорошо хоть под рёбрами не тянет гнетущая боль — нет у Авалса рёбер. Сил едва хватило Литейный мост перебежать. Нет страшнее мест, чем мост. Там и с хозяином шагать страшновато: того гляди — ухнешь вниз, на текущую воду. Но всё-таки перебежал. И сразу препятствия начались, о которых прежде не думалось. Тени большого города издавна живут сами по себе, и здесь, в начале Литейного, обосновались едва ли не самые из них мрачные и злобные. Почти у самого моста пятнает землю огромная тень большого дома. И такое в этой тени встречается, что лучше за три квартала обходить. А он, глупенький, думал духом пробежать... Даже человек, ежели день туманный, ёжится порой, ударившись взглядом о стену, по-старинному составленную из гранитных плит, переложенных свинцовыми листами. Сейчас так уже не строят, этот дом последний и единственный выстроенный по старым рецептам после революции, из-за которой весь город стал тенью былой столицы. Дом построили большой, и свинца ему не жалели ни для строительства, ни потом для насущных нужд. Невские рыболовы упорно врут, будто самый лучший

клёв на спуске у Литейного моста, куда, прикормленные кровью, до сих пор сплываются окуньки и плотва. А прежде, мол, на этом спуске рыбачить не позволялось, и когда вновь запретят, всякий ловец рыбы без слов поймёт, что это значит.

Авалса заметили, а может быть, на том берегу приземистый дюжий человек, оглядел окрестности со своего броневедомобиля и закричал: «Вот он!», оставив на Авалса железный палец. И все, сколько ни было в тени большого дома, кинулись на Авалса.

— Стой, контра! Врёшь, не уйдёшь! Петруха, сзадуга забегай, сзадуга!.. Беглым — пли!

Трах-тарарах-тах-тах-тах!

Очнулся Авалс в переулочке. Долго стоял, дрожа крупной дрожью, тяжело смотрел и дышал, клацал зубами, кривя сведённые судорогой губы. На проспекте продолжалась стрельба; кого-то брали, но здесь было тихо. Вот оно как — бродить по городу бесхозно. Это рядом с хозяином легко скользить по оцинкованной стене, а в одиночку — только покажись, а что случится дальше... узнать узнаешь, но уже не расскажешь никому. Хорошо ещё, что магией эти не владеют, немощно им, а то бы никакого спасения не было городским видениям.

Осторожно ступая, Авалс выбрался на Шпалерную и вновь попал в царство теней, может быть, не столь опасное, но куда как прилипчивое.

Стоял некогда на углу дворец графа Шереметева — основателя и первого начальника добровольных пожарных дружин. Дом не дом, а так — тень дома, там никто не жил, и даже спальни ни единой не было. Особняк для торжественных встреч и приёмов. В следующую эпоху особняк был передан графу Толстому под дом писателей, и там до сих пор елозят тени пьяной советской богемы. Ныне дом полностью принадлежит тням, ибо пожар, произошедший по вине неисправной проводки, выкурил живых писателей из слишком шикарного особняка. Дворец начальника пожарных дружин гореть не хотел, так что услужливой электропроводке пришлось за один месяц трижды ломаться и поджигать обитые камышом стены, прежде чем дом наконец сгорел как следует. И так он это доброту сделал, что

частные фирмы, алчно ожидавшие, когда погорелые литераторы уберутся вон, чтобы приватизировать прокопчённые стены, разочарованно отступились. От бывшего дворца остался фасад, скрывающий скверну разрушения. Таких домов в городе немало, и все они обжиты теньями. Сейчас обитатели литературного склепа толпились на свежем воздухе, догуливая последние минуты белой ночи. При виде Авалса они оживились, хищно предвкушая развлечение. Стрелять они не были приучены, но хватать и не пущать любили издавна и притом владели самым изысканным тенистым колдовством.

— Ход сдох! — голос, неслышимый простому уху, но не утративший барственных обертонов, приковал Авалса к месту, заставив покорно замереть. И сразу сонмы теней окружили его, требуя внимания, почтения и прочтения.

— Ты меня цитируешь? — пытал один.

— Знаешь, кого помнит этот камень? — вопрошал другой, пиная гранит поребрика.

— Кого? — задохнувшись от ужасной догадки, переспросил Авалс.

— Меня!

— О, ты туп как путы-то! — осадил соперника тот, что минуто назад приковал Авалса волшебным заклинанием.

— Сам хам! — огрызнулся монументальный, но, не сумев достойно закончить строку, стушевался и ушёл во мрак пустых стен, бормоча что-то о широком махе масс.

— Вой хул — глух, Иов! — язвительно выкрикнул вслед победитель и, повернувшись к недвижному Авалсу, принялся декламировать:

— И крик кирки

Хил или лих,

А рушит тишь. Ура!

Сбоку подсунулся призрак с моднявым абрисом.

— Хит! — возгласил он. — Стон нот стих!

— Чего это они? — не надеясь на ответ, вякнул Авалс.

— Не берите в голову, — неожиданно ответил один из призраков. — Поэты промеж себя разбираются. А тот, что сбежал, и вовсе стихотворец, к тому же — секретарь. А секретарство мстит за себя жестоко, оно чревато деградацией.

— А вы кто?

— Я — писатель, — сказал человечный и добавил с неожиданной грустью: — Тень писателя. Так бывает, живёшь, работаешь, и вдруг обнаруживаешь, что ты лишь тень того, что было.

— Отпустили бы вы меня, — пользуясь мгновением, попросил Авалс.

— Куда? Отсюда не уйдёшь. Творчество — сладкий яд, кто раз его испробовал, не сможет стать прежним. Рано или поздно он вернётся в эти стены.

— Нет стен, — возразил поэт.

— Я не Сократ, я не пил яда! — закричал Авалс, но его не слушали. Каждый гомонил своё и о своём.

— Самое прискорбное, — пророчествовала тень писателя, обращаясь в никуда, — это вывод, к которому неизбежно приходит всякий мыслящий человек: миром правит зло, и что бы мы ни делали, как бы ни старались ради общего блага, зло всегда окажется победителем.

— У раба бар — у!.. пуст суп, худ дух, — подтвердил поэт и добавил прозой: — Но тебя я спасу. Ты будешь моей тенью, и зло не коснётся тебя.

— Я не хочу!

— Да кто ж тебя спросит... — в унисон ответили прозаик и рифмач.

Авалс дёрнулся, но заклинание впечатало его в стену прочней офсетного тиснения.

— Послушивай! — последний раз донеслось с Заячьего острова и замолкло до следующей ночи.

И тут в порыве отчаяния Авалс нашёл выход.

— Не буду! — закричал он и добавил экспромтом рождённое заклинание: — У тени нет и нету!

Ноги враз стали проворны, Авалс кинулся наутёк.

— Стой, Отс! — метнул домашнюю заготовку поэт, но поскольку Авалс не имел никакого отношения к артистам оперетты, заклинание не сработало. Домашним заготовкам вообще свойственно подводить авторов. Возможно, платонствующая тень, возмечтавшая о собственной тени, сумела бы изобрести что-то покруче, но стихотворец-секретарь,

в котором зависть пробудила забытую способность к творчеству, высунулся из ниоткуда и заикаясь вскричал:

— Но! Б-биги, гиббон!

— Ату шута! — взревело благородное собрание.

Авалс бежал быстрее газели, спешащей в родной гараж. Скорее всего, ему не удалось бы спастись, но какой-то секретарский подпевала визгнул вслед: «Дёру, урод!» — и преследователи, рассеянные, как все тени, отвлеклись, обрушившись на бездаря, которому теперь до скончания века предстоит носить издевательскую кличку «Урёд». Орфографическую ошибку секретаря деликатно не заметили.

На проспекте тоже продолжали кого-то ловить.

— В ежовые рукавицы его! — доносился крик.

— Ежу — хуже, — пробормотал Авалс и проскользнул незамеченным.

Рассвет пламенеет в полнеба. Свободные тени в такую пору не ходят, одни лишь мороки, порождённые не проснувшимся покуда городом, возбуждают горячую фантазию. Вдали, на той стороне проспекта сверкнул блеск эполет — всё ясно, офицерское собрание, а ныне — Дом офицеров эманурует в уличное безлюдье неуспокоенную память. Только сверни туда бесприютная тень, враз узнаешь, кто ты есть перед их благородиями и превосходительствами. Мазурка гремит сквозь закрытые окна, декольтированные дамы выходят из экипажей... Мимо, мимо, взглянуть нет мига!

Улетает Литейный под спешащей ногой. Доходные дома, особняки, департаменты... Вот парадный подъезд института НИГРИ. Сквозь заветные двери доносится рёв зубра мычащего и тяжкая поступь шагающего. Что делать в институтском вестибюле могучим зверям? Только стоять около двери, криком отпугивая нежелательных просителей. Почернелые оборванные поисковики толкуются у запертого входа. Держись, геолог, там ждут грандов — или гранты? — тебя там никто не ждёт, и тебе оттуда ждать нечего.

— Суди его бог, — произносит одетый в выштопанную штормовку призрак и, разведя безнадежно руками, исчезает, не оставив по себе следа.

Целое мгновение Авалс не мог понять, что происходит, и этот миг, бесконечно растянувшийся между былым и грядущим,

шим, едва не погубил его. Ночь кончилась, уже не свет грядущего дня, а само солнце явилось сквозь разорванный ветром горизонт. Стройные громады теснящихся домов покуда скрывали его, но всякому ясно, что бездомной тени на улице не выжить. Авалс непристойно визгнул, метнулся в сумрак подворотни и в панике полез под мусорный бак, воняющий резедой и квашеной капустой. Хорошо всё-таки, что позади всякого парадного подъезда прочервоточен чёрный ход, и любой фасад скрывает двор-колодец, куда выходят окна кухаркиных комнат.

— Тише ты, оглашенный, — прошелестел голос. — Осторожнее лезь, всё лицо обтоптал.

Осмотревшись в ненадёжном убежище, Авалс обнаружил две бомжеватого вида тени. Были они так потрёпаны, что и облика не сохранили, от прежних людей остались комки не то серости, не то сырости. Одна, чуть угловатее, видимо принадлежала когда-то человеку видному, по меньшей мере внешне. Другая — вовсе плюгавенькая. Именно плюгавый и жаловался, что ему обтоптали давно потерянное лицо.

— Новенький, — сказал он. — Ну, давай, устраивайся. Ишь ты, свежачок какой! Хозяину, что, по старинке финский нож в селезёнку саданули? Или он у тебя из новых — на киллера угадал? Теперь это часто случается.

— Жив хозяин! — Авалс с трудом сдержал рвущиеся из груди рыдания. — Это я потерялся. Погулять отошёл — и вот...

— Серьёзно... — словоохотливый призрак присвистнул. — Влип ты, парень, как роза в уличную грязь.

— Мне бы домой...

— Какое — домой? Ты наружу-то высунься. Тебя там в такие нежные цвета раскрасит — родная мама не узнает. Так что сиди и не чирикай.

— Нож в селезёнку, — с запозданием подал голос угловатый, — варварство! Кровь в брюшной полости, требушина, считай, вся испорчена. Зарез для чего существует, а? Ножичком по горлу чикнул, тушу попридержал слегка, пока трепыхаться перестанет, и кровь в тазик — на колбаску. Тазик надо заранее припасти. Мясо тогда чистое, хоть космополиту на кашрут.

— Вы резником работали? — вежливо спросил Авалс.

— Мясником в Кулаковском магазине, — с гордостью ответил угловатый.

— Он тенью работал, — поправил плюгавый, — а хозяин его работал палачом. Такое частенько бывает: хозяин темнее тени, а тень у него — очень приличный человек. Некоторые даже уходят от своих хозяев. Про тех, кто без тени остался, говорят: нежить, мол, упырь, у живых людей кровь сосёт. Ежели имплицитно судить, то и впрямь сосёт, а то и вёдрами хлещет. А что нежить — так это неправда. Просто у тени совести больше оказалось, чем у живого человека. А наш приятель, хоть и совестлив, а сбежать не решился, до последнего хозяину служил, и только сейчас у него мания грандиоза прорезалась, мясником себя вообразил.

Авалс покосился на незнакомые слова, но вопрос задал такой, чтобы ответ получить понятный.

— Он, что, так и был палачом? С наострѣнным топором и в красной рубахе?

— Сим даётся ответ вопросный: кого считать палачом? Красная рубашка, может, и была — его хозяин на гармошке играть любил. А что за гармонист без красной рубахи? А вот насчёт топора ты лишку хватил. Топоры сейчас не в моде, у современных процентщиц охрана такая, что топором не домахнёшь. Теперь у палачей методы другие. В начале проспекта дом стоит большой — видел? Что там творилось в недавние годы — расчухал? То-то и оно...

— Он там служил? — Авалс отодвинулся от страшного соседа, едва не высунувшись на свет.

— Он служил тенью. И хозяин его там не служил. Он приказы отдавал, а те исполняли.

— Соколок тоже надо уметь нарубить, — тянул своё угловатый. — Грудиночку тонкими полосками, грамм по триста — старушкам на щи, а ближе к зарезу пласт по три сантиметра делай, чтобы в один вес и мяска, и жирка, и грудинной косточки. Соколок по полтора фунта рубится, хорошей семье на борщ. А то взяли моду — мякотный кусочек, а к нему кости довесок. Я бы таких рубшиков своими руками...

— Молчал бы лучше! Ты и без того своими руками такого понатворил, и снова старую музыку заводишь... гармонист!

— Музыка — мура! — отрубил палач-мясник.

— Индийскую столицу забыл, — непонятно подначил шуплый.

— Чево?

— Музыка, как ты верно заметил, мура, но ещё и столица Индии. Ну что, вспомнил такого, гармонист?.. А ты что варезку разинул? — прикрикнул он на Авалса. — Шарад никогда не разгадывал? Ты, смотри, дурака этого держи, а то до него сейчас дойдёт, так он с тоски на солнечный свет выброситься может. О, гляди, гляди, дошло!

— Чего вы все разговариваете ребусами, шарадами и... этими... палиндромами? — спросил Авалс, удерживая от самоубийства слабо рыпающегося мясника. — Я, конечно, это дело тоже люблю, а среди людей такие вещи редкость.

— Так то среди людей. А мы — тени. Тень по определению палиндромична и негативна. Привыкли всё воспринимать задом наперёд и в тёмном свете. Ясно?

— Какое ясно, если он тень? — неожиданно спокойно произнёс мясник. — Тёмно ему.

— А-а! — протянул Авалс. — Вот в чём дело! А я-то думаю: вроде бы писатель, с которым я недавно разговаривал, и умница, и добрый человек, а такую ересь несёт — миром, мол, правит зло!

— Тень писателя, — поправил шуплый. — Книги его раскрой, там, небось, совсем иное сыщется. Негативизм — по сути дела тот же палиндром; живым был — говорил «ха-ха!», тенью стал — «ах-ах!» затынул.

— А разве не зло правит миром? — спросил мясник. — Все мы на колоде лежим да разруба ждём.

— Нет в мире зла! — убеждённо воскликнул Авалс. — Конечно, солнце нас убивает, и всё же оно не зло, ведь без него и теней не будет. Знаете, как здорово в солнечный денёк пройтись по улице рядом с хозяином! — Авалс поник и захлопал носом.

Всё-таки плохо быть двумерным — никакой глубины чувств... начал во здравие, а кончил за упокой. И суждения теней порой бывают плоски, хотя этим и люди грешат.

— Так-то, — сказал тщедушный, — диалектика-с. Вот мы с вами сидим, культурно о жизни беседуем, а тут в город за-

явится какая-нибудь шишковатая особа, в честь её проезда устроят большую уборку, начнут, между прочим, безо всякого злого умысла, наш бак вне графика вывозить, и всё — понеслась душа в рай!

— У теней душа есть? — спросил Авалс.

— Нету. Её и у настоящих людей не сыскать.

Разумеется, это сказала тень палача. Хозяин её за долгие годы порешил немало людей, но ни в одном души разглядеть не сумел.

— Сложный вопрос... — философствующий хлюпик не был столь категоричен. — Я чувствую в себе душу, так что чисто онтологически она должна быть. И вообще, дум спиро — сперо. С другой стороны, раскидать сейчас вмещающий помойный ландшафт — сопрёт твоё спиро в зобу — вот и вся радость. А с третьей стороны — ибо у всякой медали не менее трёх сторон, — иные из нашей братии в жизни устроились прочно, можно сказать, на века. Впрочем, расскажу-ка я вам историю, пока делать всё равно нечего... — рассказчик кинул взгляд из помойки наружу, где уже вовсю бушевало солнечное утро, выбрал себе местечко посуше и, удостоверившись, что слушатели внимают с достаточным почтением, начал рассказ: — Кому как не вам знать, что люди бывают разные. Иной так прославится, что ему при жизни памятник ставят. Частенько при этом бывает, что как скончается знаменитость, то монумент быстренько сносить начинают, чтобы на земле и тени не осталось от бывшего любимца. Но в тот раз памятник ставили и впрямь по заслугам. Поэту. Большому поэту, настоящему, не чета тем, чьи тени ты видел. Разумеется, тень у такого поэта должна быть бронзовая. К тому же юбилей подоспел: сто лет со дня смерти. В ту пору вот он со товарищи у власти были, — рассказчик кивнул на соседа. — Ежели не знаешь, то выражение «со товарищи» означает «всей бандой». Вообще, тюркское слово «товарищ» в русском языке имело два значения. Это или компаньон, с кем одним товаром торгуешь, или поделщик — член той же разбойничьей шайки, что и ты. Хорошее слово, ёмкое. Какие бы значения оно потом ни принимало, всё равно заранее известно, что если власть у товарищей в руках, ничего, кроме грабежа, не получится.

— Вы, кажется, отвлеклись, — напомнил Авалс. Слишком часто приходилось ему слушать в транспорте разговоры о всеобщем грабеже.

— Нет, не отвлёкся. Это было лирическое отступление. Растёкся мыслию по древу, а сейчас назад стекусь. Так вот, поэтов наш друг любил ещё меньше, чем композиторов. Чуть увидит поэта, сразу норовит постановлением пришибить. Но тут иное дело — юбиляра уже сто лет как пристрелили. Радость-то какая! И поэтому надо памятник ставить поэту тому..

Авалс насторожился, не палиндромами ли зашаманил рассказчик, но нет, всё спокойно: обычная паразитная рифма, в прямой речи вполне допустимая.

— Поставили памятник на площади между музеем и филармонией. Удачно получилось, на одной площади все искусства собрались. Стоит поэт как живой: молодой, красивый, радостный. Горожане им любят, а он, солнце поэзии, ясное дело, солнце застит в ясный день, тень отбрасывает по площади. Всем хорошо, а тени какво? Ни позу переменить, ни руку опустить — беда, да и только. Год памятник стоит, и десять, и сорок, так что уже новый юбилей близится. Сам поэт столько не жил, а тень всё ползает округ пьедестала прочь от солнца. И вот однажды белой ночью снялась она с места, наврode тебя, и поползла напрямиком к скульптору, что сорок лет назад памятник отливал.

— Тень?.. К живому человеку?.. — ужаснулся Авалс. — Да разве такое возможно?

— А это смотря к какому человеку. Бывают люди, у которых глаза и душа так устроены, что они не только тени видят, но и многое иное. Скульптор как раз из таких был. Выслушал он беглянку и отлил её в бронзе, чтобы стояла она как вздувается и смотрелась сама по себе. На первом-то памятнике поэт молодой и весёлый, а на втором — доживает последние дни и исполнен скорби. Настоящий памятник руку простёр, а тень уронила руки бессильно, немощная бороться с судьбой. С какой стороны ни взгляни, тень она и есть тень. Закончил художник работу и хотел поставить новую фигуру на том месте, где полтора века назад застрелили поэта. Ан не тут-то было! Тень хоть и в металле отлита, а тенью осталась. Как

услыхала, что ей на свет явиться пора, задрожала, заметалась, только что не заголосила. Солнца, вишь, испугалась. Не могу, говорит, на солнце показаться, оно меня сожжёт. Скульптор и успокаивал, и упрасивал, и грозил тень в переплавку сдать — та ни в какую. А скульптор старый, ему волноваться вредно. Короче, махнул он рукой и поставил монумент там, где солнца вовек не бывало и быть не могло. Под землёй поставил, на самой что ни на есть метровой глубине. Второго подобного памятника нету, чтобы подземным был.

— На Пушкинской тоже памятник есть, — не вовремя высунулся Авалс. — Правда, он гипсовый...

— То-то и оно, что гипсовый, — недовольно отозвался шуплый. — И вообще, не порти песню, дурак. Так вот, просто скульптура подземная встречается, и бюсты тоже попадают, а целого монумента — нет. Смотри и гадай: предсмертный памятник или посмертный? И художник уже ничего не ответит, умер вскоре после того, тайны не раскрыв. А тайна простая: не памятник это, а медная тень, житель подземного царства. А теням в тартаре и положено быть скорбными.

Рассказчик умолк и оглядел слушателей, самые позы которых источали внимательность.

— Чего ждёте? — спросил он. — Морали захотелось? Так у нас тут либерте и эгалите есть, а моралите — нету, не завезли. Да и какая может быть мораль в правдивой истории? Что миром правит зло? Это неправда. Что миром правит добро? Тем более ерунда. Миром правит стечение обстоятельств, поэтому всякая история должна заканчиваться никак. И нечего ждать действия, страстей, драмы искать... моветон это.

— А откуда вы знаете эту историю? — спросил Авалс.

— Слухом земля полнится, и как полежишь на земле с моё, то и не такое услышишь.

— Я почему-то подумал, что вы были тенью того скульптора.

— Я тень кухонной гнили, — важно произнёс плюгавый.

— Как же это? — Авалс пребывал в затруднении. — Тень отбрасывают одни предметы возвышенные, а тут вздор какой-то; во-первых, гниль сама по себе пятно и тенью обладать не может, а во-вторых, всё равно не бывает у гнили тени, хоть в лепёшку расшибись!

— Молодой человек! — укоризненно произнёс гниловатый. — Запомните, в этом городе бывают и не такие происшествия, редко, но бывают. Обратите внимание, что и я, и вы, и вот он, с самого своего появления на свет расшиблены в лепёшку. Так какого вам ещё рожна надо? Каких доказательств взакалось? Опять же, без света мы не существуем, но хотя когда-то появились на свет, но в нынешнем положении на свет появиться не можем — испаримся-с. Опять парадокс. Но не унывайте, само существование северной столицы — парадокс. Гранит и тени — дивное сочетание! Только здесь дома могут быть старше самого города; вроде бы только что отликовали праздник 300-летия, цифра 1703 всем намозолила сетчатку, а ведь на Васильевском острове стоит башня, выстроенная за полсотни лет до этой даты. И никто об этом не знает! Только здесь величайший певец города может быть величайшим его ненавистником. Да-да, я говорю о Фёдоре Михайловиче...

Авалс по темноте своей не понял, кого так по-домашнему помянул бомжеватый энциклопедист, а вот тень бывшего идеолога, хотя и полагала себя мясником, но на имя классового врага немедля сделала боевую стойку:

— Реакционер! Бесовщина!

— Это мы с тобой — бесовщина, — голос знатока лучился презрением, — а он при нас вроде патологоанатома при безвестных трупах. Неча на прозектора пенять, ежели у самого нутро прогнило.

— Это ты прогнил, интеллигент! — взорвался угловатый. — А я человек простой, рубщик мяса, я со свежатиной работаю!

— Как ты работаешь, мы знаем. Ложкой в борще ты работать мастер. В блокаду от людей одни тени оставались, а твой хозяин вон какую маммону наел, даже тебе перепало, до сих пор рассеяться не можешь.

— А сам-то!..

— Что я? Я, может, и не тень вовсе, а просто пописать вышел. Гнию себе потихонечку, интеллигентно...

— Фёдор Михайлович — это кто? — спросил Авалс, чтобы остановить свару.

— Достоевский. Великий писатель. Неужто позабыл? Или не читал вовсе?

— Я, вообще-то, читать не умею, — признался Авалс.

— Вот она современная молодёжь, — ханжески вздохнул плюгавый. — Компьютер и видак заменили вам жизнь. А ведь это не жизнь, это тень жизни. Раньше люди были не в пример культурнее, по вечерам собирались всей семьёй, читали вслух. На столе лампа горит под атласным абажуром, глава семьи с книгою, повествует детские годы Багрова-внука, описанные господином Аксаковым. Опять же, взять роман «Василий Тёркин» знаменитого беллетриста Боборыкина... поучительная книга и злободневная, посвящённая, как сейчас сказали бы, экологическим проблемам. Хозяйка над вышиванием склонилась, бабушка с вязанием дремлет, дочери-гимназистки слушают прилежно: не прокрадётся ли на страницы описание роковой страсти. Оболтус-наследник ниткой котёнка дразнит, а всё одно, хоть в пол-уха, да слушает. От лампы в комнате уют, тени на обоях расположились с удобством и тоже слушают. Потому и в литературе разбирались не в пример лучше нынешних поколений. А то хозяйева живые картины начнут представлять или театр теней. Тут мы первые... Нынче такого благолепия не сыщешь, нравы не те, — рассказчик обвёл взглядом невеликую свою аудиторию и экологически неблагополучное убежище. Все слушали, и даже день на проспекте притих и уже не так яростно громыхал трамваями. — Достоевского, конечно, в семейном кругу вслух читывали редко: писатель сумрачный, можно сказать, даже мизантропичный...

— Волюнтарист! — подал голос идеолог, но оппонент лишь глянул кротко, и угловатый умолк. Такова теневая сторона действительности, в реальной жизни всё было наоборот.

— Многие о Фёдоре Михайловиче говорят, а главного никто не понял. Достоевский не жизнь пишет, а изнанку её, не люди у него, а тени, не чувства, а надрыв и душевный излом. Женщины у него скрежещут, идиоты философствуют, вроде как я сейчас. Короче — наш человек. С теньями говорить умел и понимал их как никто другой. Потому описывал непременно тёмную сторону человека. Вот бы кому подземный памятник поставить. Или в глухом дворе, где окна занавешены непросыхающим бельём и кошки следят с кровли дровяных сараев.

— Достоевскому памятник есть, — подсказал Авалс. — Уже несколько лет как стоит. Я в ту пору ещё в школу бегал.

— Небось, посреди площади втюхали...

— На площади. Но не в середину, а так, с краешку. Там, где улица Правды начинается.

— Упаси боже от такой правды, — поёжился тшедушный, и массивный его недруг, кажется, впервые проворчал что-то согласное, хотя подумал всё-таки о другом.

— Закоулки тёмных душ были перед ним открыты, а вешей простых, всякому понятных, сумрачный российский гений не знал и не любил. И город наш видел только с теневой стороны, а в остальном ляпсусы делал преуморительные. Ведомо ли вам, милостивые государи, что название величайшего петербургского чуда принадлежит перу Фёдора Михайловича? Я говорю о белых ночах, тех самых, что так опьянили нашего молодого друга. До этого был таинственных ночей прозрачный сумрак. А волшебные слова «белая ночь» впервые сказаны по-русски Достоевским. А вот какова она, белая ночь, под пером Достоевского? Ну-ка, припомните... Эх, да вы же неграмотные оба, один только крамолу между строк искать может, а второй прост как вор-рецидивист. Ну, слушайте: «Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звёздное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди?» — а теперь скажите, любезные слушатели, какие такие звёзды привиделись великому писателю в разгар белых ночей? В эту пору внимательный взгляд разве что одну Венеру может заметить.

— Чистоговорка у него красивая, — не в тему произнёс Авалс. — «Неужели же могут жить», — если бы ещё вместо «могут» — «могут» стояло, совсем хорошо было бы.

— Я же говорил, — вновь загудел угловатый, — что он не писатель, а перерожденец и скрытый троцкист. Никакой правды жизни, одно буржуазное разложение.

— В лоб вам, что ли, дать? — риторически спросил хлюпик. — Не сильно, а так, чтобы мысли в башке в правильном порядке улеглись. Не писал Достоевский природы никогда! Это герой его

психованный видит звёзды, когда их на небе нет. Он на жизнь как бы из глубины колодца смотрит. Не звёзды у Достоевского, а тени звёзд. Литературщина, если угодно. Раз ночь — изволь звёзды живописать. Правда жизни тут ни при чём, тут властвует правда затенённого сознания. Белая ночь не интересовала Достоевского ни капельки, её он если и видел, то не разглядел.

— Зачем же тогда писал? — тихо спросил Авалс.

— Так он и не писал! — радостно подхватил реплику плюгавый. — Оно само произошло. Достоевский с французского переводил. Есть во французском языке такая идиома: «*nuit blanche*», в буквальном переводе — белая ночь или ночь, проведённая без сна. Засиделся за картишками до утра, вот тебе и белая ночь. Достоевский писал вовсе не о петербургском чуде, а о тех, кому не спится в ночь глухую...

— Ты тут поматерись! — эхом откликнулся идеолог, а Авалс, выждав минуту, сказал:

— Не пойму, вы ругаете Достоевского или хвалите? Вам лично он нравится?

— Достоевский не может нравиться или не нравиться. Вот тебе, то есть твоему хозяину, нравится ходить к зубному врачу? Но ведь ходит.

— Не, не ходит. И Достоевского он не читает. Он больше дюдики и боевики уважает.

— Ну и дурак. Останется без зубов и без совести. Достоевский — что-то вроде горького лекарства, прививка против бездушия. Любить его не обязательно. Вот и я, хоть и морщуся, но чту. Кстати, учти, я тут говорю, наш, мол, человек, скрытое видит, теневую сторону пронизает, так ты, смотри, не расслабляйся. Нам, бесхозным теньям, от Фёдора Михайловича лучше держаться подальше. Как в тех краях окажешься, не поленись сторонкой обойти. Я его не видал, но полагаю, что сделан талантливо, совсем бездарные монументы в этом городе редко встречаются, разве что мерзавец Шемякин испоганил крепость медным сиднем. Так что если памятник хорош, то и взор у него всякую тень пронизает, что лазером. Будешь потом ходить пробитый навывлет, наподобие куриного бога. Не смертельно, но очень неудобно... — на этих словах культурная беседа была прервана, потому что Авалс разрыдался.

Обычно тени плачут невидимыми слезами, но Авалс рыдался в голос, так что прохожие на Литейном услышали. Хорошо, что нечасто они читают Достоевского, и никто не пошёл полюбопытствовать, кто рыдает в грязной подворотне.

— Ну чего ты?.. — бросился уговаривать плюгавый. — Мячик в реку уронил? Перестань, стыдно же... Взрослая тень, и вдруг — сопли и вопли.

Казалось, сейчас он вытащит необъятный носовой платок в синюю и белую клетку и примется утирать сопли и утишать вопли. Обошлось, впрочем, без платка. У теней нет селезёнки, поэтому они не способны долго горевать. Авалс умолк, лишь шмыгал носом и наконец произнёс сквозь всхлипы:

— Мне уже давно пора быть в тех краях... Я там живу, совсем близко. Хозяин дома, может быть, ещё ничего не заметил, а я тут сам себя, как бродячего пса, на помойку вышвырнул.

— Не реви, ещё ничего не потеряно. Сегодня воскресенье, на работу не надо, хозяин твой убегался за ночь и, небось, спит без задних ног и отсутствия твоего не заметил.

— Не станет же он сутки напролёт спать!

— А ты собираешься здесь до ночи сидеть? Нет уж, парень, хочешь домой — добирайся днём. Дело это рискованное, но риск, в свою очередь, дело благородное.

— Как?.. — с проснувшейся надеждой выдохнул Авалс краткий палиндром вопроса.

— Сейчас он тебе назовет, — плотоядно усмехнувшись, предупредил мясник. — Мол, ты подвинься на край помойки и в тень бросайся проезжей фуры... Так вот, я тебе сразу скажу: не допрыгнешь. А и допрыгнул бы — всё равно потом отстанешь. И вообще, с чего ты взял, что фура поедет к твоему дому? Она по своему маршруту поедет.

— Во-первых, — недовольно возразил плюгавый, — не лишай человека несравненного права самому выбирать способ самоубийства, а во-вторых, никакой фуры я ему не предлагаю, её тут и вовсе нет. Я просто напоминаю, что живём мы с вами в Северной Пальмире, где, в отличие от южной тэзки, в году всего тридцать один ясный день. А вот туманных, когда тени могут сутки напролёт променировать, целых пятьдесят семь.

— Но ведь сегодня солнечно...

— Сегодня день полуясный. Таких в году в среднем около ста пяти. А это значит, есть надежда, — божм интеллигентно почечал давно утерянный в житейских передрягах нос и добавил: — Что-то у меня абрис ломит. Не быть ли дождю? Весь дрожу.

— Утопнет! — хохотнул здоровяк. — Люблю грозу в начале мая! — очевидно, эту строчку знал даже он.

— Жить захочет — выплывет. А сейчас не май, а третья декада июня. Скоротечные грозы отошли, хотя и затяжных дождей покуда нет. Как повезёт...

Сверху бабахнуло, с лязгом, громом, словно ударило железом по самой голове. Шумно плеснуло, с днища бака закапала мутная жидкость, благоухающая селёдочным рассолом и подсолнечным маслом.

— Гроза! — восторженно выдохнул Авалс.

— Аннушка помои вылила, — поправил плюгавый. — Грозу ещё ждать надо, пока тучи натянет.

Вновь раскатисто громынула крышка мусорного контейнера, зашлёпали удаляющиеся шаги.

— Редкостная женщина, — сказал плюгавый, глядя из-под бака на мелькающие икры, которым иная ляжка позавидовала бы, — кухарка старой закалки, таких, увы, среди нас уж больше нет. А когда-то, помню...

— Размечтался! — процедил бывший идеолог, а ныне трудящийся мяспрома. — Интелихент, мозговая косточка нации. Ты не мозг, а...

— Эта точка зрения мне известна, — быстро сказал шуплый. — Не будем о драконах, поговорим лучше о женщинах. Аннушка — действительно замечательное существо. Иной раз я думаю, что она и родилась на кухне. Русская кухня вообще явление уникальное и может существовать только в нашем климате. Это единственное, что никогда не бывало в изгнании...

— Ты же о бабах хотел говорить, а сам о кухне.

— Оставь, Андриюшка, это одно и то же. Мы говорим «женщина», подразумеваем «кухня».

«Мясника Андриюшкой зовут, — отметил про себя Авалс. — Имя не перевёрнутое, значит, и впрямь хозяина нет в живых. Как, должно быть, страшно жить памятью о человеке, о котором и памяти не должно оставаться...»

— Во всякой нормальной квартире, — неутомимо разглагольствовал плюгавый, — непременно имелась спальня, гостиная, детская, кабинет хозяина, столовая и кухня. Теперь ничего этого нет, от бывшего великолепия осталась только кухня и безликая жилплощадь, в просторечии именуемая комнатой. А прежде гости собирались в гостиной и беседовали о политике. Политика эта, по меткому наблюдению одного опального вице-губернатора, всего более напоминала яичницу, но тем не менее о ней беседовали, и не без изящества. А на кухне в это время кухарка пекла блины. Потом гости шли в столовую и блины ели. С маслом и рыжиками. Или с белужиной. Вкусно!..

— Ох и сладки гусиные лапки! — почти уверенно поддразнил угловатый Андрюшка.

— Теням угощения, конечно, не полагалось, — не стал спорить плюгавый, — но нам и духа блинного да шаного очень даже хватало. После обеда переходили в кабинет, где вновь обсуждали яичницу, то бишь политику и состояние общественной жизни, но уже не самодовлеюще, а в качестве добавления к картам. В стуколку играли или в преферанс. Вы в стуколку играть умеете?

— Нет, — сказал Авалс.

Идеологическая тень многозначительно промолчала.

— И я не умею. Демократически настроенная интеллигенция предпочитала преферанс. Вероятно, оттого, что не знала других способов брать взятки. А потом всё кончилось. Товарищи решили, что сон — победа энтропии чёрной, и ликвидировали спальни. Затем сочли, что коллектив — большая сила, и отменили кабинеты, чтобы никто не смел работать запершись. Ну и так далее, по списку. Только кухня осталась кухней, хотя и её коммунисты сделали коммунальной. Всё это можно было бы пережить, если бы кухарки оставались на своём месте. Но самый главный из товарищей, к нашему несчастью, читывал Михаила Евграфовича и метафору его понял буквально. Мол, если искусство управления государством сродни жарке яичницы, то и управлять страной должен тот, кто в приготовлении яичницы толк понимает. У хорошей кухарки глазунья не подгорит и сопливой не останется, опять же, желтков кухарка, в отличие от нас грешных, не помнёт. А раз так, то пусть она

заведует министерством народного образования, чтобы все в стране стали кухарками и кухонными мужиками. Филологи называют подобный кунштюк актуализацией идиомы. Кстати, вы знаете, что сто лет назад слова «идиома» в русском языке не было? В ту пору вместо «идиоматическое выражение» говорили просто: «идиотизм». Так что вождь мирового пролетариата занимался актуализацией идиотизма. Пронизал этот идиотизм всю нашу жизнь. Кухарки выстроились дружными рядами и с песней: «Идём, идём, весёлые подруги!» — покинули осиротелые кухни, отдав нежные мужские желудки во власть гастрита и общепита. Но этим дело не ограничилось. Поскольку свято место пусто не бывает, то именно кухни взяли на себя функции гостиных и салонов. Сюда сползлись бывшие властители дум, здесь попевала их подгорелая яичница, тут же за разделочным столом играли в стуколку. Хотя игра стала совсем другой: кто первым стукнет товарищам на своих товарищей, тот и выиграл: разделал оппонента под кедровый орех. Раньше такого не важивалось, а на брошенной кухне, среди тухлых яиц и прогорклого масла, мораль тоже стала с гнильцой. С тех самых пор нас принялись называть гнилой интеллигенцией.

— Поэтому вы и сказали, что вы гниль кухонная? — вскинулся Авалс.

— Догадливый, — похвалил рассказчик. — И не всё, оказывается, мимо ушей пропускает. Давай, малыш, учись, набирайся мудрости. Ум теньям ни к чему, ум штука практическая, нам его применять некуда. Вот мудрость — иное дело. Мудрость — это свойство всё понимать и ничего не мочь. Поэтому российские тени и российская интеллигенция по природе своей мудры. Мы тени, они — интеньлигенты. Кстати...

Тень интеньлигента запнулась и начала новый период, никак не связанный с предыдущей темой:

— Кстати, вы заметили, что вся наша беседа, а вернее, мой монолог, происходит «кстати», в режиме потока бессознательного? Не могу долго фиксироваться на одной теме. Это общее свойство теней, наш крупный, но простительный недостаток. Так вот, возвращаясь к интеллигенции... ведомо ли вам, сударь мой, что слово «интеллигенция» было придумано уже упоминавшимся здесь писателем Боборыкиным? А прилагательное

«гнилая» приложил к интеллигенции вот он! — щуплый ткнул огрызком пальца в своего визави.

— Навет! — хрипло закричал угловатый.

— Ну, не ты, конечно, а твой хозяин. Так ведь — одна сатана.

— Всё равно — навет! Мой хозяин голяшку от оковалка отличить не мог, где ему прилагательные прилагать! Это «сам» придумал.

— Сам с усам, — по инерции ляпнул интенлигент и зябко вздрогнул, словно просквозило его эхом собственного каламбура.

— Обижают Андриюшеньку, — пожаловался угловатый Авалсу. — Вели его зарезать!

— Велеть-то нетрудно, — удивился Авалс, — а зарезать как? Он тень, ему голову и трамваем не отрежешь. И главное, зачем резать?

— О, вечно он чево?.. — простонал Андриюшенька в ответ.

— Озверел человек! — охнул щуплый. — Палиндромом припечатал. Теперь, получается, его и ругать нельзя. Придётся целый месяц любить его вечно.

— В самом деле, — спросил Авалс, — что вы всё время ругаетесь? Расползлись бы по разным бакам — и дело с концом.

— Нет, так не пойдёт, — возразил интенлигент. — Сам посуди, за годы торжества кухонной демократии стало жизненно необходимо собираться за нечистым столом среди объедков и захватанных стаканов и обсуждать извечные, святые вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?». Хотя, по сути, что там обсуждать? Кто виноват? Сами и виноваты. Что делать? Сидеть и не чирикать, а то съедят, как чижика. Но мы чирикали, несмотря на то что стуколка, прежде презируемая, процвела повсеместно. Те, чьей тени мы не смели касаться, они тоже чирикали, хотя их чириканье казалось орлиным клёкотом, доносящимся с высот кавказского столпа. Ох-ох, как мы трепетали этого чириканья! Зато теперь — хо-хо! — когда он здесь, в одной параше со мной, приблизился час моего торжества. Я могу спросить: «Кто виноват?» — и ответить: «Он!» — огрызок пальца снова уставился в сторону Андриюшечки, который словно усох при этих словах. — Я могу спросить: «Что делать?» — и гордо ответить: «Снять штаны и бегать!»

Оратор окинул слушателей победным взором, и, подтверждая его слова, сверху донёся оглушительный грохот, словно вся Вселенная обратилась в один мусорный бак, крышка которого рухнула вниз, поразив двор громом оцинкованного железа.

— Кажется, дождь начинается, — буднично объявил шустрый. — Собирайся, юноша, пора!

— Ага, — произнёс Авалс краткий палиндром согласия.

— Если что — заходи. По чётным дням мы здесь почётные гости. А по нечётным, извиняйте, мусор вывозят.

— И всё-таки, как вас зовут? — спросил Авалс, вставая.

— Имя мне — легион! — важно ответил плюгавый. — Я фи́га, которая не имеет тени, потому что её никогда не достают из кармана. Я тот, кто брюзжит по утрам в сортире, но служит, наводя макияж на мерзость бытия. Педикюр моё призвание. Так что можете смело называть меня Номис Рёфаук — не ошибётесь!

Первые крупные капли шлёпнулись на горячий асфальт, обратившись в пятна сырости — грязную тень чистой дождевой воды.

— Пошёл! — обкомовским басом рывкнул мясник Андрюша, и Авалс ринулся в дождевую муть, провожаемый напутственными заклинаниями Рёфаука:

— Гон ног! Топ-пот! Сила лис! Вихрь — ам атлета, а тел там — архив! — последнее было выше понимания Авалса, но сил добавило преизрядно, так что понёсся он вихрем, словно атлет, которому ещё далеко до списания в архив.

Видали ль вы июньскую грозу в Петербурге? Нет, вы не видали июньской грозы в Петербурге! Город уже не старается казаться старинной литографией, он больше напоминает гуашь, забытую растяпой живописцем под всесмывающими струями грозы. На окраинах, которые делают Петербург самым зелёным из всех мегаполисов, вода жёлтая от пыльцы цветущих деревьев, а в центре просто мутная, закручивается водоворотами у стоков, несёт бумажки, обёртки, окурки — всякий сор, демонстрирующий, как мало осталось в городе коренных петербуржцев.

Дождь льёт как из ста сорока вёдер. Ветер бьёт порывами, разом со всех сторон, так что трубный ангел в Петропавлов-

ской высоте изнемог вертеться на своём подшипнике и не знает, что трубить: зорю или отбой.

Вода хлещет отовсюду, водосточные трубы говорливо захлёбываются, не успевая выплёскивать дождь на потрясённый тротуар. В такие минуты Северной Венеции и впрямь грозит актуализация идиотизма: жёсткий и прямой Литейный обратился в широкую реку, каналы хлынули к решёткам, ещё усилие, и город всплывёт, подобно морскому божеству, по пояс погружённому в воду. В недалёком Петергофе золочёный Самсон упрямо исторгает струю из растерзанного льва, противодействуя истинно большому каскаду, изливавшемуся с небес. Сфинксы из пустынного Египта, так и не привыкшие к художествам мокрого климата, тщатся сохранить невозмутимый вид, но потоки, сбегаящие по лицам, искажают маску спокойствия, заставляя лики каменных гостей кривиться презрительным удивлением.

Загадка: откуда на небе вода, и кто налил её туда?

Круговорот воды в природе принимал катастрофические формы. Небесное воинство задействовало установки «Град», ледяная шрапнель защёлкала по жести крыш.

Ветер вое, гром грохочет. Вспышки синего пламени не успевают осветить помрачённый мир, лишь слепят взор зевак, глазеющих из-за витрин. Никогда в городе не бывает столько манекенов, как во время дождя. Хотя на что там смотреть? На улице ни единого прохожего, только трамваи продолжают свой бег да автомобили разгоняют волны дымящим капотом, словно они не автомобили, а буера. Шлёпает по лужам до нутра измокший, ополоумевший поэт, глотая дождь, бормочет полоумные вирши. Прежде сказали бы: «Пиитический восторг», сейчас скажут кратко: «Псих!» Более на проспекте ни единой души, а вернее, единая, хоть и бестелесная душа — Авалс, рвётся к дому против бури.

Легко сказать, бестелесный, мол, что с ним станется? А парусность куда девать? Ветер злой и весёлый рвёт, мнёт и носит Авалса, словно большой ободранный плакат с лозунгом позавчерашнего дня. Залитый Литейный тянется как кошмарный сон. Дома встают на пути и исчезают в небытии. Вот ещё один кирпич эпохи модерна: магазин подписных изданий и

примкнувший к нему ветхий букинист. Здесь бы постоять белой ночью, послушать, о чём шепчутся сданные в перекупку томы. Но сейчас день, дождь, громовые раскаты, и книги молчат. Качок, укрывшийся от непогоды в подвернувшуюся дверь, изумлённо разглядывает ряды корешков и бормочет:

— Ишь ты, книжки... Читануть, что ли?.. — но потом переводит взгляд на улицу, где всё так мокро, а по дождевой пелене прихоть ветра ведёт резкую черту, словно хищная рыба скользит в асфальтовой толще, выставив наружу острый плавник. Дуболом смотрит и не видит, что на самом деле это бежит, плывёт, карабкается и тонет Авалс, которому во что бы то ни стало надо поспеть домой.

Невский проспект на пути — как широкая водная преграда. Тут уже пахнет не гуляньем, а академической греблей. Но даже под проливным дождём всеобщая коммуникация Петербурга продолжает жить суматошной жизнью, и над Невской башней слышится неумолчный городской гул. Поток машин, летящих по Невскому, если и уменьшился, то очень незначительно. Искрящиеся в свете дождя огни светофоров, перистальгически проприхивают автомобильную массу сквозь кишку проспекта. Загорается красный, и авто стоят, пропуская воображаемых пешеходов. Фантасмагорическое зрелище — Невский без привычной толпы! Людская масса жмётся по вестибюлям метро, заполняет магазины, магазинчики и салоны, хотя ничего не собирается там покупать, толчётся в подворотнях, с ужасом городского обывателя взирая на сорвавшуюся с цепи стихию. И куда только смотрит Законодательное собрание? Давно пора запретить такое безобразие; у людей дела, а тут стой или мокни. В Европе ничего подобного давно нет, там тучи расстреливают из зенитных установок ещё на подходе к городам. Сразу видно, что у нас не Европа, а лишь окно в Европу, накрепко заложенное глухими ставнями. И люди покорно стоят и от нечего делать любят брызгами, косыми струями и пеной, взбитой на разъярённых водах. Мостовая отдана во власть дождю, продавцы лимонада, сэндвичмены и прочий нужный люд укрываются в общей толпе, и даже рекетирствующие старухи, совершающие свои наезды на сострадательных прохожих, покинули нагретые и хорошо оплаченные места и

прячутся от ненастья. Чуден Невский при тихой погоде, но во время грозы он ещё чуднее!

В тот час на углу Невского и Литейного проспектов страшно бледный, замученный и истрёпанный житейской бурей, Авалс стоял, никем не зрим, и недвижно глядел перед собой. Ему давно следовало стремглав бежать, но таково свойство Невского проспекта, что хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, вошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Да и как не замереть в этом сияющем царстве теней?..

Сияющая тень — оксюморончик-с, как сказал бы Номис Рёфаук. И всё-таки в невозможном городе возможно и такое. Титанические буквы на фасаде бывшего кинотеатра гласят: «Ресторань Палкина». Был, был когда-то такой, в этом самом здании на этом углу! Неужто воскрес из мертвых, поправ столетнюю смерть? Нет, конечно, одна спиритическая тень, сверкающая газетной мишурой, воздвиглась из небытия. Прежде, бывало, зашёл к Палкину, спросил стакан чаю и сиди хоть весь вечер, наблюдая коловращение проспекта. Заходили сюда греться извозчики: ваньки да лихачи, а по субботам собирался извозчиный клуб, председательствовал в котором его императорского величества собственный Ямщик. А теперь попробуй изыбший таксист сунуться к Палкину, в самое дорогое городское заведение — выведут под белые руки, а то и взащеи затолкают, пока не видит никто из уважаемых гостей. Тень по определению негативна: прежде был трактир для чёрного люда, а ныне ресторан для белой сахарной косточки, как сказал бы мясник-идеолог Андрюша.

А через дорогу, за широкой рекой, в которую обратился уже не Литейный, а Владимирский проспект, высится катафалк совсем иной эпохи. Некогда здесь было царство ненавязчивого советского сервиса, и сюда со всех концов города сползался затруханый провинциальный андеграунд. Их и по сегодня много ходит всяческих непризнанных гениев, постаревших хиппи, бездарных абстракционистов, умеющих лишь рассуждать о высоком искусстве, экзальтированных стихоплёток, одряхлевших йогов и прочего люда, неспособного вырваться из порочного круга своих бредовых представлений.

И здесь же, среди подзаборного сора, минуя мавританскую и готическую гостиные Шереметевского дворца, бесстыдно выросло поколение тех, кем город может по праву гордиться. О них не пишут критики, они не входят в творческие союзы, но то, что они создают, и есть новое искусство. Когда наступит час, и дети проходных дворов, не допущенные в сонм прижизненно-признанных, расплзутся по литературным бачкам, сладкое слово «Сайгон» будет объединять и греть их души. Но сегодня нет на углу Литейного никакого «Сайгона», сперва бывшую кофейню осквернил магазинчик сантехники, а потом туда вселился бар пятизвёздочного отеля, что в глазах маргинала немногим лучше торговли унитазами. Впрочем, уже нашёлся предприимчивый нувориш, попытавшийся реанимировать «Сайгон» где-то на другом конце проспекта, «Сайгон» уже никому не нужный, как ресторан Палкина, «Бродячая собака», литературное кафе и многие другие городские склепы.

Ничего этого Авалс не знал, чуял лишь могучую силу, исходившую от старых зданий с новыми вывесками, и понимал, что сейчас ему, как хитроумному герою древности, предстоит проплыть между Сциллой и Харибдой. Большая тень всегда грозит поглотить мелкую, эту нехитрую истину Авалс слишком хорошо понял, спасаясь от чёрного крыла Большого дома. И даже в писательском особняке, где всяк сам за себя, Авалса пытались приватизировать. Так что действовать надо было с оглядкой, но решительно.

Дождавшись, пока светофор явит отсутствующим пешеходам алый лик и машины дружною гурьбою двинутся по Невскому, Авалс ринулся наперерез железному потоку. Погибнуть под колёсами Авалс не боялся ничуть. Что может сделать колесо призрачной тени? Её и паровозом не задавишь, хоть сто лет кряду бросайся неживой образ под дымящую машину. Сколько раз бывало: хозяин шёл по бровке у самого поребрика, а Авалс спешил рядом по мостовой, так что всякая легковушка пролетала по нему со свистом. И ничего не случилось, не истёрся Авалс, не посветлел. Зато сейчас жёсткие колёса отвлекали Авалса от неудержимого желания встать разиней и тем самым спасали от грозной и по-настоящему призрачной опасности.

Редкая тень добежит до середины Невской перспективной дороги, слишком уж широкая перспектива открывается с середины проспекта. Глянешь направо — дух захватывает от обилия теней, легенд и видений былого... тут Диоскуры смиряют чудесный коней, а у одного из них вместо положенных от природы гениталий проклюнулась из срамного места физиономия французского императора Луи-Филиппа. Там книжная лавка Свешникова проросла из небытия сквозь фирму Зингер, так что уже не поймёшь, чем здесь торгуют: с виду книги, а присмотришься — как на одной машинке состроены. И никого уже не удивляет, что чуть ли не все приказчики в магазине «номер раз» — женщины. Тени любят дробиться в зеркалах, умножаясь сверх разумного. А когда-то не только столичный бомонд, но и простой народ шастал в лавку поглазеть на то, как Анна Николаевна Энгельгардт книгами торгует.

— Хеминистка!.. — шептались обыватели тревожно. — И муж у ей — химик, в Лесном крамолу разводит.

Напротив Зингеровской башни ещё одна вертикаль — башня Невская — Городская дума с шаровым телеграфом на макушке. Вещь в себе: некуда отправлять сообщения, неоткуда принимать — второй такой вышки нет. В самой Думе никто уже не думает о городе, а в городе никто не думает о Городской думе — внутри тлен, тени и призраки; никаких дум, одно былое. Словно придворное платье елизаветинской поры — парча, атлас, шёлк, но под вышитым великолепием нет живого тела, а только сухая деревянная болванка. Вот, скажем, одна из жемчужин Петербурга — павильон Росси, что возле Аничкова дворца. Десятки лет там был не дворец, а дворницкая: мётлы хранились, лопаты, ящики с песком. Чудилось, вот-вот переполнится чаша терпения, тени большого города выплеснутся на улицы, на проспект выйдет зодчий Росси с расшарканной метлой наперевес, и тогда городу наступит непереносимый капут. Выметут нас долой — и, вновь обратившись в печальных пасынков природы, пойдём искать по свету хоть какого-нибудь себе угла. По счастью, добрый кутюрье Версахи за свой счёт отреставрировал блестящую руину и в награду получил право на долгосрочную аренду. Иной может возмутиться: как это — павильон Росси, а внутри — модный магазин. А по мне

так — славная фирма, торгуй, наживай... магазин от Версачи куда как приятнее, чем паутина и осыпавшиеся потолки.

Над всеми вертикалями и дворцами Невского возносится единственная доминанта этих мест — золотой шпиг с корабликом на острие. Он один не боится потолка, обрушившегося с небес, во-первых, оттого что поднят слишком близко к небесам, а во-вторых, потому что кораблики умеют плавать.

Адмиралтейство возвышается видимое отовсюду, оскорблённое, но не униженное, застроенное со стороны Невы, скрывшее от горожан свой главный фасад, перегородив воротами триумфальную арку, которая никуда не ведёт, но так и не ставшее склепом, где ничего, кроме фасада. А здесь звучат голоса, кипит молодая жизнь, и мраморная Свобода на балюстраде хранит в раненой груди осколок вражеского железа. Пока живо Адмиралтейство — жив и город, и жива Россия.

Все дома, памятники и дворцы играют королеву, всё на пять вёрст в округе работает на адмиралтейский ансамбль, и лишь в одном месте в самый глаз вонзается каменный сучец. Казалось бы, что может противостоять царственному творению крепостного мужика, однако когда дело касается чиновной безвкусицы, то она границ не знает и при любом удобном и неудобном случае готова каркнуть во всё воронье горло. Налево от Литейного проспекта эррегирует в небеса гранитный фаллос, водружённый на площади последним Романовым — Гришкой-самозванцем. Прежде на этом месте стояла величайшая политическая карикатура всех времён: памятник царю-миротворцу Александру Александровичу. Миротворец, предпочитавший не с Европой свариться, а свой народ в узде держать, одетый в форму городского, сидел на битюге, поводья туго натянув. Среди горожан, ещё не хлебнувших кухонной демократии и прелестей стуколки, но яичницу уже возлюбивших, популярен был язвительный стишок:

*Стоит комод,  
На комодe — бегемот,  
На бегемоте — идиот,  
На идиоте — шапка.*

Однако какие стишки ни декламируй, а верховой бегемот на площади никому не мешал и смотрелся весьма удачно. А фаллический символ Гришки-самозванца, с какой стороны ни подойди, всюду выпирает. Семо посмотришь — накладывается обелиск на башню главного вокзала страны, овамо взгляд кинешь — пропарывает старомодный фасад гостиницы. А уж прямо лучше и не смотреть — восьмигранный штык воткнулся в самое горло Невского проспекта, далёкий Адмиралтейский шпиль заслонён, и кораблик распят золотой звездой. Всю площадь изнасиловал проклятый фаллос, торчит гордый собой: джунгли нас заметили! И даже самому республиканскому взгляду начинает сладостно мерещиться призрак водянистого царя, который, побурев от натуги, силится свалить каменный столб, чтобы самому встать на законное место.

Пасмурными вечерами в подворотнях рассказывают, что, когда рухнула власть отрепья и Гришка-самозванец растаял как дым, царственный городской выбрался из задворков Русского музея, где полвека притворялся экспонатом, и поскакал на площадь. Но не добрался, подвёл самодержца медлительный коняга, рассвет застал чугунного всадника неподалёку от Марсова поля, где упрямый монумент застыл и давит своей громадой хрупкую красоту Мраморного дворца. Впрочем, Мраморному не привыкать: уж лучше бегемот, чем броневик.

А как бы хотелось вернуть Александра на площадь, а площади оставить советское название — площадь Восстания, и пусть тяжеловесный царь давит, давит, давит его... чтобы никому не повадно было решать социальные проблемы вооружённым путём. Мечты, мечты, где ваша сладость?

Но и это ещё не всё. В двух шагах от площади, едва ли не рукой подать, чудо вовсе небывалое, редкое даже для города призраков — монумент-оборотень. И не вервольф какой-нибудь, а человек-змея. Место перекидыш выбрал — самое что ни на есть невинное, рядом с детской больницей. Некогда эта клиника была обустроена иждивением принца Ольденбургского. Он хоть и Ольденбургский, но свой, местный. В самом деле, что за дискриминация, отчего на Руси всё князь да бояре, и ни одного принца? Обидно, честное слово. В таких случаях, чтобы не возникло комплекса неполноцен-

ности, следует собственного принца завести. Или завести — не суть дело важно. Так и объявился в Петербурге принц. И такой-то удачный — просто загляденье! Благодетель, а не принц; только и думал, как бы городу услужить. Взял, например, и выстроил на Петроградской стороне Народный дом. В долгие, тяжкие годы царизма собирался в этом доме закабалённый люд, обсуждал свои проблемы, праздники устраивал, в кружках по интересам занимался: одни закон божий изучали, другие — политэкономия по Марксу. Плюрализм процветал и самая разнузданная свобода. Зато когда иго самодержавия было свергнуто, с плюрализмом разобрались быстро. Вместо Народного дома сделали кинотеатр. Большой-пребольшой — так он и назывался: «Великан». Вся народная громада сидела и чинно созерцала один на всех высокохудожественный фильм. Видится в этом символ эпохи. Кстати, и сегодня бывший Народный дом можно смело назвать символом эпохи, ибо в годы перетряски туда вселился мюзик-холл. Так что глубинной своей сути здание на Кронверкском никогда не меняло и, значит, в рассказ об оборотнях попало случайно.

Но вернёмся к сказке снова. Когда принц-благодетель выстроил больницу для христианских младенцев, восхищённые горожане решили поставить ему памятник. Но не успел обронзевший принц освоиться на новом пьедестале, как власть переменилась, и оказалось, что принц никакой не благодетель, а аспид и только что кровь трудовых младенцев не пьёт. Это разом стало ясно всем, а сила общественного мнения такова, что принц Ольденбургский на глазах у нетрезвого дворника трижды перекувырнулся через голову и обнаружил свою истинную сущность, обернувшись ядовитой змеей. А змея, в свою очередь, обернулась вокруг чаши, наполненной не иначе как младенческой кровью.

Нетрезвый дворник рассказывал потом, что это та самая змея, которую не дотоптал петровский конь. Уползла, гадюка, на пенсию, а вахту под конём несёт её дочка, заложившая таким образом начало трудовой династии. Впрочем, не нам судить, кто, сколько и кого заложил.

Горожане отнеслись к метаморфозе спокойно, дав перекинувшемуся монументу ласковое прозвище: «Тёща куша-

ет мороженое». И лишь тени младенцев тычут бескровными пальчиками сквозь больничные стёкла и беззвучно кричат:

— Дядя — яд, яд!

Кстати, и это ещё не всё. Заметил ли благосклонный читатель, что рассказ пошёл, словно беседа теней, «кстати» и от случая к случаю? И вообще — батюшки-светы! — куда нас занесло? Вот уж воистину, вошедши на Невский, позабудешь о всяком деле, и на уме будет одно гулянье. А ведь автор не рассеянная тень, а мужчина в чинах и к тому же весьма корпулентный. Однако и он не уберётся расслабляющего влияния Невского проспекта, растёкся мыслию по улицам и стогнам, забыв о герое, которого давно пора привести домой или хотя бы истребить приличным случаю образом. Что уж тут говорить о бедной тени, застывшей посреди проспекта на островке безопасности между двумя потоками плывущих машин. Это для нас островок безопасен, а для тени хуже места не сыщешь. Весь на виду, и просто некуда деться. Да и дождь не вечен, даже петербургский...

— Ну чего встал, урёд? Дёру давай!

Авалс вздрогнул. Мысли в нём страшно прояснились, он осознал, в какую влип не ситуацию даже, а переделку. Издавши звук, сходный с тем, что производит попавший в аварийную ситуацию таксомотор, Авалс немедля набрал скорость, автомобилям наперерез пересёк остаток Невского и почесал по Владимирскому проспекту, оставив возмущённых водителей выяснять, кто и зачем тормозил. А он и не тормозил вовсе, он тень, у него всё наоборот, он скорость набирал. Хотя этого делать как раз и не следовало, поспешать нужно медленно, а кто несётся сломя голову, в самый раз поспеет голову сломить. Иссякающий дождь, как это часто бывает, вскипел последним титаническим усилием, на лужах вздулись пузыри, потоки воды, смывшей городскую грязь, вздулись, и, не найдя, что ещё смыть, смыли бегущего поперёк стихии Авалса. Закружило, закувыркало, понесло, припечатало неумной головой о поребрик...

— А-а! — краткий палиндром боли.

У, рад удару? Вижу — жив. А еще, а?..

— Wow!.. — краткий палиндром боли на иностранном языке. И где только нахватался, полиглот? Лучше бы затвердил

правило: «Не ходите, тени, городом гулять. В городе акулы капитала, в городе гориллы в генеральских погонах, а уж больших и злых крокодилов и не пересчитать». Не умел учиться по-умному — учись лбом о поребрик, он твёрдый, он научит.

— А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!.. — долгий палиндром боли.

Ведь есть на свете благословенные места, где не найдёшь ни единого поребрика! Спросите любого москвича, он подтвердит: нет в Москве поребриков — одни бордюры. А бордюры, в плане ушибов, куда гуманнее.

К сведению любознательных: бордюры и поребрики в дорожном строительстве — два способа укладки бортового камня. Если камень устанавливается ребром наружу, так, что образуется ступенька — это поребрик. Если камень вкапывается заподлицо, ступеньки не образуя — получается бордюры. Поребрик отделяет тротуар от мостовой, бордюры разграничивают тротуар и газон. И раз нет поребриков, значит, нет мостовых. Представляете? Вся Москва одна пешеходная зона! Лепота...

Но здесь не Москва, Питер город серьёзный, машин полно, поребрики на каждом шагу. В плеске волн надвигается гранитный порог: «Бац!»

Боль в лоб.

— Ой! — это уже не палиндром, это просто больно.

Вода впереди закрутилась неумолимым мальстримом. Ненасытная пасть стозёвного чудища городской канализации ворочала воду, слгатывая всё, что сплывалось к ней вместе с водой. Что ждёт в беспросветной клоаке одинокую тень? А ничего не ждёт, там поджидает. И скоро дождётся. Что случится потом, никто не скажет, от человека хотя бы раздувшийся труп занесёт на решётки острова Белый. А что может остаться от тени? Спросите у пены, что шапками вздымается над аэротенками, спросите, если умеете.

Авалс не умел говорить с пеной, не причаливал, запоздав на ловле, к пустынному Белому острову и даже страшилок, что, серея от ужаса, рассказывают друг другу юные теньята, не слыхивал. Но почему-то ему очень не хотелось в люк. Авалс замолотил по воде, имитируя разом брасс, кроль и баттерфляй, но никакого успеха не достиг. Пасть приближалась,

она чмокала и всхлипывала, явно искажая, кого поглотити. И всё же мальстриму районного масштаба сегодня пришлось умереть без обеда. Отчаянным усилием Авалс дотянулся к проезжавшему «Запорожцу», бульдожьей хваткой вцепился в поворотник, могучий мотор без труда вынул Авалса из мокрых объятий водоёма и помчал среди криков, шума, чуть не мятежа по Невскому, Садовой, к Цепному мосту... ой, не туда!.. Герою нужно совсем в другое место... скажем так: по Садовой, по Сенной, к Таврическому саду — опять не то! Ну почему, скажите на милость, литературные персонажи совершают пробежки непременно по Садовой, садами отнюдь не блещущей? Один Авалс, нарушая законы жанра, упрямо движется по Владимирскому проспекту. Да ещё и не сам движется, а волочёт его за машиной, так что трущиеся об асфальт части истёрлись уже едва не наполовину. Такое явление называется у теней асфальтовой болезнью. У киски болит, у собачки болит, а у Авалса заживёт, жирком заплывёт, но только если он вовремя вернётся к хозяину. А если нет, то ползать ему полустёртым, как жители литературных бачков.

По счастью, лимузин тормознул возле светофора, Авалс быстро подтянулся и с удобством уселся на облучке.

Право слово, автор не знает, что такое облучок, и где он находится у «Запорожца». Чтобы разбираться в таких вещах, надо быть не автором, а автолюбителем. Тем не менее, автор неоднократно слышал, как знатоки называют «Запорожец» драндулетом, тарантасом и таратайкой. А поскольку у перечисленных транспортных средств облучок имеется, то чисто теоретически он должен быть и у «Запорожца». А тени большого и не нужно, поскольку сидит она тоже чисто теоретически и лишь едет взаправду.

Какая русская тень не любит быстрой езды? Быстрота, разгул, волненье... народ ещё под зонтами или в подъездах, но уже веселится и ликует, ожидая, что дождь скоро кончится. А дождь и впрямь заканчивается, с минуты на минуту в небе засияет семицветная траурная лента.

Летит железный конь, мощно гудит мотор, но всё же это почти неподвижности мука — мчаться, зная наверно, что всё равно опоздаешь. Кроме того, как предупреждал бывалый

Андрюша, машины предпочитают ездить по своему маршруту, и очень редко он пролетает мимо твоего дома.

— Стой! — заорал Авалс. — Куда? На Загородный сворачивай, тебе говорят!

Тень — это звучит скромно, отдельные взвизги не в счёт. Кто её услышит? Авалса не услышали. Запорожец рулил к Кузнечному рынку, а базар — место хоть и не опасное для тени, но вязкое до предела, оттуда скоро не выберешься.

Авалс зажмурился и прыгнул на ходу.

Лужа, огромная, лениво вздыхающая у берега, приняла его в свои объятия. Разгоняя бензиновые разводы, Авалс вышел на тротуар и остановился, в очередной раз поражённый очередным ужасом. Прямо перед ним в скорбной задумчивости сидел бронзовый Достоевский.

«А в глазах-то у него лазерочки», — вспомнил Авалс предупреждение Рёфаука.

Мнилось, сейчас медленно поворотится железная голова, стальные глаза нальются гневом и скрежещущий голос возгласит:

— Это я не видел белых ночей? Это ты не видел белых ночей! Смотри, вот они, звёзды! — и звёздный пламень плеснёт из очей, стирая непрочную сущность тени.

Идол остался недвижим. Слезы дождя стекали по скорбному лику, незрячие глаза не замечали теней внешних, созерцая одну только сумеречную душу гения.

Кому ставят памятник благодарные потомки? Человеку или своему представлению о нём? Игроку, проматывавшему за зелёным столом последние рубли, а потом бессовестно жившему за счёт любящей женщины, или его словам, корявым и скрипучим, но умеющим разбивать корку на зачерстевшем сердце, заставляющим ужасаться и плакать сладкими слезами раскаяния? Что может быть эфемерней отзвучавших слов? И в их честь, в память о них, нагромождено многопудье бронзы! Это ещё непостижимее, чем гранит и тень, скользкая по нему белой ночью.

Осторожно ступая, Авалс отошёл от монумента и, лишь очутившись у него за спиной, припустил бегом. Небесная клепсидра роняла последние капли дождя, а Загородный

проспект ничуть не короче Литейного или Владимирского. А бежать предстоит почти до самого конца. Ещё то благо, что большинство монументов, памятных досок и иных опасных робкому видению предметов собрано в дальней части проспекта. Взять хотя бы Военно-медицинскую академию и её мрачноватый музей, наполненный такой расчленёнкой, что и Кингу не напридумывать.

Но и без того на пути немало препятствий. Одни из них безобидны, к другим лучше не приближаться. Подслеповатый Александр Сергеевич — поэт и тёзка поэта, конечно, отнесётся снисходительно к прошмыгнувшей тени. При жизни он относился серьёзно лишь к государственной службе, за что этой жизнью и поплатился. Но памятник ему поставили вовсе не за геройство на дипломатическом поприще, и даже не за то, что смертью своей обогатил алмазный фонд страны. Памятник поставлен гениальному дилетанту. Дилетант, по-русски значит — любитель... тот, кто относится к делу с любовью. Меломан, сочинивший между делом пару вальсиков, которые исполняются до сих пор, театрал — написавший всего одну многоактную пьесу... вот только рядом с этой единственной комедией вся современная драматургия кажется безвкусной, как розовый арбуз.

Сидит Александр Сергеевич — тёзка перед детским театром на скрещении Загородного и Гороховой улицы, в конце которой сияет Адмиралтейский шпиль. И ни театр, ни памятник, поставленные в самые волонтаристские, кукурузные годы, не портят ансамбль, доказывая городу и миру, что можем, когда захотим.

А вот сама Гороховая улица не так проста. Лет тому сто с небольшим прозвище «гороховое пальто» носили сотрудники сыска, бескомпромиссные борцы с инакомыслием. И нет ничего удивительного, что целых полвека улица носила имя величайшего горохового пальто минувшей эпохи. Явление это называется персонификацией обобщённого образа и хорошо известно знатокам фольклора. С персонификациями шутить опасно, а Гороховую хочешь не хочешь придётся пересекать. По счастью, это уже почти конец пути, ведь там, где Загородный состыковывается с Московским проспектом, мистика

вновь достигает запредельного уровня. Казалось бы, обычная площадь с оживлённым движением и два монумента, возле которых никогда не останавливаются экскурсионные автобусы. А зря, господа хорошие, зря...

Первый памятник поставлен человеку, который «не». Он занимался наукой, но успехи его на этом поприще были скромны. Пописывал публицистику, но и здесь всемирной славы не сыскал. Под конец жизни имел возможность войти в большую политику, но у него хватило ума и совести отвергнуть соблазн. За последнее ему низкий поклон, благодарность потомков и статуя на площади. Неофициальное её название: «Плеханов указывает путь рабочему классу». Рабочий класс, разумеется, не работает, а стоит со знаменем у подножья монумента. Путь рабочему классу первый марксист указывает идеологически верный: прочь от Химико-технологического института, к которому скульптурная группа повернулась спиной, прямиком в винный отдел ближайшего гастронома. Именно туда указывает бронзовый перст; проверено неоднократно. Говорят, до войны вместо гастронома на углу находилась портерная. Тоже хороший вариант.

Вторая великая тень находится здесь же, всего в нескольких шагах. Памятники в Петербурге вообще растут кучками, как грибы, и с каждым связана история, легенда или иной кирпич русской словесности. Только что помянутый монумент не стал исключением, хотя никто вам не расскажет баек о нём — и всё из-за нашей малограмотности. А ведь это не просто бронзовая тень, а памятник, страдающий раздвоением личности. В нём сокрыто много больше, чем гласят буквы на постаменте и даже обширная мозаика над головой. Напротив Технологжки уже второе столетие располагается Палата мер и весов, или попросту — Пробирная палата, а перед старым корпусом сидит в покойном кресле её основатель и первый директор.

— А! — воскликнет полуграмотный читатель. — Знаю тако-го, личность известная. Но ведь её в реальной жизни никогда не было, она, с позволения сказать, виртуальна, одно мечтание, пар!.. Неужто в Петербурге принялись ставить памятники литературным фантазиям?

Что на это ответить? Конечно, памятники литературным фантазиям в Питере есть, взять хотя бы знаменитого чижика-пыжика, который регулярно улетает со своего выступления за водкой, а наклюкавшись, не может найти дорогу домой, так что его приходится заново отливать. Ничего не попишешь, всех пьяниц приходится регулярно отливать. Но в данном случае речь идёт о человеке вполне реальном и не пьянице, хотя и он руку к алкоголю приложил. В ту пору, когда трёхглавый автор придумывал незабвенного сына Кузькиной матери, пробирной палаты в России не было, а были только разговоры о насущной необходимости учредить подобное заведение. В ту пору много чего учреждать собирались: гласность, суд присяжных, вольный университет и чуть ли не конституцию, так что на этом фоне мечты о пробирной палате казались детским лепетом и были предметом для зубоскальства. Проблемы и вопросы педалировались и муссировались, так что в итоге получалась уже не глазунья, а омлет, из которого и произошёл Козьма Прутков. А покуда яичница поспевала, будущий реальный директор пробирной палаты, ещё не увлекшийся метрологией, усиленно размышлял, не жениться ли ему на падчерице писателя Ершова, и старательно изучал увлекательный процесс смешения спирта с водой.

— А! — вновь закричит полузнайка. — Так это Менделеев! Он ещё водку изобрёл!

Верно, мой умничка, это Менделеев. Только водки он, вопреки распространённому мнению, не изобретал, докторская диссертация «О смешении спирта с водой» посвящена не приготовлению крепких напитков, а созданию теории сольватации. Тех, кто не знает, что это такое — милости прошу в девятый класс общеобразовательной школы.

Памятник не броский, но сделан талантливо. Взгляд у латунного естествоиспытателя цепкий, направлен вовне, а не вглубь себя. От такого шальной тени не скрыться: поймает и изучит до полного растворения. Дмитрий Иванович ещё при жизни входил в состав комиссии по изучению медиумических явлений и пришёл к выводу, что таковых не существует. Хотя мало ли чего в природе не существует... Вон, над головой учёного выложена на глухой стене мозаичная таблица элементов,

и в ней на почётном месте — несуществующий элемент дидим. С какой стороны ни посмотри — типичный призрак. И ничего ему не делается, в то время как Авалсу бы не поздоровилось, вздумай он бежать до конца Загородного.

Кстати, а мы опять отвлеклись, но на этот раз умышленно. Пока читатель развлекался экскурсией, Авалс беспрепятственно добежал почти к самому дому, даже у Пяти углов умудрился по морде не получить, хотя два угла из этой пятёрки образованы улицей Ломоносова. И Гороховую пересёк без приключений: отметил его цепкий, запоминающийся взгляд и до времени пропустил не арестовав. Не то время, чтобы в открытую силу проявлять. Хоть и дождь, а уж полдень близится. Дождь, впрочем, тоже иссыкает, так что всякому ясно, куда спешит тернистою тропой очарованный странник.

Авалсов дом — на углу Загородного проспекта и Казачьего переулка Ильича. Казачий переулок Ильича — ещё одна персонификация обобщённого образа, но здесь вопрос не столь ясен, как в случае с гороховым пальто. Среди казаков было немало Ильичей — поди разберись, какой из них так поразил воображение современников, что на полвека стал символом всего казачества.

Сейчас отчество у Казачьего переулка куда-то делось, но Авалсу от этого не легче, потому что дождь прекратился, когда до дому осталось менее сотни метров. Поделом вору и мука: нечего было зевать по сторонам, стоя посреди Невского. А сейчас — природу не умолишь: ослепительный свет брызнул из-за туч, в небо словно солёной плеснули, такая яркая радуга вспыхнула в вышине и упала своим многоцветьем в художественные районы — одним концом на улицу Кустодиева, другим на площадь Репина. Проспект враз наполнился теньями, законными, гордо вышагивающими у ног хозяев, мир расцвётился зонтиками, люди разом покинули подъезды и иные дождеубежища, не дожидаясь, пока небо уронит последние капли. Праздник жизни, на котором нет места неудачникам. Всё, финита ля комедиа.

— Отстаньте! Что за манеры, кто вам позволил? Нахал! Отстанете ль? Я закричу!

Молоденькая прелестная тенюшка была вне себя от возмущения. Вот так, среди бела дня, на глазах у всех к ней кинулась

незнакомая — и одинокая! — тень, обняла, прижалась, как только на дискотеке дозволяется, и разве что лапоть не принялась.

— Подождите, — горячечно шептал Авалс. — Один лишь миг побыть с вами... Я не обижу вас, только пройти рядом несколько шагов, и, клянусь, мне большего не надо! Поймите, вы моя жизнь, моё спасение... Пощадите, я умираю!

— Оставьте, что за глупости! Люди увидят!

— Они не увидят, люди никогда не смотрят под ноги. А я прошу так немного: жить вами, быть вашей тенью...

— Вы с ума сошли! Нет, конечно.

Замечательно всё-таки, что русские тенюшки, несмотря на засилье американщины, говорить предпочитают по-русски. Произнесла бы незнакомка «поп» — и всё, с кратким палиндромом отказа, пусть и на импортном языке, не поспоришь. А так Авалс продолжал обнимать девушку за плечи и шагал, шагал, с каждым шагом приближаясь к родным местам. Шёл, не думая, что приключится, когда хозяйка незнакомки пересечёт Казачий переулок и той же танцующей походкой начнёт удаляться от Авалсова дома.

— Мама, смотри, тётенька идёт одна, а тень — будто её дяденька обнимает!

— Ну вот! — рыдающе вскричала тенюшка, безуспешно пытаясь вырваться. — Заметили!

— Нет, нет! — жарко бредил Авалс. — Это лишь ребёнок, гадкий мальчик, ему никто не поверит, люди рассудительные никогда не верят тому, что увидел маленький мальчик... Только не закрывайте зонтик и не прогоняйте меня. Вот видите, никто ничего не заметил!

И в самом деле, одышливый женский голос произнёс:

— Не мели ерунды!

За этими словами Авалс и его случайная спутница отчётливо различили тень несказанного: «Вот так и бывает, веришь, что идёшь в обнимку с судьбой, а на самом деле давно одна, суженый-ряженный умотал к другой. А ты так и будешь, надрытаясь, волочить его тень, которую он тебе оставил...» Женщина недовольно дёрнула сына за руку и произнесла вслух:

— Пошевеливайся давай, на поезд опоздаем. Тебе бы только по сторонам глазеть — весь в своего папочку, такой же оболтус.

Пронесло! Мама с сыном бегут на поезд, куда чуть не опоздали из-за дождя. Удачно, что на той стороне проспекта вокзал, и люди кругом спешат с поезда и на поезд. Удачно, что вокзал на той стороне... ведь это хотя и не главный вокзал страны, но зато старейший, исполненный памяти и теней. Поезда здесь отправляются со второго этажа, ибо паровики прошлых столетий — слабосильный «Богатырь» и медлительный «Проворный» — не могли сдвинуть с места четыре вагончика и вынуждены были начинать движение под горку. Здесь в залах ожидания висят старинные, ручной работы зеркала, а под потолком в стену навечно вделаны резанные из тёмного дуба рамы для портретов августейшей семьи. Много чего помнит мерцающая глубина старых зеркал, а об остальном и говорить страшно. Бойтесь, бойтесь портретных рам, они ещё страшнее пустых пьедесталов!

— Вот видите, нас никто не видит, — успокаивал невольную спутницу Авалс.

— Всё равно... Отпустите же меня!

— Нет-нет! Это выше моих сил. Без вас я не смогу прожить и секунды!

Стыдно, молодой человек! Чёрным крестом отметит вас Купидон в своей главной книге. Вам предъявляется тяжкое обвинение: шантаж и подделка священнейших слов любви. И неважно, что всё, сказанное вами, — чистейшая правда, но любой девушке хочется верить красивому обману, и значит, ваша правда — ложь!

Тени не выбирают себе любимых, безответственно передоверив это жизненно-важное дело хозяевам. Обнимутся двое, и тени их сливаются в объятии, не думая о завтрашнем дне. И всё-таки, в глубине своей плоской души всякая теньюшка хранит мечту о прекрасном незнакомце.

— Да кто вы такой, в конце концов! А то уже вовсе неприлично... — но именно на этих словах, которые всякий уличный ловелас счёл бы безоговорочной победой, тени достигли парадной дома, что на углу, и Авалс, понимая, что другого мига не будет, не попросившись, бросил свою минутную подругу и вполз под дверь, запертую на ненадёжный кодовый замок.

Девушка, идущая по тротуару, замедлила шаги, удивлённо оглянулась, сама не понимая, что высматривает. Её одолевало чувство, будто она обронила что-то, или же в одежде приключился непорядок, или дома позабыто что-то нужное... Подобное чувство знакомо каждому, но немногие знают, что это не у вас, а у вашей тени проблемы, это она встревоженно заметалась, а вы, на секунду поменявшись с ней ролями, повторяете её движения. Успокойтесь, долго это не продлится, тени забывчивы, да и случается такое не часто.

Здание, в которое проник Авалс, было не его домом, а соседним. Ему следовало заходить с Казачьего, но пути теней прокладываются внешними обстоятельствами. Радуйся, что лампы в подъезде не горят и узкие окна выходят не на солнечный проспект, а в сумрачную глубину двора. И без того от Авалса оставалось очень немного, даже удивительно, что зоркий мальчуган умудрился разглядеть в нём дяденьку.

Постанывая от боли в обожжённом силуэте, Авалс двинулся вверх по ступенькам, словно собираясь выбраться на залитую адским светом крышу. Третий этаж, и четвёртый, и пятый... Истёртые об асфальт ноги не желают слушаться, но надо идти, иначе всё, что удалось преодолеть, было зря. Вот и его цель — чудо инженерно-строительной мысли и единственный шанс на спасение, больше схожий со смертельным номером под куполом цирка. Дверь на предпоследнем этаже приоткрыта, Авалс осторожно глянул наружу...

Говорят, что у тени нет души, а у человека она есть. В таком случае у города их должно быть несколько, и некоторые из них доступны пытливому взору. Кто хочет увидеть купеческую душу Петербурга, должен свернуть на набережную реки Фонтанки и неподалёку от Большого драматического театра отыскать доходный дом купца Елисеева, чей шикарный магазин стоит на Невском и отбрасывает тень аж до самой Москвы. Но мы сейчас не об Елисеевском магазине, а о доме на Фонтанке 64, где купеческая душа Петербурга раскрыта напоказ. Разумеется, поверх всего выставлено пузатое, словно колонны дома Фаберже, богатство. Лепной фасад, изукрашенный арабесками до самого верхнего этажа, так что наверху узора уже не рассмотреть, всё сливается в пёструю рябь, на-

поминающую золотистый куриный помёт. Каждый ряд окон оформлен в собственном стиле: тут и античные портики, и арки, и ещё какие-то изыски, названия которых ведомы только архитекторам. Дубовые двери парадных не сгнили даже за столетие безремонтного обслуживания, сквозь безобразные наслоения масляной краски до сих пор проступает искусная резьба. Парадные, отсыревшие и воняющие кошками, были некогда украшены гипсовой скульптурой, сегодня почти нацело разбитой, на жалких останках её прыщавые юнцы демонстрируют свои сексуальные комплексы, подрисовываемая фломастером недостающие анатомические подробности. Витражи на площадках вторых этажей сохранили в лучшем случае два-три цветных стёклышка, витые перила изломаны, ступени выщелены. Чем-то внутреннее убранство парадных напоминает бомжеватую тень, ютящуюся под помойным баком, но продолжающую вспоминать лучшие времена, когда слово «парадная» вызывало ассоциации не с кошачьей мочой, а с парадным великолепием.

Но если любопытствующий прохожий, восхитившись руиной, решит, что ему открылась купеческая душа, то он будет обманут. Душу на всеобщее обозрение не выставляют, она спрятана глубже. Идём во двор через гигантскую арку, напоминающую крепостные ворота с бойницами швейцарской и изгибом посередине, чтобы не могла ворваться наскоком вражеская конница. Впрочем, в этих воротах изгиб сделан не против конницы, а против посторонних децибел, которые со времён постройки дома возросли невиданно. И всё же, выходишь во двор — и всё, как отрезало — не слышно шума городского, будто и не движется по набережной Фонтанки нескончаемый поток машин. Блаженная тишина, старая брусчатка проглядывает сквозь проплешины дурно уложенного асфальта, те же пёстрые стены и прочие архитектурные излишества, что и на набережной, тускло светятся десятилетиями немые витражи, и случайному зеваке, если он не вполне погряз в прозе жизни, открывается дивная красота этого места, где всё подчинено удобству и комфорту, как его понимали столетие назад. В глубине этого чудесного двора видна ещё одна арка, чуть пониже, и там вновь арабески и скалит львиную пасть бездей-

ствующий фонтан в античном стиле. Как замороженный шагаешь туда, думая увидеть новые обветшалые красоты, и спотыкаешься, очутившись в глухом дворе-колодце. Фальшивый фонтан со львиной мордой и датой «1889–90» — оказывается лишь заплатой на глухой стене. Всё здесь говорит о скаредной экономии: теснота, гладкие стены, прорези окон шириной в ладонь... и бессмысленная, пышная заплатка, которая никого не обманывает. В доме Елисева сдавались квартиры высокопоставленным чиновникам, как раз те, о каких ностальгически вспоминал Рёфаук: с ванной, гостиной, фонтаном во дворе и разве что без сада. Всякая квартира занимала крыло здания, и сюда, в глухой двор выходили окна кухонь и кухаркиных комнат. Уж эти-то могли обойтись без витражей и лепнины! Вот тут и проявила себя в полной мере купеческая душа... Пышная показуха, слыхом не слыхавшая о хорошем вкусе, и рядом инстинктивное, в кровь вошедшее скопидомство, нелепо прикрытое фиговым листочком накладного фонтана.

В коллекции петербургских дворов-колодцев елисеевский двор — самый нелепый, а тот, на краю которого замер Авалс — самый страшный. В Елисеевском колодце живёт напыщенная и дурная купеческая душа, в колодце на Казачьем — никакой души нет — один потусторонний ужас. Если есть в мире двор, который можно назвать колодцем в прямом смысле слова, то это он. Вздыхающиеся стены, и на самом дне — пятно замусоренной земли четыре на четыре метра. Выхода в этот двор нет, сквозь щели окон может протиснуться только кошка, так что двор находится в безраздельном владении кошачьего рода. И на самом верху, из лестничного окна предпоследнего этажа в лестничное окно соседнего дома, переброшен узкий железный мостик, по которому только гимнасту Тибулу ходить. Нет, здесь не пособие для самоубийц, как может показаться с первого взгляда, а замена лифта. Шестиэтажный флигель, замыкающий дворовый провал, лишён полезного механизма, а старые этажи — это вам не хрущёбки новейшего времени. У старушки, одолевшей пару пролётов, сердце готово взорваться и требует нитроглицерина. А старушек в питерских домах всегда большинство. Чёрная флигельная лестница тесна не то что для лифта, но и для всякого пастозного гражданина,

а чудо технической мысли — наружный лифт, не влезает в четырёхметровый двор. Явление уникальное, второго подобного двора нет ни в Петербурге, да и нигде в мире, и решение проблемы придумано под стать её уникальности. Заходит бабуся в дом на Загородном, шаркает по парадным ступенькам к лязгающему, дореволюционной постройки лифту, поднимается на шестой этаж, с грацией Тарзана перепархивает по натянутому над пропастью мостику, и оказывается на шестом этаже дома, что на Казачьем. А спускаться вниз к родной коммуналке не в пример легче.

Тарзан, Тибул... недаром имена героев, достойных пройти по всяческому мосту, начинаются на букву, которая в старославянской азбуке именуется словом «твердо». А если нет твёрдости, если дух худ? Прежде, с хозяином, Авалс даже любил ходить через гулкий мостик, особенно если хозяин приводил знакомых девушек, которые очень забавно пугались. Под разноголосые взвизги Авалс кидался вниз, распластывался по стене и, не достигнув сумрачного дна, взлетал наверх, словно пристёгнутый тарзанкой. Бездомные кошки, неведомыми путями пробиравшиеся в колодец, следили за прыжками тени, в их жёлтых глазах светилось обещание недоброго. И вот недобрый час настал. Казалось бы, чего бояться тени в таком месте, куда солнце и по большим праздникам не заглядывает, а вот поди ж ты, без хозяина и ни туды, и ни сюды, даже такой простой вещи не осилить. Мостик узенький и высоко, а у тени с вестибулярным аппаратом плоховато — нету у неё вестибулярного аппарата. Кто не верит, пусть попытается проделать в ярко освещённом зале гимнастические упражнения на бревне; можно биться об заклад, что тень гимнаста немедленно растянется на полу. Конечно, падение с шестого этажа для тени не смертельно, в годы мальчишества они с хозяином облазали все окрестные крыши, и падать оттуда приходилось частенько; не хозяину, вестимо, а Авалсу. Но ведь то с хозяином, отшагнёт он от опасного края — и Авалс тут как тут. «Тут как тут», — волшебное заклинание, помогающее вернуться к хозяйским ногам. А одному как быть? Сорвёшься по привычке и будешь потом выползать неведомыми дорожками, испещрёнными следами крыс-мутантов и

прочей городской небывальщины. Да и светловато на мосту, какой ни будь двор-колодец, а полдень не самое приятное время для одиноких прогулок. И всё же надо решаться, завтра будет поздно.

— Я-я!.. — завизжал Авалс, по-наполеоновски ринувшись через мост, и краткий палиндром самоутверждения и боевого безумия не подвёл, помог проскочить на ту сторону, так что вниз сорвалась лишь одна нога и часть правого бока.

Невозможно поверить, но он добрался под крышу своего дома, пусть не в целости и сохранности, но зато среди полуясного дня, пересёк полгорода, преидох же три проспекта, и теперь ему осталось последнее испытание — встретиться с хозяином.

Прежде всего, хозяина могло и не оказаться дома, а во-вторых, он уже мог обзавестись новой тенью. В городе водится немало мелкой шушеры, которая с удовольствием прилепится к живому человеку и станет посасывать его, изображая настоящую тень. А случается, человек попадает в лапы серьёзному хищнику. Добрый сказочник Ганс Христиан Андерсен многое мог порассказать о таком несчастье. Не знал он лишь, что тень у его героя фальшивая.

Главное, чтобы никто из мелких паразитов не успел зафиксироваться, присосаться как следует. На эту тему можно было долго рефлексировать, стоя перед затворённой дверью и постепенно истаивая в бледном лестничном свете, но видать, что-то сломалось в нестойкой Авалсовой душе, объявилась в ней несвойственная прежде решительность: Авалс втянулся под филёнку и выполз в комнату.

Хозяин был дома. Он спал, и рождённые сном разума, колыхались вокруг зловещие призраки, сосали силу спящего, сварились, заранее деля добычу.

— Он мой! Он мой! — кричал каждый.

Было здесь пятно от канализационной протечки, которое давно пора забелить, суетился пяток ночных кошмаров, клокотала не затихшая трамвайная склока, мельтешили ещё какие-то дрызги, которым несть числа и поименования. Когда хозяин спит, тень его должна быть рядом, тогда никакая область негативной энергии не посмеет прикоснуться к нему. А Авалс... хорош, ничего не скажешь, славно погулял.

Было невыносимо страшно объявиться и вступить в бой со сворой, успевшей украсть немало силы, но Авалс не колебался ни секунды. Стыдно колебаться тому, кто в одиночку прошёл полуденным городом. Он тень человека, а не занавески на ветру!

— Я тут! — крикнул Авалс и ринулся на выручку спящему.

Боевой клич произвёл переполох среди мародёров. Трусоватое канализационное пятно немедля завоняло и смылось, склока, зашипев, погасла, всякая мелкота разлетелась с комариным писком, унося крохи добытого, и перед Авалсом остался единственный противник, готовый вступить в бой. Это был ночной кошмар, тёртый, выдавший виды, а вернее — виданный-перевиданный. Он и прежде осмеливался приближаться к хозяину, заставляя стонать во сне и просыпаться в холодном поту. Жуткий, повторяющийся сон, будто бы хозяин снова школьник, стоит у доски и не знает, как прочесть по-французски мозголомное слово «беакоуп».

— О, ты туты-то? — парировал кошмар выпад Авалса и, вздев когтистые лапы, двинулся в атаку: — Усосу!

Что может обглодыш тени против собственного кошмара, залившего комнату чернильной тьмой? Но Авалс, которому было нечего терять кроме присутствия духа, бой принял:

— Нов, иди вон! — рубанул он ночную тьму.

— Я тень! — завывла тьма.

— Нет, я! — блестяще завершил Авалс вражескую фразу, так что кошмар был отшвырнут под пыльную батарею. Авалс шагнул, прикрыв собой хозяина, и добил врага на его территории, метнув палиндром на франко-нижегородском наречии:

— Мой homme!

Настала тишина. Спустился покой. Где тристаты злобы? Их нет.

Тени не любят победных салютов, их радость тиха.

Шорох хорош.

Авалс юркнул под тёплое одеяло, прижался к хозяйскому боку. Раны на силуэте затянулись сами собой.

У киски болит, у собачки болит, а ему не больно и тепло.

Никогда больше, никогда... ни на шаг от хозяйской ноги... Ну, разве сбежать рассказать Номису Рёфауку и мяснику Ан-

дрышеньке, как закончилось его путешествие... а больше — ни-ни!

И, уже засыпая, Авалс подумал, что надо бы растолкать хозяина и заставить его пойти гулять. День сегодня замечательный, дождь кончился, наступила ясная половина дня. И кто знает, может быть, они встретят девушку с зонтом, тогда Авалс шепнёт хозяину: «Слава, посмотри, какая женщина!» — и хозяин подойдёт к незнакомке, отчего-то показавшейся удивительно знакомой, и скажет... неважно что, уж хозяин-то найдёт слова. А Авалс улыбнётся симпатичной теньюшке и поздоровается как ни в чём не бывало:

— А вот и я.

Они пойдут, сначала просто рядом, потом взявшись за руки, потом слившись в одну тень.

В самом деле, зачем же нет? Ведь миром правит не добро, и уж конечно не зло, а один только счастливый случай.

## ГОСТЬ С ПЕРФОРАТОРОМ

Георгий явился в гости с перфоратором. Эдакая бандура, напоминает электродрель, но вращается медленнее, а грохочет вдесятеро громче. К слову сказать, было воскресное утро, когда нормальные люди ещё спят, а я поднялся только потому, что собирался ехать на дачу, где ожидали необработанные клубничные грядки.

Воскресное утро и перфоратор — да я сам бы убил любого, кто предложит подобное сочетание. Утешало только то, что ничего долбить я не собирался. Ремонт в трёхкомнатной квартире был только что закончен, и касаться чудовищным сверлом белой с зеленью шелкографии я бы не позволил даже родному брату. Следовательно, перфоратор не по мою душу, а Георгий забежал по какой-то иной надобности.

Как я ошибался!

— Значит, так, — приступил к делу Георгий, примостив долбило на подставку для обуви. — У тебя в соседях кто живёт?

— Банеевы живут, Ленка с мужем, и пацанёнок у них. Только ты учти, Фёдор мужик простой и работает сутками. Попробуй включить свой аппарат, когда Фёдор после ночной смены пришёл, так он тебе башку оторвёт. А я скажу ему спасибо.

— Банеевы у тебя напротив живут, в трёшке. А рядом кто, через стенку?

— Фиг его знает. Дядечка какой-то, меня вроде постарше. Старый холостяк или вдовец. Живёт один, ни с кем не общается. Его и не слышать никогда.

— А, вот то-то и оно! — закричал Георгий. — Понял теперь?

— Ничего не понял, — ответил я.

— Беда с тобой... Ну, слушай. Вот люди, они где живут? Правильно, в городе. А город это такая сложная штука — ни-какому биоценозу с ним не сравниться. Это ведь только кажется, что собрались люди в кучу и больше там ничего нет. На самом деле город не только людей из деревень и маленьких городков высасывает, не только энергию тянет и воду пьёт — он всего касается, живого и неживого. Крыс в городе больше, чем людей. А сообщества голубей, ворон, воробьёв? Это всё тоже город.

— Ты хочешь сказать, что у меня за стенкой проживает сообщество крыс и воробьёв?

— А ты не смейся. Скоро и до этого дойдёт. Совы и летучие мыши чердаки давно освоили, в штабелях лесного порта хорьки и ласки водятся, белки по паркам бегают, и никто их не бьёт. Думаешь, спроста? На помойках тумачков больше, чем бродячих собак. А бомжи? Ты хоть пробовал с ними разговаривать? Там половина и не люди вовсе, а йети, алмазы и прочие представители неопознанных гуляющих объектов. Овинники, лешие одичавшие, вернее, цивилизовавшиеся. Хуже всех — големы, о них ты небось и без меня слышал. Но эти вроде не пришлые, а прямо здесь вывелись. Кстати, заметь, они в основном по подвалам прячутся и теплотрассам, к земле поближе. А на чердаках элементали и бормотники, это их экологическая ниша.

— Что-то ты всё в одну кучу свалил. Белочки в городских парках — это одно, а канализационные големы, которых, может, и вовсе нет, — совсем другое.

— Это я для примера.

— Так и я — для примера. Хочешь, чтобы тебя слушали, говори дело.

— Хорошо! — объявил Георгий и схватил перфоратор, словно без него дело говорить не мог. — Слушай сюда и не перебивай. Знаешь ли ты, что в каждом многоквартирном доме непременно есть одна нежилая квартира?

— Это ты о резервном фонде, что ли?

— Какой резервный фонд, опомнись! Весь резервный фонд давно приватизирован чиновниками из управления городским имуществом, и там обустроены частные гостинички для неле-

гальных эмигрантов. Если бы у тебя за стенкой такое завелось, ты бы это немедленно почувствовал любым органом чувств. Ты своей головой рассуди: стена между вашими квартирами чисто номинальная. Попробуй свинти розетку в своей спальне — там сквозная дыра в спальню соседей. Если у них с той стороны ничего в розетку не включено, тебе не только всё слышно будет, но и видно. Какова ситуация? В самый раз для анекдотов!

— А если с той стороны шкаф поставлен?

— Тогда будешь шкаф созерцать.

Георгий рассмеялся плотоядно и вернулся к своей теме.

— А теперь думай внимательно и упорно. Ты своего соседа видел хоть раз?

— Видел когда-то... Не помню.

— А я тебе скажу: не видел. У тебя ложная память работает. Внушено тебе, будто знакомился некогда с соседом и о чём-то беседовал. Это чтобы ты зря не дёргался. Дальше... Радио за стенкой бубнит? Телевизор долдонит? Нет. Тишина полнейшая. Гости там бывают? Да никогда! Хотя бы по телефону кто-нибудь говорит?

— Может, и говорит, просто я внимания не обращал.

— А ты обрати внимание-то, прислушайся. Нет там никого. Вернее, есть, но не человек. Никто там не живёт, там, если хочешь, душа дома заключена, его персонифицированная сущность.

— Домовой, что ли?

— Хочешь, называй домовым, а я так не привык, а больше по науке. «Персонифицированная сущность жилого строения» — звучит внушительней.

— Зачем домовому двухкомнатная квартира? Он же за печкой живёт или в подклети.

— Вот и я о том же. Квартира ему не нужна, но иметь хочется, и возможности есть, потому как дом большой. Деревня — это что-то мелкое, вписанное в природу, а город — сам по себе вторая природа. Сравни избу, даже самую солидную, и самый задрипанный многоквартирный дом. Всерьёз сравнивать нечего.

— И к чему ты мне всё это рассказываешь?

— К тому, что у тебя за стенкой жилплощадь есть, а жильцов нет. Нежить там, или как говорят коммунальщики — не-

жилец. А это значит, что если по уму взяться, то соседней жилплощадью можно слегка попользоваться. Гляди, это план лестничной площадки. Вот твоя квартира, вот соседняя двушка. Вот тут пробиваем дверь, здесь ставим перегородку, и у тебя появляется дополнительная комната, восемнадцать квадратных метров, плюс лоджия. И никто не в претензии.

— Шёл бы ты отсюда, — сказал я кротко. — У нас месяц как ремонт закончен, и ты думаешь, я позволю тебе твоим долотом свежееклеенную стену рушить? И вообще, зачем тебе это?

— Работа у меня такая. Думаешь, просто найти квартиру вроде твоей, чтобы в соседях была необиталка? Зато прикинь, сколько сейчас стоит восемнадцатиметровая комната, ась? А я тебе сделаю её всего за десять тысяч баксов.

— У меня таких денег нет, — твёрдо объявил я. Вообще-то деньги были, но я, доживши почти до шестидесяти лет, наконец-таки собрался покупать машину, причём не поганенький «жигулёнок», а кое-что получше. Но, разумеется, заранее кудахтать о своих планах на весь белый свет я не собирался.

— Так и быть, по дружбе, для тебя за пять тысяч. Меньше никак не могу, тут ведь не просто дырку проломить надо. С нежильцом связываться тоже удовольствие не из приятных. Расходы большие. Надо, чтобы он не только смирился с потерей комнаты, но и оформил перепланировку квартир. Он это может, просто сделает так, чтобы во всех документах, ПИБ, там, и всё остальное, как бы с самого начала значились перепланированные квартиры. Представляешь, ситуювина? У него комнату забирают, и он же сам это дело оформляет по закону!

Жоркино предложение мне с самого начала не показалось, а теперь и вовсе разодралось.

— Вот что я тебе скажу... по дружбе. У нас ремонт закончен меньше месяца назад, и мне сейчас хочется спокойно пожить, без грохота, грязи и нервогрёпки. К тому же прости, но я почему-то не верю твоим рассказам о нежильцах. Под коньячок потрындеть на эти темы — очень даже приятно, но долбить дыру к соседям только за то, что они тихо живут, — уволь, будь ласков.

— Ты, главное, не нервничай, — отступился Георгий. — Моё дело предложить, твоё — отказаться. Что, я тебе силком

дополнительную комнату буду всучивать? Не хочешь — не надо. Но с Лидой на всякий случай переговори. Или давай я переговорю. Она когда с дачи приезжает?

Вновь Георгий появился ровно через неделю, как и полагается садисту, ранним воскресным утром. Хорошо хоть, без перфоратора. Но, как выяснилось, перфоратор он оставил в багажнике своего «фордика» и мог приволочь в любую минуту.

— Ну, что Лида сказала?

— Лиду оставь в покое. А я вот что скажу.. Я в четверг зашёл в правление и узнал, кто живёт в соседней квартире. Никонов Анатолий Петрович, сорок шестого года рождения. Так что поздравляю с торжественным пролётом.

— С ума сошёл! — драматически выдохнул Георгий. — Ты что, хочешь, чтобы он воплотился и... как это?.. — вочеловечился? Подобными методами ты этого быстро добьёшься. Сейчас за стеной никого, а будет обитать въедливый дедок. Кашлять по ночам станет, по выходным слушать утренние передачи; громко, потому как глуховат. При этом станет тебе делать выволочки за шум по вечерам, грязь у мусоропровода и за то, что коврик у двери неровно лежит.

— С чего ты решил, что он будет именно таким? Я сам всего на пять лет моложе, но ведь ни к кому не пристаю. Так какое ему дело до моего коврика?

— Во, чувствуешь? Ты в него уже верить начинаешь. А таким старичкам до всего дело есть, потому как он одинокий. Вот ты был на субботнике по благоустройству дворовой территории?

— Нет... — неуверенно ответил я. — Вообще-то собирался, но потом забыл.

— Больше не забудешь. Он к тебе десять раз зайдёт и напомнит.

— Да откуда он возьмётся, если его нет?!

— Сегодня нет, а завтра — вот он, при полном параде. Так оно всегда бывает, сначала чего-то нет, а потом — раз! — и появилось. Или наоборот, было и вдруг — нету. Ты вникни: прописка у него имеется, льготы оформлены. За квартиру и коммунальные услуги заплачено всегда вовремя. Поэтому старичка никто не трогает, лихо не будят. Официальные лица

понимают, что, когда товарищ общественной активности не проявляет, это хорошо. Главное — его не тревожить. Если ты попытаешься установить, каким образом деньги за квартиру перечислены, то можешь крепко нарваться. Деньги переведены, а откуда — неизвестно. Фантомные платежи, знаешь их сколько? Ты с бухгалтерами-то поговори, они тебе расскажут. С другой стороны, не поленись, загляни в базу данных, поинтересуйся, сколько в Петербурге числится Никоновых Анатолиев Петровичей. Уж всяко дело не один, а по меньшей мере десяток.

— И все нежилыцы?

— Скажешь тоже!.. Что они, дурней табурета — так светиться? В лучшем случае — один, а остальные — обычные люди. У нежилыцов данные среднестатистические, только возраст всегда пенсионный, чтобы с военкоматом и местом работы заморочек не было. Поэтому их так трудно искать. Я старался, информации, можно сказать, гору перелопатил, нашёл нежилыца в соседях у друга детства, а ты морду воротить. Дополнительная площадь тебе, видите ли, не нужна. Ты с Лидой-то поговорил?

— Поговорил.

— И что? Неужто и ей ещё одна комната не нужна?

Тут Георгий ткнул в большое место. Лида, когда я рассказал о явлении Георгия с перфоратором, не возмутилась и не развеселилась, а впала в мечтательное настроение. Действительно, хорошо было бы иметь ещё одну комнату окнами во двор да на солнечную сторону. У нас так выходит только одна десятиметровая живопырка с крохотной лоджией, а две другие комнаты вылупились на шумный проспект, и солнце там бывает только летом в пять утра. А тут — красотища! Восемнадцать метров солнечной площади!

— На лоджии можно было бы устроить зимний сад. Вишел, как у Риммы сделано? У них такая же двушка, что и соседняя с нами, так они стену пробили и вывели на лоджию дополнительную секцию парового отопления. Лоджию, конечно, остеклить надо по уму — европакеты и утепление из минеральной ваты, чтобы меньше пылило. Стены вагонкой обшить, и получится совсем как в деревне. Я бы там цветоч-

ки выращивала: сенполии, фаленопсис и цимбидиум. Сенполии — это такие фиалочки, а цимбидиум — это орхидея. Представляешь, у нас дома будут цвести орхидеи? Ну, скажи, ведь красиво будет? Ты помнишь, как у Риммы сделано?

Я не помнил, но на всякий случай кивнул. А потом, кретин неумный, решил осторожненько предупредить:

— Ты не забывай, это всё-таки не наша квартира. Жора может сколько угодно разглагольствовать о големах, элементах и нежилъцах, но я в такие вещи не особо верю. Во всяком случае, не настолько, чтобы стену в соседнюю квартиру ломать.

Выражение Лидино лица в эту минуту было прям как у Горького на дне: «Испортил песню, дурак!»

— Ты всегда не веришь в то, что может принести пользу. Другой бы давно выяснил, что там за стенкой творится, и всё устроил ещё прежде, чем ремонт затевать. А теперь, считай, всё заново делать.

— А ты нежилъца Никонова Анатолия Петровича в расчёт принимаешь? Ему понравится, если мы туда с перфоратором полезем? Заведётся какой-нибудь полтергейст, что тогда?

— Попа позовём, — с небрежной лихостью ответила Лида. — Он святой водой побрызгает — и нет полтергейста.

Я так и не понял, как случилось, что Лида с Георгием нашли общий язык и вскоре уже сидели на кухне, обсуждая какие-то подробности, в которые я не хотел вникать, а я заваривал им кофе, который терпеть не могу и варю его только по Лидиной просьбе для особо уважаемых гостей. Это Жорка-то уважаемый гость? Да прежде, когда он заходил, Лида морщила нос и не считала нужным появиться на кухне и хотя бы поздороваться.

А теперь сидят и беседуют как умные.

— Нет, — говорит Георгий, — сам он не сделает. Тут должен работать специалист. Очень велика вероятность пробить отверстие в астральные миры. Думаю, мне не нужно объяснять, чем это чревато.

Лида прижимает ладони к щекам. Она не знает, чем чревата дырка в астральные миры, но заранее боится.

— А вы как же?

Ишь ты, как уважительно! Не помню, как она прежде к Георгию обращалась... кажется, вовсе никак. Просто не считала нужным.

— Я и есть специалист, — с чувством собственного достоинства произносит Георгий. — Я посвятил этому десять лет и работаю чисто.

— Понимаю... Вот он у меня чисто не умеет. Даже дырку продолбить не умеет, чтобы куда-нибудь не провалиться.

«Он» — это я. В минуты сильного волнения Лида поминает меня в третьем лице, как будто я уже умер или по меньшей мере уехал без возврата. Потом, если вздумаешь обидеться, не то чтобы прощения попросит, но скажет, что ничего дурного в виду не имела. Но сейчас лучше помалкивать, а то хуже будет.

Сглатываю пошлую реплику и произношу лишь одно слово:

— Дупло.

— Что? — Это Георгий отреагировал. Лида, конечно, тоже отметила, что я в разговор вмешался, но сейчас она слишком занята.

— Астральное дупло, — поясняю я. — Дырку сверлят или пробивают, а долбят — дупло.

Георгий коротко хохотнул и вернулся к разговору, оправдывать свои пять тысяч баксов. А я вернулся к турке, чтобы в самую последнюю секунду поймать сбегающий кофе. Как говорили некогда нехорошие люди, «каждому своё».

Вечером я ещё пытался отговорить Лиду от жилищной авантюры, но безуспешно. Есть у неё милая привычка: принимать во внимание чьё угодно мнение, кроме моего. Бабулька в очереди, попутчица в трамвае, какая-нибудь телевизионная дура — все они достойны уважения, к их словам надо прислушиваться, а советам следовать. А что муж говорит, вовсе не важно. Каюсь, я таким положением частенько пользовался, чтобы избавиться от ненужной работы или никчемных хлопот, которыми в противном случае был бы загружен выше кадыка. Лида у меня непрерывно генерирует безумные мысли... и как я только терплю её уже тридцать лет с гаком? И главное, как она меня терпит? Ведь ни одной её гениальной идеи я в жизнь не провёл. Выслушивал, соглашался и спускал на тормозах.

Но сейчас гениальность превысила лимиты разумного, и я попытался дать бой.

— Ну зачем нам на двоих четыре комнаты? Тебе же лишние хлопоты: полы мыть да подметать...

— Вот именно! Ты к порядку в доме пальца никогда не приложил, так что пусть тебя это не тревожит. Ты обо мне никогда не думал, а я о тебе забочусь.

— Как?!

— А вот так! Уйду от тебя в дальнюю комнату, буду цветочки поливать, а ты сиди тут и смотри свой футбол, сколько влезет.

Интересное кино, это ж когда я в последний раз футбол по телевизору смотрел? Лет пятнадцать назад... чемпионат мира, забыл какого года; бездарный договорной матч между Западной Германией (была такая страна) и Австрией. С тех пор мне охоту к подобным зрелищам отбило. А Лида, оказывается, полагает, что я страдаю из-за невозможности смотреть футбол. Вот какие вещи узнаёшь о себе на четвёртом десятке лет семейной жизни.

— Но ведь эта комната, даже если она действительно бесхозная, обойдётся в пять тысяч баксов! Мы же машину собирались покупать!

— Вот ты слушай, что говоришь, может, поймёшь, что только о себе и думаешь, о своих капризах, о своей машине. А обо мне ты когда-нибудь думал?

— Я же тебя на ней буду возить на твою же дачу!

— Да я к тебе в машину и не сяду! С тобой и пешком по улице идти страшно, ты совершенно не заботишься о том, кто идёт рядом с тобой, дорогу вечно норовишь перейти на красный свет, лезешь прямо под колёса. Представляю, что будет, если тебе позволить за руль сесть!

История, как нетрудно видеть, ординарная. Я — слово, она мне — десять. Кончилось тем, что я согласился на совершенно ненужную нам комнату. Единственное, на чём я настоял, и Лида согласилась со мной, что деньги Георгий получит после того, как сделает всю работу.

Очередным воскресным утром мы с Лидой уехали на дачу, оставив дома Георгия с его перфоратором. Воскресное утро —

сакральный час. Когда имеешь дело с нежитью, такие вещи надо учитывать. А соседи один раз перетерпят. Хотя насчёт Фёдора я не уверен, он может и не стерпеть, а взбешенный Фёдор Банеев будет опаснее всякого нежилца.

На этот раз, впрочем, обошлось, Банеевы тоже были на даче. Часов в пять (семнадцать, если быть точным) Георгий позвонил мне на мобильный и сказал, что работу можно принимать.

С дачи мы неслись на курьерских скоростях. Всю дорогу я представлял зияющий пролом в стене нашей спальни, а там, в проломе... даже страшно подумать, что клубится в проломе. Какие ужасы воображала Лида — не знаю, но она была непривычно молчалива и встревожена. Хотя чего тревожиться, когда стена уже проломлена? Сама захотела лишнюю комнату, я её туда за волосы не ташил.

Действительность оказалась далеко не так страшна, как рисовалось в воображении. В спальне, там, где прежде висело большое зеркало, теперь красовался проход, как и договаривались, обрамлённый дверной коробкой. Мусор Георгий успел вынести, а вернее, запихнуть на территорию нежилца, предоставив тому возможность самому разбираться с разгромом. Георгий даже принял душ в нашей ванной и встретил нас цветущий и благоухающий, что особо подчёркивало, что непоправимых разрушений воскресная операция не нанесла.

— Ну, как? — в голосе Георгия гармонично сочетались скромность и достоинство. Сейчас он не хвастал, за него хвастала работа.

С некоторой опаской мы с Лидой отправились осматривать прибавление к нашему жилищу. Соседская восемнадцатиметровая комната теперь была привёрстана к нашей квартире. Дверь, прежде соединявшая её с владениями нежилца, была снята с петель, проём наглухо заделан гипсовыми плитами и гладко зашпаклёван, так что сразу можно было оклеивать это место обоями.

— А что здесь было, когда... это... — с суеверным ужасом попыталась выспросить Лида.

— Что было, когда я сюда проник? — безжалостно уточнил Георгий. — Ничего не было, пустая комната. Конечно, напря-

жение астральных полей было такое, что не приведи господь, но этого обычным зрением не заметишь. А с виду — ничего особенного. Но вы вот на что внимание обратите... В каком году у вас квартира получена?

— В восьмидесятом, — сказал я, не дожидаясь вопрошающего Лидино взгляда. — Как дом был построен, так мы и въехали.

— А какие обои у вас тогда были, помните?

— Нет, конечно.

— А вот такие и были! — Георгий постучал костяшками пальцев по стене. — Жёлтые обои в мелкий цветочек, безвкусица и дешёвка. Тридцать шесть копеек за рулон. Сейчас таких не производят, а тут эти доисторические обои сохранились! И столярка вся, — Георгий качнул балконную дверь, — советских времён. И ничто не разохлось, не выцвело. Даже пыли внутри не было, потому как тут нежилец обитал. Теперь вникли?

Ничего не скажешь, именно эти рядовые мелочи убеждали всего сильней.

— Как же он без мебели? — спросила Лида.

— Зачем ему мебель? Он нежилец, ему ничего этого не нужно.

— А он сюда не влезет? — Как обычно, Лида принялась бояться задним числом.

— Не влезет, — уверенно пообещал Георгий. — Заделано на совесть. Шпаклёвка финская, сам бы ел, да деньги надо.

Намёк был прозрачен. Ничего не скажешь, такая комната стоит куда как побольше пяти тысяч баксов, хотя способ её приобретения по-прежнему вызывал у меня сильные сомнения.

Уже через месяц Лида, да и я тоже, привыкли к чудесному превращению трёхкомнатной квартиры в четырёхкомнатную. Лида энергично шастала сначала по строительным фирмам, а затем и по мебельным магазинам, стремясь превратить квартиру в блочном доме времён застоя в нечто современно-заграничное. В нежилцовой комнате исчезли жёлтенькие обои и совковая столярка. Стеклопакеты, выравнивание стен, шелкография, то-сё, пятое-десятое. Деньги, с таким трудом собранные на «Нисан», стремительно улетали в прорву, пробитую Жориним перфоратором.

Как всегда, замышляя то или иное улучшение, Лида слушала кого угодно, только не меня. Подруга Римма сказала ей, что на лоджию можно провести паровое отопление, и она носилась с этой идеей, пока некто посторонний не объяснил, что электрообогреватель проще и надёжнее. Я месяц безуспешно доказывал необходимость электрического обогрева, но бороться с авторитетом Риммы не мог. А водопроводчик Витя, которому не хотелось мудохаться, протаскивая трубу сквозь капитальную стену, доказал преимущества электроотопления за какие-то три минуты. Конечно, куда мне до водопроводчика!

Ремонт ещё громыхал и полыхал, а в квартире уже появились кованые подставки для комнатных растений, всевозможные кашпо и горшки, горшки, горшки... Хвалёный цимбидиум оказался ни больше ни меньше как знакомой со времён пионерского детства дружной семейкой. Уж я-то её хорошо помню; сколько было от нечего делать переломано её длинных листьев! Слово «цимбидиум» пришлось написать на бумажке и прикрепить над рабочим столом, потому что произнести вслух настоящее название значило нанести Лиде несмываемое оскорбление.

Но в целом жизнь начинала налаживаться, и, разумеется, долго так продолжаться не могло.

Георгий явился в гости с перфоратором.

Меня не было дома, я ходил в автомагазин приглядеть набор гаечных ключей, так что двери Георгию открыла Лида. А и был бы я дома, что с того? Не спускать же Жорку с лестницы... друг детства всё-таки, пять лет в одном классе, только я всегда сидел на четвёртой парте, а он — на первой, потому что физически не мог не быть в первых рядах. Потом встречались, иной раз с перерывами в несколько лет, но всегда по Жоркиной инициативе. Лёгкая необременительная дружба, которая вдруг превратилась в столь странные деловые отношения. А всё — перфоратор. Думается, без этой машины Георгий оставался бы прежним рубахой-парнем и душой компании. Дались ему эти городские сущности, воплощённые в таинственных нежилых...

И вот, вернувшись из похода за гаечными ключами, которых не купил, поскольку оказались они дрянной китайской

подделкой, я увидел на подставке для обуви дробильно-сверильного монстра и услышал доносящийся из кухни излучающий оптимизм голос Георгия.

— А вот и хозяин! — встретил он меня радостным возгласом. — А мы тебя ждём...

— Что ты таскаешься всюду со своим перфоратором? — не слишком любезно спросил я. — Или он для тебя часть имиджа, как наперсный крест для попа?

— Отчасти так, — ничуть не смутившись, отвечивал Георгий. — Когда имеешь дело с потусторонним, следует быть готовым ко всему. А городская нежить перфоратора боится больше, чем креста. Но я к тебе не за этим пришёл. Вот смотри, что мы с Лидой придумали... Дверь пробиваем вот здесь, тут ставим перегородку — и видишь, как всё получается... У вас добавится ещё одна комната, небольшая, всего десять метров и без лоджии, но зато вход в обе комнаты будет через коридор, а то сейчас ваша бывшая спальня получается проходной. Прежнюю дверь, кстати, тоже можно оставить, понадобится — и хорошо, не понадобится — заставил мебельным гарнитуром — и все дела.

— А раньше ты этого придумать не мог? Мы только-только квартиру в чувство привели, а тут ты с отбойным молотком...

— Раньше — не мог. Это только хвост у собаки с одного раза рубят, а тут требуется постепенность, как в вопросе с крестьянством. Откусишь с ходу больше, чем прожевать можешь, и — всё, кранты. В таких вопросах надо со звёздами соотноситься и характер нежилыща учитывать. Действующих факторов много, а ты хочешь всё и сразу.

— Я ничего не хочу. По мне, так нам и трёхкомнатной квартиры хватало, а пятикомнатная так и вовсе без надобности. — Я перехватил Лидин взгляд и понял, что дела мои плохи.

— Мне, — ровно произнесла Лида, обращаясь к стене, — комната нужна. Более того, комната нужна нам, если ты в своём эгоизме не забыл про такое понятие. В конце концов, где-то нужно спать.

— Прежняя спальня тебе не годится?

— В проходной комнате? Очень мило. Ничего умнее ты придумать не мог?

Предлагать под спальню восемнадцатиметровую комнату я не стал. Согласно принципам фэн-шуйского мракобесия, которым Лида успела где-то заразиться, спальня не должна быть такой большой. К тому же там уже обосновалась традесканция, пустившая ветки вдоль стены, а как было кем-то сказано, спать в одном помещении с этой ядовитой лианой нельзя ни в коем случае. Но не предлагать же выкинуть на фиг традесканцию!.. Скорей Лида согласится выкинуть на фиг меня. Так что, как ни верти, прирезать ещё одну комнату нужно.

Осталось последнее.

— А как же нежилец? — спросил я. — У него вообще ни одной комнаты не остаётся. Он-то где будет?

— Ему комнаты вовсе не нужны, — строго поправил Георгий. — Только для голимого престижа. Ему останется чулан, ванная комната, туалет, кухня и часть прихожей со входной дверью. Этого мало?

— Некоторым четырёх комнат мало, — сказал я, хотя и понимал, что, когда мы останемся наедине, эти слова мне поманут, и не раз. А пока Лида с Георгием принялись оговаривать подробности новой авантюры, я безо всякого напоминания, покорно взялся за приготовление кофе.

Вечером мне было помянуто всё: и то, что я думаю только о себе любимом, и что своими ехидными комментариями оскорбляю жену как женщину и человека, и много чего ещё. Я не выдержал и вспомнил кое-что из Лидиных комментариев относительно меня, после чего Лида заявила, что я абсолютно лишён великодушия и при этом мелочен и злопамятен, как баба.

— А тебе мелочной и злопамятной быть можно? — спросил я, после чего начались слёзы и полный раздрай семейной жизни.

Кончилось всё тем, что через пару недель Георгий завёз новую партию гипсовых плит, бетонита, досок — и всё это благолепие расположилось в сияющей, отделанной как рождественская игрушка прихожей, которой предстояло в скором времени обратиться в развалины. А в ответ на отчаянный вопль, что неужто нельзя было сделать всё это прежде, чем в квартире закончен ремонт, резонно отвечал, что прихожая у

нас была отделана до того, как он первый раз появился здесь с перфоратором, и к тому же вторгаться на территорию нежилца следует как раз из отремонтированного помещения, потому как если в вашей квартире бардак и неустройство, то и живущий за стенкой нежилец проявляет нежелательную активность, а это опасно. Потусторонние силы следует брать врасплох.

Но куда создавалось впечатление, что Георгий на пару с Лидой берут врасплох меня. Не терплю такого положения, когда тебя обложили со всех сторон, словно выявленного нежилца, и непрерывно что-то требуют. При этом в словах каждого требующего есть резон, и любая попытка обороны тебя же выставляет дураком и лентяем, а то и ещё кем похуже. Да, я лентяй, ну так не трогайте меня! Что вам от меня нужно, в конце концов?

Иногда ночами, когда случались приступы бессонницы, я представлял нежилца, скорчившегося за стеной. Его травят так же, как меня, только мне всучивают ненужную жилплощадь, а у него отнимают. Бедный Анатолий Петрович! Тридцать лет он спокойно не жил в двухкомнатной квартире, и вдруг — такое. Причём я-то сейчас уехал на дачу; делать там, ввиду поздней осени, нечего, разве что листья сгребать, но можно пересидеть самый страшный момент разрухи, а он у себя в остатках изымаемой квартиры, и перфоратор нещадно терзает нежный нежилцовый слух.

Комната оказалась миленькой, оклеенной жёлтыми обоями и с древними скрипучими рамами. Думаю, во всём доме только здесь такие рамы и сохранились. Причём скрипучими они были не от старости, а, так сказать, изначально, по умолчанию. Но главное, расположена комнатка была удобно. Из нашего коридора, где прежде располагался шкаф-купе, пробита дверь в прихожую двушки, а оттуда — две двери в бывшие комнаты нежилца. Очень удобно получилось: из пяти комнат только одна проходная. Вот только для разобранного купе места не оказалось. Я было предложил выбросить его или поставить в новой комнате, но Лида не согласилась. В новой комнате, отвечавшей фэн-шуйевым требованиям, она принялась обустроить спальню, и, значит, там могло быть трюмо,

комодик, но не шкаф-купе с зимней одеждой и запасом обуви на десять лет. Выбросить шкаф и заодно ненужные туфли, ботинки и стоптанные зимние сапоги она не пожелала.

Шкаф переехал в маленькую комнату, которую я прежде опрометчиво считал своей. Нет, там и сейчас осталось место для диванчика и письменного стола, за которым я занимался ещё со студенческих времён, но нормально пройти к столу теперь было нельзя, только протиснуться боком, обтирая задницей шкаф.

В пятикомнатной квартире для меня не осталось места.

Ночью мне впервые почудилось, будто из-за стены доносятся какая-то возня. Будто бы там мебель двигали или попросту выносили строительный мусор, который Георгий сгрёб к соседу, не желая заморачиваться с уборкой.

Спаленку Лида обустроила на славу, но мне отчего-то совершенно не хотелось там бывать. Фэн-шуй — фэн-шуйём, но не отпускало воспоминание об Анатолии Петровиче Никонове, безвредном старичке, который, скорчившись, лежит на полу в кухне возле газовой плиты, и нет ему иного места, разве что в кладовке, где и ноги вытянуть нельзя не только человеку, но и приличному нежилыцу.

Лида обижалась, говорила, что она совершенно заброшена, стала вдовой при живом муже. Я отмалчивался и уходил в бывшую свою комнату, где поселился шкаф. О машине я уже не вспоминал и даже на улице перестал провожать взглядом проезжающие иномарки. Денег у меня оставалось куда как меньше пяти тысяч долларов, а заработки последнее время резко снизились, но я понимал, что Георгия это не остановит; всякую золотую жилу следует вырабатывать до конца.

Так и случилось. Перфоратор явился в гости.

— Здесь пробиваем дверь, тут ставим перегородку, — привычно вещал он, черкая карандашиком по плану лестничной площадки.

— Нам не нужна вторая кухня! — произнёс я, стараясь наполнить голос твёрдостью, которой не имел.

— Чудак-человек! — снисходительно усмехнулся Георгий. — Кто ж говорит о кухне? Плиту надо будет снести к чёртовой матери, а воду можно оставить: сделать махонький

краник и крохотную изящную раковинку. Поставить трюмо, мягкий диванчик, бра в изголовье. И получится элегантнейший будуар. Ты сам рассуди: у тебя есть собственная отдельная комната. А у Лиды? Ты о жене-то подумал? Куда ей деваться, если вдруг захочется побыть одной? Кстати, по поводу кухни... В двухкомнатной квартире она семь метров, а в вашей трёхке — пять с половиной. Там не то что готовить — повернуться негде. Можно, конечно, перенести кухню в двушку. Учитывая, что после прирезки ванной комнаты, если снести перегородку, новая кухня будет площадью десять метров, а это уже весьма солидно. Но я думаю, что так будет не по уму. Жаль спальню делать смежной с кухней, жаль тратить под кухню солнечное помещение. Моё мнение, что здесь должен быть будуар; дверку сюда сделаем поменьше, и можно её потом задрапировать занавесью. А с кухней удобней обойтись так: эту стену не сносить полностью, а сделать тут вроде арки, метра три в пролёте. Кстати, сразу исчезнет этот дурацкий аппендикс. И получится у нас кухня и одновременно столовая общей площадью шестнадцать метров, с двумя окнами на проспект. Сейчас, если вздумаете гостей приглашать, стол приходится накрывать в гостиной, а так гостиная останется гостиной, столовая — столовой. Проект дома чехи делали, так у них здесь перегородки и не предполагалось, это уже наши рукосуи усовершенствовали...

Я не сразу понял, что в столовую собираются превращать единственную «мою» комнату. В иное время я, быть может, и возмутился, но сейчас лишь спросил, не Лиду, а себя самого: «Для меня в этой квартире место предусмотрено?» — но, разумеется, услышан не был. Георгий лихо перекраивал нежилецово, а заодно и моё место обитания, а Лида с восторгом ему внимала.

— Дверь в будуар, чтобы не портить интерьерера, следует пробить вот здесь. Но тут мешает вход в ванную комнату. Выход один: перегородку относим вот сюда, эти стенки сносим и будуар расширяем за счёт бывшей ванной. По-моему, получается идеально!

— Скажи, пожалуйста, — произнёс я, стараясь, чтобы голос не сорвался на взвизги, — как нежилец будет всё это оформ-

лать? В его части квартиры не осталось ни одного окна. По закону, помещения без окон считаются нежилыми. Как ты предполагаешь прописать туда Никонова Анатолия Петровича?

— Это его проблемы, — отрезал Георгий. — Он — нежилец, вот и пусть прописывается в нежилых помещениях. У него кладовка осталась, отличнейшая кладовка, между прочим, полтора квадратных метра. Думаю, ты от такой не отказался бы. А ещё — туалет и кусок прихожей, тоже полтора метра. Живи — не хочу!

— Ты, помнится, говорил, что нежилец из квартиры выходит через вентиляционные отверстия. А они, между прочим, расположены в кухне и ванной комнате. В туалете наши умники вентиляции не запланировали. Как нежилец наружу выходить будет?

Ответ последовал немедленно, и от Лиды, и от Георгия.

— Ты об этой твари думаешь больше, чем о семье, — это Лида.

— Он ещё через канализацию может. Что ему стоит через канализацию просочиться? — это начитанный Георгий.

Лида повернулась к Георгию и, расширив глаза, спросила:

— Он что, там по трубам плавает? А вдруг он, когда я в туалет пойду, подплывёт и схватит?

— Попа позови, — мстительно сказал я. — Пусть он тебе унитаза святой водой вымоет.

Лида глянула на меня так, словно я только что на её глазах потоптал весь цимбидиум и убил зайчонка. Сказать она ничего не сказала, сказано будет потом, долго, с надрывом и с глазу в глаз.

Ссоры, свары — это всё само по себе, а перфораторное воскресенье пришло своим чередом, независимо от погоды в доме.

Давно стояла мокрая питерская зима, так что ехать на дачу не представлялось возможным, и мы с утра поехали в гости к Андрею. Андрей — это наш сын. Хороший парень, образованный, умница. Работает и очень неплохо зарабатывает. Внуками, правда, нас с Лидой до сих пор не порадовал, хотя тридцатник разменял ещё в прошлом году. Вот только все его

жёны, которых он успел сменить штук пять, были не жёнами, а скорей временными подругами, и ни одна из них на роль матери не сгодилась. Да и сам Андрей вроде бы с этим делом не торопится. Я иногда думаю, что случись иначе, может быть, Лиде не пришлось бы свою энергию тратить чёрт знает на что. Но ведь не проверишь такое никак; нет внуков и в ближайшее время не предвидится.

У Андрея всего один недостаток: мог бы почаще звонить матери. Хотя тут я его понимаю: один раз позвонишь и получишь выволочку, словно пацан, задержавшийся вечером на улице. Плюс к выволочке — допрос с пристрастием: что у тебя, да как и почему. Подобные разговоры быстро отучают самых почтительных сыновей от слишком частых звонков. Но про мамин день рождения он ни разу не забыл. Приезжает, дарит подарки. В прошлый раз электрическую соковыжималку подарил: морковный сок делать. Вообще-то я без этого сока тысячу лет проживу, но тут уж делать нечего, раз подарена электроштуковина — надо пользоваться.

Являться к Андрею рано утром как-то неловко, он обычно предлагает приехать к нему часиков в семь вечера, но я ещё в субботу позвонил и соврал, что у нас лестницу красят, в квартире не продохнуть, у мамы голова раскалывается... короче, вручай, сынок, престарелых родителей.

Разумеется, Андрей высказал всё, что он думает о шабашниках, нанятых красить лестницу в воскресенье, и о тех, кто их нанял, но нам приехать позволил и даже прикупил что-то к чаю.

Замечательно, что ни у меня, ни у Лиды мысли не мелькнуло рассказать Андрею о наших жилищных приключениях. Почему оно так — сказать трудно. Наверное, оттого, что Андрей считает себя слишком взрослым и немедленно начнёт нас чему-нибудь учить, вернее, читать нравоучения. А Лида у меня не тот кадр, чтобы выслушивать нравоучения от близкого человека. Римма, Георгий или кто совсем посторонний — это иное дело, но не от Андрюхи же выслушивать мнения и получать выволочки. Что выволочка последует, никто не сомневается, это у нас семейное. Что касается меня, то этого добра я и от Лиды имею больше чем достаточно. Так что в

подобном вопросе можно было бы обойтись и без слов, но Лида всё равно, подходя к Андриюшкиному дому, предупредила меня, чтобы помалкивал. Эх, как будто первый год женаты!..

Женская рука в доме у Андрея чувствовалась, но встречал он нас один, значит, новую подругу предкам показывать не считает нужным. Примерно так же, как мы не спешим продемонстрировать новые комнаты. Тоже мне тайны мадридского двора! И в кого это он такой?

У Андрея мы просидели до пяти вечера, даже до полшестого. Потом якобы пошли домой, а на самом деле — в кино на дорогуший вечерний сеанс. Георгий не звонил, хотя Лида, сидя в тёмном зале, каждые пять минут проверяла мобильник — не было ли звонка, не пришло ли сообщение. Телефон молчал, как под подушку засунутый.

После окончания сеанса хочешь не хочешь повлеклись к дому. Прежде чем достать ключ, я долго звонил в дверь, ожидая, что Георгий откроет нам и пусть даже отругает, что помешали работать, но в конечном счёте скажет, что всё в порядке. На звонок в дверь Георгий не откликнулся, как до этого не откликался на телефонные звонки.

Вышли во двор, поглядели на свои окна. Света не было ни в бывшей спальне, ни в двух нежилецовых комнатах, которые резко выделялись белым цветом недавно поставленных европакетов. Лида немедленно впала в тихую истерику, не зная, звонить ли Римме (та была посвящена в тайну пятикомнатной квартиры), звать ли на помощь Андрея или обращаться в милицию. Я поступил проще: поднялся наверх и, не обращая внимания на свистящий Лидин шёпот: «Не смей!» — открыл дверь.

В прихожую было трудно войти из-за мебели. Вся обстановка, что была куплена за последние месяцы для благоприобретённых нежилецовых комнат, теперь стояла перетасканная в прихожую и гостиную. В бывшей спальне было не повернуться из-за бесчисленных фаленописов и прочих дружных семеек. Оба прохода, пробитые в соседнюю квартиру, оказались аккуратно заделаны, так что прямоугольники бывших дверей можно было узнать лишь потому, что вместо Лидиной шелкографии они были оклеены новенькими жёлтыми обоями, теми

самыми, по тридцать шесть копеек рулон, что уже двадцать лет не выпускаются отечественной промышленностью.

На вешалке висела Жоркина зимняя куртка, но самого мастера нигде не было.

— Он что, без куртки ушёл? — с наивностью, достойной блондинки, спросила Лида.

— Вот именно, — подтвердил я.

— Так ведь холодно на улице...

— Хотел бы я знать, где он сейчас. Но думаю, что не на улице. — С этими словами я показал Лиде то, что она по неопытности не сумела заметить: электрический шнур, воткнутый в розетку и бесследно уходящий прямоком в жёлтенькие обойные цветочки. — Не вздумай выключать. Для него это сейчас единственная связь с внешним миром.

И Лида впервые, кажется, за все десятилетия совместной жизни покорно кивнула, даже не попытавшись оспорить мои слова. Больше того, мне удалось заставить Лиду остаться дома, а то ведь поначалу она собиралась ехать на ночь глядя на дачу и мёрзнуть там до самого утра, сидя у буржуйки, не способной обогреть выстуженный дом. После этого бегства наша квартира стала бы проклятым местом, где из каждого угла грозил бы ужасный нежилец. А так мы вполне уместились на диванчике, где двоим можно лежать лишь обнявшись. И, честно говоря, это оказалось гораздо уютней, чем на сексодроме, что дыбом стоял, вынесенный из нежилецовой комнаты, которая совсем недавно была превращена нами в фирменную спальню.

На Лиду было жалко смотреть. Я кожей чувствовал, как она ждёт, что я скажу ей про старуху и разбитое корыто. И неясно, что обиднее: сравнение разбитых планов с корытом или слово «старуха», разом обретающее безжалостный смысл.

Нравоучения пришлось проглотить, не произнеся вслух. Не знаю, была ли Лида благодарна мне за это.

Неожиданно оказалось, что я не знаю, где живёт Георгий. Со старой своей квартиры на Васильевском он давным-давно съехал, да и весь дом после капремонта стал элитным, так что не только соседей, но и памяти никакой о былом не осталось.

Я купил в метро диск с ворованной базой данных по жителям Петербурга, но и это не помогло. Людей с таким именем

и фамилией, как у Георгия, оказалось шесть штук, все они жили на разных улицах, однако номер дома у всех шестерых был четырнадцать, а квартира — четыреста пятьдесят один. Я не поленился обойти все предложенные адреса. Ни в одном из домов такого количества квартир не оказалось. У троих Георгиев, согласно базе данных, имелись городские телефоны, вернее, один телефон на троих, поскольку номера совпадали. Разумеется, телефон этот не отвечал, в отличие от мобильного, где нежный женский голос на двух языках сообщал, что абонент временно находится вне зоны действия сети.

Трудно сказать, сам ли Георгий скрывал подобным образом своё местопребывание, или нежилец заметал следы, или, что всего вероятней, результат моих поисков соответствовал качеству базы данных, которую делали спустя рукава, а уж воровали и продавали не думая ни о чём, кроме денег, которые хотелось урвать побыстрей и побольше.

Георгий пропал, как не было, зато нежилец Анатолий Петрович напомнил о себе очень скоро и решительно. Не прошло и недели, как однажды утром мы были разбужены грохотом переносимых вещей. В соседнюю квартиру въезжали новые жильцы. Вполне себе настоящие живые люди: молодая пара и девчоночка лет трёх. Приехали с Севера, в Питере у них никого нет. Квартиру купили через агентство недвижимости и о прежнем владельце не знают ничего, кроме имени: Никонов Анатолий Петрович.

— Станный человек этот ваш бывший сосед, — поделился своими соображениями Коля — так звали главу семьи. — Комнаты и часть прихожей у него отделаны с иголки, под евро-ремонт, а кухня и места общего пользования — в совершенно первобытном состоянии. Но самое дикое, что в большой комнате и прихожей остались кусочки стены, оклеенные дурными антикварными обоями. Зачем это ему понадобилось — ума не приложу.

Я-то понимал, в чём дело, но делиться откровениями не спешил.

— У него там шкафы поставлены были, которые эти куски прикрывают, вот он и экономил как мог.

— Один рулон обоев, какая там будет экономия?

— Что вы хотите, пожилой человек, у них свои взгляды на жизнь.

Новая соседка оказалась Леной, что меня ничуть не удивило, поскольку испокон веку всех моих соседак звали Ленами. Соседская дочка в свидетельстве о рождении была записана Анной, но в реальности звалась Нюшей, Нюсей, Нюлькой и вообще как угодно. Лена, человек, полностью лишённый комплексов, уже через несколько дней попросила Лиду приглядеть за Нюшкой полчаса, пока сама Лена слетает в магазин, а заодно и нам купит, что там нужно из продуктов?.. Остаться одной в нежилецовой квартире Лида побоялась, так что пришлось вести Нюшу в наше жилище, с некоторых пор напоминающее мебельный склад. По счастью, дома был я и успел выручить Лиду, соврав что-то об умершем родственнике с неприватизированной квартирой. Осталась, мол, мебель, новая, девать её некуда, выбросить жалко. В результате изрядная часть движимости за какую-то чисто номинальную цену переехала в те комнаты, для которых была куплена. Заодно туда же уехала и часть цветочков.

Жизнь начала налаживаться. Традесканция, как и положено существу длинному и ядовитому, переселилась от нас в ближайшую аптеку. Дружная семейка — сейчас посмотрю по бумажке: симбиум! — приучает к прекрасному воспитанников детского сада, в который ходит Нюшка. Прочие наши подарки произрастают в сберкассе, поликлинике, на почте. А уж сенполиями осчастливлены, кажется, не только все знакомые, но и знакомые знакомых.

Когда на Восьмое марта Андрей приехал поздравить маму с праздником, ничто в квартире не напоминало о недавней аванюре. Зато наш отпрыск оказался свидетелем того, как мама его кормит кашей совершенно незнакомую ему девочку Нюшу и с готовностью отзывается на прозвище баба Лида. Не знаю, понял ли он что-нибудь, но сын наш парень умный, так что надеюсь, что понял.

История, таким образом, закончилась едва ли не хэппи-эндом, если, конечно, не считать пропажу всех наших сбережений и забыть о чёрном проводе, навеки оккупировавшем единственную розетку в спальне. Иногда, непременно ранним

воскресным утром, дом наполняется ужасающим грохотом. Рёв перфоратора доносится разом со всех сторон, проникает всюду, рвёт и терзает. Жители подъезда, прежде почти незнакомые друг с другом, теперь объединились в истовом желании отыскать и наказать ненавистного долбильщика. Фёдор Банеев прилюдно поклялся отсверлить мерзавцу всё, что может быть отсверлено. Но приходит новое воскресенье, и неутомимый перфоратор включается вновь. Вместе со всеми жильцами я хожу в эти минуты по нашей и соседним лестницам, возмущаюсь и строю догадки. Хотя догадываться мне не о чем, ведь я вижу, что электрический счётчик в нашей квартире в эти минуты вертится словно обезумевший шаман, и я знаю, что это Георгий на пару с верным перфоратором пробиваются в наш мир сквозь непознанные глубины.

## ЗОЛУШКА-NEWS

В представлении рядового обывателя, кольцо — это нечто ювелирное, должно украшать шейки прелестниц и знатных дам. Колье множеством висюлек спускается на грудь и слепит взоры, поражая присутствующих видом роскоши. А на самом деле первые кольца были принадлежностью сугубо мужской, а украшением стали какую-то тысячу лет назад. Le cou — по-французски всего-навсего шея, и, соответственно, кольцо — это то, что прикрывает горло от вражеского кинжала, такая маленькая кольчужка, охватывающая шею рядами искусно переплетённых цепочек. Прошло не так много столетий, и мужское кольцо выродилось до орденской ленты, а то, что сохранило вид металлической цепочки, досталось женщинам. И только Михальчук и его коллеги продолжали носить те самые кольца, что и столетия назад. Для людей опасной профессии смысл этого слова оставался изначально чист, кольцо — это то, что спасает шею бойца в ту минуту, когда по каким-то причинам невозможно носить полную кольчугу. Например, во сне; спать в кольчуге очень неудобно, хотя иной раз приходится.

Проснувшись, Михальчук протянул руку, взял со столика портативный детектор, глянул на экранчик. Гипертоники вот так, с утра, первым делом проверяют давление. И неважно, что гипертонический криз ощущается безо всякого тонометра, по самочувствию. Михальчук тоже больше доверял собственным предчувствиям, чем показаниям прибора, но кто надеется только на что-нибудь одно, тот уже давно не живёт. Не только служба здоровья охотится за опасной нежитью, нежить тоже охотится за инспекторами службы здоровья. Особенно сейчас,

когда луна вошла во вторую четверть и с каждой ночью становится всё ярче и круглее.

Экран детектора безмятежно зеленел, но это ничуть не успокаивало. Чувство безопасности, нюх на радиацию, как говорят атомщики, не утихало ни на мгновение, подсказывая, что вражина где-то поблизости. И это продолжалось уже не первый месяц.

С одной стороны, если верить сводкам, нежить никак себя не проявляла, даже мелкими полтергейстами. Люди не исчезали, неожиданных приступов и припадков у особо нервных не случалось, и даже в лифтах народу застревало ничуть не больше обычного, так что и на гремлина грешить было негоже. А если верить возбуждениям inferнальных полей, в округе каждый вечер творились самые опасные чары. Трудно представить гремлина, который мог бы действовать с такой интенсивностью. Было бы рядом серьёзное производство, можно было бы решить, что готовится техногенная катастрофа. Но взрываться в центре города было нечему, в этом Михальчук был уверен на все сто.

Оставались три варианта: вампир, оборотень и чёрный маг. Последнее — хуже всего. Вампира или оборотня можно выследить по серии убийств, а мага, пока он не обрушит смертельную волшбу на всех людей разом, выявить практически невозможно.

Лишь бы не маг, с этим не знаешь, как и бороться. Впрочем, судя по периодичности, с которой происходили возмущения ментальных полей, в районе действовал не маг, а оборотень или очень голодный вампир. Но где, в таком случае, трупы? Ментал бушует, а ментовка молчит. И осведомители из числа бомжей тоже не бьют тревогу. Прежде, бывало, осторожный вампир мог годами кормиться среди бомжей, но теперь этого нет, работа с бездомными поставлена основательно.

Утро у инспекторов — время свободное: нежить в это время нежится, а нечисть — чистится. Поутру отличить оборотня от простого гражданина дело почти невозможное. Но Михальчук решил зайти с утра в Управление, проглядеть статистику и вообще заняться бумагами. Если ограничить работу беготнёй с серебряным штыком наперевес, то можно

смело утверждать, что беготня будет долгой и безрезультатной. Нежить, она, конечно, не живая, но инстинкты у неё работают — будь здоров.

Михальчук снял кольцо, сделанное на заказ из тонкой серебряной цепочки, принял душ и тут же снова нацепил кольцо. Мало ли, что он дома, рассказы, будто бы нечисть не может без разрешения войти в дом, относятся к области досужей болтовни. Захочет — вопрётся в лучшем виде. Так что шею стоит поберечь.

Завтракать Михальчук не стал: вредно есть с утра. Нечисть в этом плане толк понимает и, нажравшись, немедленно заваливается спать. Потому и существует долго. Иные даже верят, будто вампиры и оборотни бессмертны. В некотором роде так оно и есть: как может умереть тот, кто не живёт? Опять же, что понимать под словом жизнь? Сколько есть исследователей, столько и точек зрения на этот вопрос. Михальчук высокими материями не заморачивался и, будучи натурой приземлённой, считал нежить просто опасным зверьём, от которого следует оберегать обычных людей. А что зверьё это живёт в городе, так бродячие собаки — тоже зверьё, а в городе живут и процветают.

Лестничная площадка мокро блестела чистотой; Мариам успела вымыть лестницу. Снизу доносилось громыхание ведра и шорканье швабры. Михальчук, пренебрегая лифтом, побежал вниз со своего восьмого этажа. Гремлинов в доме нет, но бережёного бог бережёт. Толковый некромант, охотясь за инспектором, запросто может подсадить в лифт гремлина. Вчера всё было чисто, а сегодня засядешь между этажами, и отбивайся от магической атаки, сидя в тесной кабинке.

Мариам намывала площадку четвёртого этажа. Прежде, когда дворничихами были отечественные алкоголички, такого благолепия не бывало. Грязь, мусор, а как следствие — крысы и тараканы. А где крысы, там и нечисть заводится. Таджикские гастарбайтерки за должность свою держатся, и на лестнице всегда порядок. Интересно, куда делись дворничихи старой формации? Неужто все перемерли? Например, были съедены оборотнями, чтобы освободить места таджикам. Надо будет озадачить аналитический отдел этим вопросом.

Вообще, бывают ли оборотни среди таджиков? В Китае и Японии популярны оборотни-лисы. А в Средней Азии? Волки там вроде бы мелкие, шакалы — и вовсе не серьёзно. Хотя почему бы и нет? Человека такому оборотню в одиночку не завалить, вот и перебивается кошками и бродячими собаками. А потом приезжие собьются в стаю и начнут творить разбой. Это будет пострашней наших одиночек.

Мариам отступила в сторону, пропуская жильца.

— Доброе утро, — вежливо произнёс Михальчук.

— Здравствуйте, — чуть слышно ответила Мариам.

Вообще-то Михальчук не знал, как зовут таджичку, но называл её про себя Мариам. Всегда хорошо, если новое явление имеет имя.

Неделю назад на всех лестничных площадках Михальчук прикрепил к перилам пустые консервные банки для окурков. Там, где лестница была помыта, Мариам вытряхнула из банок пепел и мелкий сор, но на нижних этажах порядок ещё не был наведён. Проходя мимо, Михальчук как бы случайно проводил рукой над самодельными пепельницами и бросал беглый взгляд на детектор. Всё было чисто. То есть, конечно, было грязно, но только в обыденном значении слова. Ни порчи, ни иных следов магического вмешательства на жестяных баночках не было. Хотя на что он рассчитывал? Ни оборотни, ни вампиры никогда не курят, это противно их естеству, если можно назвать естеством природу сверхъестественного существа. Злой чародей курить может, но не станет бросать на лестнице окурки, при помощи которых его можно не только вычислить, но и быстро ликвидировать. Из нежити курят только демоны. Эти смолят непрерывно, а изжёванные хабарики рассеивают где попало. Но демоны встречаются редко, и бояться, что столкнёшься с ним в подъезде собственного дома, вряд ли стоит. Но ведь кто-то проводит трансформации, совсем близко отсюда! Значит, надо быть готовым ко всему, и к появлению демона в том числе. И каждого встречного — на улице, в трамвае, где угодно, подозревать в принадлежности к нечистой силе, не дающей жить нормальным людям.

У дверей парадной Михальчуку встретился второй дворник. Долгое время Михальчук считал, что это муж Мариам,

пока в правлении его не поправили, объяснив, что старый таджик не имеет к Мариам никакого отношения. Просто взяли на работу двоих, не подумав, что восточных людей так вот сводить в коммунальную квартиру не следует. Однако те не возражали, и тётки из правления тоже успокоились. А остальные жильцы, также как и Михальчук, считали дворников супружеской парой.

Михальчук поздоровался и получил в ответ тихое «здравствуйте».

Здороваться с дворниками Михальчук был приучен с детства. Мать, бывало, одёргивала его: «Человек за тобой убирает, а ты будешь, словно барин какой, нос воротить?» Хотя от старого таджика так несло кислятиной и помойкой, что и впрямь хотелось отворотить нос. Но работал таджик исправно: зимами сгребал снег, колупал лёд, сшибал сосульки с козырьков у подъездов, за малую мзду выносил на помойку всякое старьё, выставленное жильцами на лестничные площадки. Мусор в доме всегда был вывезен, и крысы в камерах мусоропровода перевелись. Единственное существо, от которого воняло, был сам дворник.

Может ли он быть оборотнем? Вряд ли... Чем он, в таком случае, питается? Скорей уж он сам годится в пищу оборотню или вампиру, если таковой действительно бродит в округе.

Отойдя на десяток шагов от дома, Михальчук бросил взгляд на окна пятого этажа. Вообще-то, не стоило открыто глазеть, но расчёт был на то, что многие, выходя из дома, машут рукой домашним, проводившим кормильца на службу. И Михальчук тоже помахал прощально окнам своей пустой квартиры, а заодно увидел, что занавесок на пятом так и не появилось.

Квартира на пятом этаже была невезучая. Владелец её жил где-то на северах, а квартиру славал, причём каждый раз неудачно. Вселялись туда неведомые люди, а месяца через три, смотришь, вновь стоит у подъезда фургон, и вещи, что недавно затаскивали на пятый этаж, теперь грузят в него. Дня два назад въехала в проклятую квартиру очередная семья. И за два дня новосёлы не удосужились занавесить окна. Опытному взгляду это говорило о многом, и в любом случае присмотреться к подозрительному жилищу следовало.

Не слишком приятно, когда объектом твоего профессионального интереса становится дом, в котором самому придется жить. Гораздо комфортнее, если ты живёшь тихо-мирно, а оборотни, упыри, черти и прочие банши корчатся где-то в стороне. Но судьба о таких вещах не спрашивает, а инспектор службы душевного здоровья — это не врач, которому запрещено лечить себя и своих близких. Завелась зараза в собственном доме — вычищай собственный дом.

Позаниматься с утра бумагами не удалось. В Управлении царила беготня, дежурная группа получила тревожный сигнал и собиралась на выезд. И Михальчук, поспешно нацепив серебряную кольчугу, отправился вместе со всеми. Мало ли, что не его дежурство, а волколака в пригородном лесопарке загоняют не каждый день.

Чем вервольф отличается от волколака? Вроде бы ничем. Одно и то же понятие, но первое слово пришло из соседнего языка. Однако просто так слова в языке не удваиваются, и раз явление названо, значит, тому была причина. Оборотень, человек-волк... а попробуйте сказать: волк-человек — язык не повернётся. А между тем есть и такие. Вервольф родился в человеческой семье, а потом начал перекидываться волком и жрать людей, что дали ему жизнь. Волколак родился в волчьем логове, а потом стал оборачиваться человеком. И людей он грызёт постольку-поскольку — на зуб попадают; предпочитая убивать своих.

Прежде волколаки встречались куда чаще. Были они ловкими конокрадами, воровали и овец, и коров. А потом скрывались волчьими тропами, унося добычу. Промышляли разбоем, а когда удавалось разбогатеть, жили краше панов, предаваясь охоте, главным образом на волков. Иной раз мужики знали, чем занимается ночами ясновельможный пан, но роптать не смели. Хотя если попадал пан под заговорённую пулю, то стрелку такое за грех человекоубийства не засчитывали. Волка убил, не человека.

В наше время жизнь в человечесей стае усложнилась. Звериных инстинктов стало не хватать для социальной мимикрии, и волколаки перевелись. А учёным очень хотелось бы знать, насколько волколак способен к общению, откуда он

берёт свою первую одежду, куда и как прячет её, возвращаясь в истинный вид. Опять же, интересно: насколько разумен волколак? Вервольф разумом обладает, хотя и извращённым. Он сродни маньяку, серийному убийце. Волколак — совсем иное дело. Он изначально являлся животным, обладающим речью. Но насколько осмысленна эта речь?

Короче, выявленного и обложенного волколака нужно взять живьём, что не так-то просто сделать в городе, пусть даже и на самой окраине.

Пригородный лесопарк — по сути тот же лес, но затоптанный и загаженный до крайности. Иногда здесь появляются защитники природы, торжественно собирают и вывозят самосвал мусора, но отдыхающие восполняют этот недостаток, набрасывая новые залежи пластиковых бутылок, пивных пробок и пакетиков из-под мелкой полусъедобной снеди, без которых современные граждане разучились отдыхать. Единственными серьёзными уборщиками в этих местах были старушки, ежедневно обходившие свои охотничьи угодья в поисках стеклотары и пивных банок. А негноймый пластик, которым все пренебрегали, неуклонно накапливался, создавая особый, антикультурный слой.

Аналитический отдел Управления уже предсказывал появление пластомонстров, порождённых избытком в природе небывалых в прежние времена материалов. У них и лозунг на стене висел: «Новые времена — новые монстры». Над высоколобыми посмеивались, но приходилось признать, что нечисть мутирует быстрее биологических объектов, и гремлины, прежде ломавшие моторы, теперь прекрасно чувствуют себя в информационных сетях, действуя аналогично компьютерным вирусам.

Но куда пластомонстров в пригородном лесопарке не наблюдалось, а вот волколак забежал.

Охотничья бригада и наряд полиции ожидали группу захвата.

— Стреляем только сонными ампулами, — предупредил руководитель группы Масин. Был Масин в звании полковника МВД, и хотя никаких знаков различия на плечах не наблюдалось, это отчего-то знали все, и никто не оспаривал право

Масина распоряжаться не только рядовым, но и командным составом. А ещё была у Масина способность чувствовать помимо присутствия нежити настроение окружающих. Вот и сейчас, он обвёл взглядом присутствующих и не терпящим возражений голосом добавил: — Пистолеты разрядить, ружейные патроны — убрать.

— У меня всегда во втором стволе жакан, — упрямо произнёс один из охотников.

— Он, что, серебряный? — невинно поинтересовался Масин. — На простой жакан волколаку начхать с присвистом. А вот разозлить его — лучше способа нет. Порвёт на куски, и уйдёт.

Охотник с крайне недовольным видом переломил ружьё и вытащил запретный патрон.

— Полиция — в оцепление. Ваше дело не оборотень, а чтобы никто из гуляющих туда не попал. Не так страшно, если под выстрел сунется, как если оборотню на зубы попадёт. От ампулы — проспится и будет цел, а оборотень цапнет — мало не покажется. А он нас уже почуял и будет драться. Всем всё ясно? Тогда — вперёд!

Группа захвата шла впереди... у неё свои методы и своё оружие. Затем цепью двигались охотники. Полицаи остались перекрывать дорожки от воскресных спортсменов и упорных старушек, которые, несмотря на все запреты, продолжают собирать в городских лесопарках свинушки. Медики врут, будто свинушки вызывают глухоту. Потому, должно быть, бабушки и не слышат призывов медицинской общественности.

Если спортсмены шустрят по дорожкам, то сборщики канцерогенных грибов шастают по кустам, что особенно неприятно для охотников. Вся надежда на относительно ранний час.

Закончить дело втихую не удалось. Из самой ивовой густоты, куда и грибники нечасто заползают, ударил отчаянный женский крик:

— Спасите!..

Негромко бахнул выстрел.

«Ампулой стреляют», — на слух определил Михальчук.

У самого Михальчука ружья не было, у него было кое-что получше.

Короткими перебежками Михальчук двинулся на крик. Бежать стремглав было нельзя; никто не мог сейчас ответить, кто кричит там — человек или оборотень. Вполне возможно, что кричал, вернее кричала, оборотень. Такое тоже бывает, хотя, если верить сказкам, женщины перекидываются только в лис и кошек.

Кусты впереди раздвинулись, на крошечную прогалину, вытопанную любителями пикников, выскочил матёрый волчище. Даже дамочки, гуляющие на пустырях со своими собачонками, не перепутали бы этого зверя с бродячей собакой. Каждое движение поджарого тела изобличало дикого хищника. И даже убегая от охотников зверь не бросил добычу.

Зарезав овцу, волк не волочит её по земле, а перекидывает за спину и так бежит, словно и не тормозит его ноша. По деревьям говорят, что самое слово «волк» происходит от «волочить». Этот волчара ташил, закинув за спину, не то девочку, не то — молодую женщину. Никаких признаков жизни не было заметно в безвольном теле, опущенная рука билась о землю, мёртво подскакивая от каждого прыжка зверя.

В два щелчка сработала двустволка охотника, бежавшего следом за Михальчуком. Невнятно матерясь, егерь рвал из кармана покорно вынутый патрон с жаканом. Михальчук взмахнул рукой, из цилиндра, зажатого в кулаке, вылетела, разворачиваясь, тончайшая сетка из серебряных нитей. Волк с ходу прорвал её, но непослушные задние лапы споткнулись, пасть открылась, желтые глаза остекленели.

— Не стрелять! — крикнул Михальчук, мгновенно настиг упавшего зверя и накинул на оскаленную морду уцелевший край сетки.

Лишь после этого он повернулся к девушке. Та была жива, хотя и в глубоком обмороке.

Подбежали остальные загонщики. Волку стянули лапы, вместо порванной сеточки завернули тушу в сеть из витого, посеребрённого капрона. Кто-то вызывал врача, кто-то сразу старался помочь пострадавшей девушке.

Карета скорой помощи, заранее вызванная, ожидала на центральной дорожке, так что врач появился уже через минуту. Девушка к тому времени пришла в сознание, хотя ни одного

членораздельного слова произнести не могла. Её била дрожь, по щекам текли неосознанные слёзы. Впрочем, серьёзных травм тоже не оказалось: плотная ветровка спасла от клыков зверя.

Врач сделал пострадавшей укол, девушку уложили на носилки и увезли в больницу. Спелёнатого оборотня загрузили в милицейский газик и повезли в управление. Зверь спал, не ведая, как решительно переменялась его жизнь.

До статистики руки у Михальчука в этот день так и не дошли. Его, вместе со всеми, кто участвовал в ловле, вызвали в кабинет Масина.

— Ну что, орлы, — приветствовал собравшихся полковник. — Не орлы вы, а вороны. Упустили зверя!

— Как? — от неожиданности вырвалось у Михальчука.

— Вот так и упустили! Волк — самый обычный, никаких паранормальных особенностей, можно в зоопарк передавать. А вот девка из больницы исчезла. Сбежала прямо с каталки. Значит, она и была оборотнем.

Старший инспектор Мохов, на котором формально лежала ответственность за операцию, шумно выдохнул и, не дожидаясь приглашения, уселся, уперев лоб в сжатые кулаки.

— Будем искать. Далеко не уйдёт. Раз уж её городом при-манило, так и станет ошиваться по лесопаркам.

— Это понятно... — согласился Масин. — Другое хуже. Как же она нас всех так одурила? И меня первого, я ведь там тоже был.

— Что за ней числится? — спросил из-за спин михальчуковский приятель инспектор Кугель.

— Ничего не числится. По бродячим собакам работала. А вычислили её при плановом сканировании лесопарка. Ну, и кто-то из гуляющих сообщил, что видел в парке волка. Волков, как сами понимаете, было двое. Самец пожертвовал собой, вытаскивая подругу. Знал, кто она такая, а всё равно спасал.

— Любовь... — вздохнул Мохов, не поднимая головы.

— Ему любовь, а она? Ей-то что делать в городе?

— Общение, — подал голос Кугель. — Волколак натура сложная, ему в лесу скучно, его к людям тянет. Иначе зачем перекидываться?

— Слышал я твои теории, — отмахнулся Масин. — Только работе нашей от них не холодно и не жарко. В общем, так, думайте, как будем девку ловить. Фотографии её есть?

— Есть. Только она там в шоке. Так перекосило, что и не узнать.

— Кому надо — узнает. Распечатать, разослать по отделениям. Пусть участковые приглядываются.

— Вспугнут.

— Предупредим, чтобы не пытались задерживать. Просто пусть сообщают, где видели. Она не для того превращается, чтобы по подворотням сидеть. Появится на людях, будьте спокойны. А как охотничьи угодья обозначатся, тут и брать будем.

«Один раз уже брали», — подумал Михальчук, но вслух ничего не сказал.

Расходились, как обычно бывает после планёрок, с ощущением облегчения и недовольства — как после обильной клизмы. Но делать нечего, волчица-оборотень в самом деле обдурила весь отдел Службы психического здоровья. Так что не начальство вкатило клизму, а сами себя наказали.

Когда Михальчук, недовольный бездарно прошедшим днём, уже собирался уходить, в кармане зазвонил мобильник. Во время серьёзной работы мобильник не только выключался, но и попросту оставлялся дома, поскольку греmlin или даже простой прилипала разговоры по мобильнику прослушивает на раз, и последствия это может иметь самые непредсказуемые. Но домашний отдых и толчея в Управлении к серьёзной работе отнесены быть не могут.

Звонил Борис Княжнин, старый приятель и дилетанствующий исследователь потустороннего. С тех пор, как он узнал, что Михальчук работает в службе психического здоровья, от него отбоя не было.

— Слушай, ты когда сегодня заканчиваешь работу?

— У меня, вообще-то, ненормированный день. Так что сегодня я заканчиваю в двадцать четыре ноль-ноль. А завтра начинаю работу в ноль часов, ноль минут. А что?

— Я встретиться хотел, поговорить кой о чём...

— Тогда я сейчас обедать пойду, а то мне вечером на дежурство, а там не до еды будет. Вот в кафешке, если хочешь, можно будет встретиться.

На встречу Княжнин примчался загодя, но к делу своему долго не мог перейти, мешала проклятая интеллигентность. Наконец, начал издали:

— Ты как-то говорил, что нежить очень быстро мутирует...

— Нежить не может мутировать. Мутируют только живые организмы, а нежить потому и нежить, что она не живая.

— Неважно, не будем спорить о терминах. Но все твои подопечные быстро изменяются, приспособляясь к новым условиям. Ведь так?

— В первом приближении, так.

— А теперь посмотри... Из живых существ быстрее всего изменяются микроорганизмы, которые, так же, как и твоя нежить, паразитируют на людях.

— Не только на людях. Просто если нежить паразитирует на болотных лягушках, как небезызвестная царевна, то людей это мало волнует.

— Ладно, не юмори. Я, собственно, вот к чему клоню... Болезнетворные микроорганизмы по мере накопления мутаций теряют вирулентность. Вспомни, в пятнадцатом веке лёгочная чума была практически смертельной, смертность почти сто процентов. А сегодня и сорока процентов не будет.

— Медицина на месте стоит. Антибиотики, то да сё...

— Безо всяких антибиотиков смертность упала вдвое. А с антибиотиками она ещё меньше. Опять же, грипп... Испанка сколько жизнью унесла? А нынешние формы — так, лёгкое недомогание.

— Как раз испанка и была новым штаммом.

— Ничего подобного! В конце шестнадцатого века была описана английская потовая горячка — тоже, судя по всему, разновидность гриппа. Смертность была необычайно высока. А вот выписка из «Всероссийского словаря-толкователя» издания Каспари, начало семидесятых годов девятнадцатого века. Ни о какой испанке ещё речи нет, а в статье «грипп» написано, — Княжнин выхватил из пухлой записной книжки листок с текстом и прочёл: — «Грипп, катар дыхательных ветвей, появляющийся эпидемически и сопровождаемый сильной лихорадкой и быстрым упадком сил. Иногда ошибочно называют гриппом и неэпидемические катары. Настоящий грипп часто смертелен».

— Ну, хорошо, уболтал. И что следует из твоих медицинских выкладок?

— Понимаешь, мы повсюду подходим со своей антропоцентрической меркой. Молчаливо подразумевается, что чума или грипп пылают злобными чувствами и хотят убить как можно больше народу. А они ничего не хотят. Просто-напросто те штаммы, которые оказываются смертельными для организма хозяина, погибают вместе с этим организмом. А если человек отлежался и пошёл на поправку, то он и в следующий раз может заболеть, и ещё. Готовая, можно сказать, кормовая база для возбудителя болезни.

— Иммунитет вырабатывается, — напомнил Михальчук.

— В том и беда. Поэтому у микроорганизмов порой появляются новые сильно вирулентные штаммы. Но в целом болезни протекают всё спокойней и без летального исхода. Спид на наших глазах из всемирного пугала превратился чуть ли не в рядовую болезнь. Наиболее опасные формы сифилиса попросту исчезли.

— И что дальше?

— А то, что формы нежити должны подчиняться тем же закономерностям, что наблюдаются для прочих паразитарных форм. Я думаю, задача оборотня вовсе не в том, чтобы убить как можно больше людей, а чтобы... ну вот зачем, собственно, оборотень людей убивает?

— А в самом деле, зачем? — насмешливо переспросил Михальчук. — Ты, братец, задаёшь вопросы, над которыми люди поумней нас с тобой не одно столетие бились. Пока народ верил в потустороннее, в силы зла и прочую чепуху, то можно было верить и в то, что оборотень дерёт людей из любви к искусству и чистому злу. А если, как ты утверждаешь, он просто паразит на здоровом теле человечества, то надо знать, что он со своего паразитарного образа жизни имеет. А этого пока не знает никто.

— Вот я и хочу узнать. Поглядеть, пощупать, так сказать, своими руками.

— Кого пощупать, оборотня или вампира? Не боишься, что он тебя пощупает?

— Не буду я его руками хапать. Мне бы только поглядеть, как он себя в обыденной обстановке ведёт.

— Раскрой глаза да смотри. Я потому и работаю день и ночь, что просто так оборотня в латентной фазе от рядового гражданина не отличить. А попадёшь под трансформацию — не обессудь.

— Но ты же сам рассказывал... ну, про эту старуху! Мне её история покоя не даёт.

Михальчук криво усмехнулся. История старой вампирши давно стала в Управлении притчей во языцех. Полусумасшедшая старуха жила в доме дореволюционной ещё постройки, где ветхие коммуналки десятилетиями ждали расселения. Старуху не любили за неопрятность и вздорный характер, но особого вреда за ней никто не замечал. А вот клопы замучили весь дом, и сладу с ними не было. В конце концов кто-то из жильцов сменил недейственные хлорофос и дезинсекталь на карбофос, который клопа убивает не сразу, давая ему уползти. Тогда и выяснилось, что паразитов насылала вампирша, а потом шёлкала насосавшихся крови клопов наподобие семечек. Карбофоса старуха не вынесла, с тяжёлым отравлением её привезли в госпиталь, а затем в Управление психического здоровья. Были ли в её жизни нападения на людей, выяснить не удалось, но и отпустить вампиршу домой никто не решился. В старые времена расправа над попавшейся нечистью была бы короткой, но в новой реальности возобладал гуманизм, и старуха мирно окончила свои дни на больничной койке.

— И что тебе в этой истории? Думаешь, мы бабку не изучали? Клиника трансформации, в общем-то, ясна, а с психикой нежити всё неясно. Говорить с ней всё равно что с шизофреником: слова произносятся, а смысл ускользает. Хочешь, выбери бомжа погрязнее или алкоголика в последней стадии опухлости и поговори с ними. Немедленно начнут клянчить, и больше ты ничего от них не добьёшься. Нелепый охотничий инстинкт, и никакой высшей нервной деятельности за ним.

— Ты хочешь сказать, что алкоголик или бомж — не человек?

— Формально — человек, хотя грань человекоподобия им уже перейдена. Так и вампир — формально человек. Две руки, две ноги, слова произносит. Что ещё?

— Ещё то, что я уверен: они стали менее опасны, чем триста лет назад.

— Триста лет назад их не так хорошо выявляли, а с теми, кого выявили, поступали решительнее. Вот и вся разница.

— И всё же, мне бы хотелось поглядеть.

— В виварии у нас никого нет, так что глядеть не на кого.

— Вы, что, их содержите в виварии?

— Мы называем виварием то место, где их содержим. А официально оно называется «Лаборатория персонифицированных паранормальных явлений». Только это место очень закрытое, тебя туда не пустят, просто из соображений безопасности.

— Туда я не претендовал. Любопытно, конечно, но я-то хочу поглядеть на них в естественных условиях.

— Естественные условия — это среда большого города. Так что смотри, никто тебе не запрещает.

— Но ведь есть места, где они встречаются чаще. Вот ты говорил, что сегодня идёшь на дежурство. Значит, где-то ваши сотрудники дежурят постоянно. Вот в такой заповедничек нежить я и хотел бы попасть.

— Ты, что, думаешь, я дежурю в каком-то тайном притоне, куда нежить и нечисть сползается на шабаш? Нет уж, дежурство моё самое обычное, ничего сверхъестественного в нём ты не обнаружишь. Просто есть места, где наша клиентура появляется с большей вероятностью, нежели в других. За такими местами мы и приглядываем.

— Ну, вот ты, — Княжнин не отступал, твёрдо намереваясь добиться своего, — где конкретно дежуришь?

— Клуб «Саламандра».

— Говорят, злачное местечко.

— Не злачнее других. Молодёжный клуб, относительно недорогой. Постоянных посетителей немного, новым лицам никто не удивляется. В целом как специально придумано, чтобы нежить было где толочься. Знаешь, какой там фон? Детектор можно не доставать, зашкаливает от простых граждан.

— Ты кем в клубе представляешься? Под молодого тусовщика тебе косить не по годам.

— Охранником. Так что мне ни под кого косить не надо. Камуфлю, беджик, и никому дела нет, что я зал взглядом окидываю. Приятное, так сказать, с полезным.

— Ты ещё скажи, что тебе администрация оклад платит.

— Попробовали бы не платить. Они знают, что я через МВД устраивался, так и что из того? Бывший мент, в полиции места не нашлось, пошёл в частные структуры. Обычное дело.

— Хорошо устроился, — протянул Княжнин. — А твой полковник знает про две зарплаты?

— Начальство знает всё. Но место такое, что нужно постоянно держать под контролем.

— Понятно... — протянул Княжнин. — Понимаешь, что хочу спросить, ты не мог бы меня сводить в этот клуб? А то я не знаю, как там подступиться...

— А чего подступаться? Это же публичная оферта.

— Что?

— Эх ты, а ещё умный! Публичная оферта — значит общедоступное заведение. Покупай билет и заходи. Нет, если тебе четырёхсот рублей жалко, я могу тебя провести. Только тогда все будут знать, что ты не просто посетитель, а приятель или сослуживец охранника.

— Да я и так там буду в глаза бросаться. А так будто бы к тебе зашёл. Понимаешь, мне туда неловко заходить, а посмотреть нужно.

— Правильно, что неловко. Съедят там тебя вместе с умными мыслями, потому что выслеживать нечисть ты не сможешь. Она тебя почует раньше, чем ты её, и никакой детектор, казённый или твой самодельный, не поможет.

— Всё равно, мне надо.

— Если так надо, что невтерпёж, то сходи в туалет. Это от века заведено, что бодливой корове бог рогов не даёт. Идеи твои хороши, но мне предчувствие подсказывает, что с тобой вполне можно огрести неприятностей. Потопчешь ты всю малину своими наблюдениями. Там прорва всякой мелочёвки: пиявиц, латентных ведьм и прочей шушеры. Шугануть их — пара пустых, но тогда они расползутся по углам, и никто не скажет, что из них вырастет.

— Не буду я ни во что вмешиваться, ты же знаешь.

— Ладно, подходи часикам к десяти. Я, вообще-то, обычно бываю при входе, но если что, спросишь Мишу-охранника, меня позовут.

— Пстой, ты же не Миша...

— Там я Миша. А девки-тусовщицы ещё и кликуху пытаются наклеить: Мешок. Очень удобная роль.

В «Саламандре» Княжнин появился ровно в десять часов, минута в минуту. Михальчук был уверен, что приятель на самом деле приехал за полчаса и бродил кругами по улице, распугивая всех и вся своим решительным настроем, густо замешанным на комплексе неполноценности.

У охранника, чтобы не торчать при входе наподобие швейцара, имелся маленький столик, даже скорее конторка красного дерева. Таких теперь не делают; эта мебелинка была приобретена по случаю дизайнером, оформлявшим клуб, и поставлена у самых дверей, чтобы резко дисгармонизировать со всем остальным современным оформлением.

В клубе были столики, словно в обычном кафе, но не было официантов, был шест для стриптиза, но не имелось стриптизёрш, разве какая из посетительниц, войдя в раж, демонстрировала прелести своего тела с разной степенью таланта и до разных степеней обнажённости. Здесь играла живая музыка, и работал Паша, которого Михальчук про себя называл масовиком-затейником. Толпу Паша зажигал умеючи, не допуская превращения разнузданного веселья в вульгарную вакханалию. Музыкальные коллективы в «Саламандре» менялись часто и давали не просто концерты. Пашиной заслугой было то, что в музыкальное действо бывало вовлечено немалое число посетителей. Всё это называлось «музыкальным шоу» и выгодно отличало «Саламандру» от привычных дискотек и кафе. Пашиным девизом было: «Каждый день нова шова».

Наркотики в «Саламандре» в почёте не были, распространителей, которых бы все знали, здесь не приветствовали. Короче, это была, выражаясь Пашиным сленгом, «пристойная дыра на грани фола».

С восьми часов в клубе принимались разогревать публику, а часиков в десять, на которые был приглашён Княжнин, начинался самый разгар. Освещение в зале было продумано с умом: разбросанные тут и там светодиоды давали только необходимый минимум света, а светодиодные панно над стой-

кой бара вспыхивали и гасли, не позволяя ни ослепнуть, ни толком разглядеть что-либо. Блестящий дракон под потолком, вспыхивал неоном в клубах табачного дыма, и не каждый замечал, что дракон не выдыхает дым, а втягивает. Прикормленные девушки, которых пускали в клуб бесплатно, уже разогрели народ, любители танцев отрывались на полную катушку, Пашин голос гремел в микрофон что-то торжествующее.

— У вас тут не скучно... — пробормотал ошеломлённый Княжнин, которому прежде не доводилось видеть, как развлекается молодёжь.

— Хотел полюбоваться — любуйся, — великодушно ответил Михальчук.

— И среди этих шлюшек прячется нежить? — шёпотом спросил Княжнин.

— Прежде всего, — прикрыв рот рукой, ответил Михальчук, — профессиональных шлюх здесь почти нет. А эти девочки — и вовсе малолетки. Путяжницы, потому и выглядят вульгарно. Им только-только по шестнадцати исполнилось, вот они и оттягиваются, потому как право заполучили. Их тут, конечно, очень быстро уестествят, а многих уже уестествили, после чего часть этих девочек станет законченными шлюхами. Но некоторые удачно выйдут замуж, родят детишек и успокоятся. В старости будут ставить себя в пример подрастающему поколению. Но пока стараются казаться не теми, кто они есть в действительности. Они-то и создают тот негативный фон, от которого сходит с ума твой детектор. Так что если здесь имеется сейчас твой кадр, он абсолютно невидим за этим фоном.

Одна из путяжниц подпорхнула к беседующим и остановилась, демонстрируя себя во всей красе.

— Привет, Мшок, — произнесла она, проглотив первую гласную, так что не понять, было ли сказано Мешок или Мишок. — А это твой напарник? Вы теперь вдвоём нас бережётё?

— С вами я и один управлюсь, — ответил Михальчук. — А это мой товарищ. Думает, не пойти ли ему в охранники. Зашёл посмотреть, как тут работается. Специфику изучает.

— Не получится из него охранника, — авторитетно заявила пигалица. — Беспонтовый мальчик.

Беспонтовый мальчик, годившейся пэтэушнице если не в деды, то уж в отцы точно, чуть не поперхнулся кофе. А Михальчук совершенно спокойно ответил:

— Поглядела бы ты на него в Чечне, узнала бы, какие понты бывают.

Княжнин, не бывавший не только в Чечне, но и в армии дня не служивший, не знал, куда деваться от такой характеристики. А путяжница, не сказав прощального слова, упорхнула к подругам — делиться раздобытой информацией.

— Ну, каково? — спросил Михальчук.

— Для чего ты ей врал? — вместо ответа спросил Княжнин.

— Не врал, а сливал дезу. Тут все врут, и, если не хочешь каркать белой вороной, изволь не выделяться.

— Ух, ты! — перебил товарища Княжнин. — А это кто такая?

Особа, привлекающая внимание дилетанта демонологических наук, и впрямь резко выделялась среди посетителей. Не обращая ни на кого внимания, она прошла к стойке бара, коротко сказала что-то бармену Эдику, которого на самом деле звали Олегом, получила высокий бокал с чем-то слабоалкогольным, на мгновение приникла губами к трубочке и лишь затем окинула скучающим взглядом вечерний клуб.

— Это я не знаю, кто... — многозначительно произнёс Михальчук. — И тебе не советую к ней подходить. Она тут уже третий раз, а я так и не могу понять, кто она, откуда и зачем. Здешний контингент ни так одеваться, ни так себя держать не умеет.

— Дорогие шмотки?

— Не дешёвые, хотя у некоторых имеются и подороже. Но эта фря и в ситчике бы смотрелась королевной. Если это проститутка, то высочайшего уровня, такой здесь делать нечего. Элитная девочка, а в «Саламандре» уже третий раз. Чует моё сердце — неспроста. Ты детектор-то спрячь, детектор тебе не помощник, его с начала вечера зашкаливает. Так разбирайся, своим умишком.

— Вампириша... — беззвучно шепнул Княжнин.

— Ага, раскатал губу. Думаешь, если женщина вамп, так сразу и вампириша? Вампиришу дважды в одно заведение и на аркане не затянешь. И потом, никто из завсегдатаев не пропал,

никому заметного вреда не нанесли. Первые два раза пришла, посидела, выпила пару фруктовых коктейлей, отшила пару потенциальных ухажёров и скрылась. А куда — никто не отследил.

— Им-то зачем отслеживать? — Княжнин кивнул в сторону зала.

— А познакомиться? А в койку затащить? Ты бы отказался от такой красотки? Ладно, можешь не отвечать, я знаю твои взгляды и вкусы.

Между тем возле стойки бара разворачивалось хорошо отрепетированное действие. Двух девчонок, сидевших рядом с заманчивой гостьей, спешно пригласили танцевать, а на освободившееся место взгромоздился Родик по прозвищу Барсук — местный авторитет. Барсук был счастливым обладателем роста под метр восемьдесят пять, пронзительного взгляда серых глаз и бесконечной уверенности в своём превосходстве надо всеми существами обоего пола. Авторитетом он был не уголовным, а просто по причине своего лидерства не мог уступить первого места. Одних давил морально, прилюдно сажая в лужу сотней разных способов, других не брезговал и кулаком приложить. Парни из приближённого круга служили Барсуку не из страха или корысти, а потому что признавали его превосходство.

Склонившись к гостье, Барсук зарокотал что-то барственно-фамильярное. Девушка вскинула взгляд; глаза у неё тоже были серые, но без стального оттенка, что так шёл Барсуку. Ресницы с минимумом косметики, так что всякому видно, что не накладные, а свои. О таких говорят: «На каждой ресничке по мужскому сердцу наколото». Белокурые волосы, свои или так профессионально покрашенные, что от своих не отличить. Личико могло бы показаться несколько кукольным, если бы не улыбка, мгновенная и очень понимающая. Именно улыбка разрушала образ сексапильной девочки, которую может взять первый же мачо.

Впрочем, Барсук был лучшим экземпляром в своём прайде, и в успехе не сомневался.

Беседа, неслышимая за музыкой и шумом, напоминала пантомиму. Вот Барсук что-то произносит, придвигаясь к девушке, смотрит многозначительно, нависая над хрупкой

фигуркой. Красавица улыбается, чуть заметно качает головой; не возражает, а лишь обозначает легчайшее несогласие. Новая фраза соблазнителя, сопровождаемая широчайшей улыбкой в тридцать два не выбитых зуба. Наверняка сказано какая-то двусмысленность, на которую можно было бы и обидеться, если бы не простодушная усмешка, с которой произнесена скабрёзность. Девочки-путяжницы уже давно бы растаяли от такого напора. Впрочем, это им ещё предстоит, но потом; сейчас перед Барсуком куда более привлекательный объект.

В ответ на острую шутку — мгновенный, словно бросок змеи, взгляд из-под ресниц, *sour d'œil*, как говорят французы. Отточенная игра, дуэль инстинктов. Вот только славный мачо не знает, что играть ему выпало с тенью.

— Ты гляди, как работает! — азартно шептал Михальчук, прикрывая рот рукой, чтобы и по губам было не понять, что он говорит. — Ведь она за всё время двух слов не сказала! А с инстинктами у неё всяко дело получше, чем у паренька.

— Кто она? — жарким шёпотом спросил Княжнин. — Ты говоришь, не вампириша. Тогда кто?

— Чтоб я знал... Да не пялся ты так откровенно! Краем глаза посматривай, и хватит.

— Весь зал на них пялится.

— Всеми залу — можно. Они люди не заинтересованные, им просто любопытно. А ты — охотник, и взгляд тебя выдаёт. Давай-ка выйдем, покурим.

— Тут все прямо в зале смолят...

— Они смолят, а мы — выйдем. Чует моё сердце, девочка сейчас уходить будет. Барсук мужик навязчивый, другим способом от него не избавиться, а девочка явно не демон и не лисица, так что спать с Барсуком не захочет. Пошли-пошли... Если ты выйдешь сразу вслед за ней, то всему миру покажешь, что следил. А так мы первыми вышли. В крайнем случае за-всегдаи рещат, что ты её охранник.

Михальчук встал, пройдя в опасной близости от беседующей парочки, коротко переговорил с барменом. Доставая на ходу пачку сигарет, направился к выходу. Княжнин поспешил следом.

— О чём ты с барменом толковал?

— Попросил его, чтобы он меня подстраховал, если что. Я на службе, а сейчас, возможно, уйти придётся. Ну, да Олежка своей парень, не выдаст.

Михальчук запихал сигареты обратно в карман, а Княжнин, напротив, достал свои и закурил.

— Вот это ты зря, — заметил Михальчук. — Хочешь определять некробиологические явления по запаху, о табаке забудь. Оборотни тоже... у них не запах, а нечто особое, но если оглушишь чувства дымом, не определишь его, пока он тебя не закогтит.

— Тебя же там обкуривали со всех сторон, — возразил Княжнин, поспешно затушив сигарету. — Или пассивное курение не считается?

— Считается. Но это уже издержки профессии. Впрочем, я у самых дверей сижу, да и вентиляция в зале — будь здоров. Без этого владельцу клуб было бы не открыть. Санэпидстанция и пожарная охрана его бы попросту сожрали. В этом вопросе никаких откатов быть не может; это уже мы следим, чтобы вентиляция была и работала исправно. А пожарники и сэсовцы нам прикрытие осуществляют.

— Пожарники? Жуки, что ли?

— Именно так, жуки они и есть. Короеды... — Михальчук замер, затем коротко приказал: — На детектор глянь...

— Зашкаливает.

— А когда только вышли?

— Не знаю...

— Эх ты! Знать надо. От тусовки фон далеко не распространяется. На улице всё было чисто. Ну, теперь смотрим...

Дверь распахнулась толчком, на улице появился Барсук. Глянул на беседующих мужчин и раздражённо спросил:

— Где она?

— Кто?

— Тёлка, с которой я был.

— Не видели.

— Должна быть! Некуда ей из сортира деваться. Через кухню не проходила, значит, здесь.

— Просочилась в канализацию, — пробормотал Княжнин.

Барсук ожёг его взглядом, но ничего не сказал и побежал по улице, заглянуть за угол.

— Ты бы меньше цитировал, — посоветовал Михальчук. — Здесь этого не любят и, вообще, могут неправильно понять. Народ в клубе собирается в массе своей не читающий. Теперь пойдём, полюбопытствуем, что в кухне творится. Держись рядом, вопросов не задавай и ни во что не вмешивайся.

Кухня при клубе была относительно небольшая, всё-таки «Саламандра» была не рестораном и даже не кафе. Михальчук, на правах своего, остановился в дверях, оглядел помещение, кивнул повару и быстро прошёл к служебному выходу. Княжнин поспешил следом.

— Здесь прошла, — сказал Михальчук, очутившись на улице. — Мастерница, однако. Глаза отвела и вышла безо всякой трансформации. Теперь её хрен найдёшь.

— Проводника с собакой, — предложил Княжнин.

— Ты, я вижу, крутой спец. Собаку, чтобы след оборотня взяла, положим, найти можно. Но не ты ли сегодня днём доказывал, что нежить мутирует, что она не опасна и её можно оставить в покое? А как запахло погоней, так сразу собак науськивать? Раз бежит, значит, агу её? А ты уверен, что это не обычная девушка, напуганная Барсуковыми домогательствами?

Княжнин виновато молчал, лишь жамкал губами, словно пережёвывал несказанные слова.

— Ладно, не мучайся. Давай, пока время есть, глянем ещё, может, что и высмотрим. Улица тихая, машины ночью ездят редко, так что далеко наша тёлочка не убежит. — Михальчук усмехнулся. — Но Барсучонок-то каков? Тёлка где? Сам он телок и напрашивается на то, чтобы умереть счастливым.

Со двора они вышли на ночную улицу. Оранжевая луна, почти незаметно выщербленная сбоку, поднималась над крышами. Ещё две ночи люди будут плохо спать, вскакивать в тревоге, жалуясь на полнолуние. А нелюди в такие ночи не спят вовсе.

— Слушай, — сказал Княжнин, — это же никак твоя улица? Ты ведь рядом живёшь?

— Ну да. Вон мой дом. Я потому сюда и устроился, что до дому две минуты. Давай-ка я тебя к себе отведу, и ляжешь

спать. А мне ещё работать. Больше сегодня ничего интересного не должно случиться, но служба есть служба.

— Я лучше машину поймаю и поеду к себе.

— Не возражай. Никуда я тебя одного не отпущу. Сам видел, нежить в округе шастает, а мы даже не определили, кто это. Была бы вампир, она от Барсука не бегала, а мигом его оприходовала. На демона ни разу не похожа.оборотню в ночном клубе делать нечего. Вот и гадай, кого мы с тобой видели. Самое смешное будет, если окажется, что это действительно обычная девушка, возжаждавшая острых ощущений.

Против такого довода возразить было нечего. Княжнин кивнул, и они отправились к холостяцкой квартире Михальчука.

Клуб «Саламандра» располагался по нечётной стороне улицы, в одном из домов сталинской постройки. На самом деле выстроен он был в 1955 году, что всякий мог определить, увидав барельеф с датой на фасаде, но дома, построенные в стиле советского ампира, принято называть сталинскими, и этот тоже назывался сталинским. Зато Михальчуковский дом оказывался безликой панельной девятиэтажкой, которую втиснули сюда после того, как были снесены двухэтажные бараки бог весть какой эпохи. Каждый день, взбираясь на свой этаж, Михальчук думал, что вообще-то на этом месте должна стоять четырёхэтажная хрущёбка, без мусоропровода, лифта и прочих антисоветских удобств. Однако вот повезло, миновала чаша сия. А что в хрущёлке выше четвёртого этажа лазать не надо, так никто Михальчука не заставляет пренебрегать лифтом. Вот он, лифт, садись да поезжай, не думая про полнолуние.

Уже при подходе к парадной Михальчук услышал, как лязгает железная дверь мусорного блока. Возле каждой парадной имелась такая дверь, а за ней крошечное помещение, куда выходила труба мусоропровода. Там же был водопровод и два крана с горячей и холодной водой, чтобы дворничихе не приходилось издалека таскать воду для мытья лестницы. В те времена, когда дворниками калымили русские пропойцы, сор из мусоропровода валился прямо на пол, а то и забивал трубу, иной раз до четвёртого этажа. Следствием была вонь и изобилие крыс. При старом таджике под трубой всегда стоял

мусорный контейнер на колёсах, который вывозился строго по расписанию. Хотя когда дверь мусорного блока бывала распахнута, оттуда тянуло характерным кислым запахом помойки. И суверенный таджик пропах этим амбре насквозь.

Старик с метлой в руках появился из блока. Остановился, пропуская идущих.

— Добрый вечер, — привычно сказал Михальчук и услышал столь же привычное невесомое:

— Здравствуйте.

— Что это вам не спится? Ночь на дворе.

Старик, уже изготовившийся сметать с дорожки первый опавший лист, остановился, облокотившись на метлу, потом указал на луну, поднявшуюся уже высоко, потерявшую оранжевый цвет. Луна заливала мертвенным серебром тротуар. Светло, так что больно глазам, а попробуй читать — буквы не разберёшь. Но улицу мести можно, и можно призрачной тенью идти на охоту и гнать бегущего, которому некуда деваться. Волчья ночь, когда даже человеку хочется выть.

— Нельзя сегодня спать.

— Скажите, — спросил Михальчук на всякий случай, — здесь только что девушка не пробегала? Молодая, одета хорошо.

— Девушка не пробегала, — ответил таджик, медленно покачивая головой. — Волк пробегала, большой, очень большой; у нас таких нет.

Михальчук почувствовал, как напрягся Княжнин, готовый задавать вопросы. Пришлось отшагнуть назад и, словно случайно, наступить товарищу на ногу. Видимо, тот понял предостережение, потому что ошутимо заметным усилием проглотил рвущиеся из груди слова. Надо было заполнять паузу, и Михальчук задал давно интересовавший его вопрос:

— А вы кем были прежде? До распада страны?

Тёмное лицо в глубоких морщинах, кажущихся трещинами в неземном свете луны, осталось непроницаемым. Потом морщины дрогнули, послышался ответ:

— Зоотехником. У нас яков разводят, это животные такие. Начальство сказала, надо много яков. А где их пасти? Як не может в долине, он там болеет. И волки по ночам приходят, режут телят. А виноват я...

Он ещё бормотал что-то о прошлых обидах, где главным словом было «начальство», которое вмешивалось в простую, понятную жизнь и делало её невыносимой. Собственный путь из родных гор в чужой город, из зоотехников в помойные мужики, из уважаемого человека, так или иначе относившегося к сельской интеллигенции — почти на самое дно чуждого ему общества... А ведь у него, наверное, дети есть, внуки, которым он посылает деньги. Или нет никого? Старики из бывших азиатских республик едут на заработки, только если они совсем одиноки. Проклятие аллаха на том, у кого нет детей.

Странно, ведь жили в одной стране, все ходили в школу, носили красные галстуки. А теперь смотрим друг на друга и не можем понять. Волка, бегущего по ночному проспекту, понять легче.

Михальчук распростился с дворником, уложил спать зевающего Княжнина, вернулся в клуб, где веселье уже поблекло, словно утренняя луна. Дежурство заканчивалось, теперь предстояло многое осмыслить.

Во всё виновата луна. На Земле ещё не было ничего, кроме горячих камней и чуть солоноватого океана, а луна уже светила никому, роскошно и равнодушно проходя все свои четверти, скрываясь в звёздном изобилии безлунных ночей и сияя жемчугом полнолуний. Миллиарды лет светить никому — этого вполне хватит для вселенского одиночества. Недаром первая живая слизь светилась лунным отблеском, и так же светятся безмерно одинокие обитатели морских глубин. Перед лунным светом живое одиночество и живая тоска не значат ничего. Они растворяются в нём, подобно крупинке соли в безбрежности океана. Океан не заметит твоей крупинки, он не станет солоней, не станет и слаще. Всё познаётся в сравнении, кроме несравнимых величин. В лунную ночь на всякое живое существо обрушивается одиночество, скопившееся за миллиарды безжизненных лет.

И тогда тем, кто смотрит в небеса, овладевает тоска, превышающая мыслимые и немыслимые пределы. И своя жизнь, привычная и разумная, уже не кажется единственно возможной. Более того, она становится совершенно невозможной. Волк, навывшись до изнеможения, бросает стаю и волчат

и уходит в страшный и притягательный город, потому что там есть нечто, столь же непостижимое, как и тоска лунной ночи. А других волков, ставших чужими, он рвёт страшно и безжалостно.

Человек, намаявшись неприкаянно, в ночь полнолуния уходит из дома, чтобы бегать вместе с волками, залиvisto плакать и вкушать немыслимую свободу. А людей, не сумевших понять его душу, он рвёт столь же страшно и безжалостно, как и его собрат волков.

И никто не знает, что случится, если встретятся мордой к лицу волк, перекинувшийся человеком, и человек, ставший волком. Луна, возможно, знает, но она умеет молчать.

А ещё порой полная луна устраивает небывалое, так что кажется, будто она хохочет с небосвода, широко разинув пятна сухих морей.

Домой Михальчук вернулся под утро и успел соснуть часика полтора, прежде чем Княжнин, уложенный на диване, продрал глаза.

— Как тебе вчерашний культпоход? — спросил Михальчук.

— Смутно... Но в основном, думается, я прав. Не знаю, была ли та девушка волколаком, вервольфом или ещё кем, но вреда людям она не причиняла.

— И отсюда ты делаешь вывод, что нежить безобидна. А хочешь, я тебе прилипалу в дом подсажу? Моих умений на это хватит. Замаешься по знахаркам и попам бегать. А ведь это обычная прилипала, не упырь, не кицунэ — лисица-оборотень, ни ещё какая зараза. Если уж проводить твои параллели с микроорганизмами, то нелишне вспомнить, что далеко не все микробы являются болезнетворными. Есть и такие, без которых не проживёшь. А большая часть для нас просто безразличны. И суть нашей работы не в том, чтобы хватать и не пущать, а чтобы отделять овец от козлиц и зерна от плевел. Если вчерашняя красавица не опасна, то её никто и не тронет. Пусть и дальше смущает любвеобильное барсучье сердце. Но для этого надо быть вполне уверенным, что она не опасна. Хотя боюсь, что начальство в любом случае прикажет отводить её от городских кафе и клубов. Просто так, на всякий пожарный случай.

— Но ведь это... — начал было Княжнин.

— Это — обычная предосторожность. Лучше выгнать из города самую дружелюбную бьякко, чем позволить бродить по улицам кикиморе или ожившему трупу. Помнишь, как зоотехник сказал: «Волк пробегала. Большой...» Так вот, я не хочу, чтобы люди встречались по ночам с большим волком, даже если этот волк «мутирует» в положительном направлении.

— Всё-таки ты неисправимый ретроград.

— Лучше быть живым ретроградом, чем мёртвым прогрессистом. Ты заметил, как много слов в русском языке, означающих охранителей? Ретроград, реакционер, консерватор... А с противоположным значением? Их и нет почти, во всяком случае, общеупотребительных. А всё потому, что прогрессисты не выживают. Кстати, месё прогрессист, не мог бы ты мне помочь? Мне нужна телекамера, наподобие тех, какими осуществляется видеонаблюдение. Ты же у нас мастер золотые руки, вон, даже детектор собственный собрал. И работаешь в подходящем заведении.

— Камера — это пара пустых. Другое дело, где и как её ставить, и кто наблюдение будет осуществлять.

— Наблюдать буду я. А поставить... да хоть на козырьке, что над моей парадной. И чтобы показывала панораму улицы. Очень хочется поглядеть, что там за девушки бегают, и что за волки.

— У вас, что, в Управлении таких простых вещей нет?

— Есть, но не хочу зря беспокоить начальство. Слышал, что мудрый дворник говорил? От начальства все беды. Ты меня ретроградом обзывал, так это потому, что с полковником Масиным знакомства не водишь.

— Будет камера! — решительно объявил Княжнин. — Сегодня же и будет.

— Это хорошо. А то сегодня последняя волчья ночь. Полнолуние миновало. В другие дни трансформации тоже бывают, но редко. Если наблюдать, то сейчас.

— Ты думаешь, она прямо на улице будет волком перекидываться?

— Я пока ничего не думаю, я поглядеть хочу. Ты слышал, вчера дворник сказал: «Волк пробегала». Я успел справочку

навести: в таджикском языке нет понятия рода. Так что старик мог перепутать, но мог и не перепутать, всё-таки он не просто якам хвосты крутил, а с пониманием — зоотехник, как-никак.

— Это тут причём?

— В нашем деле, друг ситный, всё причём. Вчера утром, я тебе рассказывал, волк, жертвуя собой, обманул группу захвата и позволил скрыться волколаку. Не думаю, что тут снова тандем, но поглядеть очень хочу. Предчувствие у меня, а в нашем деле предчувствиям доверять нужно. Представь для примера, что дед оборотня в мусорном блоке прячет. Как тебе такой вариант?

— О таком я не подумал... — ошеломлённо пробормотал Княжнин. — Бегу. Сегодня же всё будет. Только мне тоже... я тоже поглядеть хочу.

— Гляди, — великодушно разрешил Михальчук. — Через камеру — чего не поглядеть.

Если Княжнин говорил, что сделает, обещанное кровью из носу, но бывало сделано. Эта особенность примиряла Михальчука даже с дилетантскими идеями приятеля. Во всяком случае, вечером оба сидели перед включённым телевизором и наблюдали происходящее на улице. Обычно ящик-говорун, если в этот день не намечалась трансляция особо важных футбольных и хоккейных матчей, бывал заткнут, но сегодня его включили заранее. Гордый Княжнин давал пояснения.

— Звук, к сожалению, берёт только от самой парадной, а улица подаётся панорамой. Угодно, можешь приблизить тот или иной участок. Разрешимость довольно приличная. А вот внутренность мусорного блока — не берёт. Это надо отдельную камеру ставить внутри. Камеру достать — не проблема, а вот ключ от мусоропровода...

— Это тем более не проблема. Но, думаю, пока не нужно. Как трансформация происходит, заснято много раз, полагаю, ничего нового мы тут не увидим. А что со звуком изображение — это здорово. Я думал, камеры наружного наблюдения только немymi бывают.

— Когда надо, бывает что угодно, — скромно похвастался Княжнин.

Мобильник, лежащий на столе, сыграл первые такты марша из оперы «Аида» и замолк, не одолев мелодии.

Михальчук глянул на экранчик и значительно объявил:

— Дева красоты уже в ночном клубе. И Барсук с приятелями тоже там. Так что объявляется готовность номер ноль.

Княжнин глянул на мобильник, в котором не замечалось ничего волшебного, и уважительно сказал:

— Лихо ты определяешь. Я о такой технике и не слышал. Как эта штука работает, если не секрет?

— Эта штука работает безотказно. Называется она бармен Эдик, или попросту Олег. Мы договорились, что если придут оба заинтересованных лица, Олег сделает вызов и тут же отбой. Так работает самая высокоточная техника.

Княжнин кивнул, хотя разочарования скрыть не мог.

Полчаса прошло в напряжённом молчании.

— Тра-та-та-та! — выиграл мобильник и подавился самой высокой нотой.

— Быстро они сегодня, — заметил Михальчук. — Видать, сильно Барсучонка за живое взяло. С ходу буром попёр. Этак он девочку от посещения нашего клуба отучит. Дурак он, что взять с дурака...

— Вон она! — перебил Княжнин.

Очевидно, девушка большую часть пути пробежала дворами, потому что возникла уже совсем близко. Подчиняясь тонким движениям княжнинских пальцев, камера сделала наезд, показав бегущую крупным планом.

Лицо спокойное, хотя в глазах мечется совершенно человеческая тревога, и верхняя губа прикушена ровненькими зубками. Почему-то Княжнин сразу отметил этот факт, хотя и не ожидал увидеть оскаленных клыков.

— Хороша чертовка! — похвалил Михальчук.

— Она, что, демон? — встревожено спросил Княжнин.

— Нет, конечно. Но хороша...

Девушка бежала. Каблучки выбивали по асфальту тревожную дробь. Пышные волосы упруго вздрагивали при каждом шаге, но укладка оставалась идеальной, словно на рекламном клипе. Всё в красавице было хорошо, и всё чуть-чуть ненатурально, как выполненное опытным визажистом. И только глаза были живыми, человеческими. Не верилось, что сейчас хозяйка таких глаз обернётся зверем, готовым разорвать преследователей.

В руке бегущей возник тяжёлый ключ с двусторонней бородкой. Наивные квартирновладельцы приобретают такие ключи для железных дверей своих хором, надеясь, что теперь никто не проникнет в их крепость. А служащие ЖЭКов, или как это теперь называется, запирают ими дворничские и иные подсобные помещения.

Лязгнула дверь мусорного блока, красавица исчезла, невидимая электронному глазу камеры. И почти сразу в конце улицы появилось двое парней из свиты Барсука. Очевидно, взбешённый авторитет устроил на таинственную незнакомку форменную охоту.

Раздался долгий скрип несмазанного железа, на улице появился старый таджик. Выкатил наружу переполненный мусором контейнер, навалившись худым телом, слегка утрамбовал отходы, чтобы возможно стало защёлкнуть замок на крышке. Подкатил новый контейнер. Добыл откуда-то из мёртвой зоны широкую лопату, принялся сгребать рассыпавшийся мусор, закидывать его в контейнер, ещё не наполненный.

— Она там? — жарким шёпотом спросил Княжнин.

— Кто?

— Волчица. Он её в контейнере спрятал, туда ведь никто не сунется.

— Нет там никого! — отрезал Михальчук. — Смотри и не мешай!

Подоспели Барсуковы клеветы.

— Эй, дед, — крикнул один. — Девчонка тут не пробегала?

— Девушки бегают быстро, — ответил таджик, не отрываясь от лопаты. — Если она не хочет, чтобы её поймали, вы её не поймаете.

— Порассуждай тут, чурка... — процедил один из парней. — Отвечай, пока по-хорошему спрашивают.

— Не видел здесь девушек.

— Дай ему в морду, — посоветовал второй парень, — мигом вспомнит.

— Умный ты, спасу нет. Ему в морду дашь, потом от чесотки лечиться. Пошли, скажем Барсуку, что никого не видели. Хочет, пусть заранее у всех дверей охрану ставит, а я не нанимался для него по улицам бегать.

Парни ушли, на этот раз не торопясь. Таджики продолжал чистить мусорный бокс. Шарканье лопаты по асфальту, привычное и успокаивающее зимой, сейчас, в самом конце лета, казалось нелепым и чужеродным. И всё происходящее казалось одновременно нелепым и странно знакомым.

Все в детстве слышали сказку про девочку-замарашку, которая непрерывно возилась с мусором и золой от камина, и даже прозвище получила соответствующее. А бедняжке хотелось хотя бы изредка красивой жизни, музыки, хоть чего-то отличного от половой тряпки и запаха помоев. И, как непременно бывает в сказке, явилась добрая волшебница и отправила Золушку на бал в королевский дворец. Платье, карета, то да сё... А куда девались руки, огрубелые от кухонной работы, колени, изуродованные мытьём и натиркой полов, намертво вевшаяся вонь отхожего места? Так ведь всего этого и не было! В сказках всегда случается так, что тяжёлая работа не калечит красоты. А возможно, сказочник не договорил, и не только тыква обратилась в карету, но и грязная уродка перекинулась красавицей. В Управлении психического здоровья много могут порассказать о проделках той нежити, которую люди называют феями.

Но в целом с Золушкой всё окончилось благополучно. Если и возвращался ей в лунные ночи истинный облик, то принц про это ничего не знал, пребывая в счастливом заблуждении, будто женат на красавице. И, как хрестоматийный телёнок, он умер счастливым.

А в жизни всё бывает причудливей и безжалостней. Даже помойка в реальности воняет совсем иначе, нежели в сказке. И добрых крёстных у гастарбайтеров не бывает. Зато бывает полнолуние, когда хочется выть, а природная серость у одних выступает наружу, а другим становится невоготу носить её. Пусть раз в месяц, но хочется чистоты, музыки, восхищённых или завистливых взглядов. Не обязательно даже превращать мусорный контейнер в элегантный «порше», Золушка дойдёт пешком. И никто не опишет в волшебной сказке её чудесное превращение. Ах, Шарль Перро, где твоё перо?

Прекрасный принц, явившийся неведомо откуда, непременно вызовет приступ злобы и зависти у потенциальных

соперников. Быть принцессой — гораздо безопаснее. Главное — убежать с бала прежде, чем часы пробьют полночь и чары рассеются.

Таджик кончил скоблить тротуар, загнал оба контейнера, полный и почти пустой, в мусорный бокс, гремя ключами, запер дверь. Бормотал что-то на своём языке, где нет понятия мужского и женского рода.

— Он, что, запер её там? — тревожно спросил Княжнин.

— Кого?

— Девушку.

— Девушку? — переспросил Михальчук. — А была ли девушка?

## СОДЕРЖАНИЕ

### СВЕТ В ОКОШКЕ

(роман)

<i>Пролог</i> .....	7
<i>Глава первая</i> .....	11
<i>Глава вторая</i> .....	28
<i>Глава третья</i> .....	50
<i>Глава четвертая</i> .....	68
<i>Глава пятая</i> .....	91
<i>Глава шестая</i> .....	108
<i>Глава седьмая</i> .....	131
<i>Глава восьмая</i> .....	203
<i>Эпилог</i> .....	225
<i>Авторское послесловие</i> .....	235

### РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

БАРСКАЯ ПУСТОШЬ .....	241
ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ .....	283
СПОНСОР .....	329
ОДИНОЧКА.....	344
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ .....	387
ТЕНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА.....	410
ГОСТЬ С ПЕРФОРАТОРОМ.....	458
ЗОЛУШКА-NEWS .....	482

**Святослав Логинов**

**СВЕТ В ОКОШКЕ**

роман

**РАСКАЗЫ И ПОВЕСТИ**

*Ответственный редактор:* Андрей Мартьянов

*Дизайн обложки и иллюстрации:* Сюзанна Ориордан

*Корректор:* Антонина Филимонова

*Компьютерная верстка:* Лев Банакин

**Подписано в печать 10.10.18. Формат 84x108<sup>1/32</sup>**

**Объем 26,88 усл. печ. л. — 23,85 уч. изд. л.**

**Тираж 1000 экз. Заказ 15799**

Издательство Сидорович  
193149, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 124-5-123

Издательство «Acta Diurna»



ACTA·DIVRNA

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»  
Филиал «Чеховский Печатный Двор»  
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1  
Сайт: [www.chpd.ru](http://www.chpd.ru), E-mail: [sales@chpd.ru](mailto:sales@chpd.ru), т. 8 (499) 270-73-59.



9 785905 1909450

16+

ACTA DIURNA  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

**АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ  
БОРИС СТРУГАЦКИЙ**

ПОЛНОЕ  
СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
В 33-Х ТОМАХ



Настоящее собрание сочинений Аркадия и Бориса Стругацких составляют все доступные ко времени издания художественные и публицистические произведения (в том числе варианты и иные рукописи из архива), а также эпистолярное творчество. «Полным» его можно будет назвать после выхода дополнительных томов, включающих в себя тексты, в основных томах по различным причинам не представленные.

ACTA DIURNA  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

**СВЯТОСЛАВ  
ЛОГИНОВ**

**МНОГОРУКИЙ  
БОГ ДАЛАЙНА**

*Роман*

Художественное издание



Роман Святослава Логинова «Многорукий бог далайна» в 1995 году стал сенсацией в мире русской фантастики и был удостоен большинства самых престижных литературных премий.

Созданный автором неповторимый и невообразимый мир далайна настолько враждебен человеку, что, казалось бы, выжить там невозможно. В глубинах ядовитого океана обитает чудовищное божество этой замкнутой Вселенной, тысяче-рукий Ёроол-Гуй, от которого нет спасения и избавления... Нет до поры.

Для данного тома С. Логинов предоставил уникальные авторские наработки — часть второй книги «Многорукого» и подробный рассказ о том, что могло бы произойти в Универсуме далайна впоследствии. Эти материалы публикуются впервые.

# ACTA DIURNA ПРЕДСТАВЛЯЕТ

НОВИНКА!

**СЕРГЕЙ  
МАХОВ**

**ОПЕРАЦИЯ  
«СЖЕЧЬ БЕЛЫЙ ДОМ»**

Научно-популярное издание



С полным правом можно сказать, что тему англо-американской войны 1812–1815 годов для российской историографии заслонили поход Наполеона в Россию и заграничный поход русской армии. Тема эта на русском языке представлена достаточно бледно, по сути можно сказать, что военно-морская часть событий чаще всего излагается по книгам Альфреда-Тайера Мэхэна, рассмотрение же экономического аспекта происходит исключительно с точки зрения американской исторической науки.

Мы решили ликвидировать это обидное несоответствие и написать книгу об англо-американской войне 1812–1815 годов. Современники прозвали ее «Нулевая война» (Zero war), поскольку закончилась она признанием довоенного статус-кво обеих держав. Мы постарались раскрыть разные аспекты войны — экономический, политический, военный, и т. д. В книге описаны все основные морские сражения «Нулевой войны», сделана серьезная попытка разобраться в достоинствах и недостатках противоборствующих флотов, затронуты вопросы по судостроению и комплектованию кораблей. Надеемся, что наш новый труд понравится читателю.



Lenknigotorg.Ru  
**ЛЕНКНИГОТОРГ**

Магазин электронных  
и бумажных книг с доставкой

Полное собрание сочинений  
братьев **Стругацких**



Подарочные книги  
издательства **Acta Diurna**



Все выпуски тиражного  
альманаха **ПОЛДЕНЬ**

На сайте **Ленкниготорг** можно купить и скачать  
электронные книги российских писателей.





**16+**

ISBN 978-5-905909-45-0



9 785905 909450